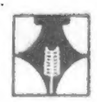
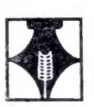
БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ВИКТОР ЧАЛМАЕВ

ИВАН ТУРГЕНЕВ

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ВИКТОР ЧАЛМАЕВ

ИВАН ТУРГЕНЕВ



Москва · 1986

83.3Р1
4—16

Рецензент *С. Е. Шаталов*

Чалмаев В. А.

Ч-16 Иван Тургенев.— М.: Современник, 1986.— 308 с.— (Б-ка «Любителям российской словесности).

Книга посвящена жизни и творчеству великого русского писателя И. С. Тургенева. Обращаясь к биографии писателя, автор прослеживает его взаимоотношения с крупнейшими деятелями отечественной и зарубежной культуры. В исследовании, основанном на непосредственных впечатлениях от поездок автора по «тургеневским местам» на Орловщине, а также во Франции и Италии, возникает многоплановая картина художнических исканий Тургенева. Они, как известно, тесно связаны и со «школой Белинского», и с некрасовским «Современником». На них влияли взаимоотношения с Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым, споры с Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, А. И. Герценом, И. А. Гончаровым.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

$Ч\frac{4603010101—043}{М106(03)—86}$—325—85

ББК 83.3.РI
8РI

ПРЕДАНЬЯ ЛУТОВИНОВСКОЙ СТАРИНЫ

Дом его (Тургенева.— *В. Ч.*) показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним... Его надо показывать в деревне. Он там совсем другой, более мне близкий, хороший человек.

Л. Н. Толстой. Из дневников, из письма Н. А. Некрасову (июнь 1856)

Жизнь рода, семьи, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она... предания да песня — отрава для славянской души.

И. А. Бунин. Суходол (1912)

...Огромные запыленные шкафы домашней работы со стеклянными дверцами в одной из глухих комнат Спасской усадьбы, портреты надменных стариков XVIII века с буклями париков на висках, с тусклым, «глухим» блеском орденских лент, и — самое заманчивое — книги в кожаных переплетах, с медными застежками, с кисловатой духотой, исходящей от них. Атмосфера сиротствующей библиотеки «дедушки Лутовинова» неожиданно стала тревожить душу восьмилетнего мальчика с задумчивым, не по летам серьезным лицом. Воображение его нетерпеливо искало работы — здесь, в «остановившейся», ушедшей жизни. Где старина — там и деянья!

Мальчик этот — крупный, но подвижный — второй сын немолодой властительницы Спасского-Лутовинова Варвары Петровны Тургеневой. Все в доме знают о ее нелегкой, капризно-деспотичной любви к нему. К его имени «Иоанн», «Ваничка», «Жан» она непременно добавляет пылкие слова: «солнце моей жизни». В любой комнате обширного дома, даже в личных комнатах гувернеров он — «везде дома». Его «хочу» или «мне хочется» никогда не натыкалось на запрет. Старые слуги, спиной чувствующие нетерпеливое ожидание барыни, не раз «умело» похваливали Ваничку:

— Дворянская-то кровь сейчас видна, так в глазенках и бегает, так и являет себя...

Но сейчас в глазенках его — настороженность, непривычная робость. Здесь, на пороге «библиотечной залы», Ваничка застыл — сейчас он ступит на ее половицы, нарушит устоявшееся безмолвие — в особом, «немотствующем ожидании». (Так определит Тургенев это состояние позднее в повести «Пунин и Бабурин».) Откуда-то издалека, со Спасского проселка, как со дна моря житейского, доносится стук колес, обрывки

песни мужика, перебиваемые щелканьем кнута. Мышь с перерывами скребется где-то в уголке за обоями. В горле слегка першит от вялого сухого воздуха, в косых лучах солнца кружатся, искрясь, редкие пылинки. Книги лежат и за пыльными стеклами, и поверх шкафов, связанные бечевками. Некоторые брошены плашмя, прихотливо раскрыты — не десяток ли лет назад? — на интересной картинке.

О прошлое! Не лови в свою таинственную сеть эту птицу небесную! Не кроши перед ней на корм семя сокровищ своих, чуть припорошенных пылью... Душа эта и без того слишком рано осознáет в себе страх перед бесшумно текущей силой времени, усвоит стойкий и сладкий яд томительной меланхолии, горечь разлук с «улыбкою странною»...

* * *

...А вокруг — типичный для барской усадьбы «жизнеоборот» страстей, дел, течение природного времени!

В разные стороны от «библиотечной залы» — около сорока других комнат. Голубые, желтые, бордовые гостиные, кабинеты, бесчисленные кресла и зеркала, гобелены и причудливые пузатые комоды, столики... Печи с изразцами... Дух грациозности и жеманства, нашедший свой язык в нежном стиле рококо, в стиле, который словно любил «змеиться» по рамам зеркал, картин, который растекался по поверхности табакерок, плафонов, рассыпая свои фантастические завитки. В лабиринте этих комнат, под укоризненными «взглядами» старого письма портретов можно было затеряться и взрослому!

А вокруг дома? Здесь — свой заманчивый «корм» для детской души. Бесконечные службы — кузница, каменная погребица, курная баня, конный двор, два ледника, птичник — окружали господский дом в Спасском-Лутовинове.

В правом крыле размещалась главная, или «вотчинная» контора, за левым крылом — помещения для дворовых: кухонных мужиков, сенных девушек, садовников, шорников, горничных, казачков, псарей, истопников, иной челяди. Дворни было до шестидесяти семейств, и всяк «сверчок» знал уготованный ему «шесток».

Были в Спасском, как при царском дворе, и свой Бенкендорф, и свои «министры» почт и двора... Заводился порой оркестр с певчими. Все это людское пестрое скопище целыми днями, зимой и летом, мерно двигалось, суетилось, лукавило и грешило, вело «меновую торговлю» сплетнями и слухами, пиршествовало и суеверно обмирало при дурном предзнаменовании. Оно ловило знаки одобрения или гнева

матери этого застывшего на пороге библиотеки большеголового мальчика — всесильной Варвары Петровны Тургеневой. Вкус власти она знала во всех его оттенках. И «занавес» к драмам мелочного деспотизма расшивала весьма искусно...

Да и только ли спасской дворней исчислялся род подданных этого небольшого крепостного княжества! Ваничка знал, что за окрестными лесами и полями, откуда летом налетает пьянящая сушь скошенной травы, где царит сонное гудение пчел, где зыблется волнами рожь, есть своеобразные «колонии» Спасского-Лутовинова. Ими были почти «заглазные» деревушки Любовша, Тапки, Холодово. Есть деревни и еще крупнее... Оттуда-то приезжали, как из неведомой страны, бородатые мужики с припасами. Они говорили на удивительном языке! О том, что недавно сбыли неопытному хозяину на ярмарке лошадь «дрянную», «спотыкливую»: «Кто нови не видел, тот и ветоши рад!..» Что староста деревню «замотал», словно «зайца на угонке». И грозили ему «рога сломать». Здесь вздыхали о том, что теперь «трактиров по большим-то дорогам развелось, как блох в овечьей шкуре», и ныне «тот мудрен, у кого карман ядрен». И жить дальше, «мотая на кулак нужду», теперь можно с одной привычкой — «плохо не клади, вора в грех не вводи» и «чужая болячка никому не больна»...

Этот язык, после послушного, совсем ручного, нарядного, как парадная часть парка, французского, казался грубоватым, но необыкновенно живым, непокорным, неискрошенным в праздной болтовне. «Не спроста и не спуста это русское слово молвится и до веку не сломится».

В эти же неведомые ему деревни, в «заглазные» колонии, после грозной расправы отправлялись из Спасского дворовые сенные девки, не «выдержавшие» смирения, или совсем изленившиеся, впавшие в одичание пьянства лакеи, портные, сапожники... «Дворня — испорченный отсадок народной жизни»,— пылко заметит Тургеневу-писателю много лет спустя в часы бесед во Флоренции его даровитый друг, критик, «роскошная личность» Аполлон Григорьев.

...Но сейчас Ваничка забыл обо всем. В «библиотечной зале», кажется, остановился, выключился бег времени, умолк зов пространства. И лишь загадочное молчание томов «Покоющегося Трудолюбца», альманахов «Аониды» и «Зеркало Света», сочинений Вольтера и Руссо, Ломоносова и Хераскова, вороха домашних деловых бумаг, реляций, прошений, рецептов обещает вот-вот «разрешиться» вестями из прошлого, преданиями и хроникой, грозными былями и темными намеками!

И вот — преодолена робость, шире раздвинута штора, и при

резком свете солнечных лучей, в тишине, Ваничка пробует вглядеться в далекий, страшный и чем-то родной мир прошлого. Застыли на книжных листах фигурки в камзолах, в пудреных париках, среди гобеленов и кресел, под гранеными хрусталиками люстр. Как высоки каблуки и как смешон носок сапожек, похожий на нос рыбы, скорее всего... стерляди! А обнаженная нимфа или русалка — ее груди, как выпуклые крышки с фарфоровой суповой чашки!.. А вот уже что-то совсем непонятное, хотя и крайне занятное... На плотном большом листе — картинка. Горящая свеча... Огонек ее колеблется, вот-вот погаснет. И немудрено: со всех сторон, смешно напрягая упругие щеки, дуют на свечу ветры, силясь погасить ее!.. Надпись объясняла страшный и наивный смысл аллегории: «Такова жизнь человеческая»...

Позднее Тургенев, «дегустатор» самых различных и утонченных состояний меланхолии, поймет, что век Суворовых и Потемкиных, этот простодушный и здоровый, ироничный и жеманный XVIII век,— даже грустил как-то грозно. С запасом прочных, поистине животных сил! Это была грусть неистраченного здоровья, грубоватого величия. Она рождала не стоны, а гул могучих, лишь потревоженных сил. Смерть у Державина как будто врывается за роскошный пиршественный стол, где сидели наивные великаны, привыкшие повелевать, существа, переполненные неукрощенной сердитой кровью. Грянет гром и обратит в прах одного из богатырей! И строки о случившемся — не стон ослабевшего, издыхающего в прокисшем петербургском воздухе больного, заморенного лекарями, не жалоба униженного, прошутившего жизнь сословия. Это скорее всего победный рев, рык, громкое, не знающее страха возмущение:

О, всебедный род людской!
Незнаком тебе покой!
Ты лишь оный обретаешь,
Пыль могильну коль глотаешь...
Горек, горек сей покой!
Спи, мертвец!.. Но плачь, живой!

* * *

...В атмосфере наушничества, присмотра одних тунеядцев за другими, поощряемого самой Варварой Петровной, тихие и молчаливые хождения мальчика Тургенева в «библиотечную залу» не остались, конечно, незамеченными. К счастью, первой узнала обо всем душа родственная. Узнал дворовый человек. По одним предположениям, конторщик и секретарь В. П. Тургеневой Федор Лобанов, книгочей, «грамотник»,

любивший сочинять стихи. «Безумный стихоплет Федюшка Лобанов» — так называла своего секретаря в одном из писем сыну Варвара Петровна[1].

...Однажды, когда Ваничка рассматривал очередной лубочный лист «Как мыши кота хоронили!», Федор, сухо кашлянув на пороге, чтобы не испугать ребенка, подошел и, чуть помедлив, пояснил:

— Деревянная печать, барич, сиречь лубок... Из Москвы, со Спасского моста сии «личины», искусно намалеванные, доставлялись...

Крепостной друг мог рассказать и о «Московских новосияющих Афинах» — Славяно-греко-латинской академии, где учились стихотворцы XVIII века Кантемир, Тредиаковский и Ломоносов. И о книжных лавках («каморах») у Спасских ворот, на мосту и крестце, куда и в дедушкины времена еще приносили для продажи рукописные книги и тетради, лубочные листы, «впитавшие» в себя сюжеты сказок и повестей о Ерше Ершовиче, Шемякином суде, о Бове Королевиче... Он же, мечтавший порыться в заветных шкафах, одобрил (а может быть, и подсказал) план извлечения самого интересного из дедовских шкафов...

Когда? В ближайшую же ночь!

* * *

...Ночью, едва сонная, вязкая, как жаркий пуховик, тишина овладела усадьбой, когда только маятник старых часов сипло и важно щелкал в столовой да слышалось мерное и протяжное дыхание десятков людей, две родственные души, со свечами в руках, молча двинулись в библиотеку. Из парка

---

[1] Именно его хранитель фондов в музее И. С. Тургенева в Орле А. И. Понятовский счел возможным считать «одним из прототипов в повести «Пунин и Бабурин», человеком, учившим будущего создателя «Записок охотника» рускому языку и читавшим ему поэмы М. М. Хераскова. По другой, тоже убедительной версии — ее изложил Н. М. Чернов в статье «Из разысканий о Тургеневе» — крепостным интеллигентом, декламатором «Россиады» был двадцатилетний Леонтий Серебряков. Он упомянут в письме Тургенева как участник ночного похода в библиотеку. Но Тургенев вдруг называет крепостного друга «стихоплетом», вслед за матерью. Это может относиться именно к Ф. И. Лобанову.

Позднее в семью Ф. И. Лобанова — это признак доверия к крепостному «грамотнику»,— Тургенев помещает внебрачную свою дочь Пелагею (Полину), родившуюся в 1842 году.

На наш взгляд, обе версии внушают доверие и обе... уязвимы! Важно видеть другое: весь уклад жизни в Спасском, тяжелая и деспотичная любовь матери закономерно толкнули Тургенева-ребенка в среду угнетенных, сблизили его с крепостным книжником. Назовем его Федором.

доносился верховой шум берез, над крышей дома тревожно гудел ветер.

...Один из шкафов, после недолгих раздумий, был взломан. Ваня, держа в руке свечку, влез на плечи крепостного друга и с самого верха, куда не скоро заглянут, достал связки старопечатных книг. Одна из них была тотчас унесена в детскую. Другую — для последующего справедливого раздела — спрятали до утра под лестницей...

Ожидавшийся нетерпеливо рассвет ударил в окна. Ночная добыча — ею оказалась странная «Книга эмблем» сочинения некоего Максимовича-Амбодика — словно придавила детский стол. Она же властно вторглась в игрушечный мирок ребенка. То и дело призывая на помощь друга из крепостной передней, побрел юный читатель сквозь лес аллегорий, забывая об оплывшей свече, о сумерках, ощущая себя во власти смутных образов. Эмблемы спрашивали, «экзаменовали» барича, заставляли вслух повторять вопрос или припоминать, вычитывать вновь ответ. Это была сладостная греза. Он медленно разворачивал страницы и вдумчиво, серьезно, часто полушепотом повторял:

— Что сия эмблема значит — «сокол прилетает на руку»? Только одно: «Охотно возвращаюсь к моим любезным узам».

А купидон (амур), что, «сидя на льве, его укрощает»?

Не сразу, но припоминался витиеватый ответ: «Любовь побеждает все. Любови все возможно».

«Лев рыкающий» знаменовал великую силу. «Арап, едущий на единороге»... Он выражал почему-то «коварный умысел», а Геркулес, ведущий купидона, воплощал «единение силы и любви».

Темный язык «Эмблем» поднял со дна души ребенка целую бурю таившихся сил, пробудил неспокойную игру воображения. «Сон, что богатство: что больше спишь, то больше хочется» (В. Даль). Единороги, арапы, цари, «солнцы», пирамиды, мечи, змеи вихрем закружились в каком-то шутовском хороводе. Он сам «попадал» в эмблемы, сам «знаменовал» — повергался во мрак, сидел на дереве, сидел на облаках, сидел на колокольне.

Извечная русская няня, судьбой посылаемый гений детства, спасавший дитя и от «сглаза», «оговора», народная мера наваждениям книжной фантазии, заемному этикету — где ты? Варвара Петровна старательно отгораживала Ваничку от крепостных слуг. Окошечко в галантный XVIII век открылось,— но как тревожно глядеть в него одному! С этим «сидением на облаках», с резью в глазах будущий создатель

«Бежина луга» чуть не схватил горячки! Однажды кто-то из дворни пришел его будить, а Ваня чуть-чуть было не спросил слугу: «Ты что за эмблема?»

* * *

Крепостной «развиватель», сообщник по ночному визиту в библиотечную залу, был, по-видимому, не менее счастлив. Ему досталась «Россиада», незабвенная поэма Хераскова! «Ироическая поэма» — достойное дитя дней Екатерины... Если гений Державина, по мысли Пушкина, был «золотой» на одну четверть и свинцовый на три четверти, то Херасков и для XVIII века — сплошной, грубого металла звон, медь гремящая, опьяняющая девственные души. Но дети провидят под звоном иную реальность, соотносятся не со словом, не с фразой, а с целым миром, породившим этот вулкан риторики. К счастью, и взрослый грамотей, который ввел будущего писателя в мир русской поэзии, оказался такой же птицей небесной, которая жадно поглощала «корм»: оды и сатиры XVIII века, пила из громокипящего кубка его поэзии. Радость распирала чтеца «Россиады», ему непременно нужен был слушатель. Им и стал будущий создатель чудесных «Старых портретов» и «Пунина и Бабурина».

...В летний день, когда в неглубоких оврагах так отрадно сочились ручьи, поклонники русского слова отправлялись в сад. Пробравшись сквозь лозняк, кусты орешника, бузины, жимолости, терна на одну из изумрудных крохотных полянок с шелковистой травкой, они раскрывали дорогой старинный фолиант. Волнение преодолевалось не сразу, первые строки Федор выговаривал с каким-то «клекотом».

Пою от варваров Россию свобожденну,
Попранну власть татар и гордость низложенну,
Движенье древних войск, труды, кроваву брань,
России торжество, разрушенну Казань
От круга сих времен, спокойствия начало,
Как светлая заря, в России воссияло

Риторическая поэзия о взятии Измаила, Чесменском бое, о покорении Казани была своеобразной словесной позолотой грандиозных побед суворовских, румянцевских чудо-богатырей. Это ощущалось сразу. Сами имена героев Хераскова — Милад, Красида, Добриян, Пречет, Добров,— как и его неологизмы, наглядные словообразования вроде «молниебыстр», «мечебитцы», «всещедр» услаждали слух. Наставник избалованного вниманием барчука не просто читал главу за главой «Россиады» или «Чесменского боя». Он выкрикивал строки,

бесхитростно увлекался их гремящим строем, ритмом — этим «завороженным временем», пышностью риторики, наглядностью и «злодейств», и «величия».

Порой для того, чтобы насладиться «вкусом» строки, крепостной грамотник читал строки «начерно», как суфлер, а затем возвращался к ним. С полукриком, внезапным вставаньем на колени, подъятием руки:

Я должен почитать героя и в злодее:
Такого зрели мы в сраженьи Хассан-бея;
Как молния с мечом повсюду он летал;
Казалось, гром на нас из рук своих метал,
И лавр ему отдать мы были б принужденны,
Когда б не Россами мы были в свет рожденны...

Детское простодушие, доверчиво и изумленно внимавшее спектаклю без декораций, множилось на другое — на простодушное стихобесие крепостного грамотника... Эмоциональный эффект подобного умножения был громаден!

Сама Варвара Петровна — как поразительно тщеславие и спесь даже щедро одаренных натур! — почти изгнала из своего обихода русский язык. Даже слуг она приучала — часто невольно — к употреблению иностранных слов. И многие из них знали французский язык. Кое-кто, вроде дворецкого Полякова, знал и немецкий. Стихи она не любила, считала их чем-то непристойным и пошлым. Она даже называла их не стихами, а «кантами». Всякий сочинитель кантов, кроме Жуковского, близкого ко двору, был, по ее мнению, либо горький пьяница, либо круглый дурак.

И вдруг — такая лавина русской, ритмически организованной речи! Тайный урок пылкой, пусть и слепой немного, любви к российской словесности — слепой потому, что Державина крепостной учитель Тургенева считал больше царедворцем, чем пиитом! Чтение на полянке венчалось своего рода комментарием чтеца. Пары́ восторга истаивали в напоенном запахом цветов, плодовых деревьев воздухе спасского приволья:

— Да, Херасков — этот спуску не даст. Иной раз такой выдвинет стишок — просто зашибет... Только держись! Ты его постигнуть желаешь, а уже он — вон где! И трубит, трубит, аки кимвалон! Зато уж и имя ему дано! Одно слово: Херрасков!!!

* * *

Век XVIII — вот он, совсем рядом... О нем Ваничке говорила не только строка Державина или старинный портрет на

стене, почему-то так странно кем-то из предков проколотый — что за вспышка страстей? — трехгранной шпагой... Он царил еще и в окрестных усадьбах Орловской губернии. Как обломки декораций былых драм и трагедий, как свидетели неумеренных притязаний то и дело, среди русских берез и елей, встречались в парках обрусевшие мраморные Дианы. Замысловатые греческие портики, версальские ротонды взлетали на холмы.

Но что было раньше? До XVIII века?

Ребенок не имеет чувства своего начала. Он подхватывается рекой времени, как легкий кораблик. Лишь постепенно начинает он ощущать (по разговорам окружающих, по безмолвным взглядам предков с запыленных портретов), что в нем сгустилось особое, генеалогическое, родовое время.

...Родословная рода Тургеневых. Ее и много лет спустя, как отмечали друзья писателя, он любил не только рассматривать, но и «отламывать» ту или иную «ветвь» от родословного древа для предысторий своих героев, князей Осининых или Лаврецкого! Эта дарованная судьбой многоступенчатая «лестница» позволяла «спуститься» в темные водовороты отечественной истории. Чудесная лестница! Спускаясь по ней в век Разина или Петра Великого, «тушинского вора» или Потемкина, растеряешься от грома Полтавской битвы или блеска бала Екатерины II,— но вдруг найдется родич — поводырь, живая душа, частичка тебя самого. Отраднейшее, остро волновавшее и Пушкина чувство!

«Родословное древо» в Спасском висело в особой рамке под портретом отца писателя. Великое множество кружков, словно золотые яблоки, «висело» на ветвях, отходивших от могучего ствола его.

О рождении самого Ивана Сергеевича Тургенева Варвара Петровна сделала в своей памятной книжке такую запись: «1818 года, 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра». Это был кружочек в самой широкой, вольно раскинувшейся кроне «древа». Спускаясь сверху вниз «по стволу» и «ветвям», минуя столетия и, наконец, смыкаясь с исторической почвой, взгляд обнаружит кружочек с именем татарского мурзы *Льва Тургена* (Турги). Он выехал из Орды к великому князю Василию Васильевичу в 1440 году и тогда же принял русское подданство. При крещении ему было дано имя Ивана. Семейное предание, приукрашивая это событие, утверждает, что восприемником мурзы Турги при крещении был сам великий князь.

...Впоследствии, когда начинались в присутствии Тургене-

ва беседы и споры о невозможности встретить «чистоту» крови в аристократических, особенно подвижных, слоях любого народа, тем более культурного, Тургенев соглашался с этим. Он нередко вспоминал о шотландской крови Лермонтова, о том, что у Жуковского «мать-турчанка».

— А кто же Тургенев? — спросила его однажды г-жа Виардо.

Он ей ничего не ответил... Но не потому, что в «интересах последовательности должен был назвать себя татарином», как писал старинный биограф писателя Н. М. Гутьяр. Тургенев мог бы в качестве ответа прочесть древнюю грамоту, которая объясняла сложную символику герба Тургеневых, в сущности краткую историю рода. Как основательно перемолото было татарское зерно на мельнице русской истории! Описание это пышное, полное почтения к каждой подробности судеб замечательного дворянского рода. Но все искупает язык пояснений к знакам и символам герба. Этот язык восхищал писателя крепостью слов, прочностью красок! Стены крепостей на Руси бывали замешаны на яичном желтке; словесные краски этой летописи замешаны на пороховой гари, крови, лязге мечей!

«Под рыцарским, лазуревого цвета с золотым подбоем, наметом, увенчанным шлемом с обыкновенною золотою дворянскою короной, осеняемою тремя страусовыми перьями, поставлен щит, разделенный на четыре равные части, из коих в нижней половине в левой части в голубом поле золотая звезда из Золотой Орды происхождение рода Тургеневых показующая, над коею серебряная рогатая луна, означающая прежний магометанский закон, а над сею частию... как бы отлетающий от луны орел, смотрящий вверх,— означает удаление от магометанства и воспарение к свету христианской веры. В той же верхней половине... обнаженный с золотой рукояткой меч — в воспоминание кровавого заклания страдальца Петра Никитича Тургенева от Гришки Отрепьева самозванца за безбоязненное обличение его; в нижней половине готовый, оседланный, бегущий по зеленому лугу конь, показующий всегдашнюю рода Тургеневых готовность и ревность к службе государю и отечеству».

Мурза Лев Турген, выехавший к великому князю Василию Васильевичу (Темному) и получивший при крещении имя Ивана, оказался человеком прозорливым, искренне преданным России. Дракон Золотой Орды, «исторического пустоцвета» (Марков С. Н. Земной круг), издыхал, не завещая истории ничего, кроме хроники грабежей, дикой междоусобицы.

...Праправнук Льва Тургенева Петр Дмитриевич Тургенев — сподвижник Ивана Грозного, деятельный помощник в деле завоевания Казанского и Астраханского царств. В 1551 году он был царем послан к ногайским мурзам и князьям, чтобы отговорить их от союза с казанским царем, «претерпел в орде от князя Юсуфа (отца казанской царицы Суюнбеки) великое поругание и был ограблен».

Федор Тургенев «на коне с пищалью и саблею был в службе под Смоленском» и в литовском походе 1643 года. Сын его, как свидетельствуют разыскания Б. В. Богданова, бывшего директора музея в Спасском-Лутовинове, Василий Федорович в 1694 году за усердие у великих царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича грамотой жалован с перечислением заслуг всего рода: «За службы предков отца его и его, которые службы и ратоборство, и храбрость, и мужественное ополчение, и крови, и смертие — предки и отец его, и сродники, и он показали в прошедшую войну».

Особенно дорожил Тургенев-писатель памятью Петра Никитича Тургенева. По семейному преданию, он в Смутное время в 1609 году дерзко ответил на «прельстительные» речи Лжедмитрия в Москве: — «Ты не сын царя Иоанна, а Гришка Отрепьев, беглый из монастыря, я тебя знаю...»

Ревность к службе отечеству, верность присяге, неустрашимость, находчивость Тургеневых — стольников, воевод, начальников приказов, капитан-исправников при Екатерине II — была поистине родовой чертой. Тимофей Васильевич Тургенев, сидевший воеводой в Царицыне (он был стряпчим, что равно было званию подполковника гвардии), в дни разинского восстания в 1670 году, когда отряды сподвижника Разина Васьки Уса проникли в город, заперся вместе с десятком стрельцов, с прислугою в башне... Степан Разин приехал в город, устроил шумную попойку для собратьев, угостившись и сам допьяна. И в довершение шумного пиршества восставшие начали штурм башни, который, конечно же, возглавил Разин! Тимофей Васильевич Тургенев после штурма был единственным, кто уцелел в жаркой схватке. В разгар озорного увеселения Васька Ус стащил упрямца воеводу на веревке к Волге, проколол копьем и утопил.

Позднее, повышенное внимание к гербам, к геральдике, как и к древнерусскому костюму, шапкам-мурмолкам, к бородам вызывали лишь иронию Тургенева, как вид духовного плена.

Но народ — живое тело истории, его деяния, его страсти, природные и живописные, он всегда любил.

* * *

...Еще один поворот колеса времени — и вновь XVIII век. Любознательному мальчику не нужно было лезть на чердак, чтобы искать, как И. А. Бунину, дедовскую или прадедовскую саблю, бродить в странной тоске по разоренному Суходолу, старой отцовской усадьбе, где «все было черно от времени», где рождались сны сильнее яви... Для него XVIII век то и дело бросал свой алмазный блеск — строкой старинного крючкотвора, хрупкой статуэткой... Шут Петра Великого Яков Тургенев в новый 1700 год обрезал ножницами у плачущих от стыда бояр их огромные бороды, чем «по-своему послужил делу просвещения». Стольнику Ивану Григорьевичу Тургеневу Петр Великий предписал в 1713 году отправиться на остров Котлин — обживать и укреплять завоеванную у шведов землю на Балтике. А другой Тургенев? Родной прадед Ивана Сергеевича — Алексей Романович, попавший в плен к туркам? Красивейшего пажа Анны Иоанновны ревнивый Бирон «упек» на очередную русско-турецкую войну. Все было — и трагическое, и водевильное — в летописи рода. Алексей Романович, попав в плен к туркам, мужественно отверг все предложения перейти в магометанство. Но в конце концов, как байроновский Дон-Жуан, этот Тургенев оказался в приятном, но и опасном месте, где-то возле султанского гарема и трона. Султан еще нежился в гареме, а ловкий, находчивый Алексей Романович уже готовил ему кофе, раскуривал трубку... И век бы ему окуривать себя сладким табачным дымом, вдыхать кофейные запахи, постигать смысл шепотов и взглядов, интриг двора и капризов жен, но... Им увлеклась султанша, передала ему кошелек с деньгами и даже — какова причуда женского сердца! — нашла провожатого для бегства. (Как было не вспомнить Тургеневу этот «водевиль», уже написанный жизнью, при сочинении для Полины Виардо в 1867 году либретто забавной оперетты «Слишком много жен», в которой французский офицер проникает в гарем паши Зулуфа, «прогрессивного» владыки, решившего, как европейцы, иметь одну жену!)

Где-то на переломе между XVIII и XIX веком честный и неустрашимый род Тургеневых рухнул, разорился «страшно и всеконечно» и не вошел больше в силу.

Отец будущего писателя, храбрый гусар Сергей Николаевич Тургенев, сын хозяина деревеньки Тургенево с 210 душами крепостных, ничем уже не обладал, кроме герба, знания языков да редкой красоты. Деда его — пажа Алексея Романовича — красота спасла. И когда Сергей Николаевич появился в

Спасском, чтобы купить лошадей со Спасского завода для полка, над обнищавшим родом Тургеневых неожиданно воссияла спасительная звезда... Некрасивая, сутуловатая, правда, с удивительными, словно искрящимися глазами хозяйка Спасского Варвара Лутовинова сразу влюбилась в него. Она была старше Сергея Николаевича на пять лет, близость счастья делала ее деспотично-настойчивой. К тому же она жила в те годы, когда мундир торжествовал на всех сценах жизни — от гостиной вельможи до избы станционного смотрителя. И вечная надежда — найти под блистательным одеянием блистательную душу — определяла многие взрывы чувств. Не веря в обещание Сергея Николаевича заехать еще раз, не по делам, а «просто в гости», Варвара Петровна, владелица почти 5000 душ, взяла у красавца офицера портупею... Чтобы «обещание было вернее»!

Впрочем, у нее был сильнейший союзник — отец Сергея Николаевича. Узнав о явном желании богатейшей, но не молодой уже помещицы выйти замуж за его сына, он, согласно семейному преданию, встал на колени перед сыном со словами:

— Женись, ради бога женись на Лутовиновой, а то мы скоро пойдем с сумой!

* * *

Чтение родословной в захудалой деревеньке, с раскрытыми к весне кровлями изб, с голодным скотом, угрюмой малочисленной дворней, плохо питает... Но очень трудно, видимо, решался блестящий офицер-кавалергард, окончивший службу полковником, на безрадостный, с его точки зрения, брак. Вообще отчаянные гордецы жили нередко в самых обедневших усадьбах. В повести популярного тогда среди барышень и романтических поручиков Марлинского «Ревельский турнир» (1825) наследника славного баронского герба с трудом уговаривают выдать дочь за купца:

— За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба?

— У него их тысячи, барон, и все на *золотом поле*...

Ох, уж это «золотое поле»? Нельзя жизнь прожить, чтобы это поле искушений не перейти, хоть частично...

Тургенев не напишет романа, в котором бы он специально, как создатель «Анны Карениной», любил «мысль семейную». Но очень рано рассмотрит он — и прежде всего в среде степняков-орловцев — различные варианты и мезальянсов, и гор-

деливого отвращения от «золотого поля» и все изломы душевной жизни в условиях семейного компромисса.

Устоявшие перед искушением, превратившиеся вдруг из представителей знатного рода в безнадежных, вульгарных бедняков, столбовые дворяне претерпевали нередко эволюцию незабвенного Пантелея Чертопханова: «Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями,— богатых он стыдился, бедных гнушался,— и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями: я, мол, столбовой дворянин» («Чертопханов и Недопюскин»). Все было им потеряно. Кроме чести...

А что бывало со ступившими, как тот майор в известной федотовской картине «Сватовство майора», на презренное вначале, купеческое «золотое поле»? Иные из гордецов с древним гербом, сдавшиеся золотому тельцу, быстро и резко менялись. Как выяснялось позднее, они в последний раз, в той прихожей купеческого дома, перед сватовством, лихо и гордо крутили усы. В дальнейшем эти страшные усы топорщились чисто формально и пугали разве что детей. Все было ими приобретено. Кроме... чести.

Но бывали и не смирявшиеся даже в семейном уюте, среди темной, имеющей родословную в амбарной книге родни. Они ступили на «золотое поле», покорились внешне, но остались в холодном пренебрежении к душноватому опрощению ума, чувств. Не все отдавали они в обмен на благополучие, в них не гасла какая-то жгучая обида. На кого? Они и сами не знали... Но помнили, что «были и наши рога в торгу»... Это рождало скрытые драмы. Начинался поиск «возмещения» за уступки, шел отчаянный поединок самолюбий, некий «бес» приготовлял возмездие, рождая ревность, толкая на измены. Часто обоюдные...

Отец Тургенева после колебаний внял совету отца и женился на Варваре Петровне[1]. И началась довольно тревожная, особенно в последние годы Сергея Николаевича жизнь. Впоследствии, в период вдовства, Варвара Петровна будет с мучительной гримасой, гордостью и самоутешением посвящать

[1] В 1816 году Сергей Николаевич Тургенев и Варвара Петровна обвенчались в церкви Спасо-Преображенья, в селе Спасском-Лутовинове. Подробность? Но какая характерная! Была возможность обвенчаться в Орловском соборе, а не в Лутовиновской вотчине... Но, увы, смирить себя хозяйка Спасского не догадалась. При всей пылкости любви и уме Варвара Петровна не забыла оставить раздельным имущество, а венчаньем хотела, видимо, намекнуть, что и бог там же, где «главные деньги»... Косо, кривобоко ставилось строение этой семьи!

Ивана Сергеевича во все, очевидно, немногие счастливые эпизоды жизни, пылко преувеличивая любовь мужа:

«У меня есть похожий портрет отца и непохожий. На непохожий я взгляну и скажу ce n'est pas lui[1]. Но! — на похожий я не могу взглянуть, вся кровь прильнет к сердцу. Он в отсутствии навсегда» (30 июля 1838 года).

«А отцов кабинет тих, уединен, никто в него не войдет без ведома. Это моя могила тут, я молюсь за отца и с ним беседую мысленно... Только на Смоленском кл. бываю я счастливее» (14 октября 1839 г.).

«Ежели не из лучших (то и) не из худших,— как говаривал твой отец обо мне.— Мою бабу из десятка не выкинешь» (19 июля 1843 г.).

Варвара Петровна — и какой страстный стиль, огонь в словах, прелестная их путаница! — напоминает и о поездке семьей в Швейцарию, во время которой четырехлетний Ваничка едва не свалился в Берне в яму с медведями: отец успел схватить его за ногу. Ей мучительно сладко, до беспамятства отрадно оживлять все в прошлом.

«...Не письмо,— сетует она на ответ сына из Германии в 1838 году,— а описание Страсбургской колокольни, которое наизусть знаю. Целый месяц жила я в Страсбурге, потому что отец ездил в Швейцарию за гувернером вам... И ни слова об органах, которые меня в мою бытность приводили в неизъяснимый восторг, хотя я прежде слышала дрезденские... Мне казалось, что глас трубный воззвал мертвых и требует отчета»[2].

О каком же характере говорит «похожий» портрет Сергея Николаевича?

...С этого портрета, висящего в одной из комнат Спасского, на нас и сейчас глядит удивительно красивый офицер, не одетый, а словно наряженный в белый конногвардейский мундир, с галстуком, который без узелка кокетливо обматывает белую лебединую шею. Взгляд какой-то неуловимый, русалочий — светлый и загадочный, на чувственных губах теплится едва заметная печоринская усмешка. Кажется, что он только что получил и прочел долгожданное любовное послание.

Снисходительно, но без высокомерия, зная, как пламенно любит его некрасивая, так жаждавшая выйти замуж Варвара Петровна, он посматривает на мир, на свой семейный уклад. Он, кажется, помнит, что повез жену в Париж. Зачем? Придать ей лоск... Но увы, он лишь слегка «нафранцузил» ее. Можно предположить, что после этого он, видимо, махнул

---

[1] «Это не он» (пер. *с франц.*).

[2] Здесь и далее фрагменты писем В. П. Тургеневой, хранящихся в музее И. С. Тургенева в Орле, публикуются впервые.

рукой — смесь французского с орловским оказалась еще хуже, чем чистые орловские черноземы, чем природное «лутовиновское» своенравие. Даже после того как родились два сына — в 1816 году Николай, в 1818-м — Иван, Сергей Николаевич оставался столь же холодным, независимым, как и раньше. Он, видимо, то и дело плел свои донжуанские кружева — то с дамами из Орла, Мценска, Москвы, то с крепостными, не забывая, правда, забот о детях, не утрачивая связей с культурнейшими людьми Орла.

«Отец мой был великий ловец перед господом»,— говорил Тургенев о недоступном, холодном красавце отце. Он наблюдал его до 1834 года, когда отец в возрасте сорока двух лет умер. И многое запомнил.

Запомнил чудесную способность отца преображаться, едва слетало на него вдохновение любовной игры, едва приближалось «божество», способное вселить страсть нежную. В роли «ловца» в его манерах, речах появлялось что-то очаровательное, «неземное»! Он становился и ласково-настойчив, и деспотичен, и капризен, и как бы беспомощен, почти смертельно ранен. Словом, играл на множестве струн спавшего чаще всего до этого женского сердца. А что может быть благодарнее женского сердца? Впервые забившегося, осознавшего звучание всех струн своих? Большинство женщин и живет, и умирает, не узнав, вероятно, себя. И случайно ли Зинаида Засёкина в «Первой любви» после невероятного — любимый человек ударил ее хлыстом по обнаженной до локтя руке — лишь вздрогнула, «молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевшийся на ней рубец»? Много, очень много смысла, даже таинственного, в шутливой пословице о милых, что «бранятся — только тешатся»! В нелюбимом отвратительны даже добродетели...

...В воспоминаниях Ивана Тургенева, правда, как-то улетучиваются важные психологические реальности. Он опускает многое. Сергей Николаевич не был однозначен: он участвовал в Бородинской битве, где «храбро врезался в неприятеля и поражал оного с неустрашимостью», причем был «ранен картечью в руку». Как-то забыл Тургенев и о том, что «вне роли, предписанной им отцу, вне его «донжуанизма», скажем, оказывается отцовские настоятельные требования, обращение к сыновьям в годы учебы: «Вы все мне пишете по-французски или по-немецки,— а за что пренебрегаете наш природный? Если вы в оном очень слабы, это меня очень удивляет. Пора! Пора!»

Многое улетучилось, сгорело в огне вечных раздумий и догадок писателя о любви, женском сердце. И отец в памяти

Тургенева выглядит бабочкой, вечно летевшей на огонь, много сил души и сердца отдававшей «игре любви и случая», с тревогой предупреждавший сына незадолго до смерти: «Бойся женской любви, бойся этой отравы...»

Запомнить это любовное вдохновение, изменчивый талант «ловца женских душ» Ивану Сергеевичу было, в известной мере, нетрудно: он сам не мог жить, не передоверяя нежным женским сердцам, нянькам его души, своих тревог, сомнений, капризов, болезней, не согреваясь в лучах ответной привязанности! В сущие медицинские бюллетени (о подагре, «пузыре»), в отчеты о прочитанном и увиденном превращаются десятки писем седовласого великана-волшебника! Лишь «отраву», любовный напиток — могущее сжечь его чувство — он умело и грациозно отклонял от уст своих, предпочитая не «отраву», а некий тонко опьяняющий «лимонад»...

* * *

Скрытый драматизм жизни родителей, косо поставленный фундамент семьи ощущается и детьми, и дворней, быстро усваивающей «двоедушие». Неправильно начатая совместная жизнь и дальше текла напряженно, тревожно для всех. Стерпится — слюбится... Но при условии, если обе стороны будут меняться, сглаживать свое «я».

Варвара Петровна понимала, что ее красавец муж не очень охотно вводит ее в круг своих знакомых. И главное, он, неотразимо-очаровательный, моложе ее на пять лет, не утративший восторга перед чудом женской красоты, ничуть не изменился. Какие же бури душевные, обиды и порывы к мщению проносились, клокотали в ее отнюдь не кроткой, скорее «лавбетовской» душе? И что откладывало все это в характер писателя?

Как щепка в пучине родительских страстей плыл он, впечатлительный и чуткий ребенок, предоставленный заботам гувернеров, крепостных учителей. Он жил, многому изумляясь, невольно страшась жизни, преждевременно утончаясь, делаясь хрупким до безволия и одновременно замкнутым. «Овечья натура», как называл себя писатель, сложилась весьма натурально, незаметно. Детство, которое могло быть золотым, не стало таковым.

...Странной любовью любила Варвара Петровна детей, особенно Ивана. Излюбленную формулу: «Солнце моей жизни» она с вариациями такого плана: «Мне хочется, как цветку, погреться на солнце, а мое солнце — ты», — повторяла многократно. Но вся беда состояла в том, что живой, впечатлительный, наделенный какой-то редкой правдивостью мальчик не

«вписывался» в ее деспотично проводимые планы. Он не нес в себе никакой гордыни, не был тщеславен, заносчив и своей естественностью то и дело «подводил» ее. Варвара Петровна испытывала, например, какое-то неизъяснимое блаженство, когда гости высказывали лестные соображения о будущности именно Ванички. И ожидание таких похвал толкало ее, пылкую провинциалку, на то, чтобы непременно «представить» мальчика тому или иному гостю, не считаясь с желаниями, особенностями его ребячьего характера. И что же?

Представили раз мальчика в Москве почтенному старцу и предупредили, что это «сочинитель Иван Иванович Дмитриев». Надо было показать ученость, вкус ребенка — для этого заставили его прочесть вслух одну из дмитриевских басен. Иван прочел перед автором его басню, но, ведомый манией справедливости, все же брякнул после декламации:

— Твои басни хороши, а Ивана Андреевича Крылова — гораздо лучше.

Ужас матери, смущение ее «высказались» на привычном ей «языке» — он был высечен[1].

Постоянные приливы и отливы доброты и тщеславия, припадки нежности и одновременно желание испытать его «на покорность» скоро навсегда оттолкнут ребенка от матери. Он подолгу, уже в Спасском, остается наедине со своими думами, с печальными, «текучими», часто разорванными впечатлениями. Просыпающееся сознание рано изведало дух анализа, сомнений. «Яблочко» от «яблони» стало откатываться все дальше и дальше.

* * *

...Варвара Петровна — в особенности после смерти Сергея Николаевича, когда обида смешалась с покаянием,— нашла обширное и целиком подвластное ей поприще для самовыражения. Темная лутовиновская «дикость» подсказала направление самоутверждения.

---

[1] В другом случае впечатлительность мальчика толкнула его на еще более неожиданную выходку. Варвара Петровна вновь представила его, нарядного, почти «игрушечного», важной старухе — светлейшей княгине Голенищевой Кутузовой-Смоленской. Старость своеобразно «изломала» ее, придала старческой внешности княгини чрезвычайно оригинальный характер. Что вообразил, что передумал пораженный этой внешностью ребенок? То ли она показалась ему странным корневищем, то ли закутанным в атлас «кактусом»... Судить трудно, но проникнуться общим благоговейным почтением он не смог и на этот раз. И, повергнув в ужас мать и окружающих, заявил вдруг с чудовищной откровенностью знатной старухе:

— Ты совсем похожа на обезьяну!

Власть. Она получила ее вместе с наследством дяди. Взяла то, в чем ей, в унижениях сиротства, было не только отказано, но что причиняло, находясь в чужих руках, множество горестей. «Варвара Петровна будет не просто повелевать и властвовать — это будет долголетний припадок самовластья, упоения своей силой, самозабвения среди трепета и ужаса подвластных. Вторая половина ее жизни станет местью за невозвратимо загубленную молодость, за пережитое рабство»,— писал Ив. Иванов, один из предреволюционных исследователей творческого пути Тургенева.

В незавершенном очерке «Реформатор и русский немец», предназначавшемся для «Записок охотника» (1847), герой-повествователь скажет об одном реформаторе-помещике: «...вы, если смею так выразиться,— вы хотите быть маленьким Петром Великим Вашей деревни...»

Варвара Петровна претендовала на роль маленького Николая I.

С чего начинался обычный день в Спасском?

Убегая от гувернеров в пристройки для дворовых, в сад, к погребице, где с пароконных подвод крестьяне сгружали привезенные припасы, Ваня узнавал о многом, связанном с образом действий матери.

О том, что барыня опять «поменяла» имена лакею или конюху, Калистрат потерял имя, данное ему при крещении, и стал Петром.

Доходили до него и глухие слухи о судьбе горничной Агаши, которая ослушалась барыни, не терпевшей детей, и оставила при себе своих крошек. Ее крик, бессвязный, отчаянный, он мог слышать и сам:

— Хоть в Сибирь, хоть на поселение, а с детьми... детей нельзя... я не дам детей! Куда хотите, а я их лучше задушу своими руками, а не отдам — что им без матери!

Создав свою малую «империю», Варвара Петровна, при всем уме, отвела себе в ней роль самую презренную в глазах сыновей — роль «наследственного полицмейстера»! Очень изобретательного в способах мучительства.

Мир души будущего художника, мир своеобразнейший, бесконечно богатый опытом сочувствий, страданий и нежности, сложнейшими жизнеощущениями, развивался в соседстве с иным миром, где унизить и сокрушить робкие надежды, обездолить вдруг вчерашнего счастливца казалось апофеозом власти! Все детство Тургенева — лихорадочное время, когда самые противоположные чувства, помыслы, надежды роем возникали в душе, искали отклика и не находили его.

Все, к чему прикасалась мать, даже заботясь о сыновьях,

мертвело, тускнело, становилось неинтересным. Ваня ощущал, что его помещают в золотую клетку, медленно убивают доверчивость и открытость. И совсем не случайно А. А. Фет, переживший во взаимоотношениях с Тургеневым целых три этапа — влюбленно-лирический, с 1867 года холодновато-эпический, а затем и драматический, на грани полного разрыва,— напоследок написал Тургеневу, словно заглянув в его детство: «Раскланиваясь навсегда, я все-таки не смешиваю милого, талантливого автора «Записок охотника» с формой enfant terrible (ужасного ребенка), в которую отлили последнего неблагоприятные в воспитательном отношении условия жизни» (из письма А. А. Фета И. С. Тургеневу 12 января 1875 г.).

...Рождалась привычка жить из самого себя, все созерцая, но ничему не подчиняясь до конца, от всего испытывая *впечатление*, но ничему не принося себя в жертву, любя многое и одновременно находя комические слабости в любимом предмете. Невероятные сказки, волшебство игры, наконец, музыку — все мобилизовал он, чтобы остаться со своей, к концу жизни все более «постылой» свободой, не попасть в положение «связанного человека» — связанного добровольно принятой догмой, узкой меркой прогресса, поклонением мужицкому «зипуну» или, наоборот, английской конституции. Оставьте мне мои слабости, мои странные влечения, мою тоску,— мне неуютно, трудно в ваших идущих стенками одна на одну ратях! Скучно в «толстовстве», скучно среди мессианских пророчеств Достоевского, ужасно в словесной риторике Бакунина, для которого любой разбойник — уже революционер...

Не скучно только в мире природы...

Сад и парк в Спасском, окрестные поля и леса — первые страницы книги Природы, которую Тургенев не устает читать всю жизнь. Природа Спасского — и эти березы с атласно-нежными в летний зной стволами, испещренными, как письменами, чернью, и прочные в фарфоровой белизне ландыши, и зимние метели, которые яростью как будто хотят донести до человека свою затаенную мысль,— эта природа рвется навстречу человеку. Она жаждет объясниться с ним бессловесными намеками цветов, безмолвными мелодиями своих композиций. Нет, никогда она не пугала, не страшила идущего по спасским аллеям Тургенева — ребенка, студента, охотника. Вместе с крепостными наставниками он уходил по тропам, дорогам, ведущим в поля, туда, где летом тихо зыблется рожь, откуда видны почти затерявшиеся в хлебах деревушки. И запомнит он, что соломенные крыши в этих совсем не идиллических деревушках кругом пробуравлены воробьиными и галочьими гнездами, что на крышах часто рос зеленый мох. Сколько

русской души, воображения, наконец, плоти языка взято из этих спасских лет!

Иногда отец брал Ивана — еще ребенка — на охоту. Обжигал лицо холод первых заморозков, иней лежал на пожухлой, омертвевшей траве как крупная соль... У знакомых прудов, на спусках к которым так пышно разрастались летом орешник, жимолость, терновник,— одни голые лозы; вода ледяная, но так прозрачно, светло, так невесомо все вокруг. Если охота случалась в августе, мальчик спешил забежать вперед и указать отцу на царственных дроф. Желание быть близким отцу, преодолеть отклоняющий всякую нежность жест было, видимо, так велико в нем в те годы, что в часы охоты он, любивший рвать незабудки, кашку, журавлиный горох, полевые гвоздики, стеснительно, по-мужски важно проходил мимо травяного богатства. Рвать цветы — не достойное охотника дело![1]

* * *

В «Мемориале» — своеобразной летописи важнейших событий своей жизни — Тургенев запишет о двух — 1833 и 1834 годах — так:

«1833. Новый год в Москве. (Первая любовь.) Княжна Шаховская. Я себе ломаю руку.— Определение в Университет. Перепутье.— Житье на даче против Нескучного.

1834. Новый год в Москве. Университет... Брат определяется на службу.— Маменька уезжает за границу. Переезжаем в Петербург.— Смерть отца 30-го октября. Сочинение — «Стено» (!)».

Трагическими, резкими для впечатлительного юноши событиями отмечены последние месяцы 1833 года, хотя внешне жизнь семьи шла бестревожно, как обычно. Сыновья готовились «выпорхнуть» из пансионов — один (Николай) на военную службу — он попал в артиллерийское училище; другой (Иван) — в учебное заведение. Затребованное и на Ивана в августе 1833 свидетельство о рождении («на изъясненный токмо предмет») убеждало, что у родителей была мысль о военной карьере и для Ивана. Во всяком случае, отец требует от сыновей воли, изживания вялости, пассивности, обретения «железа» в характере... «В полку будешь ты несчастлив, если в тебе

[1] Егеря, охотники заметили страсть ребенка к возне со всяким зверьем, птичьим миром. «Они и начали посвящать мальчика в свое занятие, рассказывая про охотничьих птиц и иллюстрируя свои импровизированные лекции только что добытыми экземплярами вальдшнепов, бекасов, дупелей, уток. Сильно действовали эти рассказы на впечатлительную душу ребенка: не раз и во сне грезились ему птицы» — так записал рассказы очевидцев И. Ф. Рында.

оправдается русская пословица — с чем в колыбельку, с тем и в могилку»,— пишет он Николаю.

Отец заботлив, он как будто спешил вразумить детей, зная, что мало дней осталось ему быть с ними. «Вас поместил отец, начальник семейства»,— смиренно, в избранном раз и навсегда духе вспоминает позднее обо всем Варвара Петровна.

Никакого легкомыслия, все делалось серьезно, с полной самоотдачей родительских сил. Создается впечатление, что отец стремился хоть отчасти увековечить себя в детях, оспорить, изгнать их них дряблость, вялость, овечью безропотность.

Современные исследователи, и прежде всего Н. М. Чернов, А. И. Понятовский, В. А. Громов, установили, что именно благодаря отцу Тургенев уже в детстве был своеобразно введен и в художественную, и в социально-политическую атмосферу времени. Товарищем С. Н. Тургенева по полку, например, был Р. Е. Гринвальд, занимавшийся расследованием обстоятельств дуэли и смерти А. С. Пушкина. Отец был хорошо знаком с В. А. Жуковским, а М. Н. Загоскин, директор московских театров и автор известного романа «Юрий Милославский», был его закадычным другом. Кстати говоря, М. Н. Загоскин был соседом Тургеневых — он жил в Гагаринском переулке на Арбате, дом его незадолго до этого посетил Пушкин. Еще в молодости, живя в Петербурге, Сергей Николаевич дружил с поэтом Ф. Н. Глинкой и получил от него книгу «Письма к другу». Декабрист Н. И. Тургенев подарил Сергею Николаевичу первое издание своей книги «Опыт теории налогов». В 30-е годы среди его друзей — семья сенатора М. М. Бакунина, старшая дочь которого Евдокия считалась одно время невестой А. Мицкевича, поэт И. И. Дмитриев, князь А. А. Шаховской.

Варвара Петровна — как справедливо отметил первооткрыватель многих подробностей действительной драмы Н. М. Чернов — отчуждена от всего этого. У нее какая-то своя жизнь. Вероятно, не очень естественная, не вполне нормальная.

Какие муки, удары выносила она в состоянии ревности, обид, неудовлетворения! Слуги обычно удалялись, замолкали при ссорах супругов. Возможно, были среди них и добровольные «наушники», сплетники, «работавшие» на оба стана. И братья — Иван и Николай — порой вынуждены были осмыслять то, чему невольно становились свидетелями.

Иван видел порой, как мать упрекала, неловко краснея, отца, а он вспыхивал и говорил какие-то жестокие слова, напоминавшие, видимо, о «безлюбовном» начале их жизни,

о разнице во всем. Слуги нередко понимали все, даже если разговор шел и по-французски.

— Якобы об ихних летах,— услужливо пояснял какой-нибудь буфетчик. И нередко добровольно прояснял истоки ссоры, причину ревности:

— А произошла вся беда от безымянного письма; а кто его написал — неизвестно; а то как бы этим делам наружу выйти, причины никакой нету.

Мальчик холодел, замирал и спрашивал у всезнающей прислуги об «этих делах»:

— Да разве что-нибудь было?

Слуга многозначительно, гордясь посвященностью и догадливостью, пояснял, мигнув и оглянувшись по сторонам. Он явно гордился тем, что, хотя разговор шел по-французски, ему понятно все:

— Было. Таких делов не скроешь; уж на что батюшка ваш в этом разе был осторожен — да ведь надобно же примерно карету нанять, или там гостиницу приготовить, или иное что... без людей, без лишнего глаза не обойдешься...

В 1833 году — по многим источникам так получается — родилась Варенька Богданович, которую многие считают — Н. М. Чернов, самый осмотрительный из исследователей, не исключает этого — дочерью Варвары Петровны и доктора А. Е. Берса. Неверность мужа вынудила оскорбленную женщину решиться на столь необычный, но вероятный — зная «лутовиновскую старину!» — протест... Протест, сломивший во многом эту несчастливую женщину.

После смерти матери Тургенев прочтет дневник Варвары Петровны и напишет о нем Полине Виардо:

«С прошлого вторника у меня было много разных впечатлений. Самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери... Какая женщина, друг мой, какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да простит ей бог все!.. Но какая жизнь!.. Право, я совершенно потрясен».

Дневник — это страсть, изреченная, изложенная на бумаге... Но какова была эта страсть в действительности, если... Если она буквально прожигает бумагу...

Мятущаяся, измученная, не знающая, как оправдаться перед детьми, женщина пишет, в сущности, послания к ним. Пишет, естественно, не без воздействия некоего книжного образца, экзальтированно, даже театрально, но эти преувеличения искренние, они вытекают из ее характера!

В чем она считает нужным оправдаться?

В конце 1833 года Варвара Петровна принимает решение ехать лечиться за границу. Какие-то обстоятельства заставля-

ли ее спешить: первоначально путешествие даже было намечено на зимние месяцы, менее всего подходившие для подобной поездки. Ни Сергей Николаевич, ни его брат Н. Н. Тургенев не могли сопровождать Варвару Петровну. «Считалось, что из-за детей, нуждающихся в присмотре,— писал Н. М. Чернов в статье «Повесть И. С. Тургенева «Первая любовь и ее реальные источники».— Вернулись они (Варвара Петровна и ее спутники, среди которых был сосед П. Черков и мать А. Берса.— *В. Ч.*) почти через год. Сергея Николаевича Тургенева уже не было в живых. Он умер в октябре 1834 года после страшных мучений, вызванных «каменной» болезнью. В родственных и близких кругах Варвару Петровну осуждают за то, что она уехала от больного мужа и от детей».

Но что значили эти осуждения перед ее собственным судом! К тому же покаяние смешалось с трогательной заботой о девочке, с какой-то весьма неясной досадой. Может быть, такие записи вообще не подлежат оглашению: их звуки хороши для одной души, может быть, двух, но на миру они все теряют...

«Тебе известно несчастье ее рождения, о Мария, но твое святое участие не станет от этого менее нежным и всепрощающим, вина матери не будет вменена ребенку, и в твоей неистощимой кротости ты решишь, что угрызения совести виновной женщины могут заслужить ей прощение.

Мой брак бесплоден навсегда, вечная пропасть между моим ложем и ложем человека, имя которого я ношу.

Позволь же, о Мария, перенести на ребенка, которого я сейчас целую, всю любовь, что я дала бы нашим законным детям. Не бойся, пресвятая Мария, что в безумной, тщеславной забывчивости я перестану хоть на миг раскаиваться».

Самое обидное, вероятно, состояло в том, что и «месть» Варвары Петровны слабо интересовала Сергея Николаевича. На просьбы Ивана Сергеевича рассказать о всей драме, о тревогах ее мать почему-то с раздражением отвечала: «Да что я тебе за конфранданка! Разве нет у тебя брата родного, дяди! Что ты мне напеваешь старую песню. Княжна Ш...[1] да будет

---

[1] Эта роковая Екатерина Львовна Шаховская — в то время 19-летняя девушка, племянница драматурга А. А. Шаховского — ненадолго пережила отца Тургенева. В 1835 году она вышла замуж, а через девять месяцев и одиннадцать дней, в 1836 году, умерла. Могила этой женщины, «первой любви» Тургенева, увековеченной в замечательной повести, волей случая оказалась рядом с его могилой на Волковом кладбище. И эпитафия на ее надгробии — поразительно «тургеневская», немного пышная, элегичная, созерцательная:

«Мой друг, как ужасно, как сладко любить!
Весь мир так прекрасен, как лик совершенства».

проклята память о ней! Да разве ты не знаешь... она бедного и честного человека, мужа больной жены...»

Княжна Ш... (Шаховская) — это и есть та «злодейка», что погубила отца, что сделала его равнодушным даже к ее «мести».

«Размолвка между супругами приобрела, по всей видимости, характер, близкий к разрыву»,— замечает Н. М. Чернов. Тем более что, судя по некоторым письмам Варвары Петровны к Ивану Сергеевичу 1839 и 1840 годов, она знала о «загубительнице» мужа, о виновнице и его страсти, и его угрызений совести перед детьми, и, как считала Варвара Петровна, даже смерти его.

Все узнавалось отрывочно, с мукой...

В ответ на сообщение Ивана Сергеевича из Италии, где он в 1840 году путешествовал, о том, что Александра Ховрина (его знакомая) увлекается стихами, Варвара Петровна резко ответила: «А, эти поэтки... Ох! Оне мне... Выйдет Шаховская. Уморит и супруг, и детей оставит, и своих и чужих, сирыми» (9 ноября 1840 г.).

В копии письма Варвары Петровны от 28 марта 1839 года, весьма неразборчивой, вымаранной, читаются следующие обрывки фраз: «...злодейка писала к нему стихами, когда он уехал... Несчастный... замучила совесть... кончил жизнь насильственной смертью...»

Смерть Сергея Николаевича примирила ее с ним, все вдруг стало мертвым без него.

БЕЛЫЕ НОЧИ ПЕТЕРБУРГА

Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей, *дроби жизни* мы откидываем: надобно и их принимать в расчет...

П. А. Вяземский. Старая записная книжка (1878)

В молодости все силы души направлены на будущее... Одни понятия и разделенные мечты о будущем счастье составляют уже истинное счастье этого возраста...

Л. Н. Толстой. Отрочество (1854)

...В 1833 году пятнадцатилетний Тургенев явлен был родителями на вступительные экзамены в Московский университет. Сладостные идиллические времена, когда дворянских баловней «наукой не мучили», стали к той поре таять, как миражи, уходить в прошлое. Высочайший указ 1831 года предписывал подвергать усадебных митрофанов серьезному испытанию по предметам полного гимназического курса. Строгость, казалось, прожигала казенную бумагу, устрашала доверчивых. И из 167 поступавших в 1833 году было зачислено в студенты — среди счастливцев был и Тургенев — только 25 человек.

Грозно, внешне по-новому мела новая метла! Но кто из непринятых дворянских юношей не знал, что все привилегии университетского диплома ничто, и даже меньше, чем ничто, по сравнению с привилегиями рождения, тем более богатства, связей! Не науки, увы, юношей «питают», а карьера... С одной стороны, кто из принятых, из «счастливцев», не увидел в первые же дни учебы, как быстро на Руси всяческая строгость «одомашнивается», опрощается, становится чисто формальной: ведь ценность науки в империи Николая I оставалась чем-то неопределенным, странным. Ее поддерживали по инерции как некий «фасад», чтобы... не ударить в грязь лицом перед Европой! Чтобы не разрушать дела, начатого великим Петром I, «матушкой» Екатериной... Нужды в ученых, в юристах, тем более в знатоках римских древностей, даже в инженерах (эту потребность создаст реформа, развитие промышленности!), николаевская бюрократия вплоть до Крымской войны не осознавала. Негласным правилом было: нельзя отделять знание от... канцелярии, выпускать его из коридоров власти. Отделишь — и кто его возьмет?

Эта атмосфера ненужности, какой-то «неактуальности» знания определяла и отсталость методов обучения, устарелость программ.

Один из важнейших для Тургенева предметов — русская словесность — и в 1833 году отставал от времени на полстолетие.

В самой жизни все более явно журнал спорил с кафедрой, и И. В. Киреевский заметил, что «изящную словесность заменила словесность журнальная...» К худшему *это* или к лучшему — другой вопрос. В университетском же курсе не отводилось места даже Пушкину, а образцами красноречия служили проповеди Стефана Яворского и Дмитрия Ростовского. Владимир Станкевич, учившийся ранее Тургенева в Московском университете, шутливо писал о ревнителе старины профессоре Каченовском:

За старину он в бой пошел,
Надел заржавленные латы,
Сквозь строй врагов он нас провел
И вывел прямо в кандидаты.

«Латы» были действительно устарелые, заржавленные. И не у одного Каченовского. Многие наставники стремились в 30-е годы оградить юношество от соблазнов французской революции 1789 года, от «ужаса безначального правления, пагубы междоусобий, бешенства мнимой свободы и безумного алкания равенства».

Но строй прельстителей юношества, жаждущих вмешаться в «играющую молодую жизнь»,— именно в эти годы, годы «наружного рабства и внутренней свободы» (Герцен), как никогда умножился. Голоса прельстителей доносились до Москвы с кафедр германских университетов, из немецких академий, «монастырей идеализма» (Герцен). И конечно, из «злокозненной» Франции.

И явились на свет кружки, «общества»... Вернее, продолжилась традиция кружкового самообразования. В этих кружках, передовая мысль отыскивала прерванные, «пропавшие» после 1825 года свои пути в будущее. Они сыграли главную роль прежде всего в изучении немецкой философии и теорий французских утопистов. «Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства... в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной России»,— скажет позднее один из молодых штурманов будущей бури А. И. Герцен в «Былом и думах».

скажет с некоторым, извинительным, правда, преувеличением: ведь этих мальчиков и наделила редкой пытливостью ума именно Россия!..

* * *

Но где же русская словесность? Кто повелевал вкусами юношей в шестнадцать лет?

Афанасий Фет, учившийся в Московском университете вместе с Аполлоном Григорьевым, свидетельствовал, что нередко в книжной лавке в Москве можно было слышать:

— Что стоит Бенедиктов?

— Пять рублей, да и стоит. Этот почище Пушкина будет...

Сам Фет не выдержал нажима моды и, заплатив пять рублей, унес заветную книгу домой. «Целый вечер мы с Аполлоном (Григорьевым.— *В. Ч.*) завывали при ее чтении»,— вспоминал он позднее.

Литературные вкусы юного Тургенева совпадали с увлечениями его современников. В Бенедиктове видел он «марево жизни», столь нужное в юности, когда душа жадно начинает просить яркости, красоты, музыки, словесных созвучий. «...Я целовал имя Марлинского на обертке журнала — плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова — и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку»,— вспоминал он позднее в письме к Л. Н. Толстому (16, 23 декабря 1856 г.).

Конечно, очень неравноценны Александр Марлинский (Бестужев) — герой Сенатской площади в трагический день 14 декабря 1825 года, якутский ссыльный, бесстрашный кавказский боец и смиренный чиновник, но «бурнопламенный поэт» Владимир Бенедиктов.

Видал ли очи львицы гладной,
Когда идет она на брань,
Или *с весельем коготь хладный*
Вонзает *в трепетную лань?*
Ты зрел гиену с *лютым* зевом,
Когда грызет она затвор!
Как раскален упорным гневом
Ее окровавленный взор![1]
и т. п.

Такое невольно прочтешь «завывая»!

Белинский словно угадал эту толщу восторженного невежества в юных душах, пригласил их вглядеться в самих себя, поискать начала сомнения, «раздражить ироническую жилу».

---

[1] Подчеркнуто мною.— *В. Ч.*

Он писал: «Неужели это поэзия, а не стихотворная игрушка: неужели эти выражения вылились в вдохновенную минуту из души взволнованной, потрясенной, а не придуманы в напряженном и неестественном состоянии духа?»[1]

Но до встреч с Белинским еще далеко...

А вот до Петра Александровича Плетнева, занимавшего в Петербургском университете кафедру русской словесности, где Тургенев учился в 1834 году,— совсем близко.

«Ученый багаж его был весьма легок»,— вспомнит Тургенев позднее себе на беду, вызвав обиду вдовы профессора и сына его, о незабвенном Петре Александровиче. Это было и бесспорно, и очень спорно. Конечно, восторгаясь, например, поэмой Гоголя «Мертвые души», добрейший Петр Александрович проглядел многое, он наивно пожурил Гоголя за отсутствие «серьезного общественного интереса», за «мелочность и ограниченность»...

Но с другой стороны... П. А. Плетнев был крупнейшим исследователем древнерусской литературы. На его лекции приходил А. С. Пушкин. Народные песни, летописи и летописцы вроде Нестора и монаха Василия из Волынского монастыря, «Слово о полку Игореве» и «Киево-Печорский Патерик» — в нем «прелесть простоты и вымысла» (Пушкин),— «Кормчая книга» и «Поучения» Кирилла Туровского, где «ученость сливается с фантазией» (Плетнев) — все это богатство именно Плетнев извлекал из мрака забвения. Он вносил в него дух системы, порядка. Он радовался и грустил, мыслил и страдал на кафедре с доверительной открытостью! Автор «Слова о полку Игореве» для Плетнева совсем не инок: он «высказал перед нами часть таких ощущений сердца, о каких мирные иноки не слыхивали или, услышав, за грех почли бы говорить о них...» Ордынское нашествие печалило Плетнева тем, что... «неволя уронила бодрость духа», «отняла у литературы то, что составляло ее движение и теплоту, а сообщила холодность и

---

[1] Многое, сказанное Белинским о сборнике «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (1835), касалось, относится и к юному Тургеневу, и к А. Фету, и к Ап. Григорьеву: «Иногда обнаруживает превосходного версификатора, [illegible] писателя, но вместе с тем в них видна эта детскость силы, эта непрестанная невыдержанность мысли, стиха, самого языка».

Ап. Григорьев, видимо оглянувшись в своих скитальчествах на обломки кумира, с улыбкой вспомнив бенедиктовщину — «любовь есть капля меду на острие жала красоты» или «струи времени взрастили мох забвенья на развалинах любви»,— скажет впоследствии о сдвиге в читающей публике: «Явился... Раздается могущественный голос, вместе узаконивающий и пришпоривающий стремленья и неясные гадания эпохи,— голос великого борца, Виссариона Белинского («Мои литературные и нравственные скитальчества»).

бесчувственность», она внесла «ложную религиозность» и «невежественное себялюбие».

Это серьезный, особенно в 30-е годы, ученый багаж...

Плетнев был человеком, скорее, карамзинской эпохи, и свой долгий век он проживет, держась золотой середины, избегая полемики, лелея дорогие сердцу воспоминания, помогая молодым. В числе поэтов, обязанных Плетневу своим явлением на свет, был П. Ершов, автор «Конька-Горбунка». Он, Плетнев, будет восхищенным читателем «Севастопольских рассказов» молодого Л. Н. Толстого.

Ученый багаж Плетнева интересовал Тургенева мало. Он искал самое важное для себя: профессор близок к его полубогу Пушкину. Ходили уже слухи о чудесных произведениях поэта, почти готовых к выпуску в свет. Говорили, что Пушкин чуть ли не читал их уже у Плетнева... Сама фигура Плетнева, исполненная искреннего смиренномудрия, заставляла задуматься: а чем же он дорог Пушкину?

Великие люди, видимо, всегда нуждаются в необременительных, открытых друзьях, может быть, простаках; всякая «сложность» должна смягчаться простодушием, открытостью, а грозная темнота страстей, чтобы мир не сошелся клином, обезоруживаться чьей-то ясностью, добротой. И горе, если не на всякого мудреца хватит такой тихой простоты! К какому душному фанатизму, мучительному для Льва Толстого, приводило то, что рядом с ним появился именно Владимир Чертков, администратор толстовства, куда более «квалифицированный», догматичный толстовец, чем сам творец «Исповеди»... Ограниченный и фанатичный «поклонник» словно запечатывал торжественной печатью изменчивый, живой дух бунтаря, вулкан его дум и чувств, творил легенду из живого человека. То, что для Толстого было фазой движения, роста, он делал итогом, он размножал итог в брошюрах, сериях фотографий апостола. Печатный станок был приставлен к пророку. Вулкан кипел, но ему уже придавалась казенщина, форма, «целесообразность». И жгучее нравственное пекло создавалось вокруг гения! Ради жития убивалась жизнь.

Плетнев являлся в университете перед горсткой дворянских детей, не знавших по младости лет всего драматизма судеб и Пушкина, и Гоголя. «Кроткая тишина его (Плетнева.— *В. Ч.*) обращения, его речей, его движений не мешала ему быть проницательным и даже тонким; но тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до лукавства... древние греки недаром говорили, что последний и высший дар богов человеку — чувство меры. *Эта* сторона античного духа в нем отразилась — и он ей особенно сочувствовал»,— писал позднее о нем Тургенев.

Именно в руки Петра Александровича Плетнева и попала тургеневская драма «Стено» (1834), документ духа юного романтика в его становлении, в поисках образцов для подражания. На ней, этой тургеневской рукописи, открытой в 1913 году М. О. Гершензоном,— пометы и замечания П. А. Плетнева. И многие среди них — очень проницательные. Когда юный поэт говорит о небе: «Ты, ясное, в величии холодном», то сердце Плетнева, ощутив нечто пушкинское, дрогнуло, и он отметил: «Очень хорошо». Понравились ему строки о море, которое может взять «в безбрежные, могучие объятья...». В целом же Плетнев критически разобрал поэму на лекции, не назвав имени автора, но, встретив Тургенева на улице, отечески пожурив его, заметил, что в нем «что-то есть!».

Изучать ранние творения великого писателя — это, по мысли В. Гюго, то же самое, что заглядывать в птичье гнездо, всматриваться в «яйца» и обнаруживать еще там «начало полета...».

Видимо, Плетнев заметил явное подражание байроновскому «Манфреду», претенциозную гримасу байронизма в ее юношеском варианте... Но почему взяты были именно эти «мехи» для столь молодого вина? Откуда это безволие, пессимизм, жажда бегства от жизни в бесплотные высоты риторики?

Конечно, смерть отца повлияла на общее состояние духа молодого стихотворца. Он задумался: если так коротка жизнь, если призрачны все дерзания человека, то стоит ли вообще что-то «затевать», на что-то надеяться? Что такое смерть? «Вечны своды», стоящие поодаль от человеческой юности, зрелости, куда «мы все сойдем», или нечто, живущее в самом человеке, «осаждающее» крепость жизни со дня рождения? Откуда этот, словно извне подкрадывающийся к жизни конец? Как все-таки хоронят годы-могильщики весь трепет и величие жизни? И есть ли в мире власть над смертью, над забвением?

Но помимо личных утрат (смерть отца), чувства одиночества и безволия в деспотичном «царстве» матери, есть более существенные и долговременные причины тургеневского пессимизма, байронической «гордыни», трудного расставания с «величавым романтизмом» Бенедиктова, с привычкой «говорить красиво»... Короче, с философией и поэтикой романтизма.

Тургенев вступал в мир поэзии в момент, когда завершивший драматичную, порой возвышенную эпопею наполеоновских войн реакционный «Священный союз» создал в Европе мертвенно-неподвижный, незыблемый — как казалось! — режим реставрированных и старых монархий. Где лозунги братства, равенства, свободы? Что значили перед этим воцарившимся фасадным единомыслием все жертвы, трепетная вера

в революцию? Юноша Тургенев интуитивно ощутил всю меру протеста Байрона против безгеройного времени, всю остроту бунта его исключительных личностей, особенно Манфреда. И всю горечь пессимизма от неполноты знания законов о социально-исторических причинах свершающегося! Романтизм — в известной мере — прыжок через обстоятельства, он воплощение этой неполноты знаний о действительности, это мир «порываний к бесконечному» (Белинский).

* * *

Плетнев не оставил без внимания незадачливого творца драмы. Он пригласил Тургенева к себе домой, на Фонтанку, у Обухова моста, на литературный вечер. И здесь Тургенев впервые — пусть крайне мимолетно, как невольный созерцатель — успел увидеть Пушкина: «Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры: нечего сказать!» — засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза.

Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин...»

Пушкина Тургенев увидел еще раз — за несколько дней до его смерти,— но тоже мимолетно, на одном из утренних концертов в доме полковника В. В. Энгельгардта, приятеля Пушкина по обществу «Зеленая лампа». И на этот раз внимательно рассмотрел, словно простился с ним, живым. «Он (Пушкин — *В. Ч.*) стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей — и кудрявые волосы... Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом — вообще он казался не в духе — и отошел в сторону...»

...В домашних условиях — а в число гостей в своем воспоминании Тургенев произвольно включил, видимо, участников и других вечеров — Плетнев был доступнее, суждения его чаще смягчались шуткой. Он начинал тогда видеть не обширную литературную ниву, не процесс, а живые лица... Игра индивидуальностей, «молнии талантов» — все разворачивалось перед ним.

— Крылов? Он чаще других созидает для себя и предмет басни, и рассказ ее...

— Гений Батюшкова — сердце... Князь Вяземский сближает игру простонародного языка с языком лучшего общества. Он любит даже анекдоты, скверные шутки, находя, что в них общество не только выражается, но и... *выхаркивается!*

Вероятно, два человека из гостей Плетнева должны были запомниться Тургеневу. Это мудрый слушатель Шеллинга князь Вл. Ф. Одоевский, «любомудр», автор «Русских ночей» и «Последнего квартета Бетховена». Неожиданно, много лет спустя, он вступит с Тургеневым в полемику после появления «Довольно» в 1864 году. И Алексей Кольцов... Последний был одет в длиннополый двубортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной цепочкой, на шее — платок с бантом... Ни дать ни взять очень грамотный приказный или разбогатевший купец-книгочей. Но в глазах его — надо отдать должное наблюдательности Тургенева, писавшего свои «Воспоминания» в 1869 году,— «светился ум необыкновенный».

Ум Алексея Кольцова именно «светился». То теплым «угольком» в письмах к Белинскому, родной душе, к Краевскому, когда Кольцов, словно стесняясь, признается: «...а степь опять очаровала меня; я, черт знает до какого забвения любовался ею». То яркой вспышкой суровой решительности перед очередной жизненной невзгодой: «Я русский человек. Шапку снимем перед грозой, а в сердце кровь не остановим, холод по телу пустим, но в теле не удержим. Еще смеем сказать: «убирайся, откуда пришла!» Ум этот постоянно разрывал окружающий, то и дело сгущавшийся мрак жизни (опять проиграна тяжба, опять много пало скота, а сестра родная Анисья переменилась к нему!). Он светился, как перо жар птицы, прежде всего в кольцовских песнях.

Тургенев, вероятно, ощутил, что рядом с ним в гостиной Плетнева, и затем в санях (Тургенев имел в Петербурге свой выезд и после вечера подвез Кольцова домой) сидел человек с богатым и очень реальным опытом народной жизни. И для литературной «игры», бесцельных шалостей места в его душе не было. Кольцов не раз ночевал с гуртами овец в степи, видел небо, усеянное яркими звездами,— в одну из таких ночей он, как во сне, сочинил первые стихи...

В бесконечных кольцовских вопросах и упреках: «Иль у сокола крылья связаны?..», «Ах, зачем меня силой выдали за немилова — мужа старого?», «До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала?» — в замечательно музыкальных приливах и отливах тоскующего чувства Белинский, а еще раньше Станкевич уловили великую печаль России низовой,

безмолвного большинства — народа. Общий смысл этих бесхитростных возгласов, трепетных обращений: «Как на свете жить одинокому?» «Встань, проснись, подымись, на себя погляди...», «Жизнь! зачем ты собой обольщаешь меня?» — беспредельно велик... В XX веке Маяковский бросит упрек книжной словесности, поэтам, «выкипячивающим, рифмами пиликая, из любви и соловьев какое-то варево», что

Улица корчится, безъязыкая,
Ей нечем кричать и разговаривать.

В поэзии Кольцова словно заговорила безъязыкая доселе степь, заговорил народ — не карамзинский пейзанин, не ряженый «Лель» сентиментальных опер.

...Много лет пройдет с момента этой встречи Тургенева с Кольцовым. Ночной Петербург, скрип саней по снегу и два чудесных русских человека рядом. Редкий случай для такой просторной страны, как Россия, где столько нужных друг другу людей часто могли разминуться и один подолгу искал то, что уже было найдено другим. В 1837 году Тургенев еще не оценил в полной мере дар Кольцова. Но, создавая «Записки охотника», писатель как будто вспомнил и былинный простор кольцовских степей, что «понадвинулись», дохнув в лицо «ветром с полудня», на всю русскую поэзию, возродив в ней эпический размах любви к Родине, и дерзкий кольцовский вызов всем принижающим человека обстоятельствам. В рассказе «Смерть», описав дубовую рощу, с узловатыми сучьями, врезавшуюся кронами в ясную лазурь, населенную птицами, белками, прикрывшую всякую живность на земле, он вспомнит душу в заветной лире Кольцова, его строки на смерть А. С. Пушкина, его «Лес»:

Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?..

Впрочем, одного ли Кольцова он тогда не понял? Величайшее творение М. И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») после первого представления оперы осталось в его памяти лишь как интересное впечатление. И «Ревизор» — он тоже присутствовал на первом представлении в Александринском театре — доставил ему только массу поводов для смеха. Мы приносим в театр, увы, лишь самих себя. Великого смысла усилий Глинки и Гоголя — борьбы против «театра-игрушки» за театр-кафедру, «с которой читается разом целой толпе

живой урок» (Гоголь),— Тургенев тех лет рассмотреть не мог.

«Внутренний человек» в этом рослом юноше, отлично знающем классическую литературу, древние и новые европейские языки, рос очень медленно. Он еще сам был неизвестен себе... Бессознательный дар схватывать на лету живую прелесть жизни и одновременно меланхолия, душевный «смог» над каждым помыслом, решительным стремлением. Образованность, глубокое знакомство с Байроном, Шелли, великими немцами — Гете и Шиллером — и совершенно детская капризность, достойная лишь «полуюноши». Но какие возможности для роста, движения вперед!

СУМРАЧНЫЙ ГЕРМАНСКИЙ ГЕНИЙ...

Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда.

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания (1869)

О России много говорят: в наше время она служит предметом пламенного, тревожного любопытства; очевидно, что она сделалась одною из главных забот нашего века; но эта забота... скорее гнетет его, чем возбуждает...

Ф. И. Тютчев. Россия и Германия (1844)

В один из майских дней 1838 года молодой Тургенев — с модной после гастролей Ференца Листа «листовской» прической, тщательно выбритый, с галстуком, завязанным в виде шарфа вокруг шеи,— поднимается на палубу линейного корабля «Николай I», отправляющегося из Кронштадта на Любек и Травемюнде. Цель путешествия — Берлин. В те годы, не надеясь на отечественные непролазные дороги, многие русские путешественники вначале добирались морем до Любека, а затем... А затем уже по немецким дорогам часто на своих же экипажах — в Берлин, Париж, «на воды» в те или иные «Рулетенбурги» (Достоевский).

Варвара Петровна Тургенева, провожая сына в первую самостоятельную поездку, отслужила напутственный молебен в Казанском соборе. По дороге в порт она то и дело плакала. Возвращаясь же с пристани, она даже упала в обморок, что показалось ей совсем уж дурным знаком. А в ушах сына, молодого кандидата Петербургского университета, звучали ее наставления: вести себя благоразумно, и прежде всего не дотрагиваться до карт, избегать общества актрис.

— О когда же моя тяжелая барка на якорь встанет! — загоралась она от своих же жалоб на жизнь.— Когда же вы, птенцы, прикроете меня своими оперившимися крылышками... А пока все еще мои крылья вам кровля...

Иван механически повторял свое «да! да! маменька!», но глаз его уже при прощании уловил, что среди двухсот восьмидесяти пассажиров, отцов семейств, детей, гувернантов, мелькнуло несколько дам и девушек, замечательно красивых. Он помнил о довольно круглой сумме денег, врученной ему «на самое необходимое». Среди вещей, которые раскладывал

в каюте верный «Савельич» — Порфирий Кудряшов, был и оттиск, страница «Современника» из первого номера за этот год, где любезный профессор П. А. Плетнев опубликовал его «Вечер» (Дума). В этой думе — целый ворох вопросов к спящей природе, к дремлющим в нем силам, вопросов, венчаемых пышным, но бестревожным, декоративным сомнением:

В моей душе тревожное волненье:
Напрасно вопрошал природу взором я;
Она молчит в глубоком усыпленье —
И грустно стало мне, что ни одно творенье
Не в силах знать о тайнах бытия.

Берлинские мудрецы, и прежде всего Гегель, должны были ответить хотя бы на часть вопросов...

Но сейчас тайны бытия не волновали. Запомнились прощальные слова матери:

— Не делай долгов! Долги — что короста: один прыщ сядет, все тело покроет...

Она грозила объявлением через газету: мол, долгов дворянина Ивана Сергеевича Тургенева никаких знать не знаю, не плачу!

Капитан «Николая I», датчанин по происхождению, Иенес Шталь, в должный час приказал отдать концы, и пароход, рассекая серые балтийские волны, двинулся на запад. Кельнеры с подносами начали сновать туда и сюда, предлагая ликеры, лимонад, коньяк. В кают-компании, с треском распечатав свежую колоду карт, уселись за стол игроки.

Скоро, очень скоро выпадет из стихии физических, «наглядных» действий Иван Сергеевич — этот открытый сейчас, еще выделяющийся во всем юноша. В его жизни станет гораздо меньше очевидного, доступного физическому зрению и житейскому разуму. Все силы души уйдут в *Слово,*— и сквозь золотую пряжу слов, в тумане меланхолии и иронии мы не увидим живого лица, резкого действия. Позднее, даже в самых доверительных, открытых письмах, его вообще не увидишь — поистине его «струна звенит в тумане» (Гоголь)... Тем дороже он нам сейчас, у подножия горы, которая зовется Завтра. Он, беспечно и независимо прогуливающийся по палубе, оглядывающий остров Рюген, где с парохода сдавалась почта, слушающий хохот генералов, решивший лишь перед самым приближением к Травемюнде заглянуть в кают-компанию. Нет, не играть, а лишь постоять у карточного стола, где давно «заварили банчишку»...

...Юношу Тургенева игроки, опытные шулера, сразу угадав овечью натуру, пригласили взять на счастье карту. Он к тому

же искренне — подогрев их азарт! — признался, что никогда не игрывал в карты. Да... «Да и матушка мне не велела...»

Вся компания в совершенном восторге — извечно сладострастие мизерных натур при виде высокой цельной души! — кинулась объяснять, какие великие преимущества имеет он, не бравший в рук карт.

— Да к вам карта пойдет как привязанная, вы смелы, решительны, сразу спутаете все расчеты...

Тургенев не запомнил, как он оказался за столом, как внезапно, словно по божьему умыслу, начало «исполняться» счастье простаков. Руки его дрожали, пот каплями стекал со лба, хрустящие, новенькие карты скользили в руках. Но две кучки золота уже возвышались перед ним... Он не видел знаков преданного Порфирия, умолявшего его бросить игру, вспомнить о словах Варвары Петровны.

Спасло его от последующего проигрыша поистине чудо... Дверь каюты внезапно распахнулась, и с криком «пожар!» вбежала, тотчас упав в обмороке, дама... В мгновение ока, забыв про карты, выигрыши, все были на палубе.

Корабль горел. И зрелище, достойное кисти автора «Последнего дня Помпеи», открылось будущему писателю.

Богатый помещик, охваченный ужасом, ползал по палубе, неистово клал земные поклоны и, когда пламя чуть заливалось водой, кричал:

— Маловерные! Неужели вы думали, что наш русский бог нас покинет?

Какой-то генерал с угрюмо-растерянным взглядом, не теряя присутствия духа, то и дело начинал кричать:

— Нужно послать курьера к государю! К нему послали курьера, когда был бунт военных поселян, где я был, да, лично был, и это спасло хоть некоторых из нас!

Некоторые хватали за плечи пробегавших матросов, суля невиданные награды за свое спасение.

Поведение натур возвышенных, способных петь философским «полубасом, полутенором, опираясь на восемьсот (крепостных) душ», как шутила писательница Е. Ган, в ситуациях, предельно конкретных, не всегда предсказуемо. И даже сам Тургенев не все мог впоследствии вспомнить, хотя позднее признался, что в момент, когда отчаянное чувство самосохранения охватило все человеческие существа, он тоже схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матери, если тот спасет его. В Петербург же дошли иные вести, нелестные для юноши. Говорили, что в страхе он прокричал слова:

— Спасите меня, я единственный сын у матери!..[1]

Впервые лично встретился Тургенев лицом к лицу со смертью. И смертью, отнюдь не философски-отвлеченной, а потому комфортабельной, не с некими поэтическими «подземными сводами», по крайней мере чистыми, куда в некий час величаво «мы все сойдем», а со смертью грубой, с почти свирепой стихией, готовой пожрать тебя и не поперхнуться! «Пламя сводом выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличал его вой от рева волн», — писал Тургенев в очерке «Пожар на море». Он впервые осознал смерть как своего врага, как мировой ужас, как не одолимую ничем бессмыслицу. Умирать? Но ведь он так молод, так талантлив, впереди даль свободная «романа жизни», видное поприще, на котором он сделает, конечно же, свое дело. Это острое чувство памяти о себе, своем небренном, не желающим быть столь уродливо-бренным существовании вспыхнуло, как лента магния. Вспыхнуло тем более ярко, что изжариться в огне — это еще и глупая, «неполитичная» смерть! Воображение, несомненно, подсказало Тургеневу и это. Что же оставалось? Броситься в море — последняя вспышка отваги? Гордая смерть фаталиста?..

Князь П. А. Вяземский, любитель анекдотов, эпиграмм, с добродушной иронией вникнув в суть «сокровенных» дум баловня, безумно боявшегося всю жизнь холеры, избегавшего ночевок в избах с клопами, писал об этом:

И оставался мне на выбор произвольный
Быть гусем жареным иль рыбой малосольной...

Для «философа в семнадцать лет», вопрошавшего небо о тайнах бытия, воспевшего уже «Венеру Медицейскую», такой выбор был просто оскорбителен!

Для внутренней биографии не очень существенно, что именно говорил или выкрикивал Тургенев. Важнее, *какие* порывы рождали эти слова! По некоторым слухам, он будто бы пылко сетовал, совершенно в духе героя своей драмы «Стено»: «Умереть таким молодым, не успев ничего сделать?» Варвара Петровна, тяжело пережив этот пожар, отслужив молебен за избавление Ванички от пожара, все-таки сетовала впоследствии: «Почему могли заметить на *пароходе* одни твои ламентации... Слухи всюду доходят! — и мне уже многие говорили

---

[1] Впоследствии Тургенев отрицал это... Но жажда живописных зрелищ, вечная страсть ради художественного словца не щадить и отца, и себя, и мать, заставляли вспоминать эту реплику. В домашнем спектакле «Школа гостеприимства» в Спасском, созданном великовозрастными шалунами Д. Григоровичем, А. Дружининым, В. Боткиным и, конечно, Тургеневым, прозвучала эта реплика, сделанная на сей раз комичной...

к большому моему неудовольствию. «Этот толстый Тургенев, который так вопил, который говорил: «умереть таким молодым»... Там дамы были, матери семейств... Почему же о тебе только и рассказывают?»

От прыжка в море Тургенева остановило одно обстоятельство, видимо, в тот момент им совершенно не оцененное. Ведь он еще не был автором «Живых мощей», создателем образа кроткой и смиренной Лукерьи. Именно «она», еще непонятная гордецу, романтику в жизни, оказалась вдруг по соседству с ним среди моря огня. Крестьянская нянька, кухарка, про которую все забыли... «Недалеко от меня... сидела маленькая старушка, должно быть, кухарка которого-нибудь из семейств, ехавших в Европу. Спрятав голову в руки, она, казалось, шептала молитвы,— вдруг она быстро взглянула на меня и, потому ли, что ей показалось, будто она прочла на моем лице пагубную решимость (броситься в море.— *В. Ч.*) или по какой другой причине, но она схватила меня за руку и почти умоляющим голосом настоятельно сказала: «Нет, барин, никто в своей жизни не волен,— и вы не вольны, как никто не волен...»

Мысль о броске в море была отброшена. А там пришло и спасение — порт был в двух верстах... Но эта встреча со старушкой, своего рода мужиком Мареем или Платоном Каратаевым, с воплощенным смирением — первая встреча с тем народом, которого Тургенев еще не знал.

* * *

...Берлин в конце 30-х годов XIX века был небольшим и тихим городом. Тихим и скучноватым для пылких русских пришельцев. Статуи однообразных курфюрстов, чаще всего бронзовые, напыщенных генералов в римских костюмах, дружные орды крепких, варварски здоровых прусских офицеров, пестрые толпы чиновников, гуляющих на знаменитой улице Unter den Linden (Под липами), иронически воспетой Г. Гейне в его «Письмах из Берлина». По ней проносится звездоносными особами столько орденов, что берлинский портной, погуляв здесь, уже спрашивает каждого заказчика, приступая к работе над костюмом: «Вам с прорезом (для ордена) или без?»

Пруссия была средоточием надежд для всей россыпи крупных и мелких немецких государств — надежд на объединение. И в голове будущего канцлера Германии, творца внешней политики Пруссии Отто фон Бисмарка — ему было только двадцать два года,— уже зрела суровая идея: «Германия надеется не на либерализм Пруссии, а на ее мужество».

Это означало на его языке одно: войну, «железо и кровь». Но пока рыхловатая Австрия, номинальная глава германского союза, все еще подавляла провинциальную Пруссию... И столичной жизни в Берлине — по сравнению с Парижем или музыкальной Веной — не ощущалось. Тургенева предупреждали: «В Германии нечего смотреть, Германию надобно... читать, обдумывать. Немцы могут жить или в надзвездном эфире своей философии, или... в кухонном чаду».

Даже через десять лет Тургенев, упрямо называвший себя «западником», не найдет для этого города слов, не исполненных гейновской иронии: «Что прикажете сказать о городе, где встают в шесть часов утра, обедают в два и ложатся спать гораздо прежде куриц,— о городе, где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитаются по пустым улицам да какой-нибудь буйный и подгулявший немец идет из «Тиргартена» и у Бранденбургских ворот тщательно гасит свою сигарку, ибо «немеет перед законом?»

Вообще мир мелких и средних немецких княжеств — курфюршества Гессенского, Вюртемберга, Бадена, Саксонии, Ганновера, Брауншвейга,— где сам Тургенев или его герои будут кочевать, убивая время и силы, оставляя марки, франки, рубли в игорных домах и гостиницах, был в середине XIX века любопытнейшим уголком Европы. Королевские дворы Голштинии, Гессена жили еще расчетами «на счастливый случай», и потому всегда была наготове *коллекция бедных принцесс,* искавших богатых женихов из России, Испании или Австрии, и маленьких женихов, готовых отдать сердце (а что еще?) наследнице солидного трона. Но поскольку вакантных престолов было всегда мало, искали союзов с великими державами. Матери Екатерины II догадливый каноник в Брауншвейге прозорливо, как оказалось, сказал: «На лбу вашей дочери я вижу по крайней мере три короны». Насчет одной, по крайней мере,— да еще какой! — он не ошибся...

* * *

Тургенев, в известной мере, «запаздывал» с изучением Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля. Тот круг, в который он вскоре войдет — московский круг Николая Станкевича, Виссариона Белинского, Михаила Бакунина и круг славянофилов К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина и др.— уже многое знал о созданиях «сумрачного германского гения». Мировые поэмы мысли, еще не осевшие пыльными фолиантами в библиотеках, еще развиваемые живыми их творцами и учениками, и осо-

бенно система Гегеля, увлекали русских энтузиастов просвещения. Они ныряли в «немецкое море», в его «заливы» и «проливы», часто... в особняках Москвы! Так, Михаил Бакунин по рекомендации Станкевича несколько раз начинал конспектировать «Логику» Гегеля, просмотрел его «Философию права». Михаил Катков, тогда член кружка Станкевича, конспектировал «Эстетику» Гегеля, правда, совершенно не зная «Логики» и «Феменологии»... Белинский, не знавший немецкого языка, пользовался конспектами друзей. Не было, кажется, ни одного параграфа во всех трех частях «Логики», в двух частях «Эстетики», «Энциклопедии» и прочих трудах Гегеля, который не был бы изучен, обдуман горячими головами.

Руководства для юных идеалистов, оглушаемых, как «выстрелами», новейшими философскими системами, подавляемых кумирами, а порой просто брошюрами из всех уездов Германии, не было. Всему, к чему влекла их молодость, звал с середины 20-х годов порыв «любомудрия», приходилось учиться чаще всего самостоятельно. История не забудет, какой силы должно было быть это влечение к истине, чтобы не угас порыв, не обезлюдела эта мучительная, прерываемая насильственно, дорога исканий. Не забудет она и мук, связанных с роковым отсутствием руководителей, терзаний, порождаемых цензурным гнетом. Муки эти обострялись тем, что образование в те годы, как выразится П. В. Анненков, «награждало способностью живо понимать страдания во всех его видах и чувствовать на самом себе беды и несчастья другого», рождало удивительное для иностранцев жизнеощущение: «иную способность — видеть себя в роли представителя обиженных, несправедливо оскорбленных» («Литературный тип слабого человека»).

Виссарион Белинский уже в 1834 году (в «Литературных мечтаниях»), до знакомства с Гегелем, до «примирения с разумной действительностью», не подозревая, что он и его друзья находятся, по крайней мере, в середине пути, нередко говорил с гордостью:

— В это десятилетие мы перечувствовали, перемыслили и пережили — да, пережили! — всю умственную жизнь Европы, эхо которой долетало к нам через Балтийское море...

Всю ли? Как оказалось вскоре, далеко не всю. Самому Белинскому еще предстояло войти в «храм духа», грандиозное готическое построение Гегеля. Еще более стремительна была эволюция Николая Станкевича, человека, о котором Тургенев скажет: «Наша гордость и надежда»... Он был центральной фигурой целой школы искателей, и прав

Ю. В. Манн, определяя (в книге «В кружке Станкевича») роль кружка Станкевича, формировавшего и сознание молодого Тургенева: «Никогда еще в русской культуре не получали такого значения *коллективное переживание и коллективная мысль»* (выделено мной.— *В. Ч.).*

Н. В. Станкевич писал в декабре 1835 года М. А. Бакунину: «Я беру Канта с собою и в деревне прочту что-нибудь из него... А Кант нужен как введение к новым системам. Зачем прямо хвататься за них? Шеллинг и так уже составил часть моей жизни; никакая мировая мысль не приходит мне иначе в голову, как в связи с его системою». В январе 1836 года из Острогожска он пишет тому же Бакунину: «Я написал здесь о возможности философии как науки и перевел довольно большую 3-ю статью о философии Гегеля». И не только перевел, сам уверовал в Гегеля, но и стал усердно изгонять сомнения из Т. Н. Грановского, его недуг малодушия: «Подружись с этими чудаками немцами: ты встретишь между ними чугунные головы, дурацкое терпение и дурацкое благоразумие, но и встретишь людей, отвративших глаза от мелочей этой жизни и дышащих воздухом другого мира... Мужество, твердость, Грановский! не бойся этих формул, этих костей, которые облекутся плотию и возродятся духом по глаголу божию, по глаголу души твоей» (из письма от 14 июня 1836 г.).

Только в России была мыслима и такая скорость восприятия западной философии, книжной мудрости, и такая страстная «влюбчивость» в идеи и представления, заносимые с Запада. «Идеи являлись тогда, как кумиры, с затерянной генеалогией, но требовавшие безусловного поклонения»,— писал П. В. Анненков о 20—30-х годах XIX века.

Многие в те годы, проглотив крупицу философской системы, не выходили из состояния особого «мечтательного счастья», из экстаза «прекраснодушия», кипения в пустом бездействии.

* * *

...В Берлине все дороги вели двадцатилетнего Тургенева прежде всего к Гегелю. Вернее, к его главному истолкователю, лично знавшему многих русских студентов — и прежде всего Николая Станкевича — Карлу Вердеру...

В детстве Тургенев любил срывать ветвь камыша или нераспустившуюся розу и разрывать тесно скатанные оболочки, лепестки, терпеливо доискиваясь последнего скрытого зерна. Сейчас он рад возможности доискаться иного зерна, радуется этому и даже призывает М. А. Бакунина: «Но ты будь терпе-

лив, дай расцвести цветку, и ты... перечтешь все его распустившиеся лепестки и тычинки» (из письма 27, 28, 29 августа 1840 г.).

Гегель в первый момент действительно поражал воображение ощущением грандиозности, стройности, сложностью «лепестков цветка» и решительным преодолением всех слабостей, несовершенств своих великих предшественников.

Иммануил Кант — могучий, гениальный ум — нарисовал, в сущности, печальную картину человеческой немощи, хронического «незнания» мира человеком. Что может знать человек о бескрайнем мире, если действительность навечно разделена на мир предметов и мир явлений? Кант — тоже поэт, он рисовал — и юношеское воображение Тургенева остро воспринимало, вероятно, всю тревожность картины — неизменную ситуацию человеческой немощи: человек, познающий мир, был похож на узника, у которого прикованы к стене шея, ноги. Он не имеет возможности даже повернуть голову. Свет падает из-за его спины на стену перед ним. И на нее же падают тени предметов, «носимых» за его спиной! Эти «тени» — единственные его сведения о предметах в мире.

Глубокое учение о вечно непознаваемых «ноуменах», или «вещах в себе», как бы запирало всякую дорогу человеческой мысли в ее жажде бесконечного развития. И вдруг явились Фихте, Шеллинг и особенно Гегель, три великана, три Колумба в философии, они словно убрали эту кантовскую дверь, сняли ее с петель «чистого разума» и... И открыли, увлекая с собой множество «русских мальчиков», путь к бесконечному познанию!

В итоге мысль оживила и одухотворила все море знаний, объединила неисчерпаемый мир единичных наук. Миф об огне Прометея оказался не мифом в провинциальной Германии.

* * *

Много лет спустя Н. Н. Страхов, даровитый критик консервативного лагеря, будет обращаться к Тургеневу: «Почему Тургенев так крепко верит в теорию прогресса, которую в юности услышал в Берлине?.. Ни *французская* мода, ни немецкий *прогресс* никогда у нас не будут иметь большой власти, серьезного значения. Не такой мы народ, чтобы поверить, что глубокие основы жизни могут быть сегодня открыты, завтра переделаны, после завтра радикально изменены...»

Тургенев мог бы, конечно, улыбнуться этому упреку: он был в берлинской юности своей такой еще мальчуган, что не

решался предлагать себя в друзья и Станкевичу, и Грановскому[1].

Он мог бы вспомнить множество доказательств своей нерадивости.

Судя по письмам Варвары Петровны и брата Николая Сергеевича, слухи о беспутном, «несерьезном» поведении, о «проказах» Тургенева-студента доходили и до Петербурга, и до Спасского.

В эпиграмме «Н. С. Тургеневу» юный берлинец защищал себя от упреков брата:[2]

Напрасно, добрый милый брат,
Ты распекаешь брата Ваньку:
Я тот же толстый кандидат
И как ни бьюсь напасть на лад,
А все выходит наизнанку...
Пока напиток жизни сладок,
Я все тяну... и не гляжу,
Не много ль уж я разом пью...

Напиток жизни был сладок для него, как мы увидим, не только возле Вердера, в кружках и на лекциях.

Карточный «грех» на пароходе — не единственное нарушение предписаний матери. В одном из писем 1839 года Варвара Петровна строго спрашивает Ваничку о более серьезном: «Я подумала, что захватил *молодецкой* болезни — и сам посовестился о сем написать, поручил Порфирию. А потом и другая болезнь очень нас обеспокоила — *кошельковая*. Да сколько же ты проживаешь на месяц? Я не удивлюсь, ежели тебя в тюрьму посадят.

---

[1] Судите сами: то я читал Гегеля и изучал философию, то я со своим дядькой забавлялся — и чем бы вы думали? — воспитанием собаки, случайно мне доставшейся. С собакой этой возня у меня была пребольшая: притравили мы ее к крысам. Как только, бывало, скажут нам, что достали крысу, я сию же минуту бросаю и Гегеля и всю философию в сторону и бегу с дядькой и со своим псом на охоту за крысами,— вспоминал Тургенев позднее.— Впрочем, с дядькой я был полным приятелем и, бывало, строчил ему на немецком языке любовные письма к его возлюбленной».

[2] Брат Николай в письме от 25 сентября 1839 года упрекал Тургенева: «Ты сам был в деревне, видал и знаешь, как тяжко достается копейка, а со всем ты тратишь и не оглядываешься. Прекрасная есть у нас на Руси пословица: по одежке протягивай ножки... Если ты молодым студентом с посохом в руках тратишь так много, что же будет...»

Варвара Петровна писала с трагической гримасой:

«Я обманулась в тебе. Я, точно, глупо сделала, что позволила тебе так молоду ехать за границу. Я виновата, что дала тебе Порфирия, из которого ты, вместо слуги, сделал компаньона... Ты поехал не шататься по свету, а учиться — чему?.. учиться мотать! О! за этим не нужно было ехать из России».

Зачем отправила, нашел бы службу, служил бы в Петербурге преспокойно и там бы выдержал экзамен на магистра. Нет-де,— Ваничка годится в *министры*. Залетела ворона в барские хоромы, и убили ворону барские холопы» (31 января 1839 г.).

Денег действительно тратилось много. Каким-то чудесным, пушкинским «беспутством», открытостью, веселием беспечности отмечены дни тургеневской юности. Порой Тургенев похож и на молодого Толстого в годы его «казанского студенства». Он пишет А. П. Ефремову, извиняясь, правда, что выпил вчера слишком много рейнвейна:

«Что я пережил в эти 15 дней? Где не был? В Ливорно, в Пизе, в Генуе; проехал все королевство Сардинское, видел статую С. Карла Борромейского, ездил по Лаго Маджоре, в сошках на св. Готарде — черт бы его побрал — был, кажется, в Люцерне, в Базеле, в Келе, в Майнгейме, в Майнце — постепенно потерял зонтик, шинель, шкатулку, палку, лорнетку, два футляра и две рубашки и теперь скачу в Лейпциг с чемоданом, пустой сумкой, пачпортом в кармане и... в штанах и только!»

* * *

...Варвара Петровна Тургенева, хотя и журила Ваничку за мотовство, напоминала ему, что хотя он и далеко, но «нить его жизни», то есть «кредитивы», остаются в ее руках, но... Но как истинный владыка, она не была бы самой собой, если бы не меняла гнев на милость... В этих переменах — вся сладость власти[1].

После недолгого пребывания в России — в это время он два раза видел Лермонтова и запомнил странный контраст сумрачной и недоброй силы, тяжелого взора с задумчивой

---

[1] Ее письма этих лет — особенно о пожаре в Спасском, сгубившем старый лутовиновский дом в 1839 году, — передают изломанность, мучительность этой любви. Сущий «роман» с сыном — столь же незадачливый, как и роман с мужем! Ивану Сергеевичу почти не о чем писать ей... А она неистово ждет его писем:

«А! Так ты изволил гневаться на меня и пропустил пять почт, не писав. Извольте слушать, первая почта пришла — я вздохнула, вторая — я задумалась очень, третья — меня стали уговаривать, что осень... реки... почта... оттепель. Поверила. Четвертая почта пришла — писем нет! Дядя, испуганный сам, старался меня успокоить.— Нет! Ваничка болен,— говорила я.— Нет! — он опять переломил руку... Словом, не было сил меня урезонить. Вот и пятая почта. Все перепугались... Думали, я с ума сошла. И текущую неделю я была как истукан, все ночи без сна, дни без пищи. Ночью не лежу, а сижу на постели и придумываю... Ваничка мой умер, его нет на свете. Похудела, пожелтела. А Ваничка изволил гневаться...»

презрительностью и почти детской свежестью нежных губ — Тургенев вновь «отпущен» матерью за границу. На этот раз в Италию.

«Вообрази себе — в начале января скачет человек в кибитке по снегам России. В нем едва началось брожение — его волнуют смутные мысли; он робок и бесплодно-задумчив... В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот, или нет — начало развития моей души! Как я жадно внимал ему, я, предназначенный быть последним его товарищем, которого он посвящал в служение Истине своим примером. Поэзией своей жизни, своих речей!.. Он обхватил меня пышной. уделом полноты — меня, еще недостойного».— писал Тургенев М. А. Бакунину и А. П. Ефремову в конце августа 1840 года, уже после смерти Станкевича.

Что же произошло в Италии? Почему позднее, в «Накануне», скульптор Шубин скажет: «Без Италии нет спасения»?

* * *

...Рим в шарме — это карнавалы, цветочницы-альбанки на Испанской лестнице, пестрая папская полиция, ослики зеленщиков. И прежде всего — прошлое. Его-то и искал жаднее всего взор молодого Тургенева. Прошлого было поразительно много! Рядом с Римом античным, развалины которого давно поросли плющом, но «жили» еще, дышали, был и Рим первых христиан, и Рим Возрождения.

«Послушность» камня каждому движению человеческой души, готовность камня овеществить замысел творцов поразили Тургенева. Мрамор как будто гнулся, плавился, растекался в искусных руках, принимал формы гнева, мольбы, восхищения, тоски, страха. Все человеческие состояния «высказывали» себя в камне, в бесчисленных колебаниях и звучаниях «беззвучных» его нот. Это искусство казалось частицей какого-то огромного счастья, изведанного прошлым,— так искусно, без тени усталости, не зная пределов в полете, рассыпало воображение все эти фигурки, сцены, лес орнаментов. Даже гробницы здесь не страшили, не заставляли замирать сердце[1].

Русских в Италии было, конечно, меньше, чем в Париже или немецких городах. Но были и они.

[1] «Все, на чем останавливается здесь взор,— гробницы, но так долго обитала здесь смерть, что этот старейший и царственнейший из ее домов стал, наконец, самим домом бессмертия. Материальное значение вещей изжито, и освобождена их духовная сущность»,— писал позднее один из русских путешественников (Муратов П. Образы Италии. М., 1912, т. 2, с. 17).

В кружке, сложившемся в Риме вокруг Станкевича, Тургенев застал и русскую семью Ховриных, к старшей дочери которых, прозывавшейся в быту Шушу, он испытывал нечто вроде утонченного любовного недуга, и поляка Брыкчинского, отличного пианиста, друга Ференца Листа. Он тоже, как и Станкевич, был обречен чахоткой на смерть. Здесь же и берлинский друг Ефремыч, то есть А. П. Ефремов.

Дух Станкевича — это активное, философское созерцание Вечного города, всемерное развитие зрения духовного. Вместе с ним Тургенев посетил Ватикан, Капитолийский музей, палаццо Боргезе... Их — Станкевича, Тургенева, Ефремова — можно представить беседующими и на Аппиевой дороге, и у Колизея, на Форо Романо и Палатине, у терм Каракаллы, в храме святого Петра, перед «Моисеем» Микеланджело... Ходят они и по античным гробницам, по христианским катакомбам, бродят по тропинкам меланхолической Кампаньи, объясняясь «посредством милых Граций, Муз» (Н. Карамзин).

Уровень проникновения в созерцаемое пока очень и очень различен, Станкевич далек от всякой позы, он постоянно, как льющийся источник, «пробивает» какой-то свой, ему одному ведомый путь к красоте. Но всегда его оценки глубоки, чуть-чуть неожиданны. О соборе святого Петра он писал 19 марта 1840 года:

«Я никогда не могу ждать от архитектуры чего-нибудь охватывающее душу своей необыкновенностью: душа выше ее, но она довольна, когда находит себе такое жилище».

Многим, как отметил Ю. Манн, «казалось непонятным, почему он наслаждается блаженством мысли, только изучает, учится, почему не пишет статей, книг». Вероятно, этот вопрос был и на устах молодого Тургенева, который «жадно внимал ему», которого Станкевич увлекал «поэзией своей жизни, своих речей». Ответ автора книги «В кружке Станкевича» однозначен: «Ему (Станкевичу.— *В. Ч.*) казалось, что знания его еще недостаточны, планы будущих трудов... еще недостаточно продуманы и выношены». Этот ответ, вероятно, стоит дополнить одним замечанием: недостаточность знаний, подготовки, нерешительность были, пожалуй, не только моментом личного поведения Станкевича. «Час ученичества» русской философской мысли был краток, уже Белинский стремительно перейдет к делу. Станкевич — всецело — в этом «часе ученичества», в рамках «благороднейшего и чистейшего эпизода истории русской литературы» (так скажет о его судьбе Н. Г. Чернышевский).

В том же письме 1840 года к Е. П. и Н. Г. Фроловым Станкевич набросает мимолетный портрет двадцатидвухлетне-

го баловня Тургенева. В этом портрете и снисходительность, и любовь: «Тургенев обыкновенно рисует свои фантазии, и очень удачно... Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо... Право, он умен! Не говорю о степени — он молод, может, и вообще не прыток, но все-таки умнее, чем мог казаться у Вас».

Тургенев, по воспоминаниям И. А. Гончарова, крупный и рослый, с большой, но красивой головой, склонный к франтовству, к хлестаковщине, к позерству, тоже не молчал. Он уже входил в роль «сладкоголосой» сирены салонов, обедов, вечеров. Он мог бы говорить умно, но... желание говорить красиво опережало мысль!

Сейчас он еще не имел публики, но претензии на «публичность», вкус к высокой риторике уже явились. И Станкевич то и дело поправлял его, останавливая словами, полными почти базаровского, снисходительного раздражения. «Словечка в простоте не скажет, все с ужимкой»,— правда, словечка умного, утонченного. Перед мраморной статуей святой Цицилии Тургенев прочел, демонстрируя прекрасную память, строки Жуковского:

И прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя.

Станкевич лишь печально улыбнулся этому «Аркадию, говорящему красиво» и сказал: — «Плохо тому, кто *по привычке* любуется прелестью да еще в молодые годы».

При осмотре римских катакомб Тургенев вновь воскликнул, как школяр, «одевающий» свои эмоции в цитаты: «Это были слепые орудия Провидения!»

Станкевич уже более сурово заметил поверхностному гегельянцу: «Слепых орудий в истории нет, да и нигде их нет».

Почему важны эти мелочи?

Есть схема экстатического обожания художественной атмосферы Италии, из которой, как из заезженной колеи, не выскочишь! Чего бояться риторики? «Слово, сказанное в камне «архитекторами», так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться. Кроме того, оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в дворцах не осталось. Все занято красотой» — так, оправдывая покорность традиционной схеме восторгов, писал и в XX веке один русский поэт.

Станкевич как будто все время противился этой привычке... Он подталкивал мысль и чувство Тургенева к самостоятельности, к оригинальности, дающейся лишь трудом души. Эту работу вскоре продолжит Белинский.

* * *

...Дорога на юг Италии — это длинные цепи гор, в которые словно врезаны небольшие селения, иногда отдельные жилища, напоминающие стрижиные гнезда. Это древние акведуки, мосты. Темная пахучая зелень, пастухи, на открытых склонах стада. По утрам горы бывают погружены в бледно-синий, клочковатый туман, но он не в силах скрыть их очертаний. Формы жизни найдены, кажется, тысячу лет назад и повторены сотнями поколений. Когда же человек сгорает предвкушением чуда, праздника, жаждой блаженства, когда сама тоска, то сладостная, то томительная, похожа на блаженство, все вокруг делается еще значительнее. Ведь запомнил же Тургенев в Риме обычную бытовую сцену... В маленькой улочке во время карнавала на пороге своего дома стояла девушка-альбанка. Она держала за руку человека, закутанного в темный плащ, и, утопая в слезах, говорила ему: «Addio, addio!» (прощай, прощай). Что за драма? Но даже звук ее голоса, проникновенный и светлый, писатель запомнил... И кем же стали эти прощающиеся герои под его пером в «Трех встречах»? Простая альбанка превратилась в роковую аристократку в черном домино, а незнакомец в плаще — может быть, пастух или контрабандист — в загадочного иностранца с нестерпимо дерзкой усмешкой...

Поехать в жаркий Неаполь — вместе с Тургеневым и Ефремовым — Станкевич не мог, силы его оставляли, и он двинулся на север Италии. О пребывании Тургенева в Неаполе можно судить по немногим косвенным отражениям. И по той великолепной ночи, «светлой, роскошной и прекрасной», высветившей золотые шары апельсинов, видневшихся при свете луны среди листьев, которая ожила в рассказе «Три встречи». И по пьесе «Вечер в Сорренто».

Он и здесь пребывал в самом сладостном для себя состоянии: полугрусть, полувдохновение, какая-то неопределенная радость. Глаз художника, правда, вносит порядок в эту сумятицу эмоций, и в письме к Станкевичу вдруг рождается прелестная картинка: залив, Везувий без единой струйки дыма над двойной вершиной и «цвет и блеск моря, серебристого там, где отражается в нем солнце, пересеченного долгими лиловыми полосами немного далее, темно-голубого на небосклоне...» (14 апреля 1840 г.)

Много лет спустя, в романе «Новь», Нежданов будет горько бичевать себя: «О, эстетик проклятый! Скептик!.. Коли ты рефлектер и меланхолик,— снова шептали его губы,— какой же ты к черту революционер? Ты пиши стишки, да кисни, да

возись с собственными мыслишками и ощущеньицами... О Гамлет, принц датский, как выйти из твоей тени?»

Сейчас красивая меланхолия Тургенева не смущает, не тревожит. Тургенев поистине «чувствовать спешит». Здесь, в Италии, человек целой верстой ближе к божеству! Его поразила одна прогулка, позднее описанная в «Переписке»,— снова залив, надежный лодочник вместе с ним, конечно же, ночь... Звезды дрожали и дробились на волнах, сама вода жидким пламенем переливалась и фосфоресцировала на веслах... Не лишней была бы — для души Тургенева тех дней — и музыка, целый оркестр. А она, впрочем, и не замедлила явиться: стоявший на рейде французский линейный корабль озарился огнями, и веселая музыка донеслась с него. Оказалось, на корабле шел бал! Тургенев велел лодочнику грести к кораблю, объехать его... Один раз, другой! Женские силуэты мелькали в окнах, изчезли прозаические пушки, звуки маленькой флейты порхали среди возгласов труб... Жадно смотрел на все это юный гегельянец. И, отплывая прочь, ловя последние звуки, он вдруг приподнялся в лодке и простер свои объятия в сторону исчезнувших в ночи музыки, корабля, вальса...

Никакой грубой оболочки не имела жизнь для такой души!

* * *

А в Берлине его словно поджидал новый знакомец...

Михаил Бакунин — ему было двадцать шесть лет — появился в Берлине в августе 1840 года. Он сразу же сошелся с молодым Тургеневым: даже поселился с ним в одной квартире. Бакунина нигде не оставляла идея образовать «братство», «альянс», «орден», ему нужны были слушатели. Утратив расположение одних, раскрывших его до конца, Бакунин энергично завоевывал другие души. Виссарион Белинский уже в 1838 году писал Бакунину о своем охлаждении к нему, о «темноложности» их отношений» (12 октября 1838 г.). Тургенев еще не предвидел ничего подобного. В известной мере его романтизм, его юношеское фатовство и позерство были в соответствии с позерством, даже вождизмом Бакунина. Красивый, полный неуемной энергии, шумный, речистый, готовый к роли вождя, к натиску на чужие души, Бакунин многим прельщал Тургенева. «Скольким я тебе обязан — я едва ли могу сказать — и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтобы вылиться в слова»,— писал он в письме М. А. Бакунину и А. П. Ефремову 27—29 августа 1840 года. В этом же письме, предвидя свое возвращение в Россию, Тургенев просит: «Ты дай мне письма к своим: как

я желаю хоть видеть их. Скажи им обо мне как о человеке, который тебя любит; больше ничего».

Откуда такая пылкость, самозабвение в любви? При всей скидке на возвышенную манеру «изложения чувств» тургеневская жажда испить из чаши сей очень заметна...

Все дело в том, что развитие Тургенева было многоступенчатым, одни лица подготавливали сближение с другими. Земляк-орловец Тимофей Грановский в известной мере подготовил его к дружбе, к восприятию утонченной души Станкевича. Станкевич, бесспорно, не раз упоминал в Италии членов своего кружка — Белинского, Бакунина и, невольно, подготовил Тургенева к правильному восприятию этих людей. От Бакунина, только что оставившего в Петербурге Белинского, М. Н. Каткова и А. И. Герцена, и Тургеневу «рукой было подать» до этих, в будущем столь важных, хотя и по-разному, для него лиц. Вот почему он просит Бакунина дать «письмо к своим»...

К тому же в 1840 году, при всей внешней грозности, Михаил Бакунин еще не грозил сотрясти основы государств, систем, не веровал во всемирные катастрофы, не создавал тайных сект, групп. Только В. Г. Белинский — один из немногих — назвал уже его «дьяволом в словесном оперении», предчувствуя бакунинские крайности.

Где же бывали в эту зиму Бакунин и его «малая аудитория» — Тургенев?

Прежде всего у приехавшей в Берлин из Италии, где она похоронила Станкевича, сестры Бакунина Варвары Александровны Дьяковой.

«Мы, т. е. я и Тургенев, живем недалеко от нее. Заняты целый день лекциями и домашними занятиями, а вечером обыкновенно отправляемся к Вареньке. Довольно часто слушаем вместе симфонии, квартеты (большею частью Бетховена) и оратории»,— писал Бакунин сестрам 18 декабря 1840 года.

Бакунин очень скоро привыкнет распоряжаться и тургеневским (вернее, Варвары Петровны) «кредитивом»... Так, строя планы приезда брата Павла за границу, он уверяет его: «Тургенев даст нам взаймы денег столько, сколько нам для этого будет нужно...» Но, правда, есть человек порешительнее «предлагающего» деньги Тургенева. Это его мать Варвара Петровна. Она, не будучи знакома с Бакуниным, на расстоянии открыла опасность опустошения сыновьего (ее) кармана. И Мишель скоро получил письмо от сестры Александры: «Michel, я так удивилась. Вдруг приходит ко мне человек от Тургеневой. Спрашивает меня, не знаю ли я что-нибудь про ее сына, который дружит с тобою... Скажи ему, что его

мать беспокоится и что он хорошо сделает, если ей напишет».

Как же отразился Бакунин берлинского периода в сознании и затем творчестве Тургенева?

Вопрос очень сложный и до сих пор не очень раскрытый...

Белинский не случайно говорил о Бакунине как о неутомимом искателе истины. «Мишель во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки — это вечно движущее начало, лежащее в глубине его духа»,— писал он 7 ноября 1842 года. Это качество было особенно дорого в русских условиях.

...Михаил Бакунин, будущий Рудин, был оставлен Тургеневым в Берлине в состоянии пламенных ожиданий. Он верил, вслед за Фейербахом, что разум неизбежно преодолеет религию. Второго принципа своей веры — «бунт разрушит государство» — будущий апостол анархизма и волюнтаризма еще не провозглашал. Но уже в 1842 году, когда власть философских отвлеченностей еще была сильна, именно Бакунин выступил с отважной статьей «Реакция в Германии», высоко оцененной Герценом, в которой выразилась вся его жажда грандиозных потрясений, схваток. Гегелевская терминология держится еще как кусочки скорлупы на его фразах, но «вулкан» заработал, смысл мятежных надежд Бакунина на «мировой Дух» совсем не гегелевский:

«Развиваются вокруг нас явления, которые нам возвещают, что Дух — этот старый крот, уже выполнил подземную работу... Повсюду образуются — и в особенности во Франции и в Англии — социалистическо-религиозные союзы, которые совершенно чужды современному политическому миру и из совершенно новых и неведомых источников творят свою жизнь и в молчании развиваются и расширяются... Все народы и все люди полны известных предчувствий... Даже в России, в этом беспредельном и снегом покрытом царстве, которое мы так мало знаем и которому предстоит, может быть, великая будущность, даже в России собираются темные, предвещающие бурю тучи! О, воздух душен, он чреват бурями!»

Призывов немедленно и повсеместно разрушить любое государство, «закрыть в одно и то же время и все кабаки, и все церкви», развращающие души призрачными радостями, увидеть в каждом разбойнике готового революционера еще не было в этой статье. Эти фразы, звучащие крайне радикально, а по существу надувательски в отношении революционных масс, предвещал, правда, один заключительный аккорд статьи: «Страсть разрушения есть вместе и творческая страсть».

...Все запомнил, все сложил в копилку памяти Тургенев, молодой философ и поэт, возвращавшийся из Берлина в Рос-

сию в мае 1841 года. При всей кажущейся рассеянности, изнеженности, вкусе к театрализации жизни.

Отъезд из Берлина подарил Тургеневу еще одно, забавное внешне, но отнюдь не комическое происшествие. Уже ожидал его, как и других пассажиров, огромный тяжелый дилижанс на высоких колесах, запряженный шестью лошадьми с багажом, укрепленным на крыше и прикрытом брезентом. Уже кондуктор с блестящей медной трубой — для подачи сигнала к отъезду! — проверил билеты. Возница в шляпе с петушиным пером вот-вот щелкнет кнутом с лакированной ручкой. Еще миг, и медленно станут уходить в прошлое пыльный Берлин, аудитории Королевского университета, а с ним вместе Дрезден и Вена, Генуя и Рим... И вдруг в последний момент перед отправлением у дилижанса появился Порфирий Кудряшов, его слуга, его «Савельич», до этого приискавший здесь невесту, немецкую семью, готовую принять его в дом. Все делалось с разрешения Тургенева. Первые письма невесте Порфирия Тургенев сам переводил на немецкий язык...

— Что случилось?

— Еду, барин, и я в Россию!

— Как? Накануне свадьбы? Бросить добрую невесту...

— Христос с нею... Родина милее.

— Да знаешь ли ты, Порфирий, что бесчестно само по себе бегство, что в России тебя же обратит матушка в батрака? А в дурной час в солдаты может отдать?

— Знаю, как забыть, а все-таки хоть убей меня, а поеду с тобой, Иван Сергеевич, в Россию. Надоела чужбина до смерти...

ИСКУШЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГАМЛЕТА

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

А. С. Пушкин. Дар напрасный, дар случайный (1828)

Качество — это огонь, кислород, *соль* бытия. Бытие вообще, без определенного качества, есть безвкусица, нелепость.

Л. Фейербах. Сущность христианства (1841)

Двадцатитрехлетний Тургенев вернулся в Россию из Берлина в мае 1841 года. Искусно причесанный и надушенный, в ярко-синем фраке с золотыми пуговицами в виде львиных голов, с поистине невыносимой даже для друзей жаждой *эффекта* и редкой, прежде всего философской, образованностью, он сразу же попал в положение грибоедовского Чацкого. И прежде всего в Москве.

Они еще были живы — забытые патриции Тверского бульвара, фамусовы, Толстой-американец, репетиловы и загорецкие былых времен. Все так же прекрасно был натерт паркет гостиных, сверкали люстры в залах, еще больше стало умнейших голов «для частного удовольствия беседы», но... свершить испытание кандидату Тургеневу на искомую им степень магистра философии в Московском университете все же было нельзя: «поелику же кафедра философии в университете не открыта» и наука эта в течение 15 лет не преподается...

Все оставалось по-старому. В Берлине Тургенев как-то забыл, что его дворовый человек, его «Савельич» — Кудряшов (он изучил, и неплохо, медицину, стал хорошо говорить по-немецки) остался таким же крепостным, как и раньше. Стыдно, неловко... Как нелепо все *это*! Он умоляет мать, смущаясь, краснея от нерешительности:

— Сними ты с него это ярмо! Клянусь тебе, что он тебя не бросит, пока ты жива. Дай ты ему только сознание того, что он человек, не раб, не вещь, которую ты можешь по своему произволу, по одному капризу упечь куда и когда захочешь!

Подобные разговоры велись в Спасском, где Варвара Петровна заготовила для сына крыжовенное варенье, им любимое, заготовила даже «улучшения» ...в собственном характере: исчезли на время капризы, придирки, вспышки гнева. И сын,

чтобы побыть с матерью, откладывал охоту, часто катал ее в кресле (она не могла ходить) по саду... Но его просьбы о Порфирии она высмеивала:

— Да ты не знаешь Порфишки! Он уже письма мне пишет: не хочу, мол, служить, я, дескать, не благодарна ему за многолетние услуги... Ему душно у меня — Пушкина, что ли, он читал... Нет, русский крепостной должен быть в черном теле. Иначе он все, даже душу свою, снесет в кабак... Чуть ослабь вожжи — и готов болтливый бездельник, не слуга господину...

До резких столкновений эти диалоги не доходили. Хотя грустно и стыдно было видеть эти причуды барства дикого — «без чувства, без закона» — почитателю Гегеля и итальянских красот. Невольно оживала в памяти Тургенева судьба одаренного крепостного живописца Николая Федосеева: он четыре года учился у самого Кипренского, и тот, по словам этого крепостного раба маменьки, «завсегда отличал меня от других — и по рисунку, и по композиции, и по цвету». Федосеев преуспел затем как декоратор в Большом Петровском и в Малом театрах... И вдруг — очередная прихоть маменьки!

— Возвернуть его в Спасское! Мне самой живописец надобен в вотчине...

Просьбы, вероятно, М. Н. Загоскина, заступничество даже самого Михаила Щепкина, знавшего ужас крепостной неволи, вызвали — и что за ужасный характер! — лишь еще более изощренное наказание художника: Варвара Петровна не разрешила Федосееву «малевать» ничего иного, кроме цветов. Тогда-то и вырвался из груди мягкого и почтительного сына глухой упрек:

— Кого ты не мучаешь? Всех... Кто возле тебя свободно дышит? Кто возле тебя счастлив? Вспомни только Полякова, Агафью... Все они могли бы любить тебя, если бы... А ты всех делаешь несчастными!

* * *

Магистерские экзамены — после недолгой подготовки в Москве (с сентября 1841 по март 1842 года), в доме матери на Остоженке,— Тургеневу пришлось держать в Петербурге в апреле — мае 1842 года. Экзаменовали его те же профессора, чьи лекции он слушал студентом — А. А. Фишер, Б. Ф. Грефе, Фр. Фрейтаг. И тут начались странности. Успешно выдержав экзамены, Тургенев все же не представил диссертации. В мае 1842 года он взял из университета свой аттестат кандидата. 7 января 1843 года им вдруг подано на имя министра внут-

ренних дел Л. А. Перовского прошение о получении права служить в этом министерстве. До этого им была написана записка «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине» (1842) антикрепостнического направления.

Трудно, почти невозможно вписать Тургенева, одного из образованнейших людей своего времени, но одновременно мечтателя и скептика, полного грез и сомнений, в вечно поспешающую, полную «лихорадки деятельности» чиновничью толпу на Невском проспекте. В этой толпе надо стушеваться, улетучиться, в ней нельзя по-московски жить нараспашку. С невероятным трудом можно представить его под начальственной рукой В. И. Даля! Именно он был начальником коллежского секретаря Тургенева в министерстве Л. А. Перовского. Даль — аккуратный, педантичный мастер делопроизводства, человек из тех, кто «сказал, как узлом завязал», кто «думает думу без шуму»,— во всем противоположен Тургеневу. Эти русские «острые словца» поговорки В. И. Далю, согласно его предписанию, присылали в служебном рвении из ведомств всех губерний. Он прилежно систематизировал их, часто знакомил с ними и сослуживцев. Даже деловые бумаги он изучал с особой, лингвистической точки зрения.

Однажды Даль рассказал — и Тургенев, конечно, все запомнил, жадно приложил к своему образу Пушкина,— как незадолго до гибели Пушкин был восхищен описанным Далем словом «выползина»,— сброшенная змеей старая шкура. Мрачные думы, как тучи, сдвинулись, луч улыбки осветил его лицо. «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!» — заметил он. А вскоре же, зайдя вновь к Далю в новом сюртуке, Пушкин, смеясь и радуясь «обживанию» нового слова, говорил, показывая на обнову: «Какова выползина!»

Тургенев оставил службу в 1845 году. И до этого он часто уезжал в Москву, где задерживался «по болезни», где жил в отпуске... Ощущалось, что его надежды на «либеральную весну», спасительную «полуреволюцию сверху» истощились. Вероятно, он горько улыбался, вспомнив скоропалительного Мишеля Бакунина. Ему бы только горы сдвигать, рушить государства, не умея... обойтись без дворника!

Но почему вообще он так долго числился в чиновниках? Кто-то, бесспорно, удерживал его на службе. Изо всех сил! Как и до этого подталкивал его к профессуре как виду государственной службы...

Этим «кто-то» была, конечно, Варвара Петровна: «нить» жизни — средства для безбедной жизни! — была по прежнему в ее руках.

* * *

В 1841 году в «Отечественных записках» появились два стихотворения Тургенева «Баллада» и «Старый помещик» (подпись «Т-Л» — Тургенев-Лутовинов), в 1842 году — «Похищение»... Опубликованное в 1844 году стихотворение «Осень» датировано тоже 1842 годом. Всему опубликованному сопутствуют (или предшествуют) эскизы, наброски, незавершенное. Стихотворные пояснения к записям в автобиографическом «Мемориале»: «Беснования. Александра Протасова». Иногда виновница многих «лирных» томлений, печоринской грусти названа прямо — это А. Н. Ховрина (Шушу); иногда виновница красивого страданья подразумевается...

Легко говорить (даже Варваре Петровне и брату Николаю) о подражательности этой лирики: любое «ухо», которое медведь не отдавил, уловит в ней отзвуки од Державина, баллад Жуковского, услышит мрачную исповедь Лермонтова и, конечно же, найдет нечто «пушкинское».

«Кастальский ключ» не волною вдохновенья, а скорее прерывистым ручейком вскипал и замирал в груди молодого философа. Но было уже в этих стихах, эскизах и нечто, что Борис Зайцев, один из интимнейших лириков русской прозы, назовет «категорией тургеневского». Был и «некоторый тончайший эфир его души», «удивительное равнодействие культуры и стихии», «многопевная мечтательность», «серебряный свет». Он не похищал чужого, но брал свое везде, где видел его, где оно *выразилось* уже совершеннее, чем в его слове! Было то, к чему так приучил Тургенев самых утонченных читателей уже к 1857 году. Они буквально скучали без тургеневской поэзии сердца. Ап. Майков писал Тургеневу — почти наугад, не имея часто точного адреса,— следующее: «Рассуждая об этом томлении по Вас, я нахожу, что это не столько моя вина; (сколько) но что тайна этой притягательной силы находится в Вас, и Вас хочется видеть и слышать и чувствовать точно так же, как иногда до зарезу хочется отличной музыки, великолепных стихов, солнца — так и Вашим знакомым «хочется Тургенева»... Возвышается эта чудная Ваша поэтическая доброта. «Ася» Ваша... производит фурор, особенно после повестей с исправниками и становыми, без этой внутренней подкладки души и сердца».

В самом деле, среди подражательной, наигранной грусти, заемной меланхолии, слабых строк вдруг мелькнет какой-то золотой намек, удивительное одухотворение мгновения:

Заметила ли ты, о друг мой молчаливый,
О мой забытый друг, о друг моей весны,

Что в каждом дне есть миг глубокой, боязливой
Почти внезапной тишины?
И в этой тишине есть что-то неземнсе,
Невыразимое... душа молчит и ждет...

Какая-то случайная остановка жизненного процесса, шумного бала жизни, выявляющая «абсолютный слух» поэта, чувство меры во всем!

Конечно, есть у Тургенева-поэта и сожаления о жизни, «изгаженной роком», и лунный свет «меж бледных туч», и томная игра с воспоминаниями — это в 20 лет! — и почти альбомное сравнение души с цветком, беззаботно сорванным любимой (любимым?) и увядшим в петлице:

Так что ж? Напрасно сожаленье!
Знать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновенье
В соседстве сердца твоего.

Альбом барышень былых времен вмещал порой и великие экспромты. В строке для альбома соединялось волшебным образом некое неразложимое начало поклонения и реальному человеку, и божеству красоты.

Что такое общепризнанный шедевр русской поэзии — стихотворение Тургенева «В дороге» («Утро туманное, утро седое»)?

Вновь интимнейшее воспоминание о волшебном, почти нереальном, неземном (а потому и нетленном, неразрушимом даже временем!) мгновении предельной полноты любовного чувства, о родстве душ, так желавших и так страшившихся счастья... Здесь нет лиц — ведь лица, даже самые дорогие, так быстро тускнеют в неверной памяти! Здесь нет и грубых, теснящих простор предметов — они тоже бренны, почти призрачны. Здесь только «нивы печальные», «небо широкое» и звучащие воспоминания о чувстве, знавшем расцвет и печальное угасание. Но угасание как будто не по воле (а вопреки ей) этих двух людей! Воспоминание о чувстве столь высоком, волшебном, что оно стало в какой-то момент, как часто бывает у Тургенева, неподвластным даже им самим, саморазрушающимся, хрупким, как все исключительнсе, бросившее вызов обыденности! И как многозначителен у Тургенева столь любимый им впоследствии эпитет «странною» («Вспомнишь разлуку с улыбкою странною»)? Сдержанное покорство роковой судьбе и глубокое достоинство даже перед лицом разлуки «оттиснули», кажется, эту улыбку, гримасу страдания на лице. Ведь покорство этих двух душ — не анемичное, не тупое, не сонное. Здесь еще так ощутим роковой поединок сердца с судьбой,

спор человека с какой-то таинственной силой, сеющей даже среди дорожащих друг другом людей отчуждение и боль. Непролитая слеза дрожит, она видна за странной натянутой улыбкой. И потому возможно стало такое неожиданное сближение: «Взгляды так *жадно,* так *робко* ловимые». Музыка прекрасного романса и доныне как бы вырывает непостижимую тайну былого крушения надежд и прекрасных порывов, тайну сожалений, тоски и одновременно благодарности друг другу двух людей. В кажущемся противоречии, в парадоксально смелом сближении слов «жадно» (то есть сильно, безоглядно, раскованно, смело) и «робко» (то есть отчасти страшась счастья, как грезы, не веря в него, уступчиво-обреченно) открывался особый, тургеневский путь к законам, которые часто управляют душевной жизнью людей[1].

Этот шедевр тургеневской лирики, в сущности, предваряет, предсказывает драму в душах Лаврецкого и особенно Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде» (1857). Лиза Калитина почти безмолвна, в ней живет страх перед счастьем, она застывает с мучительной робостью перед тем неведомым, кто располагает и счастьем, и всей ее судьбой.

Но что значили даже эти стихи для Варвары Петровны?

Однажды между нею и сыном, манкирующим службой, вспыхнула перебранка:

— Постичь не могу — какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? Сам говоришь, что Пушкиным не будешь. Да, в мое время все барыни бегали за Пушкиным, уважали Жуковского... Да и как не уважать его и сейчас, ты знаешь, как близок он ко двору! А что такое все иные? Определился бы ты на настоящую службу, а потом и женился бы, ведь ты теперь один можешь поддержать род Тургеневых!

Иван Сергеевич отшучивался, смягчал суждения матери, а затем устало рассмеялся:

— Ну уж это извини — и не жди — не женюсь! Скорее твоя Спасская церковь на своих двух крестах трепака запляшет, чем я женюсь...

---

[1] «Жадное» и «робкое» позднее разделятся, и явятся, скажем, Митя Карамазов или старообрядец Рогожин, Настасья Филипповна с их жадной (сильной) страстью, не знающей робости, граничащей почти с... враждой, мучительной ненавистью, с неистовым желанием... сгубить, растерзать друг друга! Без этого нет полного удовлетворения подобному жадному демоническому чувству! Явятся чеховские сестры с их чистой «робостью», односторонним страданием, смирением и самоотречением, неспособностью бросить вызов судьбе. Это тоже не измельчание, это тоже памятники красоте и силе чувства, возвышающиеся над обыденностью. Но взгляды тургеневских героев, «так жадно, так робко ловимые» его же Лизой Калитиной или Ириной в «Дыме», Джеммой в «Вешних водах», не повторятся...

Вопрос о женитьбе поднимался, бесспорно, не случайно. Еще в 1838 году Варвара Петровна строго предписывала сыну: «Не затей знакомства свести с актрисами в Берлине»... Узнав нечто о приключениях сына в Швейцарии, она опять отметила: «Что касается до твоего откровения со швейцарочкой в Берне... Или ты глуп, или ты плут! — сказал помещик мужику.— Как тебе угодно,— ответил мужик...»

Но и на ее бдительную мудрость хватило «простоты» — самой обыденной, традиционно-усадебной... В 1842 году у белошвейки Авдотьи Ивановой, жившей при владелице Спасского, от Тургенева родилась дочь Пелагея (1842—1919). Ничего интересного эта история, как и последующая (с Фетиской, купленной Тургеневым у одной из родственниц), не несла. Отцовства Тургенев тоже не узаконил[1].

* * *

...При кажущейся житейской рассеянности молодого Тургенева — внезапном поиске профессорской мантии и охлаждении к ней, остром желании ускорить решение «больного вопроса» о крепостном состоянии и скорой отставке — он жил очень сосредоточенно, жил в атмосфере повышенного интереса к философии. И среда, окружавшая его, особенно в Москве, была такой, где отвлеченные вопросы философии — часто и вопросы жизни.

Это была эпоха великих исканий. И одухотворяло эти искания как славянофилов, так и западников, одно страстное чувство: «чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно»* (Герцен А. И. Былое и думы).

Тургенев — поэт, один из самых образованных людей, к тому же человек с легко усваивающей все натурой, *увлекаемой* и объективной — стал желанным гостем, деятельным собеседником в московских кружках и салонах.

Сами «москвичи», и прежде всего постоянные участники

[1] Забегая вперед, следует сказать, что в 1850 году девочка Пелагея — по совету Полины Виардо — будет отправлена в Париж. Она получит там имя Полины, будет сделана католичкой. От нее — в замужестве Полины Брюер — весьма далекой от художественных интересов отца,— будут два (бездетных) ребенка: сын Жорж-Альбер (умер в 1924 году в Париже) и дочь Жанна Брюер-Тургенева (умерла одинокой в 1952 году). Род Тургеневых не был поддержан дочерью, внуками ни в каком плане: ни русского языка, ни родины великого отца и его места в культуре России Полина, как и ее дети, почти не ощущали...

кружка А. П. Елагиной, ее дети от первого брака Иван и Петр Киреевские, друзья дома Константин Аксаков, Алексей Хомяков, Константин Кавелин, тоже серьезно интересовали его.

О чем печалилась, чему радовалась эта, отнюдь не однородная и в 1842—1844 годы, тем более в последующие, «московская» мысль?

Если Т. Н. Грановский в своем курсе истории открыл москвичам — не только студентам! — целый мир европейского средневековья, эпоху крестовых походов и скандинавских саг, то восторженный и вдумчивый Константин Аксаков открыл — вначале в беседах с друзьями — поэтический, правда, несколько сглаженный мир русской истории, мифологии, песни. Долог и сложен будет путь Тургенева вместе — а порой в отдалении, даже в острой полемике! — с Аксаковыми... Но уже сейчас он не мог не запомнить одной, любимой позиции Константина Сергеевича...

С трудно сдерживаемым волнением, нередко с печалью, но неизменно вдохновенно — и какая же черствая душа посмеется над ним! — вспоминал Аксаков о существовавшей до Петра перекличке стрельцов вечерами, когда запирались ворота Кремлевские:

— Разбудите спящее воображение, представьте... Близ собора Успенского часовой страж начинает протяжно и громогласно, как бы нараспев, возглашать: «Пресвятая богородица, спаси нас!» За ним второй в ближнем притыне возглашает: «Святые московские чудотворцы, молите о нас!» Потом третий... пятый... «Славен город Москва». Шестой... «Славен город Киев!» Седьмой... «Славен город Владимир!» Так же поименуют Суздаль, Ростов, Ярославль, Смоленск... В этой перекличке раздается голос Русской земли. В такие мгновения слышишь, как она сама себя чествует, сама себя называет и сознает в городах своих. Так чудесен и важен был самобытный путь России до совращения ее на путь западный.

Константин Аксаков именно в 40-е годы с мучительной ясностью стал ощущать, что Петр Великий, силясь «кочующий или, лучше, бродящий народ сделать крепким земле», оторвал Россию от ее прошлого. Образный язык Аксакова и на сей раз был нагляден:

— Он, Петр, преуспел, он разорвал ее... надвое, в его руках остались верхние классы, а простой народ остался на своем корню...

В речи «О Карамзине», произнесенной в 1848 году перед симбирским дворянством, К. С. Аксаков сказал еще более резко об этом отрыве, о нововведениях Петра: «Чем ближе к древнейшему порядку, тем лучше» (для России.— *В. Ч.*).

И как долго, поглощая все силы души, одаренной и благородной, занимала его эта мысль! Не замечая, что он, мечтатель и поэт, спорит уже не с Петром I, а с формализмом и казенщиной царствования Николая I, он повторял, что «мундир, кокарда — способы, облегчающие «показать» убеждение, без особых хлопот «добыть» его... наружные знаки убеждения» («О современном человеке»)[1].

Воскресные сборы у А. П. Елагиной, «вторники» у Каролины Павловой, «понедельники» у П. Я. Чаадаева, где бывали, между прочим, композиторы Ф. Лист и Г. Берлиоз, для молодого Тургенева — своеобразные ларчики драгоценностей: ума, таланта, чувства.

Художник обязан быть духовно на уровне высших достижений человеческой мысли своего времени. То, что даст тебе *минута* подлинной духовной высоты, то и вечность не отберет... Так говорил любимый Тургеневым Шиллер.

Судьба была удивительно щедра к Тургеневу в пределах этой московской «минуты» его жизни. Удивительный энциклопедизм его познаний России не отобрала потом ни болезнь, ни разлука с родиной. И мечтательные умозрения К. С. Аксакова, П. Я. Чаадаева, Т. Н. Грановского, Ю. Ф. Самарина — людей весьма разных — не забылись им на чужбине. Такого круга людей, талантливых и чистых, как в Москве 40-х, такой *инициативы* умственного труда, самоотдачи в попытках разрешить важнейшие вопросы исторического бытия России не было (Тургенев мог бы повторить А. И. Герцена) и для него впоследствии «ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и аристократического...»[2].

---

[1] А в кого стреляет еще одно излюбленное сравнение К. С. Аксакова, этого врага крепостничества и безгласности? Петровское государство с многочисленным чиновничеством 14-ти классов К. С. Аксаков часто сравнивал с «корой» дерева, с чем-то внешним, чуждым «сердцевине». Народ или «землю» он уподоблял сердцевине. И предупреждал, не замечая, какой гнев вызывает он в холодном бюрократическом Петербурге, где эта «кора» чудовищно разрослась: «Беда, если дерево обратится в кору, если кора, увеличивая объем ствола, станет беспрестанно поглощать жизненные соки дерева и самое сердцевину. Петр обратил преимущественное внимание на кору, на наружность, но не в том сила, крепка ли кора, а в том сила, здорова ли сердцевина».

[2] Солнце, даже скрытое за горизонтом, сокровища, не явленные еще миру, неуловимым образом освещают и согревают мир. Кто не знал в Москве 40-х годов о чудесном деревенском коробе, запертом висячим замком в квартире П. В. Киреевского на Остоженке?

— Что за сокровище там оберегается? На замке и всегда перед глазами? — спросил однажды хозяина Федор Иванович Буслаев, в будущем выдающийся русский филолог.

3 Заказ 314

Но именно Герцен первым почувствует — вероятно, это чувствовал и Тургенев,— что Москве недостает одного — простора, шири, что накопленные в Москве глубочайшие догадки, тревоги, великие идеи ноют по воле... Духовное «меню» в салонах столь разнообразно: от немецкой философии до сенсимонизма; «блюда», самые изысканные, следуют одно за другим, в изобилии, но... Все портится из-за духоты, праздной пресыщенности гостей, узаконенного сверху бездействия, невольного гурманства, отсутствия поприща для дел. Возникал или вариант «шумим, братец, шумим» «Горе от ума», или «боткинский вариант» такого же бездействия, путь гастрономического наслаждения искусством. Этому варианту духовного гурманства по праву можно дать имя В. П. Боткина, даровитого сына московского купца-чаеторговца, избранника по уму, таланту, но неискоренимого сибарита по натуре. Так «московская печь» пекла!

В ноябре 1842 года Герцен записывает в дневнике:

«Был на днях у Елагиной — матери если не Гракхов, то Киреевских. Видел второго Киреевского. Мать чрезвычайно умная женщина, *без цитат*, просто и свободно. Она грустит о славянобесии сыновей. Между тем оно растет и растет в Москве. Чем кончится это безумное направление, становящееся костью в течении образования?»

Ответы на эти и другие вопросы, и не для одного Герцена, будут мучительно вырабатываться жизнью. И не только в Москве.

Призрак застоя... Его почувствовал Тургенев в Москве. Застоя живописного, красочного, во всем «родного». В комнатах Английского клуба еще долго, вплоть до реформы, как пчелы на весеннем пролете, будут сновать мундиры, фраки, будут сходиться и расходиться спорщики, не перестанет звучать звон бокалов... Еще сравнительно долго на споры о Шеллинге или Фихте будут слетаться, как на стерлядь, новые «любомудры», удивляя хор из массы неслужащих помещиков, наезжающих в Москву. Словесные кружева — без узлов, без «обрывов» — будут ткаться в Москве престарелых лариных и

— Так я вам не говорил? — ответил скромнейший Петр Васильевич.— Здесь хранятся народные песни, былины и духовные стихи, которые много лет я собирал повсюду, где случалось бывать. Между ними много и таких песен, которые записаны моими друзьями и знакомыми. Вот эту пачку дал мне сам Пушкин и при этом сказал: «Когда нибудь от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». И сколько ни старался я разгадать эту загадку, никак не мог сладить. Когда мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные» Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. Цит. по кн.: Чурмаев Н. В. Ф. И. Буслаев. М., 1984, с. 41.

фамусовых более добродушно, чем в Петербурге. Но Тургенев, вероятно, заметил, что иногда наезжал из Петербурга, как беззаконная комета, выжигая теплое «москводушие», Виссарион Белинский, человек, который к этому времени, по словам любимого Тургеневым старика С. Т. Аксакова, обнаружил «гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому (славянофильскому.— *В. Ч.*) направлению».

Тургенев осознавал, что он всего лишь бродит по московским кружкам, томясь и созерцая, иногда вышучивая многое. «Истину» здесь ищут, ловят, как будто это «зверь», скрывающийся только в московских переулках? А если она где-то уже найдена? И более того — стала где-то, в России же, основой дела?

* * *

В тот момент, когда в московском доме на Остоженке запищала девочка у белошвейки Авдотьи Ивановой, Тургенев, отец этого ребенка, встретился наконец с теми, ради кого он просил у Мишеля Бакунина рекомендательных писем. Он побывал в Премухине, он встретил Татьяну Бакунину. Был пережит так называемый «премухинский роман», ставший зеркалом всех настроений Тургенева, роман, столь похожий на поиск своего рода «философского камня», претворяющего в золото и любовь, и жизнь, и вдохновенье творчества.

Владелец села Премухина Александр Михайлович Бакунин, защитивший диссертацию в Падуанском университете, дипломат и надворный советник, создал в усадьбе мир, в котором сплавлялись воедино — до известной поры — жизнь и искусство. Жизнь «наряжалась» средствами поэзии, скульптуры, музыки. Члены многочисленной его семьи привыкли пользоваться языком искусства, философии в любом житейском случае.

Татьяна Бакунина была типичной представительницей «премухинского гнезда»... Со старинного изображения ее смотрит на нас лицо едва ли красивое, проглядывает человек с весьма нелегким характером, но видна, бесспорно, душа пытливая, беспокойная, склонная читать жизнь и людей как книги. Нет никакого лукавства, капризности, спрятана возбудимость. Кажется, она не помнит, что надето на ней, нет суетной страсти к украшениям, к кокетству. Веера, кажется, никогда не держали ее руки,— но зато... Не ошибется тот, кто уловит в ней жажду самопожертвования, склонность к этой излюбленной женской роли тургеневских героинь, к «спасению» и перевоспитанию избранника.

Старший брат Михаил со своей страстью «освобождать» сестер от чего-то и от кого-то, изменять их судьбы, вдохновлять на книжные терзания, уже основательно поработал над ее душой. Многого не заметив, он извратил в ней что-то естественное, создал в дополнение к отцовским урокам в духе Руссо эклектику невероятно запутанных порывов и чувств. Ее человеческая страсть, едва зародившись, сейчас же начинала блуждать, иссыхать в коридорах логики... Здесь любили уже не по Байрону, а по Шеллингу и Гегелю.

Татьяна была на три года старше Тургенева... И на роман их это тоже наложило свой отпечаток. Она, читавшая и Фихте, и Гегеля под воздействием брата, с самого начала не заметила, что ее покровительство Тургеневу наивно: ведь сам он образованнее ее!.. Он искал в ней что угодно, но не старшую сестру...

Вечно ироничный романтик Г. Гейне говорил: «Создавая женщину, бог взял слишком мягкую глину. Чрезмерная нежность материала очень редко соответствует запросам жизни. Это создание слишком хорошо и слишком дурно для нашего мира. Самые милые достоинства становятся здесь источником самых скверных пороков».

Первая нота в любовном дуэте взята была Татьяной высоко... Она пишет Тургеневу:

«Вы святой, вы чудный, вы избранный богом. На челе у вас я вижу отпечаток его величия, его славы, и вы будете, как он, велики, могущественны, свободны, блаженны, как он. Вам принадлежит не маленькая частичка жизни, славы, счастья; вам вся полнота, вся бесконечность, вся божественность бытия. О, оставьте меня в святом, в блаженном созерцании той дивной будущности, которую я смею предрекать вам».

Где было знать Татьяне, что и как гегельянец Тургенев был особый: эта система захватила его как «храм духа», грандиозное готическое построение вроде Миланского собора, как великая поэма или стройная симфония. Философия для него была и размышлением, и мечтой, грезой. Искусство растворилось в философии, сделало ее певучей...

Сухости в науке, филистерского педантизма, тем более проникновения логических систем в быт, он вообще не выносил. В Берлине он не раз приходил к отрадной мысли:

— Слава богу, что абстрактная сухость гегельянства и кантианства не коснулись хотя бы... кулинарии!

И вдруг здесь, в России, он, вначале бессознательно, почувствовал, что философия обволокла целое существо! На него под видом любовного послания надвигается «Наставление к блаженной жизни»...

Не стоит, бесспорно, преувеличивать прозорливость Тургенева в этом первом, запечатленном в письмах, стихах значительном любовном поединке. Ни ему, ни ей никто не мог высказать истину:

> Ты не его в нем видишь совершенства,
> И не собой привлечь тебя он мог —
> Лишь тайных дум, мучений и блаженства
> Он для тебя отысканный предлог.

Образ Тургенева на протяжении всего периода, пока длились его отношения с Татьяной Бакуниной — в Москве, Твери, Премухине,— несколько туманен. Н. В. Станкевич предупреждал друзей, что Тургенев неловок, мешковат физически и претенциозен, часто несносен повадками баловня, «недоросля», но нельзя судить о нем только по этим качествам: в нем много признаков ума и развитости, которые «способны обновлять людей». Но и Татьяна, и ее сестры, вероятнее всего, видели в Тургеневе лишь одни свой культуры, поверхностный. Александра Бакунина писала Варваре Дьяковой:

«Тургенев приехал к нам и стал для нас братом — для него все открыто, и мы без боязни приходим к нему во всех случаях. Я встретилась с ним в Москве в первый раз, а потом он был у нас в Премухине, и недавно — перед новым годом — в Торжке. Здесь не было так хорошо, как в Премухине, мало места: ни одного уголка, чтобы приютиться. Да и тут хорошо было — живой человек, как Тургенев, да братья еще... Тургенев приходил в отчаяние, что не умеет вальсировать... В Москве в это время Тургенев с братьями ухаживали за Татьяной».

Его как мешковатого баловня, без определенного положения представляют тетенькам и другой родне. Он достает сестрам арии из опер «Норма» Беллини и «Лючия де Ламермур» Доницетти. И самое главное — он вполне «свой» для Татьяны, свой в том смысле, что ему внятен тот язык идеалистов 30-х годов, на который они «переводили» свои переживания, восторги, трепет сердец.

Что это за язык?

Следует сказать, что многие философские понятия, встречающиеся в обширнейших письмах Белинского к В. П. Боткину или М. А. Бакунину, М. Н. Каткову или Н. Х. Кетчеру, сложившиеся в результате переводов с немецкого языка, были понятны только членам этого своеобразного братства. Что такое, например, «прекраснодушие»? Под «прекраснодушием» понималось среднее состояние между «низменной» позицией толпы и состоянием «благодушия» немногих избранных, созерцательное блаженство, беспочвенные порывы. Термин «доб-

рый малый» считался обидным для идеалистов 30-х годов: он означал «падение» с высот духа, с вершин избранничества в массу бессознательно добрых, бессознательно злых людей. «Внутренняя жизнь животного совпадает с внешней, а человек живет внешней и особой внутренней жизнью... только человеческие глаза знают духовные пиршества»,— писал Л. Фейербах. Стать «добрым малым» — это значило опроститься, стать похожим на всех, быть варварски-здоровым. «Истинно добр только тот, кто разумен»,— говорил Белинский. Весь внешний мир часто назывался «призрачным». А что настоящее? Только «жизнь в духе», высшие переживания, этические и эстетические...

Наука страсти нежной, как ее понимала Татьяна Бакунина, верная ученица брата, Станкевича, несла на себе отпечаток все той же философской системы. Тургенев скажет в своей поэме «Параша» о главном, априорном, богатстве героини:

Возможность страсти, горестной и знойной,
Залог души, любимой божеством.

Ключевая, в известном смысле, формула всего тургеневского творчества! Это именно и есть перевод на язык поэзии некоей идеи идеалистов 30-х годов. Почему «возможность»? Почему «горестной» страсти? Откуда эта обязующая ко многому любовь божества? Героиня поэмы не реализовала эту возможность, не «выявила» тот залог, который вложило в нее божество. Она просто, без чрезвычайных и возвышенных горестей, без осложнений вышла замуж за человека, с которым «не предстояли грозные волненья», вышла за типичного «доброго малого». И повествователь оскорблен!.. Чем? Прозаичностью, страшностью того, что в жизни как раз нет ничего страшного, рокового. Ожидалось чудо, потрясение, ожидались «страсти разряды, человеческим сердцем накопленной», как сказал по другому поводу Б. Пастернак. И что же?

Но — боже! то ли думал я, когда,
Исполненный немого обожанья,
Ее душе я предрекал года
Святого, благодатного страданья!..
И что ж? я был обманут так невинно,
Так просто, так естественно, так чинно,
Что в истине своих желаний я
Стал сомневаться, милые друзья.

Любовь божества, вложившего в душу, в саму молодость Параши некий дар, возможность горестной страсти, оказалась как бы обманутой. Божество «просчиталось» — человек не возвысился до святого страданья. И дар этот — как не вспомнить тут пушкинское:

«Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?» —

этот дар, как семя, пропавшее в бесплодной почве, остался именно напрасным, случайным: слепой человек его даже не осознал... Бес, который соперничал с богом за власть над человеком, мог злорадно хохотать. Он в поэме Тургенева и хохочет:

И страшная улыбка поползла
Медлительно вдоль губ владыки зла.

Откуда это «закулисное» действующее лицо?

Может быть, вновь следует вспомнить Н. В. Станкевича и других идеалистов 30-х годов. П. В. Анненков с грустной улыбкой писал о них: «Еще многие помнят ту почти непрерывную цепь эстетических потрясений, которые почерпал круг Станкевича из свойств и сущности германского миросозерцания. Вместо одной скромной студенческой жизни своей, они окружены были тысячью жизней, движением, так сказать, многоразличных существований, кажущихся мертвыми и бездушными простому глазу».

Тургенев даже в этой — чересчур головной — любовной истории ни на миг не выпал из цепи эстетических потрясений. Незримый для других хор словно пел ему о возможностях «святого, благодатного страданья», о небесном счастье любви. Великий опыт чувств, самосозерцаний проходил он. Но где — в странствиях души, в мечтаемом мире! И задумаешься: а были ли вообще «тургеневские девушки»? Или это небесные ангелы, слетевшие на землю, и только после их явления возникли в дворянских гнездах их земные подобия? Об этом задумывался даже Л. Н. Толстой.

...В дни встреч, в диалогах «почтового романа» ни Тургенев, ни Татьяна не сомневаются еще, что предрекать года «святого, благодатного страданья» — это и значит возвышать любовь. Само это чувство было каким угодно, только не грешным, оно было *поводом* испытать сверхчеловеческие чувства (раскрыть «залог души, любимой божеством»).

Удивительно — возвышенно и наивно для наших дней! — любили прелестные обитательницы дворянских гнезд и их утонченные поклонники. Много поэзии, много фантазии... Можно даже не видеть реального человека, ставшего *поводом* для высших ощущений. Ведь вся эта «игра души с самой собой» гораздо выше, значительнее повода! А если постигнет разочарование? Это, в известной мере, еще лучше: чувство и должно быть оскорбленным, неудовлетворенным, ведь «мечтательное счастье» куда совершеннее реального. Стремиться к

идеалу, создав свой мир, никогда не достигая этого идеала, лелея в душе лишь прекрасный призрак,— этого достаточно, это и есть само счастье. «Пусть искра остается; она освещает мрак жизни; но не раздувай ее до пламени; она сожжет тебя!» — что-то подобное этим умозаключениям царило (случайно ли столько «почты» во всех романах писателя?!) в душах и Тургенева, и Татьяны. Везде у него, в известной мере, «игра души с самой собою», везде — «искры», раздуваемые перепиской, долго не гаснущие, но и не переходящие в бурное пламя... Везде поиск прекрасных призраков, жажда искусить судьбу, но не обжечься и как можно скорее перейти... к воспоминаниям, к горечи разлуки, непременно «с улыбкою странною», стать выше «толпы счастливцев». Ведь стоит попробовать лелеять призрак два, три года — и он делается самой жизнью, сладким сном — с ним больно расстаться. Но неожиданно предъявленные им права на тебя удивляют, даже изумляют, кажутся покушениями на мечтательное счастье. Женщины так не хотят быть только... мечтой, только призраком, объектом инертного поклонения!

Тургенев простился с Татьяной вполне величаво и при этом даже сердечно. Все решено им за двоих: он — не Онегин, она — не Татьяна Ларина, хотя... Что было в этом «романе» жизнью, а что литературным переживанием — определить и сейчас трудно. Перед отъездом из Москвы в Петербург, где он должен был сдавать экзамен на звание магистра философии, Тургенев написал в Премухино:

«Дайте мне Вашу руку и, если можете, позабудьте все тяжелое, все половинчатое прошедшего... Мы теперь жили, как старики,— или, пожалуй, как дети — жизнь ускользала у нас из рук — и мы глядели за ней, как глядели бы дети, которым нечего еще жалеть... Послушайте — клянусь Вам богом: я говорю истину — я говорю, что думаю, что знаю: я никогда ни одной женщины не любил более Вас — хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью... Для Вас одних я хотел бы быть поэтом, для Вас, с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана... Ваш образ, ваше существо всегда живы во мне, изменяются и растут и принимают новые образы... Вы моя Муза» (20 марта 1842 г.).

Рудин в женском образе, засыпавший его философскими письмами, пробовавший довоспитать его «богатую природу», скоро вытеснен был из освещенной части тургеневской души. И Белинскому — он словно ждал в очереди встреч и знакомств искушаемого российского Гамлета — Тургенев с раздражением скажет о ней: «Какой-то субстанциональной пирог...»

В ШКОЛЕ БЕЛИНСКОГО

...Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга как на сосуды избранные, предназначенные...

А. И. Герцен. Былое и думы (1861)

Белинский был тем, что я позволю себе назвать *центральной натурой;* он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне, и с хороших и с дурных его сторон.

И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском (1868)

...Есть особый образ Петербурга, от которого нелегко отрешиться, Петербург Гоголя. С парадом масок в повести «Невский проспект». Маски не позволяют узнать живых обитателей города, они держат сознание в плену своей загадочной, призрачной односторонности. Всего лишь сны, наваждения, а попробуй не подчиниться странной логике поведения этих масок на Невском проспекте, на петербургских «линиях», «ротах», Барочных, Гребецких, Литейном! «О, не верьте этому Невскоум проспекту!.. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!» — таков последний аккорд-заклинание гоголевской повести.

Молодой Тургенев попал в Петебрург как раз в тот переломный момент, когда образ северной столицы России стал интенсивно тускнеть перед духовным взором многих писателей. И после Пушкина, певца возвышенной и трагической красоты Петербурга, провозгласившего в «Медном всаднике» (опубликованном после его смерти с исправлениями В. А. Жуковского):

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия,—

в русской словесности наступило тяжкое безвременье, сумерки Петербурга. «Гений вечной красоты» как будто покинул царственный город, оставил его проспекты, парки и дворцы чудесных пригородов. Возникло — и не случайно! — какое-то особое, «безглазое» отношение к «Медному всаднику», к аллеям, гротам, павильонам Петергофа, к «зябнущим» на северном слякотном ветру мраморным нимфам екатерининских вре-

мен. Вот зябнущий на бирже извозчик, петербургские шарманщики со слезящимися от мороза глазами, чердак студента, барка с дровами и сеном на Неве... это иное дело! Гранитная плоть великого города перестает ощущаться как выражение мощи народа, сковавшего «топи блат». Прямые линии города не кажутся уже привлекательными своей простотой и строгостью. Они теперь «выражают мертвящий дух аракчеевщины» (Анциферов Н. Душа Петербурга).

Несправедливо, небрежно судить так, но оправданно! До этого ли, если... «Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов... какая-то темная туча постоянно висит над всем, так называемым ученым, литературным ведомством». Так объяснял Тургенев причины «потускнения» образа Петербурга, исчезновения даже в себе самом, влюбленном в XVIII век, исторической ностальгии.

Уже Гоголь ощутил, как трудно стало, не солгав, схватить общее выражение Петербурга. Он создал — в «Невском проспекте», в повести «Нос» — мучительный образ столицы как города двойного бытия. С одной стороны, он, Петербург, «аккуратный немец, больше всего любящий приличия», деловитый, суетливый, «иностранец своего отечества». Иностранец, чужак, но попробуй отмахнись от него, «отмени» его?! Не выйдет. Непонятными, таинственными узами он все же связан для Гоголя с Россией-тройкой, уносимой вихрем навстречу грозному грядущему, наполнен ветром ее просторов. Он, Петербург, завораживает неуловимым трагизмом, затаенной загадкой, тревогой своих белых ночей. Фантастические существа являются отсюда. В «Ревизоре» приезжий из Петербурга поистине страшен, непостижим, мучителен как фантом, неотвратимая кара, «ирреальная» сила, лишающая и хитрецов, и простаков природного разума. Хлестакова не берет ни лесть, ни неказистая настойка из запасов городничего, что «слона с ног свалит». В гоголевском Петербурге разгуливает «нос», и здесь же отняли темной ночью заветную шинель, отняли мечту у Акакия Акакиевича. В Петербурге же — уже близок мир Достоевского! — будут зреть преступления на почве маниакального восприятия и жажды воплотить в жизнь волюнтаристские идеи! Здесь вырвутся из узды всякие стихии... Здесь коченеют от стужи души людей, но здесь же и бурные взрывы протеста, и отчаяние... Не город, а подножие вулкана, заколдованное место, управляющее Россией и управляемое ею, бьющейся как прибой о парадные подъезды канцелярий, судов, редакций.

...Виссариону Григорьевичу Белинскому в 1843 году, в момент знакомства с Тургеневым,— 32 года. Он уже четыре года жил в Петербурге. С рисунка его земляка Кирюши, крепостного художника К. А. Горбунова, на нас смотрит бледный, с неправильными, но строгими чертами лица человек. Глаза — словно живая, трепетная поверхность сердца. Он казался целиком поглощенным суровым Петербургом, городом, где *«улицы всегда мокры, а сердца сухи»*. Белинского как будто придавило равнодушие и ожесточение петербургских улиц. Он, горячо принявший «Бедных людей» Достоевского, сам недалеко ушел от героев романа в своих кочевьях по квартирам Петербурга, в отношении к терзающему людей городу. Побывав перед смертью в Брюсселе, в Париже, Белинский со вздохом обобщит свое мнение о каменных джунглях Европы: «вавилонское пленение!» Но и здесь, в Петербурге, он тоже как плену... Тургенев проницательно заметит: «Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах он торопливой и нервной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг,— тот не мог составить себе верного о нем понятия, и я до некоторой степени понимаю восклицание одного провинциала, которому его указали: «Я только в лесу таких волков видывал, и то травленых!»

Белинский переехал в Петербург в октябре 1839 года.

До этого А. А. Краевский, издатель «Отечественных записок», искавший удачливой коммерции без «крайностей» полемики, без резкой оппозиции официально поддерживаемому в те годы трио монополистов журнально-издательского мира — Булгарину, Сенковскому, Гречу, отверг совет своего родича И. И. Панаева пригласить Белинского.

— Покорно вас благодарю, я не имею никакого желания связываться с этим крикуном-мальчишкой...

Но как выяснилось, доходным может быть, скорее всего, либеральный, «относительно прогрессивный» и даже слегка оппозиционный журнал. «*Вот* начало либерализма Краевского»[1],— отметит И. И. Панаев. И А. А. Краевский, отставив В. С. Межевича, скоро приветствовал Белинского в Петербурге с деланным «веселием на лике»: «Наконец-то, спаситель!»

Хозяин «Отечественных записок» определил критику пла-

---

[1] «Опыт истории показывает, что даже в самые реакционные и бюрократические эпохи одни «середняки» и бездари не могут справляться с журнальной, научной, учебной — вообще с творческой работой»,— отметил Б. Ф. Егоров, несколько смягчая меркантилизм А. А. Краевского, основу его либерализма.

ту в 3500 рублей в год и завалил его работой, часто недостойной пера и ума Белинского, вроде писания отзывов на сонники и гомеопатические лечебники...

«Спаситель» оказался, правда, очень не прост: он привез, как скажет Герцен, всю «порывистую, диалектически-страстную натуру бойца» («Былое и думы»).

В. И. Ленин с гениальной прозорливостью определил историческое место Виссариона Белинского в русском освободительном движении. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский» (ПСС, т. 25, с. 94).

Да, при крепостном праве, при очевидном господстве в литературном процессе именно дворянской интеллигенции, в обстоятельствах, когда именно дворяне, от Н. В. Станкевича, М. А. Бакунина до И. С. Тургенева, долго «образовывали» Белинского, не знавшего фактически иностранных языков, все же именно он — предшественник полного и оправданного вытеснения дворян. Больше того. В известной книге «Что делать?» (1902) В. И. Ленин призывает читателя, оценивая историческое место великого критика, вспомнить «о таких предшественниках русской социал-демократии, как «Герцен, Белинский, Чернышевский» (ПСС, т. 6, с. 25).

Сложен и полон противоречий, исторически объяснимых крайностей был путь этого «недоучившегося студента», как называли его недруги еще в московский период, период работы в «Телескопе» и «Молве», затем в «Московском наблюдателе». Велика амплитуда колебаний — от недооценки «Горя от ума» или Шиллера к бурным похвалам в их адрес, от полного принятия фатального объективизма Георга Фридриха Гегеля к страстному расставанию с великим «совратителем» («Благодарю покорно, Егор Федорыч,— кланяюсь вашему философскому колпаку...»). Изменчивы были и отношения Белинского к людям... Но было известное постоянство, понятное, видимо, больше всего Тургеневу...

Прежде всего (и это был удел Белинского, источник стыдливых радостей, слетавших румянцем на его впалые щеки!) именно ему выпала честь и мука поколебать рабскую привычку к чинопочитанию в царстве творчества. Поколебать здоровое, бодрое, такое «почвенное», заученное, нормированное преклонение перед оловянными кумирами, перед схемами мышления: «У нас еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, *детское* благоговение к авторитетам: мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и *боимся говорить вслух правду о высоких персонах»*. (Подч. мной.— *В. Ч.*)

Предельная откровенность, в известной степени «беседность» статей Белинского, кажущаяся разбросанность их — тут и частные обращения к читателям («Помните ли вы то блаженное время, когда...»), и возгласы, лирические отступления, иронические похвалы — не заслоняли редкой цельности, последовательности мысли, пафоса Белинского. Он жаждет нового литературного быта, ему отвратительна среда, где «дешево продаются и покупаются лавровые венки гения». «Возникает ощущение неуловимой поступательности истории и литературы... возникает стреловидное движение вперед»,— это качество мысли Белинского отметил Б. Ф. Егоров уже в «Литературных мечтаниях». А качество — «это в покое застывшая деятельность» (Шеллинг).

Идолопоклонство в литературе, постоянная угроза для дерзкого критика «испытать» на себе скорость фельдъегерской тройки (то есть быть высланным) за покушение на сановный авторитет — это в глазах Белинского «удел младенствующих обществ», эквивалент упадка. А разве Россия — младенствующее общество?

С какой-то поистине «вулканической внутренней работой, которая рвала и жгла его организм» (Гончаров), Белинский боролся с явлением идолопоклонства, свергая — иногда запальчиво, без оговорок, без оглядки на крупицы таланта — кумиры Бенедиктова, Марлинского, Кукольника. («Желанию сенца не подложишь: оно насильно требует, что ему надобно»,— писал А. В. Кольцов в одном из писем о такой безоглядности). Не доделав этой работы, Белинский бросался в новые схватки с другим пороком — «океаном сплошной господствовавшей неразвитости».

Неразвитый вкус склонен к высокопарности, красивости, к светскости, манерности! Тургенев знал эту способность безвкусицы... по суждениям матери. И вдруг Степан Шевырев, поэт, заслуживший однажды (вместе с Хомяковым) одобрение самого Пушкина, профессор университета, пробовавший соперничать на кафедре с Т. Н. Грановским, оказался в некотором родстве с В. П. Тургеневой. Он тоже — за «светскость» в литературе!

Белинский как художник с немалым талантом фантазии, глубокой интуицией договаривал за Шевырева истинный смысл его требований. Не оглупляя Шевырева, но и не щадя, он сооружал комическую фигуру на котурнах и уж затем побивал его, открывая в писаном слове всю силу ораторского искусства, демонстрируя редкое богатство душевных сил.

Стиль — это всегда человек... В статьях Белинского словно присутствовала особая система ритмических сигналов, отме-

чающих взлеты и падения его страстной мысли. Слова «паркет», «светский», «посредственность», как опорные точки, обретали для него вещественный наглядный смысл. Слова — огонь вещей. Цепочка эмоционально-сильных, самопроизвольных представлений — что же будет с родной литературой, если светские люди заманят ее на паркет? — складывалась для Белинского в печальную картину... И рождался вывод — что вывод! — скорее пламенный крик тревоги, почти боли, всякий раз неожиданный, часто «превосходящий» по своему смыслу конкретное явление, статью «Шевырки» или сборник Бенедиктова, которое оценивалось в данный миг критиком. Тургенев, видимо, не раз изумлялся тому, как стыковались, сходились в статьях Белинского ораторское и «беседно-интимное» начала, как взлетала ввысь его броская мысль. На первый взгляд экспромтная, но в действительности глубоко выстраданная, не распыленная.

Тургенев, глядя на Белинского, изумлялся тому, что он, жалуясь на бедность, в сущности часто благодарит судьбу за нее! А страдая от бездомности, он, как оказалось, искренне влюблен в скитальчество: «...жалок тот, кто видит в жизни не ряд бивуаков, а постоянный дом, с филистерским халатом!» (из письма В. Г. Белинского В. П. Боткину 12 августа 1840 г.). Тут не случай ввел в нищенство и скитальчество... Здесь душа готова к какому-то вечному «нищенству», опьянению идеями до полного забвения и утраты дома, богатств, одежд. Здесь скитальчеству придан венец непрерывного подвига...

Чем же отвечали на все это — нет, не светские люди! — литературные лакеи, допущенные в свет? Уже на «Литературные мечтания» — первый, не годовой, а «вековой обзор литературы» — напали и С. Шевырев, и, конечно, Ф. Булгарин. В «Библиотеке для чтения» (1835, № 7) появилась повесть Вас. Ушакова «Пиюша», где под именем Виссариона (Висяши) Кривошеина, косого человека с лицом, свороченным на сторону, был выведен Белинский. Кто такой Висяша? Нахальный юноша, исключенный из университета, занимающийся частными уроками, пленившийся учением Шеллинга... «Когда вы читаете хорошую книгу и, наслаждаясь ею, в душе говорите спасибо автору, и вдруг вам приносят журнал, в котором та же книга оценена ниже поношенных лаптей — поверьте, что эта оценка сделана Висяшею...»

Белинский, в известной мере, не выбирал ни друзей, ни «врагов», а как бы «натыкался» на них, будучи вдохновлен какой-то очередной идеей, очередной «крайностью». Изменялось его состояние ума, он перемещался, влекомый жаждой более полного знания, в новую среду.

Воспоминания самого Тургенева о Белинском, создававшиеся много лет спустя после первой встречи, после смерти великого критика, в известной степени блестящий художественный очерк. Но образ Белинского воссоздан в них порой с досадной и не совсем правомерной снисходительностью.

Тургенев, с одной стороны, совершенно в духе Герцена и Чернышевского скажет о том, что Белинский был «центральной фигурой» в сложном процессе выработки революционно-демократической идеологии и принципов реализма, что он «стоял близко к сердцевине своего народа». Безусловно, в памяти Тургенева звучали в 60-е годы такие слова создателя «новой мощной критики» (Герцен), жаждавшего освободить литературу, скажем, от «величавого романтизма» Бенедиктова: «Мир возмужал: ему нужен не пестрый калейдоскоп воображения, а микроскоп и телескоп разума... Действительность в фактах, в знании, в убеждениях чувства».

Но, с другой стороны, как-то неожиданно Тургенев вдруг акцентирует внимание на ограниченности академической образованности Белинского: потому, мол, он и был близок массе столь же необразованных людей вроде Алексея Кольцова, понятен им. Как будто Белинскому помешала бы ученость Грановского или Герцена! Тургенев логичен, но не убедителен: «Ученый человек, именно в силу своей учености не мог быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и, вероятно, не было бы обоюдного понимания... Сенковский был не только учен, он был остроумен, игрив, блестящ; молодые чиновники и офицеры восхищались им, особенно в провинции; но не того было нужно массе читателя, а того, что было нужно: критического и общественного чутья, вкуса, понимания насущных потребностей эпохи и, главное, жара, любви к меньшой, невежественной братии — у него и следа не замечалось».

Да разве различие темпераментов или уровень учености отделяет Белинского от Сенковского! Тургенев в конце 60-х годов, безусловно, исходил из своих, сложившихся в полемике с вульгарным практицизмом, представлений о культуре, как запасе духовных возможностей, ценностей для всех, кто к ним приобщается. Ученость и знание для него имеют абсолютное, независимое значение, они носят в самих себе свою ценность. Это было, конечно, либеральной иллюзией...

И в 1856 году, разъясняя Л. Н. Толстому значение статей Белинского против «величавого романтизма» Марлинского, Бенедиктова, тех статей, благодаря которым «мы пошли впе-

ред», Тургенев вновь снисходительно говорит об ограниченности средств — о резкости ударов и чугунности обуха — неученого Белинского: свою полезную работу критик, якобы, делал как на бойне: «Коли бить быка, так обухом».

В действительности же арсенал полемических приемов критика был гораздо богаче и совершенней. И в 1843 году снисходил к молодому поэту — с огромной долей доброты — именно Белинский.

Уже 23 февраля 1843 года Белинский писал Бакунину: «Недавно познакомился с Тургеневым. Он был так добр, что сам изъявил желание на это знакомство... Кажется, Тургенев хороший человек».

Слова Белинского говорят и о его большой проницательности, и о немалом опыте лишений, дающем эту почти отеческую доброту. «Хорошим», в обыденном смысле слова, тогдашнего Тургенева назвал бы далеко не всякий. Холодноватый щеголь, очень изысканно одетый, пахнущий духами «Гардени», привыкший к игре ума в салонах, к известного рода лицедейству, Тургенев в это время очень походил на весьма балованного барчука, привыкшего по-хлестаковски стыдиться минутной нужды.

Варвара Петровна в июне 1843 года, когда Тургенев подолгу гулял с Белинским в перелесках возле Лесного института, писала сыну с немалой долей заблуждения: «А ты, мое сокровище бесценное, что ты поделываешь. Начал ли ты свои занятия? Мне жаль тебя, как *пчелку, проковыривающую свой вощечок, чтобы вылезть на свет...*» (Подч. мной.— *В. Ч.*).

Но ее сокровище бесценное в этот год — год выхода его поэмы, или «рассказа в стихах», «Параша», подписанной инициалами «Т-Л»,— «проковыривал» воск жизненных обстоятельств вовсе без усердия серенькой скучной пчелки. Говоря словами Пушкина, и на чиновничьем поприще, и в литературном пекле «труд упорный ему был тошен». И Варвара Петровна в досаде на «пчелку» уже в октябре 1843 года грозит дать в учителя и наставники сыну — нужду. Она, нужда, дескать, его и вымучит и выучит. Авось так поведется, что от нужды и «петух снесется»: «Мне недолго на сем свете жить стесненной, скоро могила даст простор, а вы! — благодаря вашему воспитанию с голоду не умрете. Будете в нужде, будете чиновники, нужда заставит брать взятки, как и других чиновников».

Но нужда так и не преподала своих уроков молодому другу Белинского. И сойтись сердечно с этой «пчелкой», порой больно жалящей, вынести жар иронической мысли праздного тщеславца Тургенева было нелегко.

Даже Павел Васильевич Анненков, бесспорно смягчавший многие недостатки, обидные кое для кого «неловкости» в поведении молодого сноба, писал о невольном протесте многих современников против «печоринства» своего знаменитого друга: «Чего он тогда не приносил в жертву этому (тщеславию.— *В. Ч.*) Молоху? Он осмеивал тихие и искренние привязанности, к которым иногда сам приходил искать отдыха и успокоения, глумился над простыми сердечными верованиями, начало и развитие которых, однако же, тщательно разыскивал, примеривал к себе множество ролей и покидал их с отвращением, убедясь, что они казались всем не делом, а «гениальничаньем» и скоро забывались».

И все же Белинский, игнорируя неудобства общения с этим «студентом-буршем», прощая бесчувственность барича, который порой говорил, что он не берет денег за стихи, дарит их редакторам (снова дурная насмешка над живშим с журнальной полосы критиком), был прав, повторяя, что Тургенев — человек хороший и «немного немец».

Вскоре после знакомства Белинский вновь пишет В. П. Боткину: «Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили мне душу. Отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры. У Тургенева много юмору. Я, кажется, уже писал тебе, что раз в споре против меня за немцев он сказал мне: да что ваш русский человек, который не только шапку, да и мозг-то свой носит набекрень! Вообще, Русь он понимает...»

В этом же письме — оно писалось частями с 31 марта по 3 апреля 1843 года — Белинский уточняет не только предмет своих бесед с Тургеневым («Русь он понимает»), но и указывает на центральную фигуру, к которой стягивались их споры о «народности фантастической» (то есть славянофильской) и истинной...

«А как он воспроизводит Аксакова с его кадыком и идеализмом»,— пишет Белинский, добавляя при этом: «Я пьянею от удовольствия...»

* * *

Итак, Константин Аксаков...

И в весенние дни 1843 года, и позднее, летом 1843 года, когда Тургенев каждый день приходил из Парголова на дачу Белинского близ Лесного института, когда они гуляли среди сосняков и ельников, разглядывая с опаской блеклое северное

небо, это имя часто звучало в их долгих, возбужденных беседах...

Что-то очень сложное затрагивал Тургенев в неистовом Виссарионе своими рассказами о Москве, о семье Аксаковых. И будь Тургенев внимательнее, он, вероятно, заметил бы, что при одном упоминании об Аксаковых, особенно Константине Сергеевиче, что-то загоралось в Белинском, на щеках вспыхивал характерный сухой румянец. Предания совсем недавнего прошлого — 1837—1838 годов — оживали в нем! Слезы, казалось, дрожали в глазах у него, а губы шептали: «Самое цветущее наше время прошло!»

Когда-то и он, Белинский, пламенно, как К. С. Аксаков, любил Москву. В письме к А. П. и Е. П. Ивановым в декабре 1829 года он пишет о Москве как о пленительном, истинно русском городе: «Какие сильные, живые, благородные впечатления возбуждает один Кремль! Над его священными стенами, над его высокими башнями пролетело несколько веков... Вид их переносит меня в священную древность, в милую русскую старину». И одним из самых очаровывающих явлений в Москве наряду с кружком Станкевича долгое время был дом Сергея Тимофеевича Аксакова. Глава дома, один из «кряжевых людей бывалой эпохи» (Ап. Григорьев), в трудный для голодного скитальца Белинского час привлек его к преподавательской, на 1300 рублей в год, работе в Межевом институте... А старший сын его Константин? Вопреки быстро возросшей со стороны матери, Ольги Семеновны Аксаковой, неприязни к «вредностному» для сына Белинскому, он искренне отстаивал свою дружбу с ним. Правда, в марте 1839 года К. С. Аксаков уже почти порвал с Бакуниным, расстался с кружком Станкевича. «Белинский лучше всех моих приятелей; в нем есть истинное достоинство, но и с ним я уже не в прежних отношениях, хотя люблю его больше всех остальных»,— писал Константин отцу и младшему брату Ивану в феврале — марте 1839 года. А когда Белинский вскоре заболел и оказался без помощи, без лекарств, то именно «Костенька» бывал у него, хотя сам был тоже нездоров.

...В июле 1842 года появилась брошюра Константина Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождение Чичикова, или Мертвые души». Белинский выступил — без подписи — с рецензией на нее в «Отечественных записках» (1842, № 8). Это было начало — закономерное и неотвратимое — полного разрыва Белинского с тем, что он будет называть — «москводушие», даже «москвобесие», но что было по существу романтическим идеализмом.

Как воспринимал К. С. Аксаков бессмертную поэму Гоголя

«Мертвые души»? Как человек, видевший самое славное будущее России... где-то далеко позади эпохи Петра I, где-то вблизи князя Владимира и былинных богатырей!

«Древний эпос восстает пред нами,— писал Аксаков.— ...Древний эпос, чудным образом возникший в России; предстает он пред нами, затемненными целым бесчисленным множеством романов и повестей, давно отвыкшими от эпического наслаждения».

Интересна и своеобразна эта позиция мыслителя — с нее можно увидеть знаменитый образ тройки как всеобъемлющий, единственно важный в поэме: ведь ее любит и Чичиков («...хоть он был и плутоватый человек... но он был русский, он любил скорую езду,— и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом»)... Рациональное зерно в идеях К. С. Аксакова есть. Называя его «фанатично увлекающимся», это отмечает и Б. Ф. Егоров: «Гоголь, конечно же, задумывал «Мертвые души» в целом как современную эпопею». Но Белинский все же был куда более прав, сомневаясь в возможности убедительно изобразить положительных героев: «Много, слишком много обещано, так много, что негде и взять того, чем выполнить обещание». Особенно в России, где поток живой жизни замурован, оплетен бездушными схемами бюрократических абсурдов. И особенно если следовать наставлениям того же К. С. Аксакова. Возражая Белинскому, тот противопоставит тройку... железной дороге: «Я не просто о скорой езде говорю; по железной дороге едешь скорее, но не это любит русский человек. Он любит скорую езду, то есть тройку, «не хитрый дорожный снаряд», который не «железным схвачен винтом...»

И для Белинского гоголевская поэма — «творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни»,— но возносить ее в заоблачные выси, в соседство Гомера и Шекспира — значит отрывать ее от современности, навевать забвение: «...пафос «Мертвых душ» есть юмор, созерцающий жизнь *сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы*». (Разрядка В. Г. Белинского.— *В. Ч.*) Эпос «Мертвых душ» развился в роман, а не *снизошел* до романа.

Для Белинского гоголевская поэма — тут он, может быть, излишне практичен, предан «направлению» — прежде всего огромное зеркало, отразившее с эпической силой душную, уродливую атмосферу николаевской России. И потому он подчеркивает роль юмора, синонима сатиры, оставляя в стороне величайшую тоску Гоголя. На это зеркало нечего было пенять, коли рожа крива! Игнорируя отчасти многое в замысле самого

Гоголя, не принимая в расчет ни лирические отступления в поэме, ни фантастику в повестях Гоголя, игнорируя порой и гоголевские оценки «Мертвых душ» (резко споря с ними, а затем и с «Выбранными местами из переписки с друзьями»), Белинский последовательно утверждал «натуральную школу» с ее обличительным пафосом, с ее опытом реальной, а не фантастической народности. С ее вождем — Гоголем, творцом «Мертвых душ». Свершался процесс философско-эстетической переориентации всей русской словесности. Теряли значение, видоизменялись не только абстрактные вольнолюбивые «мечтания» любомудров и романтиков 20—30-х годов, категории «мирового духа» или «мировой идеи», утопического социализма... Если для Герцена в период учебы в Московском университете («шиллеровский период») великим благом для родины были непрактичные идеалисты — «без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же...»,— то для Белинского в середине 40-х годов этого благородства мало. Нужны осознанные деяния! А не безоглядные, интуитивно-честные порывы одиночек, не связанных с революционной и духовной самодеятельностью масс. «Способность русского народа к отрицанию достигнутых и утвердившихся форм бытия, по мнению Белинского,— признак его «молодости», жизнеспособности, верный залог его великого будущего»,— отмечала Л. М. Лотман, говоря о качестве полемики неистового Виссариона, который считал плодотворным только отрицание, основанное на познании действительности и на реальности идеала.

Именно поэтому Белинский столь страстно спорил и с бывшим своим другом К. С. Аксаковым, и с молодым Ап. Григорьевым, выставлявшим Гоголя в роли носителя «христианского озарения», «пророческого прозрения»...

И именно поэтому уже в 1847 году П. А. Вяземский выступит со статьей «Языков — Гоголь» («Санкт-Петербургские ведомости», № 90—91), в которой опять попробует отвоевать Гоголя у тех, которые «его (Гоголя. — *В. Ч.*) хотели поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить в нем какое-то черное литературное знамя». Конечно же, имелся в виду Белинский...

Тургенев — он в глазах Белинского один из тех, кто мог бы пополнить ряды художников «натуральной школы»! — вероятно, несколько иначе смотрел и на Гоголя, и на тех, из кого, особенно после выхода сборников «Физиология Петербурга», составлялась, отчасти стихийно, а в известной мере организованно, гоголевская школа.

Что определяло облик этих сборников? «Петербургский

дворник» В. И. Луганского (Даля), «Петербургские углы» Н. А. Некрасова, «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича, очерки Г. Гребенки, Я. Буткова, И. Панаева... Позднее, в 1846 году, выйдет «Петербургский сборник», составленный Некрасовым, в котором появятся «Бедные люди» Ф. М. Достоевского и «Три потрета» И. С. Тургенева.

Значение «натуральной школы» — в сущности детища Белинского — определяется, на наш взгляд, двумя обстоятельствами.

Создатели забытых ныне физиологических очерков, своеобразные «разгребатели грязи», открыли за пышным фасадом, официальными витринами, парадными подъездами Петербурга, за риторикой псевдоромантизма совсем иной город. Открыли «тайны» прозаического быта многих прослоек людей. Что за фигура — этот у ворот, в тулупе маячащий петербургский дворник? Как правит дело свое — в мрачных домах-ульях, в трущобах? В. И. Даль подробно исследует судьбу именно дворников в очерке «Петербургский дворник». Бродят по Петербургу шарманщики... Но откуда эти жалкие птицы перелетные, где они ночуют? Д. В. Григорович заглянул на подворья, в квартиры, где эти зябнущие итальянцы (тут же сушатся и мокрые их платья, дрожит в углу на соломе помощница-обезьянка) спасаются от петербургских холодов...

Конечно, эти дворники, шармащики, фельетонисты были социологически «вычислены», они являлись в литературе как «маски изображаемой среды» (Л. М. Лотман). Общество, отношения господства и подчинения, вкусы большого города — например, страсть петербуржцев читать газеты! — «надавили», как на глину, на определенную прослойку: и вот вам «слепок» — бойкий и загнанный фельетонист, что угодничает, поспешает, клюет по зернышку и сыт не бывает, в очерках И. И. Панаева «Петербургский фельетонист» и «Тля».

Безусловно, тень великого Гоголя, особенно его «Шинели», усыновила этих певцов и сострадателей низового Петербурга, исследователей мелочных интересов, задавленных порывов обитателей углов. Как для Башмачкина приобретение шинели — ярчайшая вспышка счастья, венец усилий, так и для многих из них улыбка начальника, покупка нового тарантаса, «пряжка» за непорочную службу — великий взлет, апофеоз жизни... Даже пятак, бросаемый шарманщику, — это солнечный лучик во мраке нужды!

Тургеневу, который даже в «Накануне», много лет спустя, будет еще писать так: «Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, *как стройный сон молодого бога»*, — эта школа, школа Белинского, была чрезвычайно полезна. Она

несла освобождение «от абстрактно-эстетизированного восприятия действительности... от представления о взаимной противопоставленности красоты и правды» (Л. М. Лотман). Она нарушала чересчур стройные сны молодого бога. Парение мысли, полнейшая зависимость этой мысли от эмоций, от образов Гегеля или Гете, населявших память, привычка главные события жизни искать в своей душе — все это, как в молодом Адуеве («Обыкновенная история» И. А. Гончарова), становилось в глазах Белинского чуть-чуть смешным. «Играй, Адель, не знай печали», но... ведь не так далеки и «низовья-подвалы», и чердаки, и мансарды, где копошится черный люд, тоже «частица человечества, именуемого Петербургом» (Я. Бутков). Белинский и «натуральная школа» подтолкнули Тургенева — и достаточно резко — к созданию «Записок охотника», развеяли многие сны, заставили в «утро туманное, утро седое» услышать и иные, отнюдь не мелодичные звуки...

Мечта Белинского об изменении климата самой литературной среды, об изгнании «светскости», об открытии в России целого человеческого материка отчасти исполнилась благодаря писателям «натуральной школы». И можно понять его крайность в защите школы: он, ради верности *направлению*, прощал (или не видел) явные художественные слабости. У скромных Г. Гребенки, Я. Буткова и других он усматривал во всем то «необыкновенную наблюдательность и необыкновенное мастерство», то находил «прелестные и грациозные картинки», то «мастерский очерк»... А молодой Ф. М. Достоевский, чувствуя себя среди этой стихии добросовестных эмпирических описаний житья-бытья кучеров, шарманщиков, возчиков дров не совсем в своей тарелке, однажды даже выразил свое раздражение типичному представителю «натуральной школы» Д. В. Григоровичу по поводу эпизода с пятаком, бросаемым к ногам шарманщиков.

Д. В. Григорович вспоминал:

«У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то,— раздраженно заговорил вдруг Достоевский,— совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать, пятак упал на мостовую, *звеня и подпрыгивая*».

Замечание это,— помню очень хорошо,— было для меня целым откровением».

Сейчас очевиден главный смысл импульсивного замечания Достоевского: его раздражало то, что целая гамма душевных движений, «нектар оттенков»... попросту были опущены Григоровичем!

В этом замечании, пожалуй, ключ к другой, чрезвычайно важной проблеме «натуральной школы»: в чем смысл пребывания в ней и... разрыва с ней таких художников, как Некрасов, Тургенев, Достоевский?.. Их порой излишне крепко объединяют — «под знамена гоголевского направления в середине 40-х годов встали...» — с тем же Я. Бутковым, Д. Григоровичем. Их замыкают как художников круга Белинского в некое неразличимое целое. Исчезает, на наш взгляд, существенное обстоятельство: в силах ли были взять у Гоголя, даже вставшие под знамена направления, Г. Гребенка, В. Даль, тот же Григорович нечто действительно гоголевское? Ведь каждый вместит лишь то, что можно вместить...

«Очерк — рисунок без теней» — так определял В. Даль сущность избранного им и другими «физиологами» Петербурга жанра. И когда Достоевский говорил «не то», «сухо» о картине с падающим пятаком Григоровича, он видел прежде всего отсутствие психологических теней. «Не сухость изложения, а сухость восприятия действительности почувствовал Достоевский»,— отметила Л. М. Лотман. Исчезала при таком сухом восприятии надежда во взгляде шарманщика, боязнь, что пятак схватит другой, усилие воли — сохранить гордость артиста... и другие, куда более важные психологические реальности! Исчезала гоголевская печаль о человеке — пленнике гнетущих условий жизни... Гоголевский Петербург был иным, чем у «физиологов»,— он овеян такой страстной мукой писательской души, предвещающей трагедию писателя, его «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь заставил содрогнуться всех, «он пробудил в нас сознание о нас самих» (Чернышевский).

До этих высот последовательные приверженцы «натуральной школы», конечно, не поднимались. И немного «пятаков» осталось от этого направления в забытых ныне очерках без теней.

В своей ли тарелке чувствовал себя среди очеркистов Тургенев? В 1845—1846 годы он тоже попробует более основательно вписаться в ряды «натуральной школы». Он составит перечень сюжетов физиологических очерков:

«1. Галерную гавань или какую-нибудь отдаленную часть города.

2. Сенную со всеми подробностями. Из этого можно сделать статьи две или три.

3. Один из больших домов на Гороховой и т. д.

4. Физиономию Петербурга ночью (извозчики и т. д... Тут можно поместить разговор с извозчиком).

5. Толкучий рынок с продажей книг и т. д...»

Но, к счастью, Тургенев не стал насиловать природу своего дарования, скитаться по трактирам, чтобы раскрыть «их физиономию», по чердакам и подвалам... Вероятнее всего, что он не очень желал этой связанности группой, течением, обрекавшей на стандартность мысли, штампы, узость кругозора. Да и само понимание Гоголя у него было совершенно иное. Ему важна была в Гоголе общая концепция русской жизни, «тайна» Гоголя, о чем он напишет в 1852 году в известном некрологе, в ряде писем. Важен гоголевский путь к коренным чертам народного характера, к психологическим законам, отчасти руководящими событиями!.. В петербургские углы, в рамки одного мгновения не вместишь ни Собакевича, ни Хлестакова, ни Ноздрева, ни Манилова. Их создало не одно поколение, их среда обитания — дом истории...

Характерная непоследовательность, неожиданная на первый взгляд для ученика «школы Белинского», заметна и в отношении к семье Аксаковых.

Тургенев высмеивал К. С. Аксакова, может быть, более живописно и ярко, чем Белинский, но сохранил с ним и с семейством Аксаковых дружеские отношения. Особенно с главой семьи С. Т. Аксаковым и младшим сыном Иваном Сергеевичем. Можно предположить, что он, понимая всю важность борьбы Белинского и против официальной народности, ложновеличавой помпезности в литературе, и против «фантастической народности» (насаждения боярских одеяний, шапок-мурмолок, бород, «народственных» хороводов и т. п.), был одновременно и встревожен одной нотой, прозвучавшей во «Вступлении» к «Физиологии Петербурга», написанном Белинским.

«Бедна литература,— писал Белинский,— не блистающая именами гениальными, но не богата и литература, в которой все — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы. Но их-то — повторяем — у нас всего меньше, и оттого-то публике и нечего читать».

В. И. Ленин скажет о позднейшем отношении автора «Записок охотника» к тем, кто не искал мирного хода антикрепостнических преобразований в России: «Ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского». Но и призывы демократа Белинского умножить число «обыкновенных талантов», то есть покладистых посредственностей, как прямо говорил К. С. Аксаков, стремление заполнить журналы их творениями, в которых «божество и вдохновенье» заменены отчасти актуальностью «направления», едва ли Тургенева

радовали. Запах деревянного масла — от разночинцев — или душевная черствость в газетном борзописце, приметы «нутряного» вдохновения, а попросту невежества, развязное поплевывание на классические ценности культуры его, питомца муз и граций, всегда раздражали.

Тургенев соглашался с Белинским, когда тот, забывая об обеде, не замечая прогретого солнцем, душистого воздуха ельников и сосняков, выползающих на тропинки в Парголово стыдливо-румяных ягодок земляники, говорил о московском «супостате», в сущности не менее благородном и бескорыстном искателе:

— Славное дитя Константин, жаль только, что движения в нем маловато. Петербург отрезвил меня, осыпал с моей души, как дерево листья, самые на первый взгляд заветные убеждения. Я теперь почти каждый день рассчитываюсь с каким-нибудь своим прежним убеждением... И оказывается, что опадают не убеждения, а мечты, порожденные решительным незнанием жизни... Русский человек умеет истратить на мечты лучшую половину своей жизни, ту половину, когда надо мыслить, а когда надо приступать к делу, он... он кажется гостем из другого мира, гостем, опоздавшим для всех дел, явившимся в мир в старомодном костюме. У Константина нет движения... Он засел в свое узенькое определеньице и блаженствует в нем.

Слушал, соглашался, многие наивные верования осыпались и в его душе, он учился смотреть на мир не сквозь туманные очки. Но в творческом сознании Тургенева бродили такие догадки, такие фантазии о русском характере, такие видения, в которых и Белинский, и его «супостат» становились лишь частью огромного мира. Частью того, что составляет «самый образ и давление времени...».

* * *

...В 1843 году Николай Тургенев реже распекал «брата Ваньку» за мотовство: они оба впали в полную немилость со стороны матери, их обоих постигла «кошельковая» болезнь... Будучи посвященным в творческие мечты безденежного брата, Николай сообщал Ивану Сергеевичу о выходе его поэмы «Параша» и о том, что «восемьсот экземпляров книги роздано книгопродавцам». Как о деле согласованном ранее, он писал и о доставке поэмы Белинскому: «Белинскому я сам доставил экземпляр, но не застал дома». Поэма была доставлена также А. В. Никитенко...

В мае 1843 года петербургская газета «Русский инвалид»

поместила отзыв о поэме. А в майской книжке «Отечественных записок» Белинский сразу заговорил о необыкновенном поэтическом таланте автора, о... Впрочем, Белинский — во всем «чрезмерный», пылкий — не излагаем никем. «Верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которой скрывается столько чувства,— все это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его»,— таков был, может быть, избыточно красочный, но на этот раз и очень прозорливый вывод критика. «Параша» для Белинского — один из «прекрасных снов на минуту проснувшейся русской поэзии, в героине раскрыта «внутренняя святыня женщины», глубок след «гармонического аккорда последней строфы». Все есть в рецензии.

Этот язык так сродни был своенравному стилю возбужденных писем, переживаний самой Варвары Петровны, что эта рецензия, как и более ранняя похвала в «Русском инвалиде», привела ее в восторг. Переживалась эта радость, как сердце велело, в духе всей «спасской гармонии»... «Дядя-старик совсем с ума сошел от твоей «Параши»,— или, лучше сказать, от «Инвалида». Что бы ни сделал, все назовет Парашей. В цветнике сделали улитку, которую садовники называют улитой, а дядя — Парашей. Отелила ли корова телушечку — Параша. Лошадь — Параша. Биби (побочная или приемная дочь Варвары Петровны, Варенька Богданович.— *В. Ч.*) зовет Парашей,— писала она сыну из Спасского. Ее личная похвала — и очень справедлива, и очень, без этого она не может обойтись, наглядна: «Сейчас подают мне землянику. Мы деревенские, все материальное любим. Итак, твоя «Параша» — твой рассказ, твоя поэма — пахнет земляникою».

Сильное воображение часто порождает событие. Ни дяде Тургенева, называвшему очередную телушку Парашей, ни матери не было дела до сложнейшей, скрытой в недрах поэмы, за кулисами описаний символики, борьбы абстрактных сил, бога и сатаны.

...Параша, исполненная чудесных ожиданий, и ее жених, покоренный расцветом девичьей души петербургский скептик, утрачивающий здесь, в дворянском гнезде, «крикливый рой смешных предубеждений», — это первая, пожалуй, тургеневская чета героев, доверчиво вступающая в мир сочувствующей им или тревожащейся за них природы.

...ровной мглою
Наполнен воздух... липы чуть шумят;
И яблони над темною травою,
Раскинув ветки, высятся и спят —

Лишь изредка промчится легкий трепет
В березах; там за речкой соловей
Поет себе, и слышен долгий лепет,
Немолчный шепот дремлющих степей.
И в комнату, как вздох земли бессонной,
Влетает робко ветер благовонный
И манит в сад, и в поле, и в леса,
Под вечные, святые небеса...

Простодушный вкус может, конечно, найти в этих описаниях аромат земляники. Этот аромат, а заодно и аромат акации, сирени будет присутствовать во всех кульминационных сценах тургеневских романов, вливаться в «созвучье слов живых» в момент объяснений Натальи и Рудина («Рудин»), Лизы и Лаврецкого («Дворянское гнездо»), когда герои высоко поднимаются над обыденной жизнью, предчувствуя возможность иного бытия. Сдержанный страстный вздох всегда будет чудиться читателям в тишине этих свиданий. Но он возникнет, именно возникнет как стихия расцвета женской души — в описании прогулки Параши с ее женихом.

Вся поэма — небольшая музыкальная соната из трех частей: пролога с описанием прогулок Параши, средней части, в которой воплощена вся тревога надежд и ожиданий героини, всего ее дома перед приездом Виктора Алексеевича, и краткий финал, где звучит мотив разочарования...

Автор сетует, глядя через пять лет на замужнюю Парашу, утонувшую в обыденщине, упрекает ее и себя за обманчивый поворот в ее судьбе.

И вот что ей сулили ночи той,
Той летней ночи страстные мгновенья,
Когда с такой тревожной быстротой
В ее душе сменялись вдохновенья...
Прощай, Параша!

Чуда, которого нетерпеливо ждал романтик, не состоялось... Но это прощание не равнодушно-холодное, но страстное. Столько сомнений в победе житейского расчета, что прощание вселяет надежды на новые встречи с Парашей в ином ее облике! Человек верен божеству молодости всю жизнь.

Но как возникли и это ожидание чуда, и горестное разочарование? Почему вообще Тургенев остановился и будет в дальнейшем останавливаться на пороге семейного счастья или несчастья героев? Будет брать человека, так сказать, в «стадии цветка»? И почему никакой силой не продвинешь его в сферу «мысли семейной», в сферу жизни, обремененной тревогами за детей?

Белинский, все-таки не так глубоко «впитавший» в себя Гегеля, как Тургенев, лишь угадал многозначительность одной

детали. Он отметил, что когда в поэме намечается прозаический, обыденный поворот, когда «возможность страсти, горестной и знойной» становится смешной реальностью в заурядном, в меру горестном и счастливом браке, то для Тургенева ясно одно: «Но все же мне слышен хохот сатаны...». Дух сатаны, дух пошлости приблизился к малодушному, не сумевшему отстоять дар божества человеку.

Как же комментирует эту концовку критик?

«Да чему же обрадовался лукавый?.. Не приготовляет ли он измены, ревности, кинжала, яда и других зол, которыми нарушается семейное счастие?.. Ничего не бывало! Вы правы, чувствительные и восторженные читательницы, говоря, что автор «Параши» — человек прозаический и холодный...»

Верно в этой догадке лишь одно — Белинский почувствовал сложный состав тургеневской мысли. Автор передал героям какие-то свои жизнеощущения и одновременно с поразительным изяществом отстранился от них. Он свершил над героями некий эксперимент, мучительно-горький. Сквозь все воздействия и влияния — от пушкинского «Евгения Онегина», «Тамбовской казначейши» Лермонтова — пробивается свое, очень пристальное, тургеневское понимание возможностей и границ в человеческих исканиях счастья.

Для нужд этого сложного эксперимента понадобился и сатана. Он пришел в поэму путем, которого не угадал, конечно, Белинский, увидев литературных предшественников: «Этот сатана должен быть знаком русским читателям, потому что они встречались с ним и в «Онегине», и в «Горе от ума», и в «Ревизоре», и в повестях Гоголя, и в «Герое нашего времени»...»

Сатана пришел из той же философствующей «Германии туманной»... Тургенев не раз будет сетовать: о многом, слишком многом именно читалось! Книгой, литературой, как французскими духами «Гардени», пропахли многие сюжеты, подробности поэм, романов. Читалось много, реальностью жили мало. В первой поэме Тургенева многое проясняется, если, помимо действующих лиц, мы увидим в ней некие «сверхсилы», вроде тех богов в «Илиаде», что направляли стрелы героев или отводили от них вражеские, покровительствуя прямо Ахиллу или Гектору. При чтении поэмы надо помнить, что любовь для идеалистов 30-х годов — это мировая сила, давшая жизнь всему. Она высшее проявление преимущества человека над остальными частями мироздания! Только глаз человека знает пиршества духовные, взором животного управляет физиология. Только в человека божество — или «абсолютный дух», по Гегелю,— может вложить свой «залог»,

то есть возможность «святого, благодатного страданья... страстной тоски»... Наивность, заблуждение? Энергия такого «заблуждения» и сейчас дорога нам! Вся прелесть первой части поэмы — в истории зарождения чувства, расцвета женской души. Кстати говоря, все своеобразие тургеневского психологизма создается часто тем, что любовь как мировая сила внезапно делается одной из незримых причин, «накладывается» на все наглядные, очевидные мотивировки. Бес пошлости — тот же сатана — тоже не исчезает совсем. Но и воля к благородным поступкам (дар божества) не истощается... Это чутко отметил М. О. Гершензон в книге «Мечта и мысль И. С. Тургенева». В «Параше» «самодовлеющий, замкнутый в самом себе процесс», впоследствии не раз повторенный писателем, и есть временное торжество божества. Даже насмешливо — не без иронии в свой адрес! — изображаемый жених Параши, скептик и позер («природный, российский бес — и толст и простоват»), и он при виде Параши готов:

Былое сбросить все, как ношу с плеч...
Случайности предаться без возврата
И чувствовать, что жизнь полна, богата
И что способность праздного ума
Смеяться надо всем — смешна сама...

Но все шествие к чуду прерывается вдруг, и мир не обогащается чем-то удивительным. Мирская пошлость — а обыденный брак именно пошл в глазах идеалистов 30-х годов! — врывается в «алтарь души», затемняет «видимое божество» и... И Мефистофель уже хохочет — не над героями! — а над тем, чей «залог» в человеке, в Иове или Фаусте, пропал. Будет ли он затем «добивать», унижать эту семью, приготовив ей муки ревности, измены,— это уже не интересует Тургенева.

Н. В. Станкевич, не светский любезник, тоже совершенно искренне, целиком по Гегелю, писал о любви Л. А. Бакуниной: «Вы мне казались так святы, как недоступны. Вы были для меня видимое Привидение, видимое божество... душа нуждается в этом видимом божестве, ей необходимо в живом образе увидеть мир и любовь, которые потемнены во вселенной!» (3 марта 1837 г.).

Так веровали, так любили лучшие люди 30-х годов: может быть, наивно, изящно, усложненно, но сколько красоты — поэзии, музыки — взято из этой усложненности, «мимозной» хрупкости душ!

Белинский не исследовал подобных схваток «сверхсил», божества и сатаны, из-за души человеческой, способной на чудо и всякий раз не свершавшей его. Он всецело стоял на

почве действительности. И, жалея Парашу, присоединяясь к грустной мысли Тургенева: «Прощай, Параша»,— он отыскал иные, совсем без помощи Гегеля, причины банального поворота судьбы: нет движения, борьбы в самой российской действительности, окружающей героев. «И потому участь таких людей решает не страсть, не чувство, а теплая летняя ночь и одинокая прогулка, располагающие к неге, мечтательности и заставляющие расплываться душою и сердцем... И как же иначе? для страсти надо воспитаться, развиться. А для этого надо возрасти в *такой общественной сфере*, в которой духовная жизнь через дыхание входит в человека»,— писал Белинский (подч. мной.— *В. Ч.*). И в этом он был прав. Явится вдруг среди такой же усадебной Руси хотя бы болгарин Инсаров. Не теплая летняя ночь и сентиментальная книга будет склонять к любовной грезе, а дело, бурная энергия готового к борьбе и гибели героя. Но это случится — и для анализа новых сюжетов тогда найдется иной критик — в другие времена...

«ЭТО *ТВОЕ* МГНОВЕНИЕ НЕ КОНЧИТСЯ НИКОГДА...»

Красивы ли парижанки? Кто может на это ответить? Кто в состоянии распутать все ухищрения туалета, кто в состоянии разгадать, подлинно ли то, что просвечивает сквозь тюль, не поддельно ли то, что выпирает из пышного шелкового покрова?.. Смена моды издевается над всеми усилиями мужской проницательности.

Г. Гейне. Флорентийские ночи (1836)

Ах, обмануть меня не трудно,
Я сам обманываться рад...

А. С. Пушкин. Признание (1826)

...Александр Васильевич Дружинин — еще один из оригинальнейших людей в окружении Белинского — был на шесть лет моложе Тургенева. Коренной петербуржец, воспитанник аристократического Пажеского корпуса, офицер лейб-гвардии, прекрасный знаток английской литератуы и создатель нашумевшей повести «Полинька Сакс», снискавшей ему славу «адвоката женского сердца», Дружинин иногда считал себя вправе поучить молодого Тургенева правилам жизни: «Надобно уметь пользоваться микроскопическими радостями жизни... Еще важнее — хранить к ним способность. Эта способность, если хотите знать, редкая. Она разрушается от избытка важных наслаждений. Ведь дерево, если зацветет все сразу,— иногда и засохнет от избытка цвета! Я умею быть счастливым от покупки какой-нибудь изящной чашечки или от типично *пролетарского* обеда. Учитесь тешить себя мелочами, блистательным обманом, приучайтесь к *гастрономии* даже в чтении... Быть эпикурейцем часа два в сутки, эпикурейцем на мелочах — даже полезно...»

Отмену крепостного права в 1861 году Дружинин, незадачливый проповедник артистизма в искусстве, отметит, как денди, вполне по-светски, в рамках «хорошего тона» — обедом. А для редактируемого им журнала «Библиотека для чтения» подберет спасительно-бесстрастный девиз: «Без торопливости, без отдыха».

Безусловно, это совершенное джентльменство Дружинина, как и его удивительное трудолюбие, насмешки над беззаботными ленивцами импонировали Тургеневу. Хотя впоследствии — и это прозорливо отметит Н. Н. Скатов — какие-то черты Дружинина, холодного англомана, не случайно отра-

зятся в Павле Петровиче Кирсанове («Отцы и дети»), А. В. Дружинин словно не замечал, как, впрочем, и другой спутник жизни Тургенева, еще больший гурман и эпикуреец Василий Петрович Боткин, другого: «Судьба может заколоть и булавками». Даровитейшие люди своего времени, но утонченные сибариты, они как будто не понимали, что «гастрономическое» отношение к искусству, «артистическое и *бесцельное*» наслаждение им — опасная причуда. «Я читал их с таким же наслаждением, с каким, бывало, рассматривал золотые работы Челлини»,— отзывался Боткин о «Записках охотника». Проповедь «чистого искусства», артистизм не имеют никакого будущего в России, стране острейших социальных противоречий, созданной как раз «для житейского волнения и для битв»[1].

Тургенев, выслушав советы и Дружинина, и Боткина, нередко иронизировал над эпикурейством друзей, бросавших без оглядки множество сил в котел утонченных наслаждений музыкой, театром и гастрономией: «Боткин, подходя к столу, так потирает руки, как потирал их гоголевский «неподкупный» суд, выехавший на следствие и подходящий после разбора дела к обильной закуске...»

Дружинин же бывал ему порой и попросту противен: он насаждал дух скабрезности, соревнования в изобретении способов прожигания умственных сил в турнирах злословия, «чернокнижия». «Дружинин невыносим своей напряженной ложью... Мне одни имена его героев — Ланицкий, Радденский — производят давление под ложечкой»,— напишет Тургенев П. В. Анненкову в декабре 1853 года.

При всем этом нет нужды «осерьезнивать» и улучшать Тургенева. В 1843 году и он, «молодое вино», был еще рассеянным дилетантом. Я. П. Полонский впоследствии дал лаконичный, но точный образ его внешнего бытия в канун встречи с Полиной Виардо:

В те дни Тургенев молодой
Еще на нажитях чужой
Науки думал сеять розы;

---

[1] Некрасов в известной пародии, несколько снижая Дружинина, игнорируя его немалый литературный талант, довершил создание портрета этого литератора:

Научишь каждого веселью,
Полуплешивое дитя.
Серьезно предан ты безделью
И дело делаешь шутя...

(1854).

Глядел на женщин, как герой,
Писал стихи, не зная прозы...
(Свежее предание)

Внешне так все и было... Но тургеневское отношение к наслаждению театром, живописью, музыкой даже и тогда, в 1843 году, было во многом иным. Он многого еще не знал, был «ненаполненным сосудом» по сравнению с *тем* Тургеневым, каким он стал в 70-е годы: выдающимся ценителем шедевров музыкальной культуры, живописи, театра. Но уже в молодости он был полон удивительного воодушевления, неистовой страсти в отношении к музыке. Он знал чувство музыкального голода. Музыка словно призвана была дать последнюю огранку его таланту, «войти» незаметно в интонации его прозы. С жаждой великой радости, своеобразным ожиданием чуда входил он в театр. Предвкушение полноты переживаний делало его естественней, исчезала даже обычная его ироничность. Оперные декорации, звуки, несущиеся к театральным небесам, священнодействие артистов — все соответствовало его желанию одухотворять жизнь.

Сейчас мы многое утратили из подобной доверчивости. Мы — пленники повседневности, мы помним о расписанности кулис, о сочиненности текста. Для Тургенева же повседневность — чудовище, которое унижает все, что способно подняться над ее уровнем. Музыка была тем единственным, что ограждает полет души от нежеланной прозы жизни, тот оазис, где можно еще быть наивным, можно, не рискуя быть осмеянным, изъясняться на утонченнейшем языке...

* * *

...В октябре 1843 года в Петербурге после долгих хлопот знаменитого певца Рубини открылась Итальянская опера. В «Севильском цирюльнике», популярной и тогда опере Россини, в роли Розины выступила незнакомая еще русской публике двадцатидвухлетняя певица Полина Гарсиа Виардо. Других примадонн-сопрано взыскательный Рубини, формировавший труппу, не отыскал. В Полине Гарсиа Виардо он тоже вначале сомневался: «Она очень некрасива, и у нее нет настоящего голоса сопрано» (из письма А. М. Гедеонову, директору театров). Положение самой певицы в Париже было неблестящим, а условия Рубини — «50 тысяч рублей и полубенефис» — превосходны. Приглашение было принято, и уже 3 октября 1843 года Ж. Занд, друг семьи Полины и Луи Виардо, сообщала одной из знакомых: «Полина... 5 октября уезжает в Россию, вместе с Виардо, который стонет, как битый

горшок». Путешествие их — через Берлин и Ригу — было непродолжительным, и уже 14 октября чета Виардо прибыла в поразивший их своим неожиданным величием Петербург. «Севильский цирюльник» считался «прелестнейшим цветком итальянского репертуара», и в конце октября опера шла трижды — 25, 27 и 29-го числа. На одном из этих спектаклей ее впервые увидел Тургенев.

Когда-то в Риме Станкевич с грустной улыбкой любил повторять: «Отдадим кесарю кесарево, а что нужно душе — она сама найдет...»

Встреча Тургенева с Полиной Виардо, артисткой и человеком, в октябре 1843 года — это закономерная случайность, та находка, которую сделала душа. Не влечет охота, влечет судьба.

П. В. Анненков, глубоко проникший в характер привязанностей и притяжений, «склонений» магнитных стрелок в душах людей 40-х годов, отмечал, что многие из них испытывали «непреодолимую тоску, если в городе не было у него какого-либо центра, образуемого другом, семейством, умною женщиной...».

Но почему же отрадно только отыскать чужое гнездо и прибиться к его краешку? А не создать свое? Увы, долгое пребывание в блаженных елисейских полях умозрений, где все предметы земного мира врацались просветленными, в бесплотной оболочке мысли, отодвигало это «свое» строительство далеко...

Свободен ли был Тургенев, так кичившийся своей независимостью, в своем внезапном ослеплении внезапной находкой? И как это он, усвоивший искусство салонного суесловия, этой странной и бесплодной игры в любезность и злоречье, мастер эпиграмм, часто колючих, вдруг начисто потерял все качества пересмешника? Превратился из «демона» в «простака»?

Короля «делают», как известно, придворные — своим почтением, невольным самоумалением, неистовым восхищением.

Явлению Полины Виардо, двадцатидвухлетней жены директора Итальянской оперы Луи Виардо, предшествовала, конечно, волна очень необычайной, незримой рекламы. Говорилось, что пела уже и ее мать Хоакина Сичес. Говорилось, что свирепый отец, певец и композитор Мануэль Гарсиа, заставлял дочь петь без музыки на шхуне, шедшей в Европу из Южной Америки через бесконечный Атлантический океан. Воображение должно было дорисовать остальное: грозный океан, чайки, безлюдный простор и завороженно слушающая пение ребенка команда у просмоленных канатов... Говорилось, конечно, что эта низкорослая испанка, во внешности которой

было много цыганского (Авдотья Панаева, гражданская жена Н. А. Некрасова, с чисто женской завистью и злоречьем отметила в своих мемуарах и ее жадность, и неопрятный огромный рот), ученица самого Ференца Листа. Он, Лист, учил игре на фортепиано и ее старшую сестру, Марию Малибран. Тень великой Малибран бросала роковой, трагический отсвет и на Полину: эта певица, жена скрипача Берио, умерла в 27 лет, разбившись в Манчестере при падении с лошади.

Что еще «мололи» жернова молвы? Конечно, говорилось и о том, что ей делал предложение поэт Альфред де Мюссе... И что же? Он получил отказ — Полина вышла за Луи Виардо, не смутившись разницы в возрасте: она была моложе скучного, унылого как колпак Луи, знатока музеев Европы, переводчика, вечно заботившегося о здоровье, на 20 лет! Но свое поэтическое мнение о ней отвергнутый Мюссе не изменил: «Да, гений, дар небес. Это он переливается через край в Полине Гарсиа, как щедрое вино в переполненном кубке...»

Люди XIX века были восторженней, «чрезмерней» своих вялых потомков. Г. Гейне, самая ироническая, может быть, душа века, найдя в пении Полины «зловещее великолепие экзотической пустыни», писал: «Эта певица не соловей, у которого только один вид таланта». Ж. Занд, изобразившая певицу в романе «Консуэло», превзошла, пожалуй, в похвалах и Г. Берлиоза, и историка Мишле, написав: «Это — прямо чудо господне...» Историк же, словно забыв о научном взгляде на вещи, говорил: «Святая Виардо...»

Сдержанные похвалы, скажем, того же Н. В. Станкевича, слушавшего певицу Гарсиа в 1838 году в Аахене — «в нижних нотах — это что-то необыкновенное... В верхних, мне казалось, она делала усилие, голос был хриплый, и переливы не чисты», — чересчур эмоциональная русская публика не пожелала бы и слушать. «Дочь гармонии», «жрица вдохновенная», «и взор ее горел божественным огнем» (А. Н. Плещеев), «чадо пламенного юга» (А. Григорьев), «с тобой весь мир, природа, область бога слились в глубокое, безумное «люблю» (В. Г. Бенедиктов) — таков был обычный «речестрой» похвал, восторгов. Космополитические вкусы, увы, нередко определяют многое, и, как отметил биограф П. Виардо А. Розанов, мало кто вспоминал, созерцая «лучший цветок утонченной цивилизованности», то есть итальянскую оперу, что русская опера опять чуть ли не упразднилась!

Газетные оценки — особенно усердствовала булгаринская «Северная пчела»! — поразительны своим единодушием — везде превосходные степени, только восторг... «Северная пчела» в дни гастролей итальянцев, сообщив биографические све-

дения о госпоже Виардо, «об этой волшебнице, очаровавшей нашу душу прелестью своего голоса и силою своего таланта», писала: «В ее пении мы находим и нежность Зонтаг, и искусство Каталани, и пылкость Пасты, и единственную гарциевскую методу сестры ее, Малибран. У Виардо-Гарции все ноты грудные, от высочайшего сопрано до низкого контральто, впадающего в бас, все рулады чисты, как жемчуг...»

Недолог век певцов, «цветение» их интенсивно — уже к 1864 году голос Виардо даст «трещины» — и скупиться на похвалы, как и на подарки в виде браслетов с алмазными незабудками, в этот краткий миг успеха XIX век не хотел!

Успех — это второе дыхание, это солнце в оранжерее. Не надо судить строго даже Ф. Листа, который, как заметил Г. Гейне, возил с собой генерал-интенданта своей славы синьора Беллони. Великий певец Рубини, частый партнер П. Виардо, гастролировавший однажды вместе с Листом, с ужасом узнал из отчета этого Беллони: «В числе общих расходов была указана значительная сумма издержек на лавровые венки, хвалебные стихи и прочие принадлежности оваций. Наивный певец воображал, что эти знаки одобрения кидали ему ради его прекрасного голоса...» («Лютеция»)

Но не одни легенды, не один ропот молвы подготовили мгновенное увлечение Тургенева.

Вспомним — в наивной провинциалке, усадебном цветке Параше, из одноименной поэмы, Тургенев увидел незримое богатство, залог души, любимой божеством. Какой же огромный залог, вещественное воплощение любви божества, был дан певице, покоряющей толпы людей, зажигающей их энтузиазмом веры в могущество красоты!

Литературные факты, говоря языком Ю. Н. Тынянова, в эту эпоху часто переносились в быт. Дружеское письмо Державина — еще факт бытовой, но письма-повести, письма-дневники Белинского — факт предельно литературный. Для нас шарады — детская игра, а в эпоху Карамзина, с ее выдвижением на первый план словесных утонченностей, она была почтенным литературным жанром. Салон или театр — факт бытовой — увеличивал «литературность» жизни. Лирические герои Байрона, соотносившиеся с его «литературной личностью» (практически легендой), находили множество путей для «экспансии», проникновения в быт. Яков Петрович Полонский, один из самых чутких друзей Тургенева, нарисовал достовернейшую картину вечного изумления писателя перед гением музыки, прояснил загадку тургеневской привязанности, наигранной, «сделанной» и одновременно искренней, к сладкоголосой сирене. Вот он, седовласый великан, боящийся быть

узнанным, осмеянным в парижском театре гостями из России, ждет явления Полины! Певицы или властительницы волшебного мира?

Но — чу! — гремят рукоплесканья,
Ты дрогнул,— жадное вниманье
Приподнимает складки лба;
(Как будто что тебя толкнуло!)
Ты тяжело привстал со стула,
В перчатке сжатою рукой
Прижал к глазам лорнет двойной
И — побледнел —
Она выходит...
О, это вкрадчивое пенье!
В нем пламя скрыто — нет спасенья!
Восторг, похожий на испуг,
Уже захватывает дух...

В 1843 году этот «восторг, похожий на испуг» был в тургеневской душе еще сильнее. В восторге этом тонуло всякое сомнение, исчезала ироничность.

Успех итальянцев был тоже, в известной мере, предопределен. Легко было пожинать плоды успеха в застойной, не знавшей обмена идей, развития нового стране! Все, что блестит, гремит — часто уже золото! Засилье дурной «итальянщины», которое долго будет немалой преградой для русского оперного искусства, для композиторов «Могучей кучки», привыкнет иметь опору в этом неразвитом вкусе. Ф. И. Шаляпин много лет спустя скажет о замечательном качестве русского оперного пения, его психологизме, возносящем певца на высоты, недоступные часто виртуозам итальянской школы. «В той *интонации* вздоха, которую я признавал обязательной для передачи русской музыки, нуждается и музыка западная, хотя в ней меньше, чем в русской, психологической вибрации» («Маска и душа»). Но ни «Бориса Годунова», ни «Хованщины» еще не было... И даже когда явилась на свет «Могучая кучка», Тургенев — каков диктат давнего увлечения! — будет с величайшим трудом, правда, постепенно воодушевляясь, убеждать себя: «Я начинаю верить, что у всего этого есть будущее». Но это признание наступит в 1874 году и, кстати говоря, в доме прославленного русского певца О. А. Петрова, где стоял увенчанный лаврами бюст П. Виардо, его партнерши, где Мусоргский именно Тургеневу «спел, скорее прохрипел несколько отрывков из своей оперы» («Борис Годунов».— *В. Ч.*).

В 1843 году Тургенев — один со всем залом. Это и о его восторге при первых звуках голоса Виардо — в первый раз он не устыдился своей похожести на всех! — картинно расписывала газета: «В зале мгновенно пробежала электрическая искра... В первую минуту — мертвая тишина, какое-то блаженное оце-

пение... Но молча прослушать до конца — нет, это было свыше сил! Порывистые bravo! прерывали певицу на каждом шагу, заглушали ее... Восторг уже не мог вместиться в огромной массе людей, жадно ловивших каждый звук, каждое дыхание этой волшебницы... Да! это была волшебница! И уста ее были *прелестны!* кто сказал «некрасива»? — нелепость! Не успела еще Виардо-Гарсиа кончить свою арию, как плотина прорвалась... Это было какое-то опьянение, какая-то зараза энтузиазма, мгновенно охватившая всех снизу доверху...»

Хлопали, стучали ногами и стульями — и такая форма одобрения, «зараза энтузиазма», как писал в похвальном смысле рецензент тех лет, была узаконена! — степные помещики, пробудившиеся в Петербурге от долгой спячки, офицеры, сбросившие вмиг роковую маску фаталистов и дуэлянтов, чиновники, «застоявшиеся» в стойлах кабинетов-казарм. Певице и ее партнерам посылались золотые перстни, портсигары... Русской публике тех лет именно такие художественные ощущения, «электризующие» ее,— когда страсти рвут в клочья, когда изящные фиоритуры сыплются как фейерверк,— были нужнее всего. Они были ей *впору,* как проза Марлинского, живопись Брюллова. Рубини, знаменитый тенор, партнер Полины Виардо, несколько «сдерживал» ее:

— Не играй так страстно, не ровен час — умрешь на сцене!

У певицы сразу же образовалась «гвардия» — уже в 1844 году Тургенев назовет ее «ваши верные», ваша «старая гвардия» — поклонников, часто весьма богатых дилетантов. Среди них были и Матвей Ю. Виельгорский, и С. А. Гедеонов, сын директора императорских театров, к которому особенно ревниво отнесся Тургенев, П. Б. Зиновьев, генерал А. М. Гулевич.

Тургенев был вскоре представлен Полине Виардо как сын богатой помещицы, славный охотник и плохой поэт.

...С этого мгновенья он, русский Монтень, умевший подмечать комические, ненатуральные стороны самого пламенного увлечения, любой теории, был поставлен в положение весьма сложное, изумлявшее друзей. Он влюблен — и, судя по множеству писем, ему не хватает всей мудрости философии, мировой литературы, чтобы «объяснить» эту любовь! Влюблен неистово — разумно, демонстративно. Даже трескуче, как говорил Белинский. Она же позволяет себя любить. Правда, слово *любовь* он ни разу не произносит, как отметил профессор Ив. Иванов, постоянно заменяя его другими, говорящими о безграничной преданности и покорности: «Для меня ее воля закон»; «Есть особа, для которой я не только на рекламы, на все пущусь»; «Если бы на земле не было там и сям таких

созданий, как вы, то на самого себя было бы тошно глядеть» и т. п.

Позднее кое-кто из друзей пробовал деликатно указать Тургеневу на несколько фальшивое положение его в семье П. Виардо, неестественное однообразие его восторгов. Было слишком заметно, что подчинение деспотичной натуре матери, В. П. Тургеневой, в детстве и юности вдруг сменилось влиянием сильной воли Полины, новым видом романтизированной, правда, зависимости. А может быть, одно подчинение и подготовило другое в мягкой натуре Тургенева?

На все попытки уяснить тайну этой загадочной любви Тургенев, вспыхивая, загораясь, закрывая все подступы к тайне, порой отвечал так:

— Фальшивое положение? Да в жизни ничего нет прочнее фальшивого положения. Раз вы в него попали, вы ни за что на свете из него не выберетесь!

Белинский сообщает Татьяне Бакуниной о поведении Тургенева — гуляки праздного в его глазах — с досадой: «Здоровьем он, как Вам известно, не крепок; но это не мешает ему жить, т. е. ничего не делать и быть больше веселым, нежели скучным. Он теперь весь погружен в итальянскую оперу и, как все энтузиасты, очень мил и очень забавен...»

В погружении в итальянскую оперу — оно давалось Тургеневу, часто безденежному, в это время не совсем просто — он еще мог порой побеседовать с Белинским «о Байроне и о материях важных», но совершенно не заметил другого, не менее важного для Белинского обстоятельства. Какого? «Всех больше ценю я голову Тургенева, но он-то именно до сих пор и не подозревает, что я женюсь», — писал Белинский невесте М. В. Орловой 15 октября 1843 года.

Да и где было заметить такую простую любовь! Такую обыденную, прозаичную и — в глазах театрального денди Тургенева — почти семинарскую? Скромный Белинский, целомудренный до стыдливости, не знавший вина, еще в октябре робко писал невесте, когда «дело» их после размолвки было отложено: «Я все еще не совсем потерял надежду, что ангел света победит в Вас ангела тьмы, что Вы сознаете свое смешное заблуждение и, не *по долгу*, а *по любви*, весело и бодро пуститесь в Питер, чтоб дать мне счастье, которого я несколько заслуживаю в качестве человека *скорбящего* и *работающего*, ибо только таким, по моему мнению, должна быть наградою любовь женщины».

Белинский как будто никогда не видел праздных счастливцев, пошлых весельчаков, прожигателей жизни, которые как раз и выходят победителями в турнирах любви! Опережая

чаще всего скорбящих и работающих, попирая скучную добродетель...

У Тургенева все иначе... Для него любовь — наваждение, своеобразный обвал в горах души, даже болезнь. Но обвал, подготовленный мечтами об идеале, об исключительной женской личности. Он активно вживается в мир театральных интересов четы Виардо, отважно, говоря его языком, ныряет уже не в «немецкое море», а во «французский залив». А позднее, начав изучать и язык родни П. Виардо, испанский,— ныряет и в «испанский фиорд». Но прежде всего — закулисная жизнь театра, раскаленные страсти честолюбия, ожиданий звездного часа. Ошибается тот, кто думает, что можно общаться с актрисой и обойтись без лести, без особого жаргона, без «интриганства». Чтобы быть «своим» в этом мире, тем более направлять куда-то даже такую умницу, как Полина, надо следить за многим... За чем? За интонациями прессы, выбором места в зале для репортера, за самим репертуаром. За неудачами соперниц. Из любовного теста слеплены актрисы и из неистощимого тщеславия.

Разлука — пробный камень всех душевных связей... Как следует сказать о сезоне без Полины, смягчив собственную тоску? Слава богу, что область бездарности, как говорил Белинский, так же безгранична, как сфера гения... Тургенев пишет Полине Виардо:

«У г-жи Джули — голос очень высокий, не очень сильный... У нее мало вкуса, теплоты; манера исполнения драматическая или, вернее, мелодраматическая... она поет так, словно влюблена в луну; ей недостает благородства, она преувеличивает как певица; как актриса это — почти манекен... Гуаско — несомненно, тоже хороший певец, но он потерял голос... Этот ослабевший голос скользит, а не проникает... Что же касается м-ль Виолы, то она школьница в полном смысле слова... Роль верховного жреца исполнил некто г-н Шиех, неповоротливый немец с гнусавым и фальшивым голосом» (21 октября 1846 г.).

Какая вкрадчивая лесть! Внешне беспристрастный тон, квалифицированный разбор, ни слова похвалы в адрес Полины Виардо, но пишущий знает, что читать его письмо будет человек, живущий в искусстве, страстно, увлеченно, пристально следящий за всем, в том числе за соперницами на поприще славы! Дух соперничества плодотворен, он вносит остроту и точность в самооценки артиста. А жажда первенства изгоняет вялость, инерцию дежурного исполнительства... Тургенев ироничными описаниями чужих провалов и неудач словно движет «каток» по полю, начиненному минами, «провоцирует»

взрывы чувств, смешит и утешает. Рядовые рецензенты «громыхают» пустыми, как хлопушки, похвалами, а здесь — вздох, снисхождение к тем, кто пробует заменить ее, Полину, на данной сцене.

Новые письма — новые оттенки весьма утонченной лести.

«Я слышал г-жу Альбони в «Семирамиде»... Она хорошо выполняет рулады; тембр ее голоса чрезвычайно нежен и вкрадчив, но в нем нет энергии, он не захватывает. Как актриса она ничто; ее безмятежное, полное лицо противится всякому драматическому выражению; она ограничивается тем, что время от времени с трудом морщит брови».

Сплошным притворством эти насмешливые рецензии не были: Полина Виардо, он знал, слишком умна, чтобы «принять» пустую лесть... Она и ценила эту игру ума потому, что за ней пряталась застенчивая влюбленность, одиночество, даже тоска... Такой родник вдохновений — ее растущее богатство, опора.

Современники, не знавшие, конечно, интимной стороны этих отношений, запоминали лишь всякого рода несносные озорства и причуды Тургенева. Они — прикрытие бедности.

Денег у него порой было столь мало, что камердинер вздыхал, стоя у конторки в пустующем кабинете хозяина:

— Вон они, счета-то, пылятся... Когда-то оправдаем их. А тут новые расходы — цветы, перчатки. Непременно — духи французские...

В самом театре безденежный Тургенев иногда отправлялся в ложу Н. Х. Кетчера, одного из друзей Герцена, переводчика Шекспира («*Перепер* он нам Шекспира на язык родных осин»,— скажет о нем Тургенев в известной эпиграмме). Ложа была далеко не лучшей, находилась очень высоко. Великан Тургенев явно стеснял хозяев, он отвлекал их развязным, истовым аплодированием. В антракте же он бежал вниз, и когда ему попадались важные лица, видевшие его в салоне госпожи Виардо, то он нередко на заданный ему вопрос: «Что вы там, в райке, делаете, Тургенев?» — отвечал: «Публика невежественна, невнимательна, надо управлять ее душой... Хотя бы с помощью мной нанятых клакеров...»

* * *

Тургенев иногда говаривал — без тени кокетства — о том, что он мало читал Белинского.

— Белинский повлиял на меня своими беседами...

Это отчасти верно. Тургенева нельзя представить одним из тех энтузиастов, которые поднимали в эти годы над головой

очередной номер «Отечественных записок» с криком: «Есть Белинского статья!»

Такого энтузиаста — студента Беляева — он покажет в пьесе «Месяц в деревне» в беседе с резонером Ракитиным.

«РАКИТИН. Вы предпочитаете повести?

БЕЛЯЕВ. Да-с, хорошие повести я люблю... но критические статьи — вот те меня забирают.

РАКИТИН. А что?

БЕЛЯЕВ. *Теплый человек их пишет»*. (Подч. мной.— *В. Ч.)*

Белинский, он и есть этот «теплый человек», был весьма своеобразным режиссером, корректировщиком творческого пути Тургенева в канун создания «Записок охотника». Он действительно учил, что называется «показом», помогал собиранию личности, самоопределению молодого прозаика среди множества явлений, потребностей эпохи. К собственным статьям он отсылал его, вероятно, редко. Порой он жаловался, что вынужден писать спешно, «сгоряча», стыдился расползаний мысли, «водяных мест», считал, что едва ли «похож» на себя в статьях:

— Мои лучшие статьи? Их знаю один я — это те, которые не только не напечатаны, а никогда не были и написаны, которые я слагал в голове моей во время поездок, гуляний, словом, в нерабочее время, когда ничто извне не понуждало меня приняться за работу... Сила моя не в таланте, а в страсти.

Страстности и собранности он как раз и не находил долгое время в молодом Тургеневе. Бесконечного парения над миром вещей, прочитанного, несколько застылых вещаний было многовато в его поэмах. Белинского раздражало, что порой тургеневский стиль напоминал нечто подкрашенное и распущенное на воде. Прочтя в корректуре поэмы «Разговор» следующие строки: — «И звезды вечные высоко над землею торжественно неслись в надменной тишине»,— Белинский написал автору: «Что такое: надменная тишина? — Великодушный кисель! Обильной (?) матери людей?» — Изысканно и темно...»

Уловив некоторую зыбкость тургеневских понятий о реализме в творчестве, Белинский говорил о «сотворении голоса» как о процессе мучительном, сложном, даже загадочном:

— Слог — это рельефность, осязаемость мысли, физиономия ума. Без слога эмоции или ваши «внутренние чувства», по меньшей мере, двусмысленны, они не знают себя. Как и мысль... В слоге мысль — до этого силуэт, тень — обретает плоть. В слоге весь человек... Тайна слога заключается в умении до того ярко и выпукло изливать мысли, что они кажутся,

если угодно, изваянными из мрамора. Кто же подражает чужому слогу, тот носит маску...

Тургенев обретал свой голос трудно. Чужих масок он не носил, хотя образцов для подражания не боялся, хотя его память была буквально перенасыщена книжными образами. Именно поэтому вся его ранняя проза — повесть «Андрей Колосов» (1844), рассказы «Три портрета» (1846), «Бретер» (1847), «Петушков» (1848), «Дневник лишнего человека» (1848—1850) и даже «Три встречи» (1852) — сейчас кажется открытой взору исследователей лабораторией творческих исканий, «штудий» молодого прозаика. Здесь подлинное столкновение стилистических стихий, идущих из прошлого и из будущего.

К. К. Истомин, один из проницательнейших исследователей стиля как пластического выражения духовной жизни, всей исключительно артистической душевной организации Тургенева, в своей книге «Старая манера» Тургенева» (1913) дал точное внешнее описание примет этой манеры: «Произведения Тургенева, особенно начального периода, пропитаны каким-то особым ароматом иностранной и русской поэзии: то вдруг вспыхнет цитата из Пушкина или Гоголя, то прозвучит строка Лермонтова, то промелькнет на минуту знакомый всем художественный образ, то герои повести заведут неожиданно разговор о поэзии, об искусстве и т. д. Такие литературные блестки покажутся нам на первое время чем-то случайным, мгновенным, мимолетным. Но мы не должны забывать, что для Тургенева, как и для его современников, все эти литературные блестки имели прелесть новизны и свежести...»

Тургенев — поэт и прозаик — в 40-е годы часто весь сложный мир человеческой души возводил к знакомым образам родной и чужой поэзии. Гамлет, Дон-Кихот, Гете и Шиллер, шекспировский король Лир, лирический герой Кольцова, персонажи Крылова, отдельные реплики известных героев, образные выражения, ситуации романов — все живет в его памяти неспокойной, активной жизнью. Книжные герои преследуют его даже в такие минуты, когда, казалось, надо забыть о всякой книжности. Даже соревнование певцов в Притынном кабаке («Певцы»), где все дышит реальной Россией, среднерусской полосой, Тургенев, как будто реализуя свою идею: «Нам, маленьким литераторам ценою в два су, нужны крепкие костыли, для того, чтобы двигаться»,— подводит под некий общий знаменатель. Они похожи для него на персонажей с картины Теньера. Почему, какая связь? «Детство всех народов сходно, и мои певцы напомнили мне Гомера. Потом я

перестал думать об этом, так как иначе перо выпало бы у меня из рук»,— писал он П. Виардо 26 октября 1850 года.

И слава богу, что художник перестал думать о Теньере, о Гомере, введя в поле зрения русский «притынный» кабак. Как перестал, всматриваясь в Хоря и Калиныча, удерживать в памяти мысль о похожести одного из них на Гете, другого — на Шиллера! Стиль, который слишком насыщен вкраплениями, отголосками чужих образов, интонаций, где ощущается, скажем, «денной грабеж Гоголя», как в одной из комедий Тургенева, по определению С. Т. Аксакова,— это стиль воскового языка, это смешение масок. Собственное лицо делается «малоподвижным», невыразительным, хотя нечто свое ощущается и сквозь эту мозаику заимствований.

Так было у Тургенева в повести «Петушков» — тут неожиданно буйно взошли семена, посеянные Гоголем. Гоголь, как казалось В. П. Боткину, «Тургенева сбил с толку», сбил легко, поскольку Тургеневу пока недостает «самости и смелости» — этих всегдашних признаков больших талантов (из письма А. В. Дружинину от 4 сентября 1855 г.). Но талант был, хотя примет денного грабежа Гоголя в стиле действительно было еще много.

Именно в 40-е годы Тургенев, опираясь на помощь Белинского, должен был заново пройти, пусть частично, пушкинский путь от романтизма к реализму. Пройти, создав, испробовав множество *промежуточных смешанных форм* между романтизмом и реализмом.

В чем суть пушкинского пути?

Лидия Гинзбург в одной из работ, отметив, что для Пушкина периода «Руслана и Людмилы» «реализм не в чихании, не в оплеухах и руковицах», тем более не в составлении «народного» характера из лохмотьев, кваса, щей и кулачных боев, очень точно раскрыла перемены, рожденные движением поэта от романтизма и классицизма к подлинному реализму в «Евгении Онегине». Вслушаемся в ее слова, они частично очерчивают и путь Тургенева: «В «Онегине» Пушкин отказывается и *от условной приподнятости* своих ранних романтических поэм, и *от абсолютных истин и неподвижных ценностей*, свойственных философии и эстетике классицизма... Вещи движутся от торжественного к обыденному, от трагического к смешному и обратно; они обладают переменной ценностью. В этом равноправии вещей — глубочайший социальный смысл иронического стиля, его реалистические потенции... Пушкин впервые показал, что скудный русский пейзаж эстетически равноправен экзотике моря, скал, пустынь. «Простонародные» слова, вообще словесное сырье, непричастное «языку богов»,

он обратил в ряд идеологических и эстетических ценностей» (Гинзбург Л. Я. Пушкин и проблемы реализма.— В кн.: «О старом и новом». Л., 1982, с. 104, 106).

Тургенев и в «Стено» и в «Параше» начал с романтического парения над грубым, вещественным миром, начал с условной приподнятости, с «надменной тишины», с «языка богов». Но вскоре и для него наступила пора движения от торжественного к обыденному. Оно-то и привело его затем и в избу Бирюка, и в «притынный кабак», и в усадьбу Хоря... Но это движение было медленное, спутанное, то и дело осложняемое многим. Он надолго задерживался на неполной истине романтизма. Он навсегда остался романтиком по своему возвышенно-приподнятому отношению к жизни, по привычке не писать прямо с натуры, по вечному господству общих идей над работой фантазии.

Стихия бесконечного лиризма поглощала Тургенева, он до конца своих дней сохранил привычку писать как романтик, говорить «красиво»: «Все небо было испещрено звездами; *таинственно струилось с вышины их голубое, мягкое мерцанье;* они, казалось, с тихим вниманьем глядели на далекую землю. Малые, тонкие облака, изредка налетая на луну, превращали на мгновение ее спокойное сияние в неясный, но светлый туман... Сердце во мне сжималось необъяснимым чувством, похожим не то на ожиданье, не то на воспоминание счастия» («Три встречи»).

* * *

В декабре 1844 года Белинский, извинившись за то, что ему недостает духу сразу отвечать на письма («Русский человек, и мне приличнее обращаться с лошадьми, нежели с дамами»), сообщил Татьяне Бакуниной: «С глазами Тургенева было что-то вроде припадка, но без всяких дурных следствий. Здоровьем он, как Вам известно, не крепок...»

Впервые, пожалуй, безрадостное понятие «болезнь» стало связываться с Тургеневым. Мелькнули первые догадки, что во внешней мощи этого человека есть какая-то рыхлость, «недоконченность», как и в характере, а за геркулесовской наружностью таится все та же странная «рассыпчатость».

В январе 1845 года сам Тургенев извещает А. А. Бакунина: «Месяца через два я оставлю Россию — может быть — ненадолго; глаза мои очень стали плохи... Я надеюсь съездить в Москву в конце февраля — повидаться с моей матерью перед моим отъездом».

Этим планам суждено было исполниться: получив в фев-

рале отпуск на два месяца — Тургенев все еще служил в министерстве внутренних дел,— он провел это время в Москве.

Здесь он, безусловно, видел и триумф своего земляка Тимофея Николаевича Грановского.

...Москва зимой 1845 года переживала это не совсем обычное увлечение — выдающимся событием вновь стали университетские лекции Т. Н. Грановского.

О чем говорил, этот «на 1/4 Рудин» — с кафедры?

Западная Европа для него словно знакомый «домашний» огород с хорошо возделанными грядками. Огород унавоженный, мирный — рыцарские замки давно стали музеями, борьба императоров с римскими папами — страницами хроник. История для Грановского, окруженного всей суммой материальных и психологических благ, которые давало положение профессора, уважение общества, счастливая семья (в октябре 1841 года он женился на немке, урожденной Мюльгаузен) — это обширное пространство, где для нужд насущного «все есть». И различные идеи, и верования, и бессмертные могилы — вехи для души.

У прошлого — своя самостоятельность, идеальная и вечная, в нем ничего нельзя упразднить, сломать. Топтать его по-слоновьи может только слепой варвар, человек низкой цивилизации души. Грановский как истинный поэт — на незыблемой гегельянской основе! — рисовал человечество как развивающийся организм, разгадывал таинственные связи, которые охватывают народы, по очереди вступающие на поприще истории.

С насупившимися бровями, с грустно-добродушной улыбкой, в синем берлинском пальто с бархатными отворотами и суконными застежками, Грановский представлял историю как историю *морального* роста человечества. Везде, в любой эпохе, в эпохе Роланда или рыцарских походов, скандинавских саг или Реформации,— он оскорблялся самим видом рабства, неволи, деспотизма, унижения философии, науки.

Грановский не был гоним.

Но Тургенев всегда ощущал, как оскорбляло, угнетало гуманнейшего Тимофея Николаевича очень многое и на родной Орловщине, и во всей «империи фасадов» — николаевской России. Крепостное право, бессудность, безудержная власть чиновничества, глубочайшее презрение к науке. Он словно спрашивал себя: «Где я живу? Не среди ли лагеря старых галлов или варваров-гуннов? И чего стоят бродящие среди этого лагеря, где царствуют законы кулачного права, сыска, надзора, бродящие, как измученные тени, поэты, мыслители? Не слишком ли рано завели они свою утонченную культуру,

возделанную на тонком слое, покрывающем гранитные скалы чиновничьего царства?»

Тургенев, бесспорно, ощущал, что «грядки» европейского, средневекового «огорода» в лекциях Грановского рождали весьма явные плоды всего лишь либерального свободомыслия западнического толка. Это не революционный пафос Белинского или Герцена. Новый друг Тургенева — он тоже явится в эти 1845—1846 годы, чтобы не исчезнуть уже до последних дней жизни,— Павел Васильевич Анненков опишет позднее споры в среде самих западников, «страшные многолюдства» в селе Соколове под Москвой, где летом 1845 года жили Т. Н. Грановский, Н. Х. Кетчер, А. И. Герцен, где бывали и Н. А. Некрасов, и М. С. Щепкин, и Е. Ф. Корш. Здесь произойдет «подразделение партии», то есть, кружка западников, на умеренных и крайних. «Толчок к новому подразделению партии дали уже идеи социализма»,— вспомнит Анненков.

Герцен и Белинский «думали, что из пепла старой цивилизации Европы,— полагает Анненков,— возникнет феникс — новый порядок вещей как венец и последнее слово ее тысячелетнего развития».

Вскоре Тургенев вновь окажется в Берлине, а затем в силезском городке Зальцбрунне вместе с Белинским и П. В. Анненковым... На его глазах в Париже 1848 года под гром пушек Кавеньяка развернется духовная драма Герцена. Навсегда будет закрыт период былого «кружкового» освоения новейших философско-социальных учений, наступит период непосредственного приближения «настоящего дня» (Добролюбов), то есть революции. Скоро заявят о себе и молодые «штурманы будущей бури» (В. И. Ленин). Но как бы далеко затем ни уходило время, русское революционное движение, сама Россия, которая поистине «выстрадала марксизм» (В. И. Ленин), все поколения революционеров и художников с величайшей благодарностью будут вспоминать книгу Тургенева, вобравшую весь мир его юности, пламя души — «Записки охотника».

ПОЭМА О РОССИИ

Велико незнанье России посреди России...

Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (1847)

Господствующая ось, около которой шла наша жизнь,— это — *наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему...* и желание деятельно участвовать в его судьбах.

А. И. Герцен. Письма к противнику (1864)

...В январе 1846 года Виссарион Белинский, усталый, терзаемый чахоткой и все же, по словам Ф. М. Достоевского, «самый торопившийся человек в целой России», вновь оказался на тревожном перекрестке своего мучительного жизненного пути.

Он действительно тяжело болен, ему надо не наспех, а всерьез лечиться. Немыслима и поденная работа в «Отечественных записках». То и дело напоминает о себе долг за квартиру, скапливаются неоплаченные счета в лавки. Мир бедности, освещаемый лучиной, мир кухонного чада, поношенных вещей, идущих в очередную починку, а не в мусор, всяческий скрип «телеги жизни» — этот мир все время был рядом с Белинским. В довершение всех невзгод — полная зависимость от А. А. Краевского, порой совсем смахивавшего на прибыльщика, утонченного «гостинодворца», хозяина литературной лавки, а не журнала.

Позднее даже А. В. Дружинин, незадачливый оппонент Чернышевского, апологет пресловутого «артистизма», то есть «искусства для искусства, справедливо скажет о работе Белинского: «Статьи Белинского... оставили по себе *стезю огня*... с огненным восторгом юности читал русские книги» («Сочинения Белинского», 1860). Но в какой сырости горел этот огонь! И в полную ли силу?

Страстная натура Герцена протестовала в 1843—1845 годах против барственных, бездеятельных «пиршеств» ума в кружках, на летних дачах («мы вне народных потребностей»). Белинский в 1846 году остро и бурно переживал иной вид неполной самоотдачи, рутинность многих своих занятий.

Он перегружен работой, но какой работой? В январе 1846 года Белинский пишет Герцену о своих планах на буду-

щее, о своем стремлении изменить жизнь: «Я твердо решился оставить «Отечественные записки» и их благородного, бескорыстного владельца... Журнальная срочная работа высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь... Способности мои тупеют, особенно память, страшно заваленная грязью и сором российской словесности...» Но Герцену, с мая 1846 года, после смерти отца, ставшему совладельцем домов, поместий и до 500 тысяч рублей капитала, светил не свет лучины. Сердитого стука нужды в дверь он не слышал. И лиц лавочников, их наглую правоту он не обязан был видеть: а несвобода от кредитора пострашнее самозакисания души.

Для Белинского все обстояло иначе. В том же письме Белинский просит Герцена принять участие в спасительном для него, представителя мыслящего пролетариата (после ухода от Краевского), коммерческом мероприятии, издании «эрзац-журнала»: «К Пасхе я издаю толстый огромный альманах. Достоевский дает повесть, Тургенев — повесть и поэму, Некрасов — юмористическую статью в стихах («Семейство» — он на эти вещи собаку съел), Панаев — повесть; вот уже пять статей есть; шестую напишу сам; надеюсь у Майкова выпросить поэмку. Теперь обращаюсь к тебе: повесть или жизнь!»

Издание альманаха «Левиафан» не состоялось. Ни к пасхе, ни к более позднему времени. Но великий критик, с таким достоинством, не изменяя шутливому тону, просивший Герцена о повести, стеснявшийся говорить об отчаянной нужде, успел собрать много замечательных произведений для альманаха: «Обыкновенную историю» И. А. Гончарова, «Из записок артиста» М. С. Щепкина, «Доктор Крупов» и «Сорока-воровка» А. И. Герцена, статью К. Д. Кавелина... Судьба нашла им — и энергии Белинского, его «теплой вере в свою идею» (Достоевский) — другое применение. Последняя, увы, краткая перемена в жизни Белинского (он скончался в 1848 году) была связана с Н. А. Некрасовым.

А для Тургенева встреча с Некрасовым в 1846 году — вновь через посредство Белинского — означала не просто перемену издателя: он наконец-то стал *Тургеневым*, автором «Записок охотника», автором некрасовского «Современника». Никогда не отменимой величиной в русской литературе.

* * *

...Некрасову в 1846 году — 25 лет. Он моложе Тургенева на три года. К моменту их встречи, пройдя горестный, полный вынужденных метаний и унижений путь, он мог совершенно по-отечески взглянуть на любезника и остроумца, длящего

«праздник жизни» — Тургенева. Он, Некрасов, «убил» этот праздник поденщиной литературных заработков.

«Господи! Сколько я работал... Не преувеличу, если скажу, что в несколько лет исполнил до двухсот печатных листов журнальной работы; принялся за нее с первых дней прибытия в Петербург. В «Инвалиде», в «Литературных прибавлениях» к «Инвалиду», в «Литературной газете», в «Пантеоне» и т. д. Был я поставщиком у тогдашнего Полякова, писал азбуки, сказки по его заказу»,— вспоминал он свои литературные мытарства.

Ждать вдохновения? Когда гонят с квартиры, когда в дрянной шинелишке встречаешь промозглую петербургскую зиму? Жизнь грубо впихнула в этот душевный инструмент свою «клавиатуру»...

А был он человек мягкий, независтливый, чуждый полуофициальным кругам, куда его загоняла судьба. Сколько раз вздыхал он про себя после вынужденных встреч и бесед с крапивным племенем чиновников:

— Да как им не держаться за свои канцелярии, печати и бумаги — это для них, особой породы насекомых, спасительное солнышко! С его сиянием они на свет являются, на нем греются...

Нужны были Некрасову маска наружного холода, искусственная учтивость, искусство льстеца. А в его памяти оживала и безыскусная жизнь сельца Грешнева, уютный простор ржаных и овсяных посевов, и поэзия старого волжского тракта, ведущего на Кострому. Оживала печальная тень матери... В душе он отчасти простил даже крепостника-отца, сняв грех собственных обличений его: «Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт. Но чем же другим мог быть тогда мой отец?..» («Автобиография»).

Некрасов, вынужденный входить в парадные подъезды, искать дружбы у людей высоких кресел, так до конца жизни не изжил неловкости, он не «мялся» как послушная глина:

Улыбнусь — но пропорная, жесткая,
Но в улыбку, улыбка моя,
Пошутить захочу — шутка плоская:
Покраснею мучительно я.

К 1846 году Некрасов ощутил в себе страстную потребность (и возможность) покончить со многим в своем прошлом. И прежде всего потребность покончить с прежними, унизительными для него литературными личинами. Их было несколько.

Был уже Некрасов, автор наивного сборника «Мечты и звуки» (1840), собрания стихотворных грехов юности. В нем одинокий юноша в промокшей шинели, под сеющимся петербургским дождем, обитатель одного из «углов», жаловался и на жестокость «братий», которые обращали на него столько же внимания, сколько на собаку, бессознательно лающую... И на «деву Неги», перекочевавшую, конечно, из баллад Жуковского. В жизни ее не было, но в стихах он звал ее: «...Прийти под сень развесистых дубов...»

Была еще и самая прилипчивая личина Некрасова — поденщика-журналиста (Феоклист Боб), писавшего по сходной цене все, вплоть до рецензий, зависевшего от А. А. Краевского. Был уже и Некрасов — издатель, рисковавший всякий раз прогореть на очередном альманахе. Был, наконец, Некрасов — сочинитель водевилей для подмостков Александринки, писавший под псевдонимами «Перепельский», «Пружинин», «Иван Грибовников». Н. Н. Страхов считал, что эта «личина» так и не была им сброшена до конца: «Настоящей школой, университетом г. Некрасова был Александринский театр, откуда он заимствовал и сюжеты своих стихов, и тот водевильный склад, который сохранился у него до последних дней».

Все эти личины, вынужденные маски Некрасов сбросил к 1846 году, когда появились его стихотворения «В дороге», «Огородник», «Псовая охота», «Родина» и «Тройка», в которых он стал «похож на Некрасова». За них он заслужил высокую оценку Белинского: «Вы — поэт, и поэт истинный».

В этих стихотворениях и сейчас поражает редкая способность поэта как бы выбрасывать из души, из строения фраз, рождающих стиль, все «лепное», украшающее. Все, что ослабляет температуру слова, пламя сочувствия или боли. Наглядное и воображаемое, прожитое и предстоящее — все сливается воедино. Как в знаменитой «Тройке».

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг.
Знать, забило сердечко тревогу —
Все лицо твое вспыхнуло вдруг...

Кто она, этот чудесный придорожный цветок? Недолог век его цветения, телега жизни вот-вот переедет его, но сейчас эта крестьянская девушка, «чернобровая дикарка»,— вся чудесная возможность расцвета, торжества красоты! Мчащаяся тройка — это не один подбоченившийся красиво молодой корнет. Это ее же вспыхнувшие надежды, мимолетный и страстный порыв к жизни иной, достойной стихийного таланта красоты! Тройка — ясный намек на даль России, на простор,

где крылья, как у сокола А. Кольцова, не связаны... А может быть, и тройки промчавшейся не было, и не бежала *она* торопливо за ней вослед? Все возникло — и нетерпение забившего тревогу сердечка, и будущая реальность в замужестве с неряхой-мужиком, когда «и в лице твоем, полном движенья, полном жизни — появится вдруг выражение тупого терпенья и бессмысленный, вечный испуг»,— в воображении поэта, великого народного заступника? Это он очертил весь круг ее жизни...

Многое позднее отдалит Тургенева от Некрасова. И, войдя в 1877 году в комнату к умирающему поэту, другу молодости, Тургенев лишь ужаснется работе смерти, не расслышав последних, обращенных к нему, «невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает?» («Последнее свидание»). Но в 1846 году сокровенным током внутреннего родства, непрерывного диалога связаны их души. Тургенев — горячий поклонник поэзии Некрасова.

Сохранилось любопытнейшее описание того, как Тургенев читал стихотворения Некрасова в Шашкине, орловском имении Бееров, о чем хозяйка А. А. Беер писала Т. А. Бакуниной 6 мая 1846 года:

«Вчера был у нас Тургенев: с какой радостью мы встретились — сколько высоко прекрасного в этом человеке, и как все просто, естественно в нем... Каждое его впечатление наружу — ничего приготовленного, с намерением затеянного, никогда никакой arrière pensée (задней мысли)... Когда он читал стихотворение Некрасова «Родина», от которого душа рвется и болит, дух замирает — и у него только голос прерывался. Я слушала его, смотрела на него с каким-то материнским восторгом, обожанием... Это стихотворение не напечатано. Так надо его везде, везде разослать, чтобы все читали... Судя по тому, что читал нам Тургенев, и все, что он рассказывал о жизни Некрасова, это громадный талант».

Осенью того же 1846 года, когда Тургенев то гостил в Шашкине, то, живя в Спасском, писал рассказ «Хорь и Калиныч», свершилось несколько чрезвычайно важных для него событий. Прежде всего, в сентябре 1846 года Некрасов и его соредактор И. И. Панаев сумели оформить соглашение с П. А. Плетневым и получить редакторские права на «Современник». В феврале 1847 года Белинский, уже будучи в «Современнике», известил Тургенева, что им получены 2500 рублей ассигнациями (их предоставил ему В. П. Боткин) и он, возможно, прибудет «в Силезию на воды» для лечения. Сам Тургенев уже 15 января 1847 года уехал в Берлин, где гастролировала П. Виардо, оставив в редакции некрасовского «Со-

временника» рассказ «Хорь и Калиныч». Все действительно новое и великое сразу «не узнается» как таковое. И. И. Панаев, страшась упреков публики в адрес такого «пустяка», поместил рассказ Тургенева в раздел «Смесь» первого номера «Современника» за 1847 год. Некрасов, посылая эту первую новеллу бессмертных «Записок охотника» профессору А. В. Никитенко (он числился номинальным редактором журнала) сделал приписку: «Препровождаю небольшой рассказ Тургенева для «Смеси» 1-го № — по крайнему моему разумению совершенно невинный».

Никого не пробуя вокруг себя перекричать, не лакомясь честолюбиво успехом, Тургенев вступил в новый период жизни и творчества.

* * *

...Но пока больной Белинский собирается в путь в Силезию, пока определяется его место в новом журнале, а Тургенев из Берлина просит его: «Возьмете место на пароходе, прошу Вас тотчас известить меня; и ожидайте встретить меня на набережной в Штеттине»,— следует ввести в повествование новое лицо — Павла Васильевича Анненкова. В творческой истории всех крупных произведений Тургенева — от создания рукописи до выхода ее в свет — этот человек всегда оказывался вблизи. Он никогда затем не исчезнет с тургеневской орбиты. Сам он — массивный, порхавший «десятипудовой бабочкой», как шутил Тургенев, по всем центрам европейской культуры,— не творец, но и не стыдится этого, не усердствует перешагнуть через пределы своего дарования прозаика. «Изложение требует *света*, борьба — *огня*» — это образное выражение Л. Фейербаха в применении к Анненкову могло означать одно: в нем был свет понимания, теплота любви к литературе, но *огня* для творчества — маловато. Тургенев порой сдержанно возмущался своим другом:

— Но зачем вы иногда так мудрено пишете? Какая-то у вас проявляется вдруг хитроватая кудреватость — точно вы... заслуженный немецкий дипломат по части философско-эстетических дел... Но, видно, каждого человека должно брать целиком, как он есть...

Родом Павел Анненков (1813—1887) был из богатой дворянской семьи Симбирской губернии. Образование он получил, как и Тургенев, в Петербургском университете. Попробовал было писать прозу, но скоро оставил ее. Выступал в печати как профессиональный критик, но нашел себя в особой «застольной», рабочей критике и особенно в прекрасной мемуа-

ристике. Дар слушания голосов и дар видения лиц и идей был бесподобен в нем! Он словно слышал муки создателя «Мертвых душ», желавшего быть русским Данте, восходить в своей поэме (вместе с героями) из мрака к просветлению, из пут греха к добродетели. П. В. Анненков мог с редкой свободой перенести читателя и в лицейскую юность Пушкина, и в сферу философских исканий русских Герцена и Грановского («Замечательное десятилетие»). «Ведь вот друг — а как глубоко запускает пальцы в душу... и ничего! Не больно»,— скажет Тургенев осенью 1879-го, прочтя в рукописи кое-что о себе в мемуарах П. В. Анненкова.

И до чего же пытливая душа жила в неутомимом Павле Васильевиче! Именно он в начале 1846 года, живя в Берлине, Брюсселе, Париже, познакомился с Г. Гейне, Ж. Занд, Г. Гервегом, Прудоном, наконец, с К. Марксом... И не только познакомился с К. Марксом, но и вступил в деятельную переписку. «...Ловит современность, боясь отстать от нее. Действительно, плохо ему будет, ежели он отстанет от нее. Это одно, в непогрешимость чего он верует»,— так мудро скажет о нем в 1857 году Л. Н. Толстой.

Конечно, он был либералом, мечтавшим о реформации без революции, о торжестве культуры, в самой себе несущей свою ценность, над силой. Тургенев видел эту ограниченность позиций П. В. Анненкова, как и других членов «бесценного триумвирата» (В. П. Боткина и А. В. Дружинина), но ценил, как и Л. Н. Толстой, великую преданность своего друга подлинной культуре, его выдающийся художественный вкус. По просьбе своего брата, Ивана (крупнейшего администратора), П. В. Анненков принял предложение Н. Н. Ланской, по первому мужу Пушкиной, и разобрал два сундука «его (то есть Пушкина.— *В. Ч.*) бумаг». «При первом взгляде на бумаги,— вспоминал Анненков,— я увидел, какие сокровища в них таятся». А узнав в мае 1847 года о тяжелом состоянии Белинского, едущего в Германию, отложил свою намеченную уже поездку в Италию и Грецию и поспешил к больному критику в Силезию, в Зальцбрунн. Он стал единственным свидетелем создания политического «завещания» Белинского в Зальцбрунне, его «Письма к Гоголю», и одновременно рассказа «Бурмистр» Тургенева.

* * *

...Белинский прибыл в Берлин после ряда комических приключений в пути. Немецкого языка он не знал, а письмо

о выезде из Петербурга не дошло до Тургенева. Тургенев сообщал его жене, М. В. Белинской, в приписке к письму самого Белинского: «Я его беру на свое попеченье и отвечаю Вам за него своей головой. Мы, вероятно, недолго останемся в Берлине и сперва съездим в Дрезден (потому что сейчас еще рано ему ехать в Силезию на воды)».

Берлин для Тургенева — знакомая, разношенная «одежка». Он не скучает здесь, он легко усвоил привычки и ритмы своей новой жизни. Полина Виардо, после лечения гомеопатией и отдыха, с успехом выступала в Берлине, Дрездене, правда, так и не дождавшись неистовых оваций, подобных петербургским. «Философская, фантастическая эпоха германской жизни», по мнению Тургенева, кажется, уже окончена. Но что жалеть о ней, если... Если так безоблачно легки еще радости от прекрасной музыки, от катанья на лодках в музыкальной компании. Если сама Полина — в платье с коричневыми разводами, с гитарой в руках — так достойно венчает собрание ею же привлекаемых гениев. Среди них — благородный и доверчивый Шопен, честолюбивый Гуно, старый друг певицы Мейербер, ставящий непременным условием постановки своей оперы «Пророк» участие в ней П. Виардо.

Белинский, привыкший жить, «учась за пером и в живых схватках с противниками или разливаясь в импровизациях и печатно и устно» (И. А. Гончаров), явно скучал в Берлине. Он осмотрел, как все новички, Тиргартен — тогда огромный сад с каштановыми деревьями, попробовал, вероятно, немецкое пиво. Возможно, Тургенев показал — хотя в подробнейших письмах Белинского к жене об этом не упоминается! — Берлинский университет, где когда-то постигали Гегеля Станкевич, Грановский, Катков и он, Тургенев...

Поездка с Белинским в Дрезден, осмотр его живописных окрестностей, посещение знаменитой галереи — это еще шесть дней весьма утомительной для Тургенева роли развлекателя столь трудно раскрывающегося вне России человека... «Мадонна» Рафаэля в Дрезденской галерее, как показалось Белинскому, «глядит на нас с холодною благосклонностью, в одно и то же время опасаясь и замараться от наших взоров и огорчить нас, плебеев, отворотившись от нас...» Благородство и грация кисти поразили Белинского, напомнили ему Пушкина: он родня Рафаэлю по натуре!

Это, пожалуй, последнее яркое впечатление от встреч с живописью и архитектурой: тоска по работе, по полемике, по борьбе, в хорошем смысле слова, овладевала неистовым Виссарионом. Для осмотра Кельнского собора ему с избытком хватило получаса... На представлении оперы «Гугеноты»

Мейербера в дрезденском театре, где Тургенев буквально таял от восторгов при звуках голоса Полины Виардо, Белинский молчал, улыбался.

* * *

Вынужденное безделье совсем не случайно угнетало Белинского. Он, по словам П. В. Анненкова, надорванный мучительным недугом, напоминал непотухший вулкан: «Огонь все тлился у Белинского под корой наружного спокойствия и пробегал иногда по всему организму его». Смерть уже нанесла на его лицо с завалившимися щеками, тенями под глазами знаки своей близости, он старался, боясь себя, сдерживать собственную впечатлительность, «молниеносность» реакций. Когда какая-то подробность в разговоре задевала его, «сильно въедалась в его душу» (Анненков), он молча, с болезненным выражением откидывался в кресле, изживая это впечатление в себе. Но когда тот же П. В. Анненков получил вдруг и прочел Белинскому письмо от Н. В. Гоголя, где речь шла о «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847),— Белинский вспыхнул и уже не смог остановить себя:

— А, он не понимает, за что люди на него сердятся,— надо растолковать ему это. Я буду отвечать...

Он себя растолковал яснее всего, растолковал до конца в «Письме к Гоголю», явившемуся, по известному определению В. И. Ленина, «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати». В письме, вскоре разошедшемся в списках по всей России, Белинский поистине сфокусировал многие разрозненные идеи, которые одухотворяли его деятельность. Особенно в последние полтора-два года.

Тургенев скажет впоследствии о жизни Герцена, запечатленной в обширном его творении, в «Былом и думах»: она «горит и жжет»... Так же полно горела и жгла жизнь Белинского, будучи запечатленная в коротком документе!

...Искры этого жгучего пламени залетали в 1846—1847 годах уже из других писем критика. И чаще всего в связи с явлением, которое может быть названо «маниловщиной». «Маниловщина», блаженное мечтательство, оторванность от действительных нужд угадывались Белинским в самом искусном словесном «шитье». От славянофильских схем до либерального красноречия французского поэта Ламартина. В письмах последних лет — при наличии доброжелательных слов в адрес И. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина — звучит один и тот же мотив: «Потешусь, чувствую, что потешусь! (Над «ракалией» А. С. Хомяковым.— *В. Ч.*); «Катать их, мерзавцев!», «Когда

удается наступить на гадину, надо давить ее, непременно давить» (это в адрес Ю. Ф. Самарина.— *В. Ч.*).

К. С. Аксаков для неистового Виссариона теперь окончательно потерян как деятель, обладающий чувством реальности. Он, в его представлении, очень вдохновенный, очень благородный, но... слепец, живущий в состоянии самоотравления фантазией: «Аксаков будет петь гимны не той Москве, которая существует в действительности, а той, которую он создал в своей фантазии...» И даровитый, но холодноватый Ю. Ф. Самарин для Белинского лишь «барич, который изучал народ через своего камердинера...».

Тургенев — чуткий наблюдатель и прилежный ученик... Правда, его внимание все время рассеивается. Сегодня утром он встречает Белинского. Вечером же мчится на представление «Гугенотов» с участием Полины Виардо. Одновременно он обдумывает рассказ «Бурмистр» и... И учится испанскому языку!.. Но следы ученичества у Белинского заметны во всем. Вслед за Белинским — врагом утопического мечтательства, помещавшего золотой век России в утерянное прошлое,— Тургенев все чаще употребляет волнующий, новый тогда термин «реализм», «реалист». И как показала его работа над «Записками охотника», он вовсе не отождествлял реализм и натурализм.

Все ли разделял Тургенев в обличениях великого критика? События торопить нельзя, и едва ли Тургенев мог принять иронию Белинского в адрес былых единомышленников вроде Т. Н. Грановского. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский действительно не щадил и Грановского. Он улавливал маниловскую созерцательность в «гуманистическом костюмишке», в некоем спокойном скептике, беспаспортном бродяге в человечестве. О ком это говорится? Ирония явно предназначена умеренному западничеству Т. Н. Грановского.

Быть вровень с Белинским было нелегко не одному Тургеневу. Ощущалось, что Белинский, еще живя в России, опередил многих из своих друзей как подлинный революционный демократ. И очень многое ясно увидел! Еще не открыта была первая страница в бесславной истории русского либерализма, профессорской оппозиционности. Статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней Руси» (Современник, 1847, № 1) была в условиях тогдашней российской безгласности чуть ли не якобинской... И Белинский признавал ее значение. Хотя... в других условиях главный тезис статьи, дальше которого будущий либерал, основатель «профессорского оазиса» в русском освободительном движении, не пошел, звучал как типично либеральная проповедь постепеновского прогрес-

са»: «Личность, сознающая сама себя, свое бесконечное безусловное достоинство, есть необходимое условие великого духовного развития народа».

Пройдет всего десять лет, и К. Д. Кавелин, «один из отвратительнейших типов либерального хамства» (В. И. Ленин), будет для Герцена среди тех, о которых он скажет: «Жалкие люди, люди — трава, люди — слизняки...»

Белинский чувствовал нечто ограниченное в бунтарстве российских либералов. Он, между прочим, прозорливо предсказал и поворот в судьбе М. Н. Каткова, идеолога пореформенного самодержавия, переход его от ограниченной фронды в 40-е годы к безграничному охранительству в 60—80-е годы: «Далеко пойдет, далеко, куда наш брат и носу не показывал и не покажет».

В 1848 году оправдались совсем неожиданные иронические суждения Белинского о «Ламартинишке», французском поэте-романтике Ламартине. Искусный оратор, умело державший толпу в повиновении, член Временного правительства, он красочно «литературствовал» перед работниками вплоть... до первых залпов пушек генерала Кавеньяка, показавших всю литературность его бунтарства!

Белинский, всего лишь проехавший через Кельн в Брюссель, вмешался даже в спор о роли буржуазии и рабочего класса в будущих судьбах Европы. Он увидел «пауперизм и пролетариат» в Европе, он оценил буржуазную Францию, словно предвидя близкий кризис Герцена после революции 1848 года, весьма сурово: «О, Франция — земля позора и унижения!»

После этого, кажется, Белинскому, как и Герцену, нетрудно было подписаться и под любым обвинением в адрес буржуазии, похитительницы всех иллюзий, надежд, мечтаний. Но для Белинского роль буржуазии сложнее. Он словно видит за ней ее будущего могильщика, еще не явившегося на поприще политической борьбы в качестве самостоятельной силы — пролетариат. Где-то рядом с Тургеневым, порой на его глазах вспыхивали горячие споры между Белинским и Боткиным.

Для Боткина, сына московского чаеторговца, буржуазия хороша уже сама по себе, а вовсе не потому, что она, умножая численность городов, рабочего класса, увеличивает и мощь грядущего протеста, пролетарских революций. Боткин чаще всего попросту отвергал все обличения буржуазии.

— Как же ее не защищать, если уж наши друзья, умный Герцен громче всех, представляют эту буржуазию чем-то вроде чудовища, кричат, что она якобы тащит Европу ко дну,

пожирает все прекрасное в человечестве. Смотрите, как она оппозиционна деспотизму, застою цивилизации!..

Белинский за недолгое пребывание во Франции увидел две весьма различные оппозиции консервативному режиму короля лавочников. Он отвечал Боткину с позиций, близких суждениям К. Маркса[1]:

— Все, в чем отыскиваются, блещут искры жизни, таланта, творчества,— все действительно принадлежит оппозиции. Но какой оппозиции? Не той паршивой, учтивой или картинно-риторической, парламентской оппозиции: она несравненно ниже даже консервативной партии. Самая живая и энергичная оппозиция та, для которой даже и буржуазия — это сифилитическая рана на теле Франции...

Россия предстала перед взбудораженным, взволнованным сознанием великого патриота страной, входящей в историю полной сил, способной к стремительному движению вперед. В политическое завещание Белинского наряду с гневным обличением крепостничества следовало бы вписать и слова огромной веры в будущее своей родины. Забывая на время о спорах и с умеренными западниками, и со славянофилами, Белинский все чаще говорил последние месяцы жизни о том, что «настало для России время развиваться самобытно, из самой себя», потому что «европейских элементов так много вошло в русскую жизнь», что пора отрешиться от восхищения европейским только потому, что оно европейское... В сумме эти прозорливые догадки укрепляли коллективно выстраданную мысль о перемещении в Россию какого-то важного центра всемирных противоречий. Росссия — люлька, все еще деревенская, может быть, неопрятная, но в ней кричит и возится мировое будущее...

* * *

...Большинству рассказов из «Записок охотника», начиная с первого «Хорь и Калиныч», присуще качество, которое сопутствует всякой великой книге, созданной по гениальному

---

[1] Д. Заславский в работе «К вопросу о политическом завещании Белинского» (1930) предполагал: «И самый образ Маркса предстал перед ним, преломленный сквозь либеральную призму Анненкова...» Догадка не лишена интереса. Можно предположить, что и вся страстность атеистической веры Белинского в «Письме к Гоголю» — «нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их)» — связана с горячим интересом Белинского к работам К. Маркса. Еще в 1845 году, прочитав работу К. Маркса «К критике гегелевской философии права», он писал Герцену: «Истину я взял себе — и в словах *бог* и *религия* вижу тьму, мрак, цепи и кнут» (26 января 1845 г.).

плану самой жизни... Каждый рассказ выглядит неповторимой частицей огромного мира, необходимой для завершенности целой поэмы о крестьянской Руси. И одновременно каждый из них, даже отдельно взятый, не страдает неполнотой, «неполноприродностью», а является маленькой поэмой об этой же дореформенной России. «...Если бы даже совершенно один уцелел для потомства,— писал о рассказе «Ермолай и мельничиха» О. Миллер,— то и тогда мог бы служить вполне удовлетворительною поэтической характеристикой крепостной поры».

«Певцы», «Бирюк» или «Бежин луг» тоже почти ничего не теряют, если вдруг остаются вне сил сцепления книги: и в них, как в осколках зеркала на большой дороге, вся Русь видна! Но с другой стороны, перечитывая их в кругу других очерков классической книги, видишь, как много преломленного, рассеянного света залетает в эти «зеркальца» из других не теряясь в пролетах, стыках...

Как возникло особое поле притяжения, как создана сила сцепления, как было угадано должное место для каждой новеллы и отдельных героев и в то же время ничто не было сбито в кучу, не слиплось, как карамель, в бесформенный комок? И почему многие определения книги — «сборник», «ряд очерков и рассказов», «цикл», «серия», «книга» — все-таки неудовлетворительны. Это признает, например, С. Е. Шаталов, исследуя «Записки охотника» как художественное целое. Гений меры, водивший пером Тургенева, гений, особенно удивительный в России, по-видимому, сполна подчинился создателю «Записок охотника» и остался с ним навсегда.

Секрет сложного единства «Записок охотника», создававшихся и в канун «мрачного семилетия», последовавшего после революции 1848 года во Франции, и после него (1850—1851), дополненных крайне небрежно в 70-е годы тремя новыми новеллами «Конец Чертопханова» (1872), «Живые мощи» (1874), «Стучит» (1874), часто связывается только с сущностью той социально-исторической почвы, из которой книга возникла. И что еще важнее — с установлением тех координат, «на пересечении которых оно (произведение.— *В. Ч.*) родилось» (В. А. Ковалев). Но этих пересекающихся, как разветвленные корни, координат в итоге оказывается так много и столь велико значение, придаваемое всем видам воздействий, влияний, усиливающим «включенность («Записок».— *В. Ч.*) в сложные процессы жизни общества, развития литературы и искусства», что в итоге Тургенев становится, если судить по давней книге В. А. Ковалева «Записки охотника» И. С. Тургенева», лицом «подопечным», зависимым от очень многого, колеблемым все-

ми веяниями. Его сознание выглядит «воском», на котором все послушно отпечатывалось. Получается, например, что антикрепостнический пафос книги, действительно придающий «Запискам охотника» цельность, возник благодаря тому, что он находился в январе — июне 1847 года в Германии «в окружении семьи Виардо, *настроенной республикански*». Влияли на Тургенева Герцен, Белинский, передовые немецкие литераторы и... И в итоге: это якобы привело к тому, что «Хорь и Калиныч» явился своего рода «художественным манифестом западничества по крестьянскому вопросу». Но так ли уж послушен был всему Тургенев? И если «послушен», то не потому ли, что слишком многое в позициях Белинского и Герцена отвечало и его убеждениям?

Нельзя забывать также, что одновременно с ростом зависимости, крайне благотворной, от В. Г. Белинского, А. И. Герцена, отчасти семьи Аксаковых, в творческом сознании Тургенева, создателя «Записок охотника», был совсем противоположный момент движения. Талант Тургенева, «впечатлительный и чуткий на все... как-то женственно подчинявшийся всякому веянию» (Ап. Григорьев), все-таки каждый раз заявлял о своей независимости от узких направлений, о своем праве ориентироваться на совершенно неожиданные образцы. Или — на неожиданное в знакомом, даже канонизированном! Обманчиво даже признание Тургенева в том, что лишь успех очерка «Хорь и Калиныч» побудил его написать другие, что о единстве «Записок...» и их общем звучании он не задумывался. Глубоко правы те критики, которые говорят, что «Записки охотника» возникли как закономерное завершение целого этапа в духовном развитии и Тургенева, и многих художников круга Белинского. Этот «поэтически написанный обвинительный акт против крепостничества» — так оценивал «Записки...» Герцен — должен был явиться именно в творческой лаборатории Тургенева. Тургенев развивался в «русле» «натуральной школы», но он же и выше этого направления, богаче целого движения исследователей городского «дна», «цеховых» героев (извозчик, шарманщик, дворник). Он наиболее чутко прислушивается к советам В. Г. Белинского. Но с другой стороны, он, как и Ф. М. Достоевский — естественно, каждый по-своему! — вносил поправки в наставления Белинского. Позднее, в 1871 году, Достоевский скажет, что Белинский «до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к *типам Гоголя* и только рад был до восторга, что Гоголь *обличил*». Тургенев таких суждений не произносил, но и он видел в «Мертвых душах» богатство типов, патетических интонаций, сложное сочетание сатиры, насмешек над

романтизмом и мотивов самой возвышенной любви к родине, к русскому простору, к родному языку.

Странный гоголевский вопрос: «О Русь, куда несешься ты, дай ответ?» — можно бы, с известной оговоркой, поставить эпиграфом и к тургеневской книге. Гоголь видел перед собой Россию — мучительную тайну, Россию — загадку; тайной было и «русское богатство», и русская печаль, и даже тройка, выражающая дух народа, неведомо кем выдумана. Сам замысел «Мертвых душ» как трехчастного произведения продиктован отчасти великой «Божественной комедией» Данте. Сквозь картины «ада» (то есть первой книги «Мертвых душ»), лелеял мечту Гоголь, «может быть... почуются иные, доселе еще бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа...» У Тургенева — все скромнее, ближе к земле, естественнее. Нигде нет восклицаний, патетических вещаний. Речь как будто спускается с горки, растекается в обширные равнины, завершается точкой и... полным господством автора над впечатлениями.

* * *

Три персонажа в «Хоре и Калиныче» связаны незримой цепью материально-нравственных отношений. Цепью крепостнической неволи, правда уже обветшавшей, но от этого не менее тягостной, обрекающей на неподвижность живые силы великой страны.

Кто они?

Умный, хозяйственный Хорь, крепостной на оброке, спокойно говорящий с гостем «о многом, чего из другого *рычагом не выворотишь*, как выражаются мужики, *жерновом не вымелешь*». (Подч. мной.— *В. Ч.*).

Тургенев вообще с наслаждением повторяет и эти крепкие, не «ручные» поговорки, и местные речения. К небольшой сцене «Разговор на большой дороге» (1850) он даже добавляет словарик орловских слов: «лядащий» (никуда не годный), «гляделки, буркалы» (глаза), «божевольный», (шаловливый, пугливый), «велы» (понятное место), «взлобок» (выдающийся мыс между двумя оврагами), «очунеть» (прийти в себя).

Это был в те годы весьма увлекательный путь: богатства областных речений, «цеховых» жаргонов — скажем, ямщицких, бурсацких, ремесленнических, «офеней» (торговцев книгами), казачества, солдат, духовенства, старообрядцев — еще не были развернуты, они сверкали, как драгоценные россыпи, на срезах социальных прослоек. Век Лескова, Островского, Мельникова-Печерского, время творческого подвига неутомимого С. В. Максимова, создателя книг «Бродячая Русь Христа

ради», «Нечистая, неведомая и крестная сила», еще не пришло. Но Тургенев не соблазнился возможностями черпать из непочатых, но уводящих от литературного языка источников. И прав С. Е. Шаталов, говоря о том, что «как писателя Тургенева отличало максимальное приближение к литературной основе... речь персонажей — это всегда литературная в своей основе речь, по которой писатель выводит узор того или иного речевого стиля, в меру своего чутья, знания и такта вводя внелитературные элементы».

...Хорь, плечистый и плотный мужик с шишковатым лбом, давно бы мог уже выкупить на волю и себя, и семью, мог бы, вероятно, закабалить своего хозяина, смешного и неудачливого барина Полутыкина. Но он не хочет этого делать, зорко и выжидательно посматривает вокруг, пребывая под весьма дырявым, ветхим кровом крепостной зависимости от полунищего барина, «аристократа» без аристократизма... И медленно, но верно тучнеют его нивы, а закрома ломятся от грузного изобилия. Семья, как могучий подлесок, обступает этого мудреца и строителя.

Калиныч — певчая птица, небесная душа среди людей, дитя природы, вечно таскающийся с барином по лесам. Этот, как говорят, и на последний суд явится сразу со всем имуществом, ничего не кинув — так «легко» это земное имущество. Песня, знание (на уровне суеверия, инстинкта) лесных и полевых тварей, целебных трав, кроткое сердце — это весь Калиныч. Немые для других травы, цветы, деревья как будто говорят с этим легким на руку человеком, мечтательно вздыхающим под балалайку о бог весть каком счастье. Ни одного резкого, тем более злого, движения не знает эта душа. Все обиды заранее прощены. Кажется, он не знает даже, что есть города, где расточаются чары пространства, где страшные трения и конфликты часто выжигают наивность и кротость. Если всех героев в рассказе объединяет, поглощает природа, то Калиныч, потчующий медом на пасеке и хозяина, и гостя, кажется вообще ее добрым духом. И герой-повествователь, увидев однажды Калиныча в тишине и покое труда, боится вмешаться в течение природной жизни, вспугнуть эту «птицу». Калиныч — это, может быть, первый намек на не открытого еще, но присутствующего в патриархальном мире Платона Каратаева, на примиряющую «округлость» его суждений. Он, вероятно, и самое раннее предвосхищение «скромности» чеховских героев и их первозданной устойчивости. А. В. Луначарский в книге «Судьба русской литературы» скажет о том, что из России 40-х годов «как по навинченному стволу» вылетали в Европу такие бунтари и мечтатели, что они казались

европейским революционерам кометами, заряженными колоссальной энергией протеста. Но в это же время, как показывает Тургенев, в России незаметно и тихо рождались и натуры, в которых «вступает в свои неотменимые права контроль жизни... над мечтаниями и проектами» (Палиевский П. В. Чехов.— Современная драматургия, 1981, № 2). Тишина — это ведь тоже контроль над громом, хаосом звуков.

И третья фигура — барин Полутыкин, зыбкая скрепа всего человеческого уклада, кособокого и нелепого: отличный охотник, незадачливый жених, получающий отказ во всех домах, где водились богатые невесты, опростившийся во всем. По домашней привычке иронизировать над Полутыкиным, «фасадным» хозяином земли, сын Хоря, Федя, говорит кучеру: «Смотри же, Вася,— духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то смотри, потише: *и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!»* (Выделено мною. — *В. Ч.*) Чего тут больше — заботы, насмешки, сознания собственной силы?

Если учесть, что в рассказе упомянут и купец, «сбривающий» леса срединной России для умножения капитала, что предприимчивый Хорь все же побаивается лишиться барского хилого ограждения перед сворой хищного чиновничества, судейских кляузников, то здесь в миниатюре дана вся скрипучая телега русской жизни в ее трудном движении и горьком застое! С ее поэзией природы и непочатым запасом людских сил и с отжившим, расползающимся под напором новых обстоятельств внешним «порядком», вносимым крепостным правом. Здесь все естественно и все противоестественно, все традиционно притерто друг к другу и все давно рассыпается!

Хорь — сметлив, находчив, изобретателен: он расчетливо поселился на отшибе, ему выгоден смешной барин, зовущий собаку Астрономом и вкушающий дурные французские блюда. Но благоденствие Хоря какое-то «незаконное», сомнительное: он живет в стране, где даже его талант хозяина развивается по-рабски! Тургенев давно уже заметил: «Никто более меня не убежден в смышлености и сметливости русского человека, но с одной стороны, нельзя не пожелать уменьшения именно этой сметливости, которая напоминает — прошу извинить мое сравнение — *сметливость и изворотливость лисицы, но не достойна человека, живущего в благоустроенном обществе...»* (Выделено мной.— *В. Ч.*). Почему только «голь на выдумки хитра», почему разбогатевший должен расти в самодура?

Крепостные, как тени, блуждают между капризными владетелями имений и туповато-угрюмыми хапугами в зипунах — старостами, управляющими. Крепостной гнет становится не-

выносимым, стоны вырываются из-под глыб формального и реального порабощения. Именно этим и поражает рассказ «Бурмистр», написанный в Зальцбрунне в 1847 году.

Власть помещика Аркадия Павловича Пеночкина как будто всеобъемлюща, всепроникновенна: он, считающийся образованным «европейцем», изысканным человеком, создал внешне идеальный островок цивилизации среди дикой провинции. Кучера у него вытирают хомуты и свои армяки чистят, камердинер в голубой ливрее даже завит парикмахером, сам Пеночкин вечно напевает что-то из оперы «Лючия де Ламмермур»... Но вдруг небольшой крюк в сторону, заезд в село Шипиловка, где у Пеночкина якобы бурмистр — «молодец», государственный человек.

Почему же здесь все как-то мертво, уныло, даже при всех знаках оживления, даже «радости»? Мужики сразу приумолкают при виде барина, и староста отвечает вяло, «словно замороженными пальцами кафтан застегивал». Оказывается, лишь бурмистр Софрон здесь подлинный, хотя и «закулисный», хозяин. Он знает, что нужно Пеночкину, мелкому, способному посечь камердинера за неподогретое вино властителю... Ему нужен сеанс показного раболепия, нужен дух дешевого спектакля! И Софрон играет эту роль, правда, уже грубо, примитивно: он, видимо, вот-вот выскочит в купцы:

«Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши,— заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут,— *насилу-то изволили пожаловать!..* Ручку, батюшка, ручку,— прибавил он, уже загодя *протягивая губы.*

Аркадий Павлович удовлетворил его желание».

И удовлетворился сам! Мелкие деспоты нуждаются в декорациях, в «хористах», возвеличивающих их хотя бы лицемерно... Софрон «отбелил» фасад благополучия, взбил «пену» внешней цивилизованности: «...все канавы обсадил ракитником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью...»

Крепостничество повязывает единой цепью праздных, бездельных бар, обрекая их на роль игрушечных тиранов, потребителей чужого труда, и бурмистров, купцов, «грязно» богатеющих путем обворовывания, «обгрызания» с боков и изнутри имений. И толпы бесправных крестьян становятся жертвами и той и другой породы грабителей.

Глупо надеяться, что застойное болото само по себе родит какое-то движение, прогресс, тем более «самобытный». Через старост, бурмистров, конторщиков идет в мире «Записок

охотника» своеобразная *демократизация* пороков деспотизма, пороков барства дикого, без чувства, без закона. Иной образованный барчук, «с душою самой геттингенской» или, наоборот, «славянофильской», захочет вдруг остановить наступление какого-то хаоса, дикости, бесправия, но в его власти лишь одно — подновление «фасада» или учреждение нового фасада, более «народственного»... Это единственное, что может родить «пленной мысли раздраженье».

Что представляет собой барская усадьба в селе Шумихино («Малиновая вода»)? Огромные хоромы со службами, оранжереями, качелями сгорели, и здесь сколочена избенка для садовника и его жены Аксиньи. «Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения, и потому со времени приобретения не дававшей молока...»

Ох уж эта тирольская корова! Леность бар, перебиваемая истерической или помпезной имитацией деловитости, создавала и леность крестьян, видевших эти причуды праздности, бесплодные порывания, «верхушечность» поветрий, не затрагивающих жизни. И вот новые Калинычи — как бесплотные тени вроде Степушки, который не работал, а «обитал, витал на огороде» («Малиновая вода»), или Сучка, назначенного поставлять рыбу, но... из пруда, в котором рыбы нет («Льгов»).

В «Записках охотника» много этих призрачных, ненадежных существ, мертвых поневоле душ, населяющих целые усадьбы, где прошлого куда больше, чем настоящего. И «дощаник» Сучка, протекающий, тонущий среди пруда,— символ этого мертвого царства заглазных деревень: в них все рассыпалось, порвалось...

В рассказе «Малиновая вода» сонными призраками выглядят Степушка и бывший дворецкий Туман, в памяти которого и «фейвирки», и злющая девка Акулина, что околдовала графа. А в рассказе «Мой сосед Радилов» задавлены апатией, призрачны и приживал Федор Михеич, бывший первый хват в губернии («Двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски»), и хозяин имения Радилов, в котором взгляд рассказчика не отыскал ни единой страсти: «А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своею судьбой недовольным; напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволеньем, радушьем...»

Тургенев еще в России, во время набегов на квартиру Белинского, много говорил с ним о причинах застоя, решительного и странного «нежелания жить», как определяющей черты поведения многих людей на Руси. Он, молодой, в то время еще

с темнорусыми волосами, говорил Белинскому о психологическом следствии крепостничества:

— Откуда эти навыки пассивности и тяжеловесной сонливости? Все как будто подлежит неумолимому закону пассивного существования... Везде стремления, не достигающие цели, жажда сделать завтра, похожим на вчера... Мы выносливей — потому что медлительней? Но не проходят ли тихие, созерцательные времена, когда потеряны и начала и концы движения? Какой хронический, затянувшийся недостаток личной независимости — первое свидетельство рабства! И естественно — полное отсутствие уважения к человеку со стороны «крапивного семени», офицерской касты, помещиков...

— Личность у нас еще только наклевывается,— отвечал обычно Белинский.— И отдельные хорошие люди, плавая среди океана безгласной покорности, вялого послушания, пассивности и, главное, среди невежества, покоряются невидимой силе вещей... Хороших людей даже много, но из-за их роковой связанности этой невидимой властью вещей литература все-таки не может воспользоваться хорошими людьми, не впадая в идеализацию, в риторику и мелодраму...

Однодворец Овсянников в одноименном рассказе — человек, наделенный авторским пониманием ситуаций застоя и скрипучей ломки, принимаемой часто за движение. Этот живой ум в пестром скопище лиц, терзаемых и терзающих других, вороватых и праздномечтающих, выносит приговор обессиленному, выморочному дворянству. Кстати говоря, именно в этом приговоре — одно из существенных направлений всего антикрепостнического пафоса книги. Сам крепостной люд пока безмолвствует. Выморочны многие усадьбы, «дворянские гнезда», с каменными службами, обратившимися в груды развалин, с задичавшими яблонями, с липовыми аллеями, что «гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших отцах и братьях...». Но зыбок, обманчив и блеск комфорта Пеночкина, соседа Радилова, иллюзорна и близость к народу народолюбца Любозвонова, который пугает мужиков, как иностранец, и которого обманывает, как и Пеночкина, свой Софрон. Лишенный же правильного руководства, совершенно непросвещенный крестьянский мир становится жертвой тунеядства, пьянства, нищеты. Зародыши всех пороков тоже «проклевываются», а нищета дает ход их росту.

Лесник Бирюк в рассказе «Бирюк» как верстовой столб на пути из прошлого к будущей, пореформенной России. Он живет среди мужицкого мира, знает все его беды и нужды, видит вынужденное, зачастую «баловство», то есть кражи в лесу. Он строг, неподкупен. Это фанатик долга. «И ничем

его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет»,— говорят о нем мужики из окрестных деревень. Это странно при его бедности, необычно — ведь на все приманки без труда идут конторщики, бурмистры, приказные... А этот, наивный в грозном величии своем человек, аристократ в своем роде, стоит на старом. «Должность свою справляю,— отвечал он угрюмо,— даром господский хлеб есть не приходится».

Старый мир, державшийся на страхе, трепете, боязни греха, рушится, и Бирюк, как титан, хочет поддержать рушащийся небосвод предельной строгостью, беспощадностью к «баловству». Бирюк — человек высокого роста, со сросшимися бровями, бородой — тоже обломок прошлого мира. Даже жена его сбежала с прохожим мещанином, посулившим вороватую, но легкую жизнь, «ослабнув» под напором соблазнов. Она бросила почти грудного ребенка. Бирюк отлично знает чудовищные размеры всеобщего воровства, ему стыдно, неловко жить в таком мире.

И подумать только — куда ввел читателя Тургенев, этот баловень утонченной культуры, знаток Гегеля, Гете, обожествляющий театр и античную скульптуру?

«Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без палатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста... Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь?— спросил я девочку.

— Одна,— произнесла она едва внятно».

Сколько трагизма в судьбе немногословного лесника, живущего на отшибе, с двумя детьми, среди леса! Леса в прямом и переносном смысле — леса пьянства, воровства, бессмыслицы. Бессмысленно охранять лес от мелких воров, если разворовывается все. Но еще страшнее для Бирюка утратить и этот принцип: «...должность свою справляю...» Никто не проясняет ему жизненный путь, его сердце раздирается сомнениями, жалостью к детям, живущим вдали от людей. И нет выхода, нет просвета.

Жалеет ли он, тоже бедняк, тех, кого старательно излавливает? И жалеет, и отчасти злится на них, презирает. Кто этот очередной порубщик? Мужичонка с испитым морщинистым лицом, живая частица той слободы, где «вор на воре»,

где царят лень и разоренье, голодуха и безделье? Он и жалок, и слаб, и презренен Бирюку. Но как трудно одинокому ревнителю порядка, раздираемому сомнениями, опирающемуся на одни лишь свои верования о правде и правоте, осмыслить все упреки, обвинения, что посыпались на него из уст очередного «вора», из уст мужичка Фомы. «Не стану я молчать,— продолжал несчастный.— Все едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да постой, недолго тебе царствовать! Затянут тебе глотку, постой!»

За что его клянут так зло? За верность порядку, за то, что он сам не крадет и другим не дает делать этого? Он уже почти злодей, почти антихрист... Темно сознание героя, трудно переваривать все, что обрушилось на него. А тут еще слезливый барин, готовый помочь жалкому воришке! Отпустив все же мужичонку, Бирюк с досадой отмахивается от гостя, как от очередного наивного заступника в стиле Любозвонова. Бирюк угрюмо выпроваживает гостя, мысленно высказав свой упрек: не похожий ли ты в этой странной, колдуном ходячей линии, а праздный, хотя и ученый, соглядатай...

Мужик, жертва Бирюка, правда, верно почувствовал, что действительно есть элемент «царствования» в суровом Бирюке. В герое сложилась отчасти досадная, но и сладкая привычка к небольшой власти. Привычка еще пугает Бирюка, но и дает удовлетворение. Она-то и держит его в лесу, как-то утешает за все невзгоды! Он нищ, беден, он аскетичный апостол порядка, но он в глубине души горд тем, что может властвовать над другими, нищими и несчастными. Этой сатанинской гордости и испугалась, вероятно, жена, а сейчас пугается дочь. . Они, привычка и вкус к власти, могут иметь и продолжение, безрадостное для народной среды. Могут выродиться в изуверство, беспощадность. А может быть, «сырая», патриархальная душа Бирюка не выдержит роли «одного в поле воина» и он сорвется с места, пополнит Русь бродячую, Русь монастырскую?..

* * *

Россия для Тургенева — огромное, «гулкое» пространство, в котором отчетливо слышны, особенно на расстоянии, все трагические ноты жизни. Ему очевидна утрата дворянством сознания своей полноценности, долговечности. Сквозь множество «окон в Европу», и особенно сквозь «французские окна», проник в Россию свет, обозначивший массу дряблого в самых темных углах ее. И возник холод от сознания, предчувствия бессилия перед незримой силой вещей...

Где же зрячие головы, где наиболее прозорливые умы, обладающие целостным знанием или хотя бы глубоким ощущением свершающегося?

Как ни странно, но наиболее полным и цельным — нет, не знанием, а чувством перспективы, пониманием всего тревожного и обнадеживающего в жизни, наблюдательностью обладают совсем не те, кто, казалось бы, является солью земли.

Глубоких раздумий о необходимости перемен полон тот же Хорь. Из бесед с ним автор выносит на первый взгляд неожиданное антиславянофильское убеждение, что «Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях». Имя великого царя-преобразователя упомянуто не случайно. Хорь, выслушав рассказ героя-повествователя, о немцах, о «любопытном народце», не знающем крепостного права, заявляет, что готов поучиться, как некогда учился Петр, у «сухопарого немецкого рассудка». Можно предположить, что одна из язв крепостничества, неволи — равнодушие к общему делу — так же тревожила и Хоря, презирающего крапивное семя чиновников, как она печалила и ожесточала Петра I. Тургенев, безусловно, помнил, как упрямо боролся Петр «с закоренелой болезнью — со взглядом на службу как на средство кормления» (С. М. Соловьев), с узаконенной привычкой к казнокрадству. Крапивное семя, помимо всего, обрекает жизнь на застой. Хорь потому и боится стать «вольным», что на воле всякий чиновник «Хорю набольший». Чрезвычайно важен и другой смысл сопоставлений Хоря с Петром Великим. Мы можем «выдержать» поток заимствований у «сухопарого» немецкого ума, словно говорит вслед за Белинским Тургенев, можем «смолоть на русской мельнице», для своей выгоды, не утратив своего, все зерна разумного. Мы так уверены в своей силе, что имеем возможность, как при Петре, вновь... поломать старый уклад.

Людьми, в которых не покачнулась здравая мысль, которые не впали в одурение обжорства, в дурную удаль, застылость чванства, как генерал-майор Хвалынский, по-совиному ворочающий головой в твердых воротничках, остались и однодворец Овсянников, и Татьяна Борисовна («Татьяна Борисовна и ее племянник»). Не часто, правда, звучит в «Записках охотника» голос простого человека. Но вот словно треснули лепные украшения усадебного быта в новелле «Контора», и зазвучал голос народного заступника, обличителя конторщика, фельдшера Павла Андреевича: «Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся! Чего мне бояться?.. Я везде себе хлеб сыщу». Матрена в новелле «Петр Петрович Каратаев» погнала тройку на ненавистный ей барский возок (угнетение

и ненависть сошлись на узкой тропе). Ощущение непокоя, скрытой, но нарастающей бури живет в «Записках охотника»:

> **Да, этот мир настоян на огне,**
> **И погреба его не раз еще взорвутся...**

* * *

...«Записки охотника» изумили русскую читающую публику и неожиданной для прозы музыкальностью словесных красок, инструментовкой сочетаний звуков. И прежде всего — в пейзажах.

«*Торжественно и царственно* стояла ночь; сырую *свежесть* позднего вечера сменила полуночная *сухая теплынь*, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого *лепета*, до первых *шорохов* и *шелестов* утра, до первых *росинок зари*... Бесчисленные золотые звезды, казалось, *тихо текли* все, *наперерыв мерцая*...» (Выделено мной — *В. Ч.*).

Сколько звуковых повторов, музыкальных созвучий — «шорохов», «шелестов» и вдруг раскатистое «р» в росинках зари... И снова мягкое «тихо текли» сменяется резким «наперерыв мерцая».

«Истинный трубадур, странствующий с ружьем и лирой по селам, полям»,— как точно скажет И. А. Гончаров,— явился в русской прозе.

Некрасов, публикуя в «Современнике» один за другим, часто и несколько в одном номере, очерки из «Записок охотника», уже больше не делал приписок для А. В. Никитенко: «...рассказ самый невинный». Лишь В. П. Боткин все еще сибаритски недоумевал относительно Тургенева: «Странная участь дарования Тургенева! Это ни художник, ни беллетрист... в рассказе «Хорь и Калиныч» явно видна придуманность; это — идиллия, а не характеристика двух русских мужиков... Тургенев, мне кажется, не нашел еще формы для своего таланта (если он у него есть)... А может, я и ошибаюсь». (Из письма В. Г. Белинскому. 27 марта 1847 г.)

Для Некрасова Тургенев оказывался бесценнейшим сотрудником. Как бы «шутя и играя», в сущности часто срываясь с места по едва заметному знаку гастролирующей то в Дрездене, то в Лондоне Полины Виардо, он вдруг перевел на новый, свежий, неожиданно открытый и необходимый путь всю текущую литературу.

Давно ли еще говорили, что, мол, бедноват «русский мир», что жизнь в России страшно не развита, психологически и общественно, все «качаются» в одной колыбели — вечной и не-

изменной деревне. Барин да мужик, поющий ямщик, староста да странник, гусар и барышня-крестьянка, «Арина Родионовна» да «Савельич» — вот и весь «русский мир», вот и все сюжеты. Тургенев же, опираясь на этот достаточно узкий мир природных, деревенских и усадебных явлений, сумел расширить объем человеческих чувств, раздумий, сделать знакомые подробности не условными, не бесплотными, а предельно ощутимыми и близкими.

В сознании передового русского общества — отчасти даже в сознании какой-то части чиновничества! — возросло реальное значение народа. Он стал более знаком, понятен не по придуманным качествам и «правам», а по реальным свойствам. Народ — это средоточие всех надежд и возможностей российской истории. Где он, народ? Он простерся, с одной стороны, на тысячи верст по лику земли русской и, с другой — на тысячи лет ее истории. Он горюет и сочиняет свои песни, гибнет в нужде и мечтает, бунтует, пока безмолвно, бессознательно, и покорствует привычкам, сквернословит и молится. Тургенев убеждал, что это средоточие надежд и возможностей как заколдованный клад: образованные слои, ничтожная, в сущности, прослойка, не имеют опыта для воспитания народа, не имеют и точек соприкосновения с ним. Кто сможет припасть ухом к земле, как Дмитрий Донской перед битвой, и услышать то, что говорят ему неведомые голоса прошлого и настоящего из народной толщи?

Но не безнадежны эти темные воды океана народной жизни, до «Записок охотника» покрывавшиеся часто радужной пленкой псевдонародности. Не пусты нависшие над русским полем тяжелые небеса!

Великим здоровьем веет от самой природы, от русской весны или осени... Ступите только на осеннюю тропу, когда на ранней заре обжигает холод первых заморозков, а крупная соль лежит на пожухлой, омертвевшей траве, когда ветер рвет и треплет тучи, гонит полчища полой листвы... И самое главное — вслушайтесь в народный язык: он не может быть дан уставшему, духовно почившему народу!

Редкой прочностью и звучностью словесных красок отмечены страницы «Записок» — здесь нет бесплотных декораций.

«Вечерняя звезда теплится на небе, тихо мигая, как *бережно несомая свечка*» («Бежин луг»).

«Облака, изжелта-белые, *как весенний запоздалый снег*» («Касьян с Красивой Мечи»).

Он не стеснялся варьировать, повторять одни и те же сравнения. С помощью этих вариаций он раскрывал различные

жизнеощущения. Сколько раз надо было пережить охотничий азарт, предвкушение удачи, выигрыша, чтобы углубиться в поведение, психологию того же зайца...

«Машу всю поводило, *как бересту на огне...»*; «Судьба замотала его (Недопюскина), словно *зайца на угонках»* («Чертопханов и Недопюскин»). (Выделено мной.— *В. Ч.*).

Голос Лукерьи, «слабый, медленный и синий, *как шелест болотной осоки»* («Живые мощи»). Упал взгляд Тургенева на невзрачную осину, «пасынка» прежней пейзажной живописи,— и он словно «одарил» ее многими нарядами. Она и неприглядна, «с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металлической листвой...» Но она же и хороша в иные летние вечера, когда, «возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца *и блестит и дрожит...»* («Свидание»).

Тургенев повторяет, варьирует сравнения; в письмах, шутках, беседах, он словно не дает «застыть» строительному раствору, понимает, что «собственная жизнь мысли,— как писал Шопенгауэр,— длится только до воплощения ее в слове: тут она окаменевает и остается впредь мертва, но неисчезновенна, подобно окаменелым животным... Ее мгновенную жизнь можно сравнить с кристаллом в момент его образования. Коль скоро именно наша мысль обрела слово, она уже теряет сердечность и глубокую важность».

Изба Бирюка с трещащей и коптящей потолок лучиной... Лошадка Касьяна с Красивой Мечи под соломенным навесом... Ее, как некую драгоценность, писатель окружает игрой света и цвета: «Солнечный свет, *падая струями* сквозь узкие отверстия обветшалого намета, *пестрил* небольшими *светлыми пятнами* ее косматую красногнедую шерсть». Речка Иста в жаркий полдень, кипящая всяческой жизнью: «Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, *испещренных холодными и светлыми* ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли *торчат* в тени, в заливах, под обрывами». (Выделено мной.— *В. Ч.*)

Так и кажется, что Тургенев, самый удивительный в мире охотник, входил в лесные угодья, «площадя», буквально переполненные особой тишиной, когда ему все «слышно», все внятно... Обломился и упал сухой сучок, белка прыгнула и застыла на миг в высшей точке незримой дуги полета между деревьями; воздух ни теплый, ни свежий, а только кисловатый, лучи солнца трепещут, «подсекаемые» наползающей тучей, паутина — тянущаяся, необрывающаяся. Немой мир обретал голос, он веяньем ветра, треском костра в ночи, пере-

кличкой птиц, даже *торчащими* в тени цаплями «обращался» к человеку. Потому и нет чисто декоративных эффектов, погони за мимолетной игрой света, но везде в «Записках...» присутствует чисто русская повышенная впечатлительность, словесная чувственность, способность проникнуться «глубочайшим чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок» (И. А. Бунин).

Понимал ли Некрасов, истинный хозяин «Современника», все значение работы Тургенева?

Пожалуй, именно он-то, весь «рассыпаемый» впечатлениями дня, вынужденных хлопот, человек с неповторимой комбинацией практических наклонностей и идеализма, воображения и расчета, был наиболее дальнозорок.

Некрасов понимал, что Тургенев (без конца смешивая словесные краски, раскатывая «глину», «замыкая» мысль в образ, сберегая внутренний жест в слове) отчасти победил расплывчатую маниловщину стиля при изображении Руси усадебной, деревенской. Эту же задачу уже решили создатели «физиологических очерков» относительно Петербурга и его «углов». Но Некрасов понимал, что и задача у Тургенева была в целом сложнее, и талант его крупнее, а успех громаднее. Тургенев уловил всеобщую потребность наконец-то ощутить под собой, рядом с собой «эти русские селенья», расслышать звуки родной русской речи. В кажущейся простоте тех тропинок, или даже троп, в садах и огородах, на которые «свел» вдруг читателей этот доселе неясно философствовавший Тургенев, таилось нужное всем открытие. Вот одна из таких дорожек в рассказе «Мой сосед Радилов»:

«Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами *крыжовника* пестрели *круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки;* тесно торчали на грядах *бурые прутья,* перепутанные засохшим *горохом;* большие плоские тыквы *словно валялись* на земле; *огурцы желтели* из-под запыленных угловатых листьев; *вдоль плетня качалась высокая крапива...* Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах; собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне; пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину». (Выделено мною. — *В. Ч.*)

Какая простота линий и емкость взгляда, и насколько все в таких описаниях безусловно родное, русское!

Одна мысль не покидает Некрасова-редактора в эти годы: только бы этот ленивец не бросил свою «такую отличную дорогу», не охладел к ней! И он пишет, часто пишет Тургеневу,

весьма изобретательно, ненавязчиво и искренне поощряя его труд.

«...Очевидно, Вы начинаете привыкать к труду и любить его — это, мой друг, великое счастье!» (11 декабря 1847 г.).

«Вообще, друг мой, говоря о Ваших последних трудах, приходится только хвалить и дивиться Вашим успехам (и трудолюбию), и я умолкаю только потому, что неловко распространяться» (12 сентября 1848 г.).

«Будьте друг, сжальтесь над «Современником» и пришлите нам еще Вашей работы, да побольше, а мы всегдашние Ваши плательщики» (14 сентября 1849 г.).

«Тургенев! я беден, очень беден! ради бога, вышлите мне скорей Вашу работу и, сверх того, дайте слово, что если эта работа почему-либо не пойдет, то Вы первым Вашим произведением после этого удовлетворите мой долг» (9 января 1850 г.).

«Прислал Тургенев (уже давно), написал два рассказа, которые найдете в № 11 «Современника». Один из них «Певцы», — чудо». (Из письма П. В. Анненкову в Симбирск 16 ноября 1850 г.)

Куда шли эти письма, куда были чаще всего обращены сами ожидания Некрасова? И что это за деревня, куда то и дело готов был «улизнуть» из Парижа Тургенев?

* * *

Куртавнель... «Колыбель литературной известности» Тургенева, место, безусловно дорогое русскому читателю. Здесь в департаменте Сены и Марны, в 60 верстах к востоку от Парижа, и находился замок, купленный в 1844 году после русских гастролей супругами Виардо. Здесь и поселен был ими гость из России. Здесь написано или задумано им очень многое — помимо рассказов из «Записок охотника».

Современники Тургенева, входившие в старинный, якобы времен Франциска I, замок без элегического трепета, запомнили массивные стены, рвы и каналы с водой, каменные ступени и коридоры, лужайки и оранжереи. Были, естественно, и рояль, и бюст из мрамора певца Тамбурини. Звучала испанская речь вперемежку с французской: в доме подолгу жили родичи Полины. Афанасий Фет, побывавший в Куртавнеле 12 лет спустя, в 1857 году, когда Тургенев был здесь старожилом, отметил поразительную старость замка. Старость, перешедшую в надменность: «Пепельно-серый дом, или вернее, замок с большими окнами, старой, местами поросшей кровлей, глядел на меня из-за каштанов и тополей с тем суро-

во-насмешливым выражением старика, свойственным всем зданиям, на которых не сгладилась средневековая физиономия,— с выражением, ясно говорящим: «Эх, вы, молодежь! Вам бы все покрасивее да полегче; а по-нашему — попрочнее да потеплее. У вас стенки в два кирпича, а у нас в два аршина...»

Вероятно, «говорит» в данном случае не средневековый замок, а хозяйственный человек, будущий мировой судья, видный коневод и овцевод своего уезда Афанасий Фет. Он везде похож на самого себя. Но его характеристики ценны тем, что они часто — как «красное» в живописи в полной мере «красно», если окружено зеленым цветом! — помогают понять особенность суховатого, аскетично-целеустремленного мира супругов Виардо, чуждого безделью, размахайству, самодурному прожиганию жизни. А ведь этот мир окружал Тургенева долгие годы[1]. Для Фета в Куртавнеле, в артистическом мире Парижа таится обман: в деталях многое «гладко, ловко, блистательно, а целое прозаично, мишурно и бессочно...». Даже обеды в Куртавнеле были совсем не те, что в России. Под Чернью, Фатежем, под Серпуховом едва придешь на завтрак, как оказываешься в царстве основательного гостеприимства: на столе — превосходные грибки, жареная печенка в сметане, молодой рассыпчатый картофель, большое блюдо с телячьими котлетами, плавающими в сочном бульоне... Два-три блюда всего, но отнесешь «с усердием» к любому из них — и ты всерьез, а не обманчиво сыт. А у этих французишек?

«Обед в замке Куртавнеле состоял из французского бульона, слабого до бесчувствия, за которым вторым блюдом являлся небольшой мясной пирожок, какие у нас подаются к супу; третьим блюдом являлись вареные бобы с художественно нарезанными ломтиками светившейся насквозь ветчины; последним блюдом являлись блинчики или яичница с вареньем на небольшом плафоне...»

Воздушны, может быть, были обеды в Куртавнеле и для

---

[1] Стойкий республиканец Луи Виардо уживался, например, с привычкой не отвергать предложений Тургенева по сколачиванию приданого его, добродетельного отца, дочерям. Много странностей окружало великого русского художника в этой семье, даже судя по очень благожелательным к П. Виардо комментариям ее биографа А. Розанова. Один из моментов личных взаимоотношений артистки с Тургеневым А. Розанов освещает, например, так, что не замечает, как комична роль Луи Виардо: «И, не найдя теперь (в 1857 году.— *В. Ч.*) в душе прежнего отклика на его чувство, артистка решила порвать с ним отношения. (Сделать это настойчиво советовали (!) ей Луи Виардо и Ари Шефер)... Или ее темпераментную натуру тяготило инертное обожание, свойственное чувству Тургенева?» (Р о з а н о в А. Полина Виардо-Гарсиа. Л.: Музыка, 1982, с. 110).

Тургенева, но какой опорой стала для него хозяйка замка, весь тот мир, центром которого она была! Он приехал сюда... кем? Почти тридцатилетним человеком, без определенных занятий, чуть ли не... Андрюшей Беловзоровым из рассказа «Татьяна Борисовна и ее племянник», который «с теткой, с людьми обращался дерзко. Я, дескать, художник, вольный казак! Знай наших! Бывало, по целым часам кисти в руки не берет; найдет на него так называемое вдохновенье — ломается словно с похмелья...» Не о себе ли самом сказано это? И он, Тургенев, тоже ведь, в известной мере, вольный казак в сфере, где изнемогал Белинский. Он тоже дилетант. Дилетант во всем... Он желанен в любом обществе, в нем — прелесть обворожительности, талант ненавязчивого красноречия. Без него люди узкие, одnолинейные, знающие свою кормилицу «норку-службу», догму-присягу,— невыносимо скучны. Но они же, эти строгие правоучители, смотрят на него косо: они любят коня в упряжке, коня, тянущего воз или плуг...

Полина Виардо в силу известного рационализма характера не способна была окружить Тургенева нежностью, которая ему была постоянно и остро потребна. Это признает даже И. М. Гревс в своей работе «История одной любви». Хотя, безусловно, присутствие Тургенева в Куртавнеле не было подробностью ее жизни, удовлетворением великого тщеславия. Она, согласно умной догадке Я. П. Полонского, умела загипнотизировать Тургенева еще более нужным ему видом заботы и понимания: «Иван Сергеевич, насколько я его понимаю, никогда бы не был счастлив, если бы женился. Женщина, которая не сумела бы *скрыть обыденной, прозаической стороны своего существования или иной дозы пошлости, которой не чужды даже великие люди, сразу могла бы охладить* его,— само присутствие ее сделалось бы для него невыносимым». Полина Виардо обладала тонким умом, редкой проницательностью, она сразу спрятала от Тургенева все прозаичные, «пошлые» стороны житейского уклада, оградила его от обыденных тревог.

В Куртавнеле царила своего рода «религия труда», здесь прекрасно знали цену нерушимого делового обязательства. Тургенев обрел здесь — и так прекрасно нашел себя в них! — целый ряд желанных упряжек. Он работал с удивительной сосредоточенностью. «Я, конечно, не написал бы «Записок охотника», если б остался в России»,— скажет Тургенев в 1868 году.

...Напряженнейшая духовная жизнь — порой в соседстве с композитором Ш. Гуно, тоже гостившим в Куртавнеле, в беседах с П. Мериме, учившимся русскому языку, среди встреч

и прогулок с П. В. Анненковым, «обладающим столь же тонким умом, сколь обширным телом», с А. И. Герценом, М. А. Бакуниным, Н. И. Сазоновым. Конечно, и здесь не обходилось без элемента изящной игры. В известной мере можно пожалеть об этом... И каналам, и рвам, и мостам в Куртавнеле Тургенев давал названия — то «Великий океан», то «Чертов мост»... Не оставлялись в покое и деревья. «Я забавлялся,— объяснял» себя Тургенев,— тем, что разыскивал в окрестностях деревья, которые имели бы физиономию — индивидуальность, так сказать,— и давал им имена».

Куртавнельский, а позднее баденский и парижский стиль жизни Тургенева в семье Виардо стоит, пожалуй, в чем-то «премухинского стиля». Элементы лирической импровизации, непрерывного «смягчения» грубости жизни игрой, постоянное претворение трагедии жизни «в грезофарс», как сказал бы И. Северянин, «водевильность» многих прогулок, обедов — все это сопровождало труды и дни писателя. Водевиль, как говорили тогда, «потяжелел» на русской почве. В Премухине царил тяжеловатый философский стиль выражения мыслей, чувств. Здесь же, на французской или немецкой, особенно курортной, почве, все не только легчало, но и утончалось.

Автор «Стено» и осмеянный, но, увы, живой «моралист», то и дело оживает в человеке, заканчивающем очередной рассказ из «Записок охотника». Сколько элементов игры, словесной позы, а порой досадного озорства в обширной серии писем к П. Виардо 1848—1850 годов:

«Жизнь — это красноватая искорка в мрачном и немом океане Вечности» (29 апреля 1848 г.).

Это, пожалуй, годится и для монолога романтика Стено.

«Какое странное выражение, быть в своей тарелке, будто кушанье! А кто нас ест? боги?.. Люди нас щиплют как траву, а бог нас пожирает!!!» (1 мая 1848 г.).

«Сударыня, я сочинил одноактную комедию; сударыня, клянусь вам тенями моих предков, которые, по всей вероятности, были уродливы, как козлы, и вонючи, как обезьяны» (4 июля, суббота, 1849).

Это обидно, бесспорно, для его же родословной, оскорбительно для предков, но что не принесешь в жертву увлекающей игре? Рыбка в аквариуме так играет в лучах света...

«Довольно крупный зайчонок третьего дня утонул во рвах. Как и почему? Об этом ничего нельзя сказать. Покончил ли он с собою? Но ведь в его возрасте еще верится в счастье» (9 июля, четверг, 1849).

Сколько жемчужинок мысли в одежде жеманства и детского озорства «выкатывается» из этих раковинок-посланий!

В письмах к Полине Виардо царствует также плененность искусством, тончайшими мыслеощущениями... Что-то «прочитано», по поводу чего-то пришла такая «красивая» мысль! Любопытное состояние души хочется «продегустировать» вдвоем с Полиной... Перечитан Дидро, внимательно изучен Кальдерон (а заодно, в немалом объеме, и испанский язык!), возникли догадки: «Мы, слабые потомки могучих предков, достигаем, в лучшем случае, умения быть изящными в нашей слабости...»; «...слишком много эти несчастные (писатели после Шекспира.— *В. Ч.*) читали и слишком мало жили!» И вновь — о театре, о балете («...но балет скучная вещь — ноги, ноги и опять все ноги... это монотонно»), о книге Паскаля «Провинциальные письма»...

Что такое история? «Провидение, случай, ирония или рок?» А как утешить себя человеку, существу единого дня, среди равнодушной и всевластной природы? «Да, она (природа.— *В. Ч.*) такова; она равнодушна; душа есть только в нас и, может быть, немного вокруг нас... Это слабое сияние, которое древняя ночь вечно стремится поглотить...»

Письма к Полине Виардо — это своеобразный цикл лирико-философских посланий, надежно заслоняющих от жизни. Они явно выдержаны в одном и том же стиле, тяготеют друг к другу. В них есть даже «сюжет»: его создает движение к наиболее полному единству вкусов, симпатий, оценок. Впоследствии возникает еще несколько подобных циклов (Тургенев — Ламберт, Тургенев — Вревская, Тургенев — Савина). Разные потребности богатой души будут удовлетворяться этой эпистолярной прозой, в которой границы между «интимным» и «открытым», литературным и домашним, как мы видим, крайне размыты. Размывает эти границы лирическая мощь эпистолярной формы. Но нечто общее во всех циклах тургеневских писем сохранится. Это единство отметил академик М. П. Алексеев: все циклы писем были средством, с одной стороны, «связи с избранными собеседниками», а с другой стороны, в отдельные периоды «писание их (писем.— *В. Ч.*) приравнивалось в его сознании к процессу художественного творчества». «Письма-эскизы», «письма-этюды» к будущей картине!.. Эта общая черта лучших писем Тургенева в полной мере выразилась, конечно, и в письмах к Полине Виардо 1848—1850 годов. Изящно, артистично, чуточку жеманно пишет Тургенев, но вместе с тем стоит прочитать многое вслух — иные послания явно рассчитаны на это! — и сразу осознаешь серьезность и литературность раздумий и тревог создателя «Записок охотника». Так, образ Родины, образ России — Тургенев о ней думает в письме 16 мая 1850 года —

вспоминается как сложный, художественно-философский образ, который на склоне лет оживет и в «Стихотворениях в прозе»:

«Россия подождет — эта огромная и мрачная фигура, неподвижная и загадочная, как сфинкс Эдипа. Она поглотит меня немного позднее. Мне кажется, я вижу ее тяжелый, безжизненный взгляд, устремленный на меня с холодным вниманием, как и подобает каменным глазам. Будь спокоен, сфинкс, я вернусь к тебе, и тогда ты можешь пожрать меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки!»

Так он грезил — «темно», но не «вяло» — в этих длинных, полных мысли и чувства письмах-стихотворениях. А между тем создавались и «Певцы», и «Бежин луг», и «Касьян с Красивой Мечи». Россия как будто ломала некую «присягу» на верность Западу, изгоняла и жеманство, и изнеженность и неожиданно сближала Тургенева с беззлобно осмеянным им же К. С. Аксаковым, который прекрасно сказал в связи с поэмой Гоголя о русской песне, объясняя и тургеневских «Певцов»:

«Как широк напев ее! Кажется, дух и образ великого, могучего пространства, о котором так прекрасно говорит Гоголь, лежит в ней. Нет ей конца, бесконечная песня, как называет ее он же. В самом деле, нельзя сказать, что русская песня оканчивается; она не оканчивается, но уносится... слух едва ловит последние звуки русской песни, — нет, она не кончилась, она унеслась, удалилась только и где-то поется, вечно поется».

* * *

...Исследователи «Записок охотника», убоявшись чересчур расширительного толкования термина «поэма», часто называют их то «широким полотном», то «поэмой в форме новеллистического цикла», «то подлинно народной книгой». Сближение с «Мертвыми душами» становится весьма робким, сопровождается осмотрительными оговорками... Да, есть эпическая установка, панорамность, а «по охвату материала, по перспективе изображения — с его историческими корнями, уходящими в екатерининский век,— это настоящая эпопея (С. Е. Шаталов)... И все же, все же...

Есть в «Записках...» странная иллюзия очеркизма, письма с натуры, которую старательно поддерживает и сам автор. Боже мой, какая поэма, какое приближение к грозной и тяжелой тайне, составляющей душу «Мертвых душ», какая эпопея, ведь на каждом шагу герой словно подчеркивает: я — впечатлительный, спешащий, прикованный к интересам минуты

человек... Вот ночная беседа в гостинице со случайным соседом... Вот приезд к Хорю и беседа с ним... Поездка во Льгов и лицезрение Сучка с его дощаником. У меня нет копилки в душе — для эпопеи, романа. Есть только картины, звуки, голоса текущего дня, данного места, есть душа случайного собеседника, на миг мне приоткрытая. И не буду я «усиливаться» откладывать впечатления, прессовать их для будущего романа... Поверьте, у меня *не так* организована душа, в ней нет столь вместительного помещения. Все, что меня заняло, тронуло или взволновало, я преображаю в эскиз, набросок, рассказ... Спасибо, что, кроме любви к живописному в людях, у меня, кажется, есть еще дар непринужденного воспоминания, благодарная и ласковая память, любовь к подробности...

Эту иллюзию «заземленности» происходящего, мысль об отсутствии дара большой концепции Тургенев невольно поддерживает хотя бы самой фигурой повествователя. Охотника — не по узкой страсти, а по состоянию души, не терпящего никакой связанности, «несвободы». Все случающееся с ним — сплошные происшествия, сами плывущие в руки.

«*В качестве охотника* посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком Полутыкиным»,— нарочито очерково поясняет этот охотник встречу с Хорем в «Хоре и Калиныче».

«*Однажды, скитаясь* с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда». И последовала новая встреча в усадьбе, беседы, новые типы («Сосед Радилов»).

«*Поедем-ка в Льгов*,— сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай,— мы там уток настреляем вдоволь» («Льгов»).

То встреча произошла только потому, что «имел неосторожность отправить свою тройку вперед» («Петр Петрович Каратаев»), то охотник заблудился среди ночи, приближавшейся как грозовая туча («Бежин луг»), то дождь остановил лошадь («Бирюк»), и при блеске молнии явилась как из-под земли новая фигура.

Кажется, что Тургенев, предвидя неизбежные ожидания и западников, и славянофилов, действительно сложные пересечения их интересов, позаботился оградить «Записки охотника» от корыстных упований, от высокопарной риторики («Ты наш!») с неизбежными поисками иллюстраций для любых схем. Смотрите, как все случайно, нечаянно, легкомысленно, «антифилософично» у меня: тропки, полевые дороги, заботы минуты, утки, вальдшнепы, старые сады, огороды и усадебки, плутующие старосты, мужички, крадущие лес, сплошь част-

ные лица, а не олицетворение человечества, не иллюстрации к отвлеченным доктринам. Полное торжество случайностей, не образующих как будто ничего закономерного. Все герои на редкость «здешние», никто не символ, не условность, не претенциозное обобщение.

«Позвольте себя рекомендовать,— начал он мягким и вкрадчивым голосом,— я *здешний* охотник, Владимир» («Льгов»).

«Вы не извольте знать *здешнего* судью, Мылова, Павла Лукича?..» («Уездный лекарь»).

«Я *здешний* помещик и ваш сосед, Радилов, может, слыхали» («Мой сосед Радилов»).

О сплошь «здешних» лесниках, слугах, егерях, камердинерах, торговцах на ярмарке в «Лебедяни», половых в трактирах, бабах, проворной девочке Аннушке с белыми грибами в кузовке, прикрытыми широким листом лопуха («Касьян с Красивой Мечи»), о крестьянских мальчиках в ночном в «Бежином луге», живущих поистине против неба на земле, можно сказать: холод аллегорий, бронза монументализации, «добавка» морализаторства их не коснулись...

О подлинности, «здешности» Бежина луга, Кобыльего верха, реки Исты, Варновиц, егеря Ермолая (его, Афанасия Алифанова, потомки до сих пор живут в Спасском-Лутовинове), Антона Сучка, Яшки Турка, Бирюка и даже собак Валетки, Дианки давно и поэтично, с глубокой любовью рассказали исследователи разных эпох — от Н. Рыпды и Н. Гутьяра до В. А. Громова и Б. В. Богданова.

Но нет ли в «Записках охотника», особенно у лирического начала поэмы, более далеких, не здешних «адресов»? Ведь нет уже давно и крепостничества, и проблем управления имениями, и даже «размежевание» внутри лагеря западников — лишь «достоянье доцента» (Блок), то есть специалистов. А бессмертное творение Тургенева до сих пор позволяет совершать открытие Родины, помогает

Знать свойства своего народа
И выгоды земли своей...
(И. А. Крылов)

И эти «свойства» и «выгоды» читатель узнает не из бесед Рудиных и Лаврецких, Базаровых и Неждановых, а непосредственно от самого, пусть скупого на слова, народа, мучающегося, протестующего, мечтающего об ином будущем. Истина будущего — не тот «зверь», которого можно изловить в спорящих интеллигентских кружках, на лекциях в Берлине, в брошюрках. Ее ищут, пусть с великим трудом, вслепую, часто

зная горечь обманов и ударов судьбы, и простые люди, «безмолвное большинство», составляющее народ, живое тело истории.

Разве не ищет ее застывший и окаменевший в недоумении перед злом, в котором «мир лежит», тот же Бирюк?

А Арина в рассказе «Ермолай и мельничиха», бывшая горничная в доме «европейца» Зверкова, положившего за правило «замужних горничных не держать»,— разве в ее печали, тоске, самих интонациях не звучит вопрос к жизни, к тому, что считается «порядком» в ней? Зверков не позволил ей выйти замуж, приказал остричь, «одеть в затрапез» и сослать в деревню. И сейчас, когда при ней вспомнили ее прошлое, «Зверкова господина», она не особенно оживилась.

«— Я твоего барина знаю,— продолжал я.

— Знаете? — отвечала она вполголоса и потупилась».

В самом деле тупик, перед которым мысль Арины, все ее оскорбленное нравственное чувство немеет, застывает в ужасе. Но ужас этот, ужас крепостничества она уже хорошо знает! И только всколыхни его, он может выплеснуться уже не в смирении.

А тот камердинер Федор в «Бурмистре», что оплошал перед цивилизованным крепостником Пеночкиным с неподогретым вином и услышал самодовольный приказ барина «насчет Федора... распорядиться». Снова порог, тупик, горечь недоумения: «Камердинер смешался, остановился как вкопанный, и побледнел...»

Тургенев не видит народ покорным, принявшим, как неизбежный удел, все эти порядки. Он, как герой «Записок...», еще не протестует, хотя и знал историю «Землееда», написанную в жизни: «Крестьяне уморили своего помещика, который ежегодно урезывал у них землю и которого они прозвали за это землеедом, заставив его скушать фунтов 8 отличнейшего чернозему». (Из письма П. В. Анненкову от 25 октября 1872 г.) Но в этом безмолвии — «потупилась» Арина, «смешался, остановился» камердинер — не вялая покорность, не анемичность души.

Странно, но никогда исследователи не обращали внимания на кульминацию в рассказе «Петр Петрович Каратаев», где Тургенев дал оценку и поведению мягкого, доброго дворянина, и отчаянному вызову судье крестьянской девушки Матрены. Да, крепостничество породило эту трагедию двух влюбленных — удалого, но с чувствительной душой барина и «чужой» крепостной Матрены. Весь сюжет соткан самим бытом крепостной неволи: неудача с «покупкой» Матрены у владелицы села Кукуевка, увоз ее, лихорадочное, неверное счастье...

И своеобразная, изумившая Каратаева месть Матрены былой хозяйке во время катания на лошадях, при встрече на дороге с барыней:

«Матрена взяла вожжи. Вот я и смотрю, куда это она едет? Неужели в Кукуевку, в деревню своей барыни? Точно, в Кукуевку. Я ей и говорю: «Сумасшедшая, куда ты едешь?» Она глянула ко мне через плечо да усмехнулася. Дай, дескать, покуражиться. А! — подумал я,— была не была!.. Мимо господского дома прокатиться ведь хорошо? ведь хорошо — скажите сами? Вот мы и едем. Иноходец мой так и плывет, пристяжные совершенно, скажу вам, завихрились — вот уж и кукуевскую церковь видно; глядь, ползет по дороге старый зеленый возок и лакей на запятках торчит... Барыня, барыня едет! Я было струсил, а Матрена-то как ударит вожжами по лошадям да как помчится прямо на возок!..»

Вот и тургеневская «птица-тройка», летящая, разрывая воздух... Она возникла среди бесхитростных на первый взгляд описаний... И гонит ее, мчит сама ненависть, возмущенное, истощившееся терпение крестьянки, которую то выторговывали, то ссылали в заглазное имение, то благородно воровали. Бунт, конечно, слепой, вспышка ненависти кончится, вероятнее всего, отчаянием, покаянием, слезами, молитвами. Но несомненно сочувствие Тургенева этой Матрене, как несомненна и его усмешка над трусящим удальцом Каратаевым. Матрена, конечно же, оставит его со стыдом и сожалением...

Положение «живых душ» среди мертвящих их порывы крепостнических взаимосвязей, под гнетом чиновничьей бюрократии все чаще, от очерка к очерку, становится тревожным, полным скорби и протеста. Царизм создал в России лишь единственный центр общественной жизни — бюрократический аппарат, разные «присутствия», канцелярии, «отделения», обширную чиновничью касту... При нежелании идти на это единственное поприще, идти в канцелярии и казармы, во многих душах возникало «самозакисание», отравление бездейственными умом и талантом, начиналась болезнь, которую Герцен назвал так: «Бесполезная мысль самоотравляется и наполняет душу ядом, за отсутствием другого дела». Эта болезнь поразила почти всех дворянских героев «Записок...» — от Радилова до «Гамлета Щигровского уезда». Но еще более частым проявлением болезни стало иное: бесплоднейшая трата дворянскими героями сил ради мнимого самовозвеличения, пресловутой гордости дворянской! Но их воображение давно не поспевает за событиями. Все в жизни для них — подвох и двусмысленность. И вот официально господствующий класс дворянства — якобы соль земли по своему опыту, назначению,

исторической сути — превращался в бесплодную образованную массу, переставшую быть центром, признанным авторитетом. Оно теряло исторический кругозор, честь, волю и энергию.

Хотелось ли в это Тургеневу поверить? Верить в исчерпанность исторической роли дворянства, отказаться от надежд на ведущую роль тонкого культурного слоя в определении судеб России?

Безусловно, не хотелось. И позднее он будет страстно отстаивать эту ведущую роль тонкого культурного слоя, гуманизма его лучших умов как капитала всего народа. Но сейчас он знает всю горечь сомнения. Его западничество тускнеет. И в «Записках охотника» он с куда большей, чем позднее, пытливостью всматривается в непосредственные мечты, чаяния народа, его быт, вслушивается в сокровенные признания, исповеди, суеверия и догадки о жизни многих людей из народа. И прежде всего — в его песни!

* * *

Пейзаж сельца Колотовка, где в Притынном кабаке развертывается знаменитое состязание певцов в рассказе Тургенева,— как будто прямо соответствует настрою души многих его героев. Сельцо лежит на скате голого холма, *рассеченного* страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый... Какой «неспокойный» пейзаж! Да и этого еще мало... Притынный кабак вообще-то сам по себе «жизни край», место, куда стекается человеческий «щебень» изо всех сословий, тоже разрытых и размытых ударами судеб — находится у самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной... Где поет, забыв обо всем, ища не славы, а торжества песне, рождая в себе и других возвышенную радость, Яшка Турок. У бездны на краю, куда вот-вот сползет сам кабак с обломками сословий, семей, поет русский Гомер!.. И ничего, он не смущается, даже не думает об этом...

И потому не помнит он, Яков Турок, лучший певец в околотке, человек с впалыми щеками, с тонкими, подвижными ноздрями, крайне впечатлительный и страстный, ни о чем... Он не потешать выходит. Даже в своего соперника — рядчика, бойко поглядывающего кругом, беспечно болтающего ногами до состязания,— он впивается глазами скорее с надеждой найти опору себе, своим душевным порывам, чем с мелкой жаждой его неудачи, срыва, оплошности. Когда рядчик — он пел первым — что-то неведомое затронул и в Якове, он радуется искреннее и мучительнее всех. «...У Якова глаза так и

разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался». Песня — забвенье пошлой стороны жизни и приближение к чудесной. После заключительного, замирающего возгласа рядчика именно Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец, молодец!»

Истинный противник, с которым издавна, неосознанно и ненавязчиво, тоскуя, жалуясь или радуясь, билась русская песня — это незримый часто распад нормальных человеческих взаимосвязей, огрубление жизни, сиротство красоты и поэзии в жизни. Песня — это история души народа, ее поэзия. Страшно возникновение в жизни таких «оврагов», куда способны свалиться все прекрасные качества человеческой души!

Но именно в Колотовке и вспыхивал нередко своеобразный протест против «оврага», тоска о несбывшемся, жажда раздвинуть стены, изгнать тесноту! Именно поэтому русская песня, с ее «интонацией вздоха» (Шаляпин), с ее стремлением душу рассказать, даже излить, оставалась загадкой для самих исполнителей, в сущности творцов ее по согласию, по воле народа. «Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны»,— писал Гоголь.

И редкую верность этой судьбе, последовательность в долгой борьбе, вернее, воспитательной «работе» хранила народная песня. Она действительно начинала свой труд часто там, куда не внести, не оскорбив достоинства, никакое иное искусство,— в кабаке, трактире. Она рождалась и в ином «притынном» месте, в точке сбора всякого рода разрозненных, завязавших горе непрочной веревочкой людей!

Кого видит в трактире Яков, выйдя на середину зала, открыв свое лицо, бледное, как у мертвого, с едва мерцающими сквозь ресницы глазами?

Здесь есть, конечно, целовальник Николай Иванович, цепкий хозяин, оторвавшийся от земли Хорь, который тоже не спешит радоваться распаду крепостничества. Как бы вдруг потом, утопая среди иного хаоса, не завыть, подобно мужикам в «Нови»: раньше была, мол, «яма глубокая, а теперь — и дна не видать...».

Есть свой Сучок, только грубый, пообтершийся в людях, научившийся хитрить, ловчить, но при всем этом рабски хлопать глазами, «моргать» — этого бывшего крепостного, приказчика так и зовут Моргач.

Есть свой «шут» при кабацких, недолговечных «королях» — Обалдуй, крепостной гуляка, от которого и господа отступи-

лись и на работу никто не взял. Не целый человек, а сущая «дробь» человеческой породы, умеющая только бессмысленно врать, «лотошить» что ни попало.

Есть здесь и душа, которая, может быть, больше всего понимает Якова, нуждается неосознанно в его пении — Дикий Барин. Это загадочный характер, смиренная, утопленная в душе, дикая свирепость, разрушительная сила. От него возьмет свое начало и Герасим в «Муму» (еще более безмолвный и еще более могучий!), и Яков в повести «Постоялый двор». Он знает, как трудно, тревожно для него самого *угрюмо покоить* (прекрасные слова!) какие-то громадные силы... Почему тревожно? «...Как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва»,— очень емко, словно выворачивая из почвы глыбу каким-то непривычно тяжелым для рук вчерашнего элегичного гегельянца рычагом, пишет Тургенев. Дикий Барин — беспризорная, предоставленная самой себе сила, зыбкое равновесие «врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства...».

Это скопление изломанных, выпавших из всех былых взаимосвязей бесприютных и в прошлом и в будущем людей и хочет, хоть на миг, «унести» из пошлой действительности Яков. Из этого душного кабака, куда даже солнечный свет струится «жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла». Он хочет осилить зло одиночества, розни, измельчания — не перекричать, а именно одолеть... «Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось вдруг так грустно, как грустно ангелу на небе»,— говорил о таком вызове Гоголь.

А за стенами кабака — грязная Колотовка с ее оврагом, рвущим надвое холм, улицу... Овраг — хуже реки, ибо тут и моста не наведешь. Скудный выгон, пруд, покрытый гусиным пухом и отороченный каймой из полувысохшей грязи... И бессмысленно-злобный лай собак, до того хриплый и злобный, что, казалось, «у них оторвалась вся внутренность».

Какой предельно «антимузыкальный» пейзаж, подрезающий всякий полет надежд!.. Это не залив Неаполитанский, где все помогает зазвучать музыке.

Пение рядчика — весьма слабое преодоление тесноты и духоты окружающего. Его пение не раздвинуло стен, не увело и мысль и чувство в запредельный мир. Его просят: «Забирай, шельмец! Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погубил ирод твою душу!» Так, проклиная и умоляя, сетуя и требуя, ведут себя люди,

которых сдвинули, слегка вытащили из обыденщины, но оставили без обещанного чуда...

Рядчик — весь от мира сего. Красота его песни — несложная, даже игрушечная, ее достоинства, вокальные возможности певца понятны всем. Здесь песня не уносит в область судьбы, она слишком наглядна, она остается игрой. «Ободренный знаками *всеобщего удовольствия*, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защёлкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом...»

Тургенев прекрасно знает — возможно, не без помощи своего фольклорного наставника П. В. Киреевского — ту песню, которую пел рядчик, лирический тенор:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

Песня эта, как свидетельствует современный музыковед Я. Платек, «начиная с 1770 года неоднократно записывалась разными собирателями». Знает Тургенев и манеру исполнения, с хитроумными вокальными «завитушками», страстью «к вариациям и трелям», манеру внешне блестящего — «кудрявого» пения. «Он уж очень кудряво поет»,— говорят про таких певцов. Здесь очень редко самозабвение, здесь все рассчитано на эффект пассивного слушателя. Это царство зримого, по-своему эстрадного пения.

Песня Якова и его манера пения — совершенно иные. Уже первый звук ее, «трепещущий и звенящий, неровный и слабый, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату...».

Тургенев не случайно так подробно — он с 1843 года свой человек в стихии оценок ролей, исполнения, среди «рецензий», устных и печатных,— описывает ощущение внутреннего подъема Якова перед началом пения («Яков открыл свое лицо — оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы»). Божество музыки приблизилось к нему, «увело» его в свой мир. И не отпустило до конца песни! Но этот «свой мир» не где-то в поднебесной выишне, а здесь же... «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась...»

Удивительно и то обстоятельство, что Тургенев, поклонник итальянской оперы, вдруг обратился к народной русской песне для сольного исполнения — это совсем иное, чем хор принаряженных под народ пейзан с чувствительными сердцами. Фольклорист Н. М. Лопатин отметил: «...в России есть много

песен таких, которые поются больше в одиночку в силу смысла, своего поэтического значения. Такова песня «Не одна во поле дороженька». В подобных песнях самостоятельное творчество певца едва ли не составляет главного элемента их красоты; певец с могучим, широким голосом, давая полную волю ему, украшает такую песню подголосками, насколько ему позволяют его голосовые средства... оставляя лишь неприкосновенной основу песни — ее склад и лад. Потому, и в силу своего строя, редкая русская песня поется сильными голосами во всех ее куплетах одинаково, если она поется непринужденно, не напоказ, а что называется от души».

Сейчас, когда пение напоказ преобладает над пением от души, когда однообразная эстрадная песня «украшается» не подголосками, а нарядом певца, телодвижениями, светом, обстановкой зала, самим помещением, трудно даже вообразить всю силу устремленности Якова именно к тексту, к смыслу песни-судьбы! Трагический смысл песни (не слов, не текста, как мы сейчас говорим!), встречи, разлуки, образ всей «ломаемой» судьбой жизни человека волнует певца: он сам печалится *той* же печалью, плачет *той* же слезой! Душа — живое тело, ее терзания как будто стыдятся чужих глаз, они то уходят в сердечную глубину, то цепляются за первых советчиков, помощников из мира природы, дома, полевой дороженьки. *Им* можно душу рассказать! Они «промолчат», но поймут... А нести свое горе в толпу, на показ, на обсуждение, устраивать театр из этого?.. Есть какой-то своеобразный аристократизм народной песни в том, что лишь отдельной душе исповедуется умирающий в степи ямщик («ты, товарищ мой...»), что лишь трагический случай, горечь муки вырывают эти исповеди.

О чем пел Яков Турок в любовной, «прощальной», по определению Ап. Григорьева, песне?

Не одна-то не одна во поле дороженька,
        Не одна пролегала,
Что не травушкой, не муравушкой
        И — она уростала,
Частым ельничком, горьким осинничком
        Ее заломало,
Что нельзя-то, нельзя к любушке-сударушке,
        Нельзя в гости ехать.
Хоть поеду, поеду, к любушке-сударушке,
        Я любить не стану;
Да хоть и буду сударушку любить,
        Ночевать не буду.
Хоть и буду я ночевать,
        А я спать не лягу;
Хоть и лягу спать,
        Обнимать не буду;

Хоть и буду обнимать,
Целовать не стану!
Что не травушка не муравушка
Мой двор уростает;
Горьким лопушничком
Мой двор устилает!..

О какой-то редкой высоте нравственных требований, запросов совести, о непрощенной вине и муке этого «непрощения» — об оттенках муки и пел Яков! — говорит эта песня. «Мой двор», зарастающий горьким лопушничком, посыпаемый с вечера снежками, которые «ко белу свету призавъяли»,— это душа, следящая за тем, как вымирают в ней же лучшие воспоминания, душа, протестующая против этого. Душа эта не знает легких «замен», сударушка, которую она так обиженно и нежно — все еще нежно! — отвергает, останется тем не менее единственной, неповторимой. Привкус страдания отныне войдет в состав всех эмоций человека.

Тургенев не сразу «нашел» для Якова песню. Вначале герой пел — и «Современник» напечатал рассказ с этой песней — несколько более задорную песню, хотя и в ней шла речь о разлуке.

При долинушке стояла, я калинушку ломала...
Я калинушку ломала, в пучочки вязала.

Воздействие «старой манеры» — и проще говоря, некоторой ориентировки на патентованные образцы, образы западноевропейской классики — все-таки сказывалось. И в «Хоре и Калиныче» было сравнение: «Словом, Хорь походил более на Гете, Калиныч — на Шиллера». Вне рассказа «Певцы» осталось не радующее пояснение к нему: «Там (в кабачке.— *В. Ч.*) было много оригинальных личностей, которые я пытался зарисовать a la Teniers...» Конечно же, это писалось Полине Виардо. Привычка, весьма огорчительная, хоть и понятная,— примерять некий уважаемый европейский эталон к самобытному русскому явлению и уж потом убеждать в ценности русского творения далекую собеседницу! — сохранится не только при оценке оригинальных личностей кабачка. Явится много лет спустя Модест Мусоргский и...

«Мусоргский несколько напоминает мне Глинку; только нос у него совершенно красный (к сожалению, он пьет), глаза тусклые, но красивые,— пишет он П. Виардо уже 22 мая 1874 года, прослушав партию Варлаама.— Мне он понравился: держит себя непринужденно, и не фразер. Он сыграл нам интродукцию к своей второй опере. Это несколько в вагнеровском духе, но красиво и хватает за душу. Вперед, вперед, господа русские!!!»

Конечно, не надо забывать, что пишется все это иностранке, для ее понимания. Эталоны для сравнений должны быть ей понятны. Но этой же жаждой уподобления Теньеру объясняется и не совсем удачный выбор первой песни в «Певцах»: если пишешь, равняясь на старых фламандцев, на образы Гете, то так ли важна была такая мелочь, такая подробность?

В. А. Инсарский, знаток народной песни, автор книги мемуаров «Половодье», объяснил Тургеневу его «вокальный промах». Тургенев прислушался, затем вместе с П. В. Анненковым даже устроил на квартире художника К. А. Горбунова музыкальный вечер, где прозвучала и эта песня о дороженьке и еще одна — «Ох ты, степь моя, степь Моздокская». Песню «Не одна-то во поле дороженька пролегала» исполнил К. А. Горбунов — человек чисто русский, с открытой душой, сохранивший в пении народную удаль...

Сколько своих даров посылала Россия создателю «Записок охотника»! К счастью, эти дары не были чем то внешним для западника Тургенева: они с детства жили в его душе, обострили чуткость ко всему родному...

Эта чуткость вновь выручила Тургенева. Углубляя и характер Якова Турка, и смысл состязания, он и нашел песню, несущую безотчетное чувство простора, созданную как бы не с пером в руках, не на бумаге, а в душе народа. Больше грусти — больше силы, света, сильнее протест души против всего мелкого и пошлого! «Тот не русский,— говорил Гоголь,— кто не переживал странного волнения и упрека при звуках заунывной народной песни».

Эта песня, несущая и неподдельную, глубокую страстность, и одновременно печальная, связанная с образом русского простора, господствует над душами, срывает горы злобы, напоминает даже опустошенным людям об утраченном, о волшебном мире сказки, о «Шехерезаде человеческой жизни» (С. Т. Аксаков). Исчезают на миг стены кабака, воображение поющего наталкивается на зримый образ: видится плоский песчаный берег моря, большая белая чайка... Но ничто «предельное», «конечное» не может связать, остановить, закрепить содержание песни! И как легкий сон уносится и это видение — море и чайка...

«Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипели на сердце и поднимались к глазам слезы...»

* * *

...Многие характеры в «Записках охотника» часто перекликаются друг с другом, они, в сущности, взаимосвязаны по законам притяжения или отталкивания. Слишком многое в России тех лет ломалось, что-то, народившись или воскреснув, «осматривалось» вокруг, ища души родной. Все здоровое, наделенное проблеском сознания, стремилось вперед. Но куда? Стена крепостничества, хоть и рыхлая, зияющая просветами, еще сковывала всех. Ветры сталкивались, теплые и холодные,— столкновение рождало туманы, сумрак, ненастье.

Что такое вместе взятые «Бежин луг» и «Гамлет Щигровского уезда» как не маленькая новеллистическая дилогия, стянутая воедино по законам противопоставления?

«Бежин луг» — это поэма детства, апофеоз цельности, чистоты, наивности, единства человека и природы. Гамма бытия человеческого начинается здесь с самой «чистой» ноты. Дар свободной, непринужденной жизни — высший дар человеку. И рефлектирующее сознание — им наделен автор-созерцатель — где-то сбоку того «костра», что собрал в ночное детей и лошадей, вне беседы и фантазий детей. Никакого вгрызания в суеверие, в наивность, тем более насмешек над этим нет. И прекрасно! Для этих детей природы так называемый страшный «тот свет» не за тридевять земель и границы между умершими и еще живыми почти нечувствительны, размыты. По существу, каждый человек, любое бытие для них несет в себе самом *по-ту-светную* сторону, носит ее с собою, живет в ней.

Чтобы войти в это царство наивности, герою-повествователю надо было именно «заблудиться»... И где заблудиться — в среднерусской равнине?

«Да где же это я?» — повторил я... Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней,— казалось, они сползлись туда для *тайного совещания*». (Подч. мной.— *В. Ч.*)

Это потрясение, напоминание о величии природы, ее стихий, почти необходимо, чтобы войти, убрав куда-то гордыню ума, в мир детей. Дети в «Бежином луге» и рассказы их, полная убежденность, что все невероятное «так и было», так и есть. Это словно вести из какого-то далекого царства, того царства, которое не сочинишь, не сделаешь нарочито.

Много лет спустя Тургенев создаст целую группу «таинственных повестей». В них много своей прелести, это поистине «струна», которая «звенит в тумане». Но необходимая наив-

ность для волшебства будет уже на излете. И в известной мере прав критик Л. Пумпянский, говоривший, что волшебства в них уже маловато... И почему же? Из-за слишком делового использования в повестях тогдашних модных учений, поветрий, связанных со спиритизмом, гипнозом и т. п.

В «Бежином луге» — именно волшебство, поэзия наивности, полного единства знания и воображения. Величайшей тактичностью ученейшего писателя было то, что он ничем не смутил, не спугнул эту недолгую гостью среди детей — сказку, отошел со всем своим умом куда-то в сторонку.

И сколько поколений читателей дышали этой поэзией доверчивого отношения к природе, насыщались шепотом «леших», знаками «водяных». Были втянуты в игру с «нечистой» силой, без натуги «понимаемой» Павлушей и Гришей. Даже Ваня, крохотное крестьянское дитя, тоже подало раз голосок. И его никогда не забудешь!

«Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,— раздался вдруг детский голос Вани,— гляньте на божьи звездочки,— что пчелки роятся!»

«Нечистая сила» для детей — это разъяснение многих недоумений и вопросов, рожденных в человеческой душе. Взрослый человек не может увидеть «по-ту-светное»: для этого ему надо, видимо, умереть... Для детей в «Бежином луге» все гораздо проще: как-то просто «гуляет» старый барин в Варнавицком овраге, гуляет, да еще ищет разрыв-травы.

— Давит, говорит, могила, давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

Заплутался плотник Гаврила в лесу, зазевался, сбился с пути в ночное время — тут его и поджидает «русалка», «портит» окончательно. И нет никакой цели у этого колдовства: русалка наделена талантом игры, озорства, добродушной жажды потешиться, но не губить ничьей души. «Вот зовет она его, и такая сама светленькая, беленькая, сидит на ветке, словно пташка какая или пескарь, а то так карась бывает такой беловатый, серебряный. Гаврило-то, плотник, так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет, да его все к себе эдак рукой зовет»,— рассказывает Костя.

С русалками, лешими, водяными, даже нестрашными, мудрено столковаться, трудно поладить, у них свой норов, их «положено» страшиться, «обмирать» при их виде. Но в сущности эти тургеневские «бесы» — после гоголевских ведьм, призраков, на фоне властных «чертей» и «ангелов» Достоевского — действительно выглядят почти ручными, добрыми. Они прописаны в слишком простых избах, на пыльных чердаках, в тихих речках и слишком приветливых дубравах.

Боязнь лишь обостряет у детей радость восприятия леса, реки, умножает силу зрения, слуха, вообще делает мир богаче, затейливей. И потому сразу после бесхитростного рассказа Кости эта «нечисть», лесная и водяная, не ко времени помянутая, как бы подает весть о себе. «Мы здесь», «мы здесь» трубят эти русалки, домовые, «тришки-разбойники», все добрые духи степи и леса:

«Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец, как бы замирая. Прислушаешься,— и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке...»

В этом мире простой барашек вдруг, оскалив зубы, отвечает: «...бяша, бяша...» Голубь, ударившись об отражение света от костра, «пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крыльями...». Из бучила (болота) слышатся голоса. А леший в лесу, обходящий свои владения, поскольку он немой, в ладоши хлопает да трещит в деревьях, вихрем проносится по опушке. Вздумаешь «лесовать» (охотиться на лесного зверя) — положи в дар лешему хотя бы кусок хлеба или блин, положи его на пень, посолив сверху. Водяной «может» вдруг схватить человека за руку и утянуть к себе.

Дети — вещие души, удивленно открытые глаза народа. У них на языке то, что на уме и в нравственном чувстве (и с древнейших времен!) у их отцов, дедов, многих поколений пахарей, охотников. «Следуя внушениям метафорического языка и тесно связанных с ним первобытных воззрений на мать-природу, древний человек почти не знал неодушевленных предметов; всюду находил он и разум, и чувство, и волю. В шуме лесов, в шелесте листьев ему слышались те загадочные разговоры, которые ведут между собою деревья; в треске сломленной ветки, в скрипе расколотого дерева он узнавал болезненные стоны, в увядании — неутешное горе и так далее»,— писал А. Н. Афанасьев в одной из интереснейших глав «Древо жизни и лесные духи» своего труда «Поэтические воззрения славян на природу».

Тургеневские Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня непроизвольно, мягко, с непередаваемым народным чувством «вписаны» в этот одушевленный мир, в царство природы-матери, в окружение лесных гениев, сведенных на землю,

наделенных бытовыми чертами. Умолкла ироническая струна, нет нарочитого снисхождения к детской наивности, неведомо откуда явилось точное знание — лешие и русалки именно «хохочут», заманивая путника в дебри, чтобы затем «защекотать», «заласкать» его! И когда кончается волшебная ночь на Бежином лугу, когда рассвет разгоняет летучие тени, читатель ощущает, как прекрасно было сновидение, набросанное поэтичной кистью... Дары этой ночи стали неразменным богатством многих поколений.

Неожиданному на первый взгляд преклонению ученейшего гегельянца перед призрачной, явно не просветленной «абсолютным духом» деревенской картинкой, идиллией детства, своеобразно соответствует в «Записках охотника» другая знаменитая новелла «Гамлет Щигровского уезда». Соответствует неожиданностью обличения обособленных кружков, «кипятильников красноречия», неожиданностью обличения именно Тургеневым летописцем культурного слоя, духовных дерзаний Рудиных и Лаврецких.

Это первый, пожалуй, Гамлет в тургеневском творчестве. Позднее, в 1860 году, явится Гамлет в известной статье «Гамлет и Дон-Кихот». А в 1876 году в романе «Новь» очередной русский Гамлет — Нежданов будет горестно вопрошать усыновившуюся его тень: «О Гамлет, Гамлет, принц датский, как выйти из твоей тени? Как перестать подражать тебе во всем, даже в позорном наслаждении самобичевания?»

Уездный Гамлет — лицо и комическое и трагическое одновременно. Комично и одновременно оскорбительно само его положение умной ненужности среди огрузневших от обильной трапезы гостей богача Н. В. Киреевского, одного из былых чудаков Орловской губернии. До его, Гамлета, образованья, до его ума среди царства жующих и веселящихся гостей, среди пестроты накрахмаленных манишек, необъятных жилетов, рюмок, закусок никому нет дела. Сборы в отъезжее поле, звуки охотничьих рогов, запахи варева, бурлящего в котлах, на 150 собак, даже похороны хозяином любимой «псицы» — это живописное веселье, с примесью самодурства, делает излишним саму науку. Но стремление найти истинный авторитет, образец в деле самосозидания, наконец, жажда знаний именно в этих-то условиях и вспыхивали наиболее ярко и... и удовлетворялись часто уродливейшим образом, с той печальной в русском человеке страстностью идолопоклонства, о которой позднее скажет А. И. Герцен: «Дома им (молодым людям.— *В. Ч.*) нечего было уважать, кроме грубой силы и ее внешних знаков, чинов и орденов. Поэтому молодой русский, как только переходил границу, был поражен острым идолопоклонст-

зом. Он впадал в экстаз пред всеми людьми и пред всеми вещами, пред швейцарами и философией Гегеля».

Сколько таких состояний экстаза — в Италии, в Берлине! — пережил и сам Тургенев-студент... Вся исповедь героя со страдальческим обликом — грустная цепочка воспоминаний писателя о теневой стороне невиданного по быстроте, бессистемного освоения горсткой образованных дворян, отчасти разночинцев, всего, что создал «сумрачный германский гений» и «острый галльский смысл».

Тургенев, создавая рассказ, мог припомнить «крайности», «отходы» исканий не только Белинского (у великого критика они искупались приобретениями, «приходами»), но и некоторых второстепенных членов московских кружков 30-х годов. Таким же Гамлетом, источенным сомнениями, бездеятельностью, «Колумбом без Америки и корабля», по определению Герцена, был в Москве 30-х годов молодой московский гегельянец Н. И. Сазонов. Даже попав во Францию, он сохранил все старые привычки к гамлетовскому бездействию. Герцена парижское безделье Сазонова возмущало. «Вы живете здесь годы, на воле, без гнетущей крайности, чего же вам еще? — писал он в очерке «Русские тени».— *Положения создаются, силы заставляют себя признать, втесняют себя*... Вы живете в каком-то бреду и лунатизме». (Выделено мной.— *В. Ч.*)

Тургеневский Гамлет — не только пленник «уезда», в котором его нежная нервная организация, «мыслительная сила» попросту не нужны. Он к тому же — целиком во власти прочитанных книг, он, по определению Дружинина, «отуманен» чужеземной мудростью:

«Живу я тоже совсем в подражание разным мною изученным сочинителям, в поте лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не то долг, не то урок,— кто его разберет!»

Стремление изъясняться по книге, любить по Гегелю или Фихте, мечтать по Шеллингу приводило к болезненному обезличиванию человека. Со своим умом и серьезным образованием Гамлет Щигровского уезда превращался в своем уезде в ту же привозную «тирольскую корову» — вечно яловую — или в бездействующую молотилку. Бессмыслица нависает над каждым днем его жизни словно рок. Ослабело в Гамлете даже чувство Родины — его заменила какая-то космополитическая мечтательность. Достаточно небольшого потрясения — и подобный беспочвенный мечтатель превратится в скитальца. Тургеневский Гамлет предвидит это: «Что мне в том, что у тебя голова велика и вместительна и что понимаешь ты все,

много знаешь, за веком следишь,— да своего-то, особенного, собственного, у тебя ничего нету! Одним складочным местом общих мест на свете больше...»

Порой Тургенев почти смыкается с К. С. Аксаковым, писавшим о «людях-обезьянах», о неприятной породе интеллигентов на Руси, которые только от книги ожидают советов и рекомендаций. Такой интеллигент не начнет изучать даже отечественную историю, что-то дорогое в ней, ему близкое, «пока ни один умница в книгу не вписал...». Эта строка Тургенева звучит почти по-аксаковски! Но вывод из рассказа все же иной: мы слышим явный упрек российской действительности, деспотизму Николая I — в них истоки очередного «горя от ума», трагедии умных ненужностей.

Русский Гамлет особенно одинок в мире «Записок охотника». Одинок и растерян Бирюк в своем лесу, в соседней деревне, где «вор на воре». Непонятен окружающим и однодворец Овсяников, почитающий за грех продавать хлеб. Но Гамлет лишен даже скромных утешений, ведомых Бирюку, «должность свою справляющему». Он лишний в настоящем времени, он не будет готов и для будущего. Существенна, значима одна жалоба, горькая печаль Гамлета, живущий в нем «гул подавленных желаний»: они говорят о катастрофическом неблагополучии крепостнической эпохи...

* * *

Объективное значение «Записок охотника» определилось не сразу. Критики разных направлений находили в них каждый «свое». Близость к «натуральной школе», к гоголевской «Шинели» («все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича»,— писал Н. Г. Чернышевский о повестях из народного быта Григоровича и Тургенева) несколько скрывала оригинальность поэмы Тургенева.

Только в проницательнейших суждениях А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. И. Тютчева, Л. Н. Толстого, высказанных в разное время, независимо друг от друга, определен был масштаб творческого подвига Тургенева. Свершенного к тому же с редким артистизмом, в состоянии как будто «полуработы»! «Записки охотника» для Ф. И. Тютчева — это полное равновесие двух, трудно сочетаемых элементов: сочувствия к человеку и артистического чувства. Для Герцена — изящный, поэтически написанный обвинительный акт против крепостничества. Л. Н. Толстой, как и М. Е. Салтыков-Щедрин, резко отделив «Записки охотника» от всего, что написал о мужиках-горемыках Д. В. Григорович, сделал вывод, предвещав-

ший позднейший перелом в его сознании: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное».

Этого вывода — деспотичного приглашения идеализировать мужика, учиться, если угодно, у крестьянских детей!— Тургенев не примет. Он осознавал, что в «Записках охотника» нет окончательных решений. «Иные звуки точно верны и не фальшивы — и эти-то звуки спасут всю книгу»,— писал Тургенев П. В. Анненкову 14—18 сентября 1852 года о «Записках охотника». Эти звуки начали «спасать» книгу уже во время реакции, наступившей в России после 1848 года, когда решение даже назревших вопросов было отодвинуто на неопределенное будущее. У «Записок охотника», как оказалось, была своя «настойчивость», своя сила гнева и печали, развернувшаяся после Крымской войны, в годы подготовки крестьянской реформы. Книга говорила о том, что великий народ, полный сил, неразвернувшихся дарований, находится (так неестественно для XIX века!) во власти темных, зачастую варварских законов, что крепостничество, удобное чиновникам (касте «внутренних завоевателей» страны), вело к оскудению жизни... Всем идеалистам в любви к народу, творцам легенд о нем, пророчеств о его судьбе поэма громко и внятно говорила то, что автор «Записок охотника» написал К. С. Аксакову в октябре 1852 года: «Я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где вы находите успокоение и прибежище эпоса. По моему мнению, трагическая сторона народной жизни — не одного нашего народа — каждого,— ускользает от вас, между тем как самые наши песни громко говорят о ней».

* * *

Тургенев вернулся в Россию в июне 1850 года. И сразу же принужден был играть противную ему роль резонера в финальном акте мучительной драмы всей жизни Варвары Петровны.

Она давно уже не присылала ему денег. Брат его Николай Сергеевич, семейный человек, вышедший в отставку, в расчете на помощь матери, был в еще более бедственном положении. Маленькую Пелагею, дочь Тургенева, которой было семь лет, тоже превратили в бедное и запуганное дитя.

— Вглядитесь хорошенько в эту девочку,— порой приглашала Варвара Петровна гостей к бесцеремонной забаве.— Нука, на кого она похожа?

Смущенные гости чаще всего отводили глаза. А Варвара Петровна с саркастической улыбкой поясняла:

— Как вы не видите сходства? Да ведь это вылитое лицо нашего Ивана!

К счастью или беде, но Пелагею, по совету Полины Виардо, удалось в октябре 1850 года отправить во Францию. «В России никакое образование,— пояснила, видимо, деловая «Розина» — не в силах вывести девушек из фальшивого положения незаконных детей. Во Франции — другое дело...» Так позднее изложил соображения П. Виардо А. Фет.

Варвару Петровну, бесспорно, мучило и угнетало то рабство, в которое попадали, по ее мнению, оба сына: один — уже женатый на ревельской немке А. Я. Шварц, другой — роковым образом привязанный к проклятой «цыганке»... В прозорливости Варваре Петровне не откажешь... Едва она умерла, как ненавистная ей немка, А. Я. Шварц, примчалась в Спасское и... «Забрала с собой все серебро, все драгоценности его покойной матери и увезла их. Когда вернулся Тургенев, он не нашел в своем хозяйстве ни одной серебряной ложки»,— вспоминал поэт Я. П. Полонский. Да и при главном разделе, уловив, видимо, как дорого Ивану Сергеевичу Спасское, Николай Сергеевич, игрушка жены, легко сумел заполучить все устроенные имения, все движимое имущество и, уж конечно, бриллианты, жемчуг, золото, бронзу, фарфор, а также конский завод, экипажи, дорогую мебель, зеркала, даже фамильные портреты...

В сущности, так одинок был Тургенев даже среди родных! Это еще одно обстоятельство, привязывавшее его к семье Полины Виардо.

К концу жизни Н. С. Тургенев вообще превратился в зауряднейшего стяжателя: даже с родного брата он брал, по слухам, в случае займа... проценты. Его достояние оценивалось к моменту смерти (1879) в 2 миллиона рублей. Из него Иван Сергеевич с трудом унаследовал лишь одну двадцатую часть...

Было от чего содрогнуться в могиле излишне прозорливой Варваре Петровне и много лет спустя, когда потребовалось приданное дочерям Полины Виардо... Письма И. С. Тургенева 1881 года управляющему Н. А. Щепкину полны просьб — продать то Кадное, то Холодово, то Тапки... Все шло «в общий котел» — и дома Виардо, и дочерей ее — чаще всего в виде ценных бумаг на десятки тысяч франков... И шло без всяких видимых просьб с ее стороны, с немалой благодарностью Тургенева за мучительно отвоеванное место на краешке чужого гнезда...

Варвара Петровна умерла в Москве в 1850 году, в том состоянии, в каком умер пушкинский Скупой рыцарь: все ее по-

мыслы сошлись в одну точку — распродать имения, сжечь их. Ее не покидала одна мысль, почти маниакальная — может быть, великий наставник Нужда преуспеет больше ее, вырвет маниловца, баловня Ивана, из опасной, даже унизительной, с ее точки зрения, жизненной колеи... На похороны матери — на кладбище Донского монастыря — Иван Сергеевич приехать не успел.

* * *

21 февраля 1852 года — в этот год «Записки охотника» вышли отдельной книгой — в Москве умер Гоголь. И. И. Панаев, соредактор некрасовского «Современника», принес, порхая и скользя, эту печальную весть на заседание в зале Дворянского собрания. Он с легкой улыбочкой, значительно-равнодушным, доверительным тоном добавил: «Все бумаги сжег — да помер...»

Первые попытки осмыслить судьбу Гоголя, определить тяжесть *личной* утраты — в письмах Тургенева.

«Я чувствую, что в *этой* смерти *этого* человека кроется более, чем кажется с первого взгляда — и мне хочется проникнуть в эту грозную и горестную тайну... Мне, право, кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой — и я иду на дно, застывая и немея», — пишет Тургенев Е. М. Феоктистову (26 февраля 1852 г.).

Чуть позднее он вновь повторит мысль о тайне смерти, муках Гоголя: «Это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать... но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает... Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе стоят к ее недрам — ни одному человеку, самому сильному духу не выдержать в себе борьбу целого народа — и Гоголь погиб!»

Не один ужас крепостного права, не одну темноту бюрократических дебрей, в которых ловко бегают чичиковы, чиновные и отставные, где «живут», долго числясь в списках, «мертвые души» собакевичей, маниловых, коробочек, изобличал Гоголь. Страшно всеобщее бессилие гуманистической мысли изменить мертвенный ход жизни, преодолеть изнеможение духа. Гоголь не знал, как выполнить обещанное: обратить ничтожество и самодовольную маниловщину в исполненное веры и творчества бытие? Он избрал путь невероятный, фантастический... Только силой веры, именем Христа — таков был последний, мучительный и трагический, вывод Гоголя, вывод, толкнувший его на отречение от всего, даже от истины своего таланта. «...Писал не то, что могло понравиться, и даже не то, что

было легче для его таланта,— писал Тургеневу Н. А. Некрасов,— а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества... каково самоотвержение!.. это благородная и в русском мире самая гуманная личность».

Тургенев, безусловно, знал о том, как относился к нему Гоголь. Еще в 1847 году Гоголь писал о нем П. В. Анненкову: «Талант в нем *замечательный* и обещает большую деятельность в будущем». Месяца за два до этого Гоголь говорил: «Во всей теперешней литературе больше всех таланту у Тургенева».

На склоне лет в 1881 году Тургеневу был задан вопрос — в связи с созданием памятника Гоголю в Нежине — что бы он написал на переднем фасе памятника? Он бурно запротестовал против всякой, измельчающей образ Гоголя декоративности, «описательности»: «Все, что можно бы допустить, это подходящий короткий *текст* под именем... Одно имя Гоголя достаточно говорит само за себя». (Из письма П. А. Кочубею 7 мая 1881 г.) Комитет по сооружению памятника внял совету Тургенева и избрал такой короткий текст: «Определено мне чудною властью озирать жизнь сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Может быть, Тургенев вспомнил в этот миг ту чудную власть, которую Гоголь обрел и над ним, подвигнув на новый путь, заставив искать более масштабных, эпических художественных решений? Искать их вне традиций «натуральной школы?» Чем иным определено то неожиданное на первый взгляд для создателя «Записок охотника» решение, к которому уже в 1853 году пришел будущий создатель «Рудина»? Невероятно, но именно Тургенев в мае 1853 года написал П. В. Анненкову о своем решении искать новых героев, искать их с гоголевским подвижничеством: «Мужики совсем одолели нас в литературе. Оно бы ничего; но я начинаю подозревать, что мы, так много возившиеся с ними, все-таки ничего в них не смыслим. Притом все это — по известным причинам — начинает получать такой идиллический колорит... Пора мужичков в отставку».

Это решение («Пора мужичков в отставку»), при всей шутливости тона, при наличии утончений (возня с ними иных просвещенных людей, живущих вне их бед, приобретает «идиллический колорит»), — на первый взгляд кажется невероятным колебанием маятника. Почему «крестьянская тема», крестьянский вопрос — как навязчивая мера всего, как неутомимая нравственная цензура, якобы связывающая личные искания,— вдруг показалась Тургеневу возней с объектами, в которых «мы ничего не смыслим»? Не предугадал ли Турге-

нев, с его редкой чуткостью к важным «моментам» общественной жизни, своеобразной направленческой горячки, жажды скоротечного успеха иных малодаровитых людей с их преувеличенным вниманием к олитературенному «меньшому брату», мужику? И в обилии надежд, возлагаемых на него (мужика.— *В. Ч.*), часто невежественного и приниженного, Тургенев почувствовал своеобразную фальшь... Есть более великие задачи, чем создание очерков «с тенденцией». Некрасов, как редактор, кстати говоря, тоже изнывал от изобилия поспешно создаваемых произведений «с направлением», эксплуатировавших успех «Записок охотника».

— С направлением-то вещей — сколько угодно, а чтобы с талантом — что-то не слыхать...

Во всяком случае, вместо дальнейшего углубления в «крестьянский вопрос», вместо новых постижений коренных свойств народной психологии, нравственных стихий безмолвного великана — народа, всероссийского сфинкса, последовал резкий поворот. Эдип-Тургенев замер перед сфинксом и... свернул на другую дорогу! Исчезли охотничьи проселки, изба Бирюка, пасека Калиныча, двор Хоря, трактиры, крестьянские дети. Произошло в известном смысле, сужение, концентрация интересов писателя на иных вопросах. Внимание писателя, еще не создавшего «Рудина» и «Дворянского гнезда», уже в драматургии будет приковано к узкому слою людей просвещенного слоя.

Бесспорно, все стихии непосредственной народной жизни будут и впредь глубоко интересны Тургеневу. Наряду с вариантами характера «лишнего человека» явится и кроткий крестьянин Аким, идущий в жизни «мимо зла», не мстя ему, в «Постоялом дворе» (1853). Мелькнет разбойник, лихой человек, колдун Ефим в рассказе «Поездка в Полесье» (1857), единственно близкое природе существо. И все же в процессе выбора героя, способного выразить момент движения в обществе, осмыслить некоторые объективные закономерности духовного развития огромной страны в переломный час ее истории, он не стал навязывать крестьянским героям, вообще крестьянству, непосильной для него роли главного учителя и наставника и просвещенного слоя. Не стал преувеличивать и его революционность, и его пророческие возможности. Своих каратаевых и мужиков Мареев Тургенев не искал.

Важно, на наш взгляд, подчеркнуть смысл этого решения: Тургенев-Эдип, даже и отойдя от своего сфинкса после «Записок охотника», вовсе не боролся с идеей народности, он не отрицал значения деяний самих масс. В сущности, за плечами, за спиной его «лишних людей», и прежде всего Рудина, тря-

сущегося в запыленном сюртуке по российским дорогам, за каждым душевным движением Лежнева или Лаврецкого — будет постоянно ощущаться Россия. Огромная страна закрепощенных людей, скованных энергией, придавленных талантов, страна, мучительно вырабатывающая правильную революционную идею. Каждый из «лишних людей» мог бы, пожалуй, сказать: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится!» («Рудин»).

...Небольшой некролог — в сущности, патетический монолог о горьком праве, данном смертью, причислить Гоголя к великим людям России — Тургенев написал среди чиновничьего равнодушия к Гоголю. Лишь Некрасов, написавший стихотворение «Блажен незлобивый поэт», был на равной с Тургеневым высоте скорби...

Но в «Петербургских ведомостях» некролог не был опубликован: вмешалась цензура... На слове «великий» чиновники, имевшие свое представление о величии, попросту поперхнулись.

— Да на каком же он поприще велик?

Поприща для взлета вне департамента они искренне не видели, великим «в частной жизни» быть нельзя...

Вероятно, не ведая, с каким обидчивым бюрократическим зверем, не любящим, когда его обходят, он имеет дело, Тургенев переслал некролог в Москву. Здесь благодаря усердию В. П. Боткина и Е. М. Феоктистова короткая статейка появилась, пройдя Московский цензурный комитет, 13 марта 1852 года в «Московских ведомостях» за подписью «Т...в».

Честь русской литературы, не отмолчавшейся когда-то в миг смерти Пушкина, и на сей раз была спасена, но излишне «пылкий и предприимчивый», как оценил Тургенева генерал Л. В. Дубельт, был арестован за ослушание и вскоре выслан в Спасское под присмотр полиции. Это случилось 16 апреля 1852 года.

Наказание — месячное пребывание на «съезжей» — оказалось, правда, весьма нестрогим. Частный пристав, поклонник автора «Записок охотника», поместил его в чистую, светлую и просторную горницу, где он мог писать и где он создал «Муму»... Некрасов и Панаев, вначале сильно встревоженные, знавшие, как хрупок делается сребровл.осый великан Тургенев в житейской грязи и смуте, как тошнит его от одного вида демократического таракана, шевелящего усами в щели, успокоились: арестанта навещали даже люди из высшего круга! Тургенев к этому времени был знаком с Софьей Ивановной

Мещерской, близкой к придворным кругам, к кругу С. Н. Карамзиной, дочери историка, и с начинающим поэтом А. К. Толстым, церемониймейстером двора...

«Съезжая» неудобна была только одним: комната Тургенева соседствовала с экзекуционной, где секли нерадивых и вороватых слуг, присылаемых владельцами... Крики секомых и свист розог, звуки, которые Тургенев слушал с содроганием и отвращением,— таков «аккомпанемент» для замечательной повести «Муму».

ФЛИГЕЛЬ ИЗГНАННИКА

...живут стремленья,
И в сердце песнь, и грез душа
полна,
Но, старый друг, нет людям
обновленья,
И жизнь идет, как нить с веретена.

К. Случевский. Осенний мотив

Поломать себя, сбросить с себя разные дрязги, которые большею частью сам тщательно на себя накладываешь — как масло на хлеб,— можно; переменить себя нельзя...

И. С. Тургенев — П. В. Анненкову (24 февраля 1853 г.)

...Следы человеческой жизни глохнут скоро.

Тургенев прибыл в Спасское в мае, когда на сочной зелени парка, на травах, в просторах полей, на свежей воде прудов лежал нежный, неутомляющий свет. Под сводами в аллеях, сомкнувшихся в один бесконечный купол, царил тонкий аромат цветения... «Чары пространства», говоря языком Карамзина, не расточались здесь преградами, теснотой строений и тупиков. А птичье пение? Оно — да только ли пением можно назвать этот треск дроздов, пронзительные выклики кукушек, плач иволги? — сливалось в Спасском в неоглушающий, радостный гул. Прогретая, но еще полная влаги земля опьяняла запахом прелых трав, свежестью молодых всходов.

В доме, утратившем со смертью Варвары Петровны весь давний «жизнеоборот», кружение больших и малых колесиков в ее системе подчинений и послушаний, петербургского изгнанника встретил немного застоявшийся, кисловатый и вялый запах пустующих комнат. Тишина царила в коридорах. Он был не противен, этот запах, не очень уныл. Но слишком уж легко наводил он восприимчивую мысль на грустные воспоминания, быстро приводил в движение спящую энергию памяти...

Странная его молодость — самолюбивая, смутная, полная беспорядочных трудов и особого, как скажет сам Тургенев, «взволнованного бездействия» — отчетливо представала перед ним именно здесь. Представала как нечто отдаленное перед человеком, которому едва исполнилось 34 года!

Сколько утрат, сколько пустот вокруг! Скольких товарищей первых горячих стремлений, свидетелей наивной игры в «онегинство», жажды рисоваться («я-лев»), увлекать даром импровизации, экспромта, уже нет в живых! Станкевич, чей тонкий,

изящный профиль так шел к Риму, к городу, склонному располагать к чудесной меланхолии... «Чудное собрание отживших миров и прелесть соединения их с вечно цветущей природой» — вот что такое Рим для Станкевича и для Гоголя. Он, Станкевич, первый заметил в Тургеневе талант, способный «обновлять людей». Белинский, так остро чувствовавший бесплодность вымышленных упований и золотых снов о России дорогого ему московского «супостата» Константина Аксакова... Гоголь — вечный образец подвижничества... Тургенев беседовал с ним совсем недавно — 20 октября 1851 года. Он был в тот миг раздавлен, потрясен обвинениями друзей в отступничестве, в измене — кому? чему?.. Он беспощадно пробовал объяснить себя, объяснить природу своего лиризма и проповедничества:

— В лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов иных краев. Есть что-то близкое к библейскому одухотворению... к высшему состоянию лиризма, чуждому увлечениям страстным, зачастую темным, хаотичным. Этот лиризм есть взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости...

Тишина для Тургенева — не пустота, не провал в жизни, оглушенной суетой. Тишина течет неслышно, как вода по болотным травам; в молодости это течение неуловимо... Но сейчас, проходя перед старыми портретами в доме, остановясь иногда над прудом, Тургенев слышал это совсем не медленное течение времени. О, жизнь, жизнь, куда уходишь ты так бесследно? Как выскальзываешь из крепко стиснутых рук? И неужели он, уже изрядно уставший, окруженный тенями ушедших спутников юности — это неподвижное и странное нечто — и есть тот живой, беспечный, прежний человек?

Здоровый человек, не склонный мудрить с жизнью, заглядывать в конец «книги жизни», редко задумывается над неизбежным концом своих поспешаний. «Мертвому — рай, живой — дальше играй», — скажет он и на кладбище. Или как любил говорить Тургенев: «Человек умирает, а ногой дрыгает». Но сам-то он то и дело листал книгу своей и чужой жизни и вперед и назад. И что же видел? «Кругом меня все мирные, тихие существования, а как приглядишься — трагическое виднеется в каждом, либо свое, либо наложенное историей, развитием народа», — писал он Е. Е. Ламберт из того же Спасского в иной приезд (14 октября 1859 года).

Сейчас он не сразу и не столь остро стал вглядываться в мирные, тихие существования. Он читает лишь раскрытую страницу жизни, изредка припоминая предшествующее.

«В моей судьбе, особенно теперь, в деревне, я ничего не

вижу ужасного»,— пишет Тургенев вскоре (6 июня 1852 г.) по прибытии в Спасское семье Аксаковых. Он даже и за месячное сидение на «съезжей» благодарен судьбе: «Мне удалось там взглянуть на русского человека со стороны, которая была мне мало знакома до тех пор».

Но впереди была осень, зима, истощение запаса прежних петербургских и московских впечатлений, затухание в памяти музыкальных образов, огней над театральной сценой... Тургенев, изъятый из сферы искусства и жизни, похожей на особый вид театра, быстро терялся, скучнел.

В письме к Луи и Полине Виардо от 1 мая 1852 года, а затем к ней же от 13 октября 1852 года Тургенев уже не боится предстать жалующимся, умоляющим стянуть скрепы его души, укрепить устои трудолюбия. «Моя жизнь кончена, в ней нет больше очарования. Я съел весь свой белый хлеб; будем жевать оставшийся неклеванный...»

Непонимание Тургенева, вечного «жалобщика», встревоженного таким-то затянувшимся своим сиротством, неустроенностью, — в известной мере создано... им же! Он жаждет уединения, но вовсе не одиночества. Его внутренний мир очень богат, но богатство это осознается, «ощущается» им только в достаточно утонченном людском обществе, в пресыщенном духовном веяниями «растворе»! Ему нужна, как ребенку, забота, даже ласка, иначе он замыкается. Даже Н. А. Герцен[1] ощущает: пребывание в обществе такого замкнутого, нераскрытого Тургенева — это тоскливое пребывание в комнате с отсыревшими стенами... Тургенев любит вспоминать, улетать на крыльях памяти и фантазии. Но нежная, зыбкая ткань воспоминания — скажем, о Станкевиче и Белинском, о молодом Бакунине — должна была окрепнуть, вобрать новые «нити», испытаться на прочность не в одиночестве, а перед взыскующим судом друзей, чтобы стать частью материала для создания Рудина. Духовной провинции, с ее сном, с растительной жизнью, с неотличимостью «мертвых» душ от «живых» (по ревизским сказкам), с рабским повторением столичного, Тургенев просто страшится. Он, вероятно, согласился бы с К. Случевским, что

Провинция — огромное беве[2]!
Все тащит в рот и ртом соображает,
И ест упорно, если подмечает
Три важных буквы: С. П. Б.

...Очень скоро, лишенный притока новых духовных впечатлений, Тургенев из Спасского начинает почти умолять супругов

---

[1] Н. А. Герцен — жена А. И. Герцена.
[2] дитя *(англ.)*.

Виардо: «Но для того, чтобы работа была легка, а воспоминания менее горьки, мне нужны ваши письма, с отголосками счастливой, деятельной жизни, с запахом солнца и поэзии, который они ко мне приносят... Я чувствую, как жизнь моя уходит капля за каплей, словно вода из полузакрытого крана...»

Счастливая жизнь — деятельная жизнь... И хотя тягучи, длинны осенние вечера в Спасском, нет музыки — Тургенев возвращается к тому, что он назвал «пеклеванным хлебом». К раздумьям о новой, желанной манере, в которой будут доминировать «простота, спокойствие, ясность линий». Но этого он еще не находит в себе. «Боюсь судьбы Григоровича, который теперь с неутомимой деятельностью разливает подонки своего таланта на такие сороковые бочки пресной воды, каковы его «Проселочные дороги»,— пишет он П. В. Анненкову в сентябре 1852 года.

* * *

Опыт удач и неудач... Чужих и своих...

Как лучше поразмышлять о собственных путях-дорогах? Конечно же, над журнальной или книжной страницей, постигая опыт удач и неудач других.

Тургенев читает много. Читает заинтересованно, даже пристрастно, помня, что и в нем самом живут уже стихии будущего романа. «Я один из писателей междуцарствия — эпохи между Гоголем и будущим главою»,— так осознает Тургенев себя. Но где же, где в эпоху междуцарствия загоревшиеся маяки, предвещающие будущее? Чей успех поучителен? Тургенев вопрошает время... И с этих позиций, отнюдь не эгоистических, он исследует роман Е. Тур «Племянница», продолжает обдумывать «многочитанную и многолюбимую» книгу С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника», размышляет над пьесой А. Н. Островского «Бедная невеста». Тургенев пишет рецензии на эти произведения, они глубоки, своеобразны,— но кажется, что он раздумывает вслух о... своих трудностях и надеждах! Эти муки междуцарствия — ведь молодой Толстой еще служит на Кавказе, Достоевский сослан по делу петрашевцев в ссылку! — по-своему драматичны, «царственны».

В письмах к К. С. Аксакову, П. В. Анненкову Тургенев упрямо убеждает себя: «Надобно пойти другой дорогой — надобно найти ее — и раскланяться навсегда с старой манерой. Довольно я старался извлекать из людских характеров разводные эссенции... чтобы влить их потом в маленькие скляночки... Способен ли я к чему-нибудь большому, спокойному! Дадутся

ли мне простые, ясные линии...» (П. В. Анненкову, 28 октября 1852 г.).

Милый «эгоизм» всей критики Тургенева, как раз и состоял в том, что, анализируя произведения других, он представлял дело таким образом, как будто все живут тоской междуцарствия! И графиня Салиас де Турнемир, сестра драматурга А. В. Сухово-Кобылина, писавшая под псевдонимом Е. Тур, и А. Н. Островский, и С. Т. Аксаков, лишь к старости, под влиянием сыновей, бросивший театральные увлечения и «внезапно» сделавшийся классиком русской прозы — все как будто решают... его же, тургеневские, задачи!

Тургенев не замечает, что он требует, например, от Е. Тур того, что под силу будет Толстому, будущему главе: где в «Племяннице» фундамент, «врытый в почву народную»? Где у нее эпическое спокойствие, самодвижение событий? Увы, Е. Тур все время «надобно быть увлеченной, чтобы увлечь других...».

Страничкой из дневника, моментом раздумий об ограниченности своей старой манеры выглядит, например, анализ «Записок ружейного охотника»: «Бывают тонко развитые, нервические, раздражительно-поэтические личности, которые обладают каким-то особенным воззрением на природу, особенным чутьем ее красот; они подмечают многие оттенки, многие часто почти неуловимые частности, и им удается выразить их иногда чрезвычайно счастливо, метко и грациозно; правда, *большие линии картины* (здесь и далее подч. мной.— *В. Ч.*) от них либо ускользают, либо они не имеют довольно силы, чтобы схватить и удержать их. Про них можно сказать, что им более доступен запах красоты и слова их душисты».

Конечно, нервической, раздражительно-поэтической личностью является не почтенный Сергей Тимофеевич. Прочитав рецензию Тургенева, он был смущен тем, что собственно *о нем* в рецензии, появившейся в «Современнике», говорилось мало. Но простил, конечно, его по доброте душевной...

А кого это Тургенев так безжалостно «сечет», находя те или иные просчеты, с его точки зрения, в драме «Бедная невеста» А. Н. Островского? На первый взгляд именнно автора драмы, великого реформатора русского театра. Но почему и Островский «искал *больших линий, простора*», но, не найдя их, стал жертвой «мелочной, кропотливой манеры»?

У будущего автора «Грозы» были свои заботы, свои тревоги — и часть их Тургенев проницательно угадывает. Но, отмечая, что у Островского «во всех этих бесконечно малых чертах теряется *та определенность, строгость рисунка*», Тургенев говорит о себе. Какая именно «та»? Та строгость, которую и он,

Тургенев, тщетно ищет для своих нужд! «Мы упрекаем его в излишнем раздроблении характеров...» Это вновь, скорее всего, о себе. И отчасти о будущем неприятии избытка «диалектики души», равного внимания к значительному и мелочному у Л. Н. Толстого.

Гоголь оставил своеобразнейший художественный мир, его Манилов, Собакевич, Плюшкин, бесспорно, очень жизненны, но и неподвижны. Это статичные, неподвижные суммы качеств, совокупности подобранных черт. Сдвинешь их — и «сломаешь»! Да и возможно ли их сдвинуть, повести по канве психологического романа? Может быть, и в этом особом плане интереснее и поучительнее для будущего романа уроки автора «Евгения Онегина»?

Писатель эпохи междуцарствия — им в полной мере и был прозаик и драматург, работавший в междуцарствие между «Ревизором», «Горем от ума» А. С. Грибоедова и «Грозой» А. Н. Островского,— Тургенев должен был многое открывать самостоятельно. И подвиг Тургенева, неутомимого строителя мостов между различными эпохами, будет затем странным образом обесцениваться: «тýргеневское» станет тем, что непременно и прежде всего должно быть преодолено!

Ф. М. Достоевский в мае 1871 года, забыв о муках Тургенева во флигеле изгнанника, скажет в письме Н. Н. Страхову о нем (а заодно и о Толстом): «Ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого)». Великолепный завершитель «помещичьей литературы» Лев Толстой, в 1855 году просивший позволения посвятить Тургеневу свой «Рассказ юнкера», увидев в нем «много невольного подражания его рассказам», уже в 1860 году скажет о своем «преодолении» стихии тургеневского письма, заодно дерзко задев тоже «преодоленного» А. Н. Островского: «Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он с своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности, даже до приемов... нет, человечности и участия к лицам. «Гроза» Островского же есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех. Не Островский и не Тургенев виноваты, а время». (Из письма А. Фету 23 февраля 1860 г.) Н. Г. Помяловский, автор «Очерков бурсы», певец низовой, трущобной России, вообще скажет о тургеневской линии в литературе как о точке отталкивания и досадной помехе: «Надоело мне это подчищенное человечество. Я хочу узнать жизнь во всех ее видах...»

Истоки этих резких переоценок, частой смены ориентиров — в редкой стремительности, интенсивности духовного развития России. Литература была больше чем литература — она

создала понятие о подвиге этическом или гражданском. Русская литература, задолго до русских грандиозных, всемирно значимых революций XX века, «как воплощенная в книгах революция разразилась в конце прошлого века над миром» (Г. Манн). Этот процесс захватывал сознание художников, заставлял одних искать путей для других, в других рождал кажущуюся «неблагодарность» в отношении предшественников.

Мучительно искал Тургенев и «простых, ясных, линий», и «определенности и строгости рисунка» в будущем романе, искал не для себя одного.

...Облик «тургеневского романа» — своеобразной переходной, чрезвычайно гибкой и грациозной формы, может быть, отчасти похожей на «новое фортепиано» Ференца Листа или Фридриха Шопена, «романа-сонаты» рядом с последующим грандиозным звучанием романов-симфоний Толстого и Достоевского — складывался именно в этот, предтолстовский период. Тургеневский роман почти не изменится даже в новой обстановке (об этом — в последующих главах). Тургенев даже после появления Толстого будет невольно игнорировать, как справедливо отметил современный советский ученый С. Е. Шаталов, *длящуюся* историю души, когда «граница между прошедшим и настоящим как бы истончается и прорывается непрерывной работой мысли, обращающейся к прожитому». В тургеневских романах процесс внутренней жизни знает резкие приостановки. Этот процесс вообще не столь мощный и всеобъемлющий, он прерывен, «подконтролен» автору по сравнению с не остановимой ничем диалектикой перемен и обновлений души у Толстого или полифонизмом духовных миров героев Достоевского. Тургенев будет всегда «обрубать» начало и конец психоанализа, предпочитать тайному психологизму явный, строго вычисленный.

Ап. Григорьев верно определит конечный вид реализма Тургенева как переходного, испытавшего на себе определенное воздействие романтической прозы: «В отношении же к Тургеневу и к Островскому вопрос переходит в вопрос эпохи, разумеется, эпохи, взятой исключительно у нас на Руси,— эпохи, в которую все зачинания только подымаются, как пена, не давая даже браги, не то что пива, раскидываются широко и распадаются как фата моргана,— эпохи пробы огромных сил, не выработавших себе простора деятельности, и между тем странно возбужденных сил, неминуемо долженствующих кончать свои попытки неверием... в те широко раскидывающиеся миры, которые им грезятся!

Печальная, если хотите, эпоха... когда *искусство не видит*

вдаль и не оразумливает явлений быстро несущейся вперед жизни!» (Выд. мною.— *В. Ч.*).

* * *

И все же Гоголь... Он властвует в сознании Тургенева. Гамма человеческого бытия — от нот тщеславия до самоотверженной любви, от «последнего уловимого» в угодничестве до святых чувств товарищества — открыта была ему полнее, чем кому-либо. И сила волшебного резца его, искусство «кройки» словесной ткани раскрывались все отчетливей. Много ли слов дано Осипу в «Ревизоре» или Петрушке, слуге Чичикова? А живут они в памяти столь же яркой жизнью, как главные герои иных романов...

Рассказ «Муму» с полным правом мог быть посвящен Гоголю. Тургенев, бесспорно, иначе, чем Гоголь, нес свою жизненную ношу. Он не изнемогал, как творец «Мертвых душ», в тщетных усилиях преобразить тьму крепостничества в свет, но в этом рассказе и он, казалось, принял в свою душу скорбь и муки остановленной в развитии огромной и могучей страны.

Куда брошен немой великан Герасим, оторванный от земли, от трудов на ней, дававших радость и смысл его жизни? Он подобен леснику Бирюку («Бирюк»), молчаливому подвижнику чести и долга среди всеобщего развала. Только «лес», его окружающий, иной: это дремучий лес праздности, разложения, капризов, причуд недомыслия. Здесь не нужны многие из его дарований, а прямота и доверчивость даже опасны для него самого.

Что такое барыня? Она бессильна исправить даже башмачника Капитона, пьяницу, гуляку, извращенного близостью к бездельной жизни, в его глазах «венцу счастья». Дворецкий Гаврила с ключницей бесцеремонно крадут за ее спиной из кладовых все, ничего, в сущности, не страшась. Вся ее власть — в капризах, старческом озорстве, жалких причудах — власть жалкая, не созидательная перед лицом высокой ответственности за сотни людей. Она владычествует в игрушечном мирке. Она, как заметил профессор С. М. Петров, «со всей ее никчемной, пустой жизнью выглядит в «Муму» как жертва крепостного строя, как существо, утратившее человеческие черты».

Герасим дважды стерпел эту зловещую игру с его душой, с его судьбой, не возмутился, не дал выхода огромной силе своей... В первый раз, когда отняли у него Татьяну, и второй раз, когда хотели разлучить его с собачкой Муму, единственной отрадой для его души. В этом мире, увидел он, нет места даже деликатным слабостям. Единственная форма его презрения ко всему укладу барского дома, где в разменную монету для иг-

ры, капризов превращены люди,— это удивительно гордое, полное мучительной скорби и достоинства решение: он не позволяет тронуть собачку никому, сбрасывает толпу слуг с крыльца своей каморки и с великой мукой топит ее сам! Это величие Разина, покорившегося ропоту своих собратьев, но не позволившему тронуть беззащитную — и совсем не добычу! — персидскую княжну никому. Последний жестокий жест — последнее выражение любви...

Сцена прощания Герасима с Муму в трактире, последнее кормление собачки на полу из тарелки, и... «две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз; одна упала на крутой лобик собачки, другая — во щи...» Здесь Тургенев обретал уже те прочные краски, ясные и строгие линии, о которых он мечтал... Но обретал не в отрыве от сделанного. Слезы Герасима, горечь которых способна прожечь любой камень, заставляют вспомнить и те скупые слезы, что прокатились по каменному лицу Дикого Барина в «Певцах». Муму и нежные заботы о ней — та же недолгая вспышка, порыв к доброте, это «песня» Герасима, осветившая его жизнь, песня прерванная, осмеянная. Доброта сиротлива в мире, лежащем во зле и пошлости крепостничества.

Можно представить, с какой радостью, неожиданной для Тургенева, толкуя на свой лад чудесный финал «Муму», восприняли рассказ в Абрамцеве. Аксаковы увидели кротость и смирение там, где, по сути дела, таится слепой, безрассудный, может быть, но сокрушительный протест. Они не заметили, что немой Герасим и почти немой, молчаливый лесник Фома Бирюк из «Записок охотника» — это трагедийно-эпические фигуры. В одиночку, как титаны, с мукой непонимания стоят они на стыке эпох: готовой вот-вот рухнуть крепостнической эпохи и смутной для них пореформенной эпохи. Какой уж тут покой, если только темнота сознания, инерция покорности поддерживают еще иллюзии благополучия, устойчивости!

Герасим уходит из Москвы, из противоестественного, игрушечного, «играющего» лучшими чувствами людей мирка в деревню;

«Он шел по нем (шоссе.— *В. Ч.*) с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу — ветер с родины...»

Велик был, конечно, соблазн увидеть Герасима осколком допетровской Руси, частью общины, рода, не страдающего от неразвитости *личной* свободы, без наук просвещенного природой. И. С. Аксаков, идейно самый близкий Тургеневу человек в славной патриотической семье, где только нравственную связь между людьми клали в фундамент всех социально-политических мечтаний, — не устоял перед этим соблазном: «Мне нет нужды знать: вымысел ли это, или факт, действительно ли существовал дворник Герасим или нет. Под дворником Герасимом разумеется иное. Это олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все запросы».

* * *

Повесть «Постоялый двор» — продолжение углубленных раздумий об удивительном русском народе, о неожиданных странностях его душевных решений. Опять нелепая жалкая барыня, обрусевшая немка Кунце, бог весть почему стоящая в центре жизненного процесса могучего по нравственной природе народа, опять праздная дворня с реальной хозяйкой имения Кирилловной и выросший в недрах этого быта, неистощимый в своем добродушии и человечности Аким. Это своего рода Калиныч, бог весть как, только среди наивных людей, ставший хозяином постоялого двора. Он и процветал до первых схваток с новомодной, беспощадной к патриархальщине силой стяжательства. Ее олицетворяет заезжий торгаш Наум. Постоялый двор был за спиной Акима продан барыней Науму, собственная жена Акима Авдотья выкрала его же деньги из подполицы и снесла их тайком все тому же Науму... Аким оказался ограбленным, побитым, оскорбленным, бессильным! Его попытка ответить злом на зло — сжечь свой, теперь воровски захваченный другим двор — провалилась: Наум и эту вспышку — какой предусмотрительный делец! — предусмотрел... Оказалось, что и жажда мести для Акима, да еще такой прямой, старомодной, столь же наивна для новых времен, она излишне страстна по понятиям методичного хищника Наума... Сейчас душат векселями, актами о владении, процентами! Скоро начнут душить адвокатским словоговорением... «В чаду отчаянья решился он (Аким.— *В. Ч.*) на преступное дело; оно потрясло его до основания и, не удавшись, оставило в нем одну глубокую усталость... Чувствуя свою вину, оторвался он сердцем от всего житейского и начал горько, но усердно молиться».

Не смог воплотить Аким в жизнь старое правило: «С волками жить — по-волчьи выть...» Оказывается, и выть надо те-

перь по иным «нотам», с мелким расчетом, с холодной хитрецой! На все эти сложности Аким неожиданно, вдруг наивно ответил одним — молитвой...

* * *

Незаметно прошел первый год ссылки, вновь пришло лето, за ним последовала осень, когда короткие дни заскользили, как дождевые капли по стеклам. А там и первый снег, заморозки. И вот обледенелые деревья поблескивают в скудных лучах солнца как фарфоровые.

Зима с ее метелями, когда весь дом трясется и трещит, окутанный белой мглой, для Тургенева, пожалуй, тоскливее всего: нет охоты, все длиннее вечера и тревожнее воспоминания. Дни такие короткие, что, кажется, и сам воздух не пронизан светом, темен, и дым, грузный, слоистый, стелется по земле. Не успеешь пересилить утреннюю дремоту — и уже вечер... В один из таких метельных вечеров (1 ноября 1852 г.) Тургенев вспомнил о дорогой ему (надеясь, что не только ему!) годовщине и написал Полине Виардо: «Сегодня ровно девять лет, как я в первый раз был у вас, в Петербурге, в доме Демидова. Я помню это первое посещение так, как будто это произошло вчера...»

Вся прелесть провинциальных зимних вечеров — в наездах гостей, знакомых, неторопливых беседах по поводу свежей книги «Современника», «Отечественных записок». В первое время визиты к ссыльному Тургеневу делались нерешительно. Даже Афанасия Фета отец отговаривал от этого вызова властям, к счастью, отговаривал безуспешно. Но потом соседи стали совершать набеги в Спасское безбоязненно. Не забывалось и то обстоятельство, что ссыльный писатель — «интереснейший» жених!.. И не век же он будет только стрелять дупелей, бекасов, куропаток, зайцев, коростелей, вальдшнепов, тетеревов и курочек, разбирать шахматные партии и упрашивать жену своего управляющего Тютчева и сестру ее играть в четыре руки Бетховена, Моцарта, Мендельсона и Вебера!..

...Гастролировавшая в это время в России — в Петербурге и в Москве — П. Виардо в Спасское съездить не решилась. Она вообще никогда не была на родине Тургенева.

В двадцатых числах марта 1853 года Тургенев тайно с подложным паспортом на имя какого-то мещанина съездил в Москву: об этом, со слов самой Виардо, упоминает в одном из писем А. И. Герцен...

Поездка эта, видимо, резко обострила желание писателя выбраться из Спасского... «Хорошо уединение, спору нет,— но для того, чтобы оно принесло какую-нибудь пользу — надобно,

однако, чтобы оно хоть изредка оживлялось беседой и столкновением с умным человеком»,— писал Тургенев Анненкову уже осенью 1852 года, умоляя ради будущности своего таланта приехать хоть на пять дней в Спасское. К концу 1853 года эта тревога за свое будущее — и, видимо, за будущее отношений с Полиной Виардо — стала еще сложнее, мучительней. Все более страшит Тургенева и опасность отстать от литературного процесса, оказаться в прошлой эпохе: ведь истории нет никакого дела, где ты отстал и почему...

Именитые друзья Тургенева — среди них А. О. Смирнова (та самая калужская губернаторша, слащавые письма к которой Гоголя вызывали у Базарова в «Отцах и детях» тошноту), поэт и церемониймейстер двора А. К. Толстой — не оставляли без внимания Тургенева. После ходатайства Тургенева к наследнику, будущему императору Александру II, после того, как граф А. Ф. Орлов доложил Николаю I (14 ноября 1853), что Тургенев раскаялся и что двухлетнее наказание послужит ему «должным уроком», последовала высочайшая милость: ссылка закончилась, въезд в Петербург при условии — «иметь под строжайшим здесь присмотром»! — был разрешен.

ОНЕГИНСКИЙ ЛОРНЕТ И ПОЖАР СЕВАСТОПОЛЯ

Нам особенно противны журналисты и писатели, зовущие войну, толкающие в нее народы. Повели бы мы всех этих кабинетных любителей баталий, военных столкновений, атак и отступлений — на поле сражения... Дант бледнеет... перед толстовскими иллюстрированными реляциями «1805 год»... Ступайте в перевязную, в лазарет, в избу, лишенную отца...

А. И. Герцен. Война (1866)

Лорнет — зрительное стеклышко в оправе, с ручкою, в чашках или щечках, иногда на цепочке; глядельце... *Лорнировать, лорнетировать* — осматривать в глядельце.

В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

...Ох уж эти заманчивые русские обеды с тенденцией! Обеды, напоминающие заседания сообщников или пиршества возбужденного тщеславия. Обеды — взятки или «кормления» с речами в честь нужных людей. Обед — последняя «зацепка» падающего или очередная «ступенька» самодовольного восхождения... Неизменная смазка житейских, ставших чересчур формальными отношений, затейливое сибаритское умножение наряда жизни. Прощальные или особенно пышные «юбилейные» обеды, полные тщеславной оглядки на чужой пир... Ироничный друг Тургенева поэт К. Случевский шутил:

Все юбилеи, юбилеи...
Жизнь наша кухнею разит!
Судя по ним, людьми большими
Россия вся кишмя кишит...

Тургенев получил официальное уведомление об окончании ссылки 23 ноября 1853 года, выехал из Спасского 6 декабря, 9 декабря он прибыл в Петербург и поселился в Поварском переулке, в доме Тулубьева. А 13 декабря 1853 года Некрасов дал обед в редакции «Современника» в честь спасского изгнанника. На нем присутствовали П. В. Анненков, А. А. Фет, Д. В. Григорович, И. И. Панаев, А. В. Дружинин.

Обеды принадлежали в это время к числу своеобразных обрядов литературной жизни. Некрасов устраивал обеды для цензоров — «кормления зверей». В повестку дня многих торжеств, не исключая церковных или придворных, обязательно входила в те годы более или менее людная и обильная трапеза. Скорее — содвинуть бокалы! И не единожды! Друзья Тур-

генева — в особенности купецкий сын Боткин и англоман Дружинин — шутливо оправдывались:

— А как же иначе? Князя Владимира иначе не изображают в былинах как среди широкого гостеприимного пира... Пир — тот же «парламент». «Веселие Руси есть питие»,— ответил князь аскетам-магометанам. А народные сказки? Они кончаются доброй присказкой: «И я там был, мед, пиво пил...»

Тургенев знал украшенный пиршествами народный быт... На спаса освящались яблоки и мед. Под рождество, как засияют звезды, подавали постные пироги, кутью и взвар из сушеных плодов. Светлый праздник пасхи в Спасском всегда знаменовался разговинами, крашеными яичками, куличами. Военные праздники — их отлично знал покойный отец — встречали с чарками, кубками... Тяжеловесный пирог ждал гостей в чиновничьих домах. Да еще с гусем, для которого уездные сквозняки-дмухановские лично запускали лапу в лари с черносливом в купеческих амбарах...

Обеды литераторов превращались в состязания остроумцев, в схватки умов, в праздники веселого пересмешничества. Аттическая соль эпиграмм порой была и крупна и горька. И в 50-е годы царило то отношение литераторов друг к другу, которое А. И. Герцен определил словами: «Мы относились друг к другу, как сосудам избранным». Обеды в «Современнике» — своеобразное торжество вкуса, превосходство ума над обступавшей этих избранников житейской пошлостью, жадно ищущей «взаимности». Хотя... и просто поесть любили! Когда гурманы Анненков или Боткин подступали к муравленому горшку со свежею икрой от Елисеева, то Тургенев, по словам А. Фета, с деланным беспокойством вопил:

— Господа, не забудьте, что вы не одни здесь!

Тургенев в этот декабрьский день — истинный любимец Некрасова. И это не только любовь редактора к спасителю — автору, хотя Некрасов и Панаев были убеждены: без Тургенева — « хоть закрывай лавочку». Да и сейчас он привез повесть «Два приятеля» и, судя по его рассказам об орловских соседях, задумал еще кое-что... Некрасов искренне любит Тургенева. И экспромт Некрасова — от души:

...Он был когда-то много хуже,
Но я упреков не терплю,
И в этом боязливом муже
Я все решительно люблю.
Люблю его характер слабый,
Когда, повесив длинный нос,
Причудливой, капризной бабой
Бранит холеру и понос.
И похвалу его большую

Всему, что ты ни напиши.
И эту голову седую
При моложавости души...

В это время Некрасов очень нуждался в Тургеневе. В 1847—1848 годах в «Современнике» на многие номера был растянут «Опыт великосветского романа» — так определяли жанр «Великой тайны одеваться» И. И. Панаева. В 1848—1849 годах издатели тянули без конца «Три страны света» Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой. Затем последовали повести той же А. Я. Панаевой «Капризная женщина», «Пасека». А. В. Дружинин напечатал постепенно «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам». И вновь длиннейший роман «Мертвое озеро» Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой. 15 сентября 1851 года Некрасов в отчаянии писал Тургеневу: «...верите ли, что на XI книжку у нас нет ни строки, ничего — ибо уже и «Мертвое озеро» иссякло...» Вновь явился на сцену скорописущий И. И. Панаев с романом «Львы в провинции», вновь — уже в 1854 году — предстала с романом «Мелочи жизни», затем с повестями «Воздушные замки», «Степная барыня» А. Я. Панаева. «Открыта» была княгиня Н. П. Шаликова (псевдоним Е. Нарская) с повестями «Первое знакомство с светом», «Все к лучшему»... Пора убыточных «альманахов» прошла, журналы стали доходным делом, и естественны были эти «львы в провинции», «тайны», «капризные женщины»... Подписчик, особенно провинциальный, искал новых Ричардсонов... Появившиеся в «Современнике» «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, «Певцы» Тургенева, статьи Лайбова (Н. А. Добролюбова), а затем и «Очерки гоголевского периода» Н. Г. Чернышевского были, как ватой, обложены порой малохудожественным «чтивом»: «азота» было больше, чем «кислорода».

* * *

...Тургенев вернулся в Петербург в декабре 1853 года, а уже под осень русские войска перешли Прут и заняли придунайские княжества. Совсем недавно подавивший восстание в Венгрии, Николай I сейчас ожидал вспышки антитурецкой борьбы сербов, греков, болгар, но судьба не послала ему этой сильной и выигрышной карты. За дряхлой Оттоманской империей сразу же, едва началась война, обозначились и мрачная тень врага России лорда Пальмерстона, двинувшего английские эскадры к Босфору, и честолюбивый воинственный азарт изворотливого Наполеона III. Последний жаждал после подавления революции 1848 года, после пышной коронации в духе цезарей

охладить революционные настроения французов, «объединить нацию» монархистов и либералов в прогрессивной якобы войне с российским варваром. «Россия в Константинополе — это смерть для католицизма, смерть для западной цивилизации»,— писали в угоду Наполеону III его клевреты. Кстати говоря, первый перевод «Записок охотника» на французский язык появился в Париже в апреле 1854 года (под тенденциозным названием «Воспоминания знатного русского барина, или Картина состояния дворянства и крестьянства в русских провинциях в настоящее время»). Не только дурной перевод Э. Шарьера, путавшего «арапа» и «арапник», вызвал протест Тургенева, но прежде всего тенденциозное использование «прогрессистами» «Записок...» с целью искажения, затемнения образа России.

Итак, война — на суше и на море... После первого успеха на море — 18 ноября 1853 года адмирал Нахимов сжег турецкий флот под Синопом — началась полоса нерешительной осады князем Паскевичем Силистрии, попятного движения стотысячной русской армии в Молдавии и Валахии — в ней был и молодой Лев Толстой — за Дунай. 2 сентября 1854 года 62 тысячи солдат англо-франко-турецких войск высадились в Евпатории, и вскоре началась 11-месячная осада Севастополя, «русской Трои».

...Летом 1854 года Тургенев не сразу поехал в Спасское. Флот англичан появился в 1854 году в Финском заливе, и Тургенев снял дачу в двух часах от Петергофа, чтобы хоть издали видеть английскую эскадру, а главное — быть ближе к месту, куда стекались все новости. Рядом с ним снимали дачу Панаевы и Некрасов.

На первых порах Тургенев разделяет общие для всех надежды на счастливый для России исход дел в Крыму. Верный его друг Павел Васильевич Анненков утешает: «Ветер, батюшка, на нашей стороне... союзники сжаты у моря...» Как этому не верить, если вера в мощь русской армии, в решимость чудо-богатырей «чужие изорвать мундиры о русские штыки» была второй натурой всего народа после суворовских побед XVIII века, после войны 1812 года! Но что-то мешает Тургеневу быть оптимистом: «Я каждую ночь вижу Севастополь во сне. Как бы хорошо было, если б прижали незваных гостей!» (Из письма П. В. Анненкову 1 ноября 1854). Тургенев видит, как просчиталась дипломатия Николая I и Нессельроде. Говорят о бесстыдстве Австрии, удивившей мир черной неблагодарностью! Но до рыцарской ли благодарности этой лоскутной империи, поработившей сербов, чехов, венгров, если она со страхом смотрит в свое недолговечное будущее? Пруссия... Она рвется

к тому, чтобы железом и кровью объединить Германию. Ее поведение лишь обеспечило безопасность действий давно сложившейся, лишь нарочито не распознанной дипломатией титулованного карлика Нессельроде антирусской коалиции Англии лорда Пальмерстона и Франции Наполеона III.

Первые поражения подтвердили самые худшие опасения Тургенева. Битва на реке Альме... Здесь бездарный истукан, генерал Кирьяков самоуверенно грозился «с одним батальоном шапками забросать противника». Едва дошло до дела — он бросил выгодные высоты... Кровопролитие под Инкерманом, и вновь — порок шагистики налицо: другой служака николаевской школы генерал П. Д. Горчаков, способный в недели затишья беспрестанно выводить солдат в ружье, бесполезно простоял в решающий миг в стороне от боя... Наконец, удивительнейший цинизм поведения созерцателя трагедии Севастополя светлейшего князя Меньшикова, оставившего город почти без войск после отхода от Альмы. Сколько нелепостей, обманутых ожиданий в короткий срок изломало душевный строй людей! Можно ли было удивляться тому, что истинные патриоты России — Нахимов, Корнилов, Тотлебен, Истомин — порой сражались с одним мучительным чувством: лишь бы не пережить позора Севастополя, геройски погибнуть на его бастионах, погибнуть раньше, чем он будет бездарно, глупо сдан! Появившиеся вскоре в Петербурге севастопольцы могли рассказать в кругу писателей «Современника», как Нахимов, истинный герой Севастополя, победитель при Синопе, ответил, стирая пыль и кровь с лица, флигель-адъютанту Альбединскому, привезшему ему вторично «поцелуй и поклон» императора:

— Милостивый государь! Вы опять с поклоном-с? Благодарю вас покорно-с! Я и от первого поклона целый день болен-с!

Война на многое в России раскрыла глаза обществу, все увиделось яснее и резче. Человек «с зимними глазами», как называл Николая I Герцен, оказывается, погрузил Россию за тридцать лет официальной лжи, парадности, подавления народных талантов в такой летаргический сон, что иные современники Тургенева, как бы просыпаясь, с удивлением вопрошали друг друга:

— Да как же оказались в сухих степях Крыма эти сто тысяч сухопутного вражеского войска? Сошли на берег, как будто один человек через лужу по дощечке перешел... Кто мог поверить, что ружейные припасы из Лондона возить... ближе, чем, скажем, из Калуги или Тулы? Что это за надежды на австрийца и пруссака — кто их навеял?

У очевидцев битв при Инкермане и на Черной речке сердца содрогались от более сурового, унижающего гордость впе-

чатления: солдаты часто теряли веру в свое оружие, искали лишь штыкового боя. «...Какое опустошение производили в рядах русских колонн выстрелы карабинов системы Минье,— вспоминал граф М. Д. Бутурлин,— тогда как пули отстреливающихся наших солдат не долетали до половины расстояния от напиравшего неприятеля» (Цит. по книге: Тарле Е. Крымская война. М.— Л., 1945, т. 2, с. 88).

Тургенев в 1854—1855 годы — чрезвычайно чуткий наблюдатель всех оттенков настроений близкого ему слоя просвещенных людей. Как в Петербурге, так и в Москве. Для западника Т. Н. Грановского, как мыслящего патриота, в этот час оказалось невыносимо трудно совместить любовь к Родине, за честь которой погибли Корнилов и Нахимов, и ненависть к «николаевщине»: «Будь я здоров, я ушел бы в милицию (ополчение.— *В. Ч.*) без желания победы России, но с желанием умереть за нее. Душа наболела в это время». В сознании Некрасова, в копилке памяти великого народного поэта, откладывалось ощущение народного горя от войны, печаль сирот, калек, вдов. Народная молва создала свой «образ Севастополя», как города, где улицы и даже морское дно у берега *вымощены* ядрами:

Там по Чугунному помосту
И море под стеной течет...
Носили там людей к погосту,
Как мертвых пчел, теряя счет...

* * *

...Крымская война для семьи Аксаковых, для гостей Абрамцева — гигантское панно, где изображена схватка идей, воссоздан и лжепатриотизм петербургской бюрократии, и трагическое мучение России, обессиленной ею в роковой час. Замотался какой-то гигантский клубок в мировой истории. «Британский леопардо» (Тютчев) бьет хвостом и рычит, Австрия, душитель славян, застыла в злорадном ожидании поражения России, естественного вождя славянского мира...

Тургенев — гость Абрамцева — знал о повышенном тонусе страстей в этой патриотической семье. Скульптор Штейбок в дни осады русской Трои именно Константину Сергеевичу Аксакову прислал свой подарок, интересную именно семье Аксаковых скульптурную группу. В ней был и русский мужик, что стоял, прислонившись слегка к камню, скрестя руки и со спокойным выражением смотревший вперед. Был — против него!— на некотором расстоянии турок, которого подталкивали с одной стороны француз, с другой — англичанин. Турок упирался, хотя и хватался одной рукой за кинжал...

Побывав в Абрамцеве — вместе с актером М. С. Щепкиным — 20 января 1855 года, Тургенев ощутил, какой пыл противоречивых страстей царил здесь. Политические вести, сообщения о боях в Крыму, «ласкательные ноты» канцлера Нессельроде, его запрещения — это ли не чудовищное предательство! — даже во время войны ругать «английского леопардо» — все воспринималось с редкой остротой. Нет «дней», нет мелочей быта (разве только для «отесеньки» С. Т. Аксакова), есть «века», общемировой диалог, пролог вселенских катастроф, суровые жесты карающей Немезиды.

«Какие времена! Совершаются судьбы божии над народами. Но мы противимся судьбам святым над нами, да не покарает нас бог за то; но народ не виноват, что правительство против его желания так поступает, или, может быть, народ всегда виноват, если у него такое правительство... Где же покаяние, возможно ли оно, или может быть нужны, в самом деле, страшные испытания, чтоб Русская земля очистилась?» — записывает в своем дневнике Вера Сергеевна Аксакова.

Это типичное, «родовое» состояние всех младших Аксаковых... Факты, как хворост, перегорали в душах, ложились в «костер» концепции, все питало ненасытную умозрительную мысль. Тургенев, конечно, замечал, что в Абрамцеве исторический процесс мистифицировался, оценивался при свете отвлеченных верований, озарений... «Сковорода» была раскалена, и пеклись такие «блины», что Тургенев, конечно, многому изумлялся. «Зачем было России оставлять дунайские княжества, зачем бояться удара с тыла предательницы Австрии? Ведь она угнетательница балканских славян?» — вопрошал Константин Сергеевич. «Стоит только объявить нам поход на Вену, чтобы венгры, славяне отделились от нее и итальянцы с своей стороны! Чего же мы боимся?» — записывала чужие мнения со своей страстью сердца ушедшая в политику Вера Сергеевна, достойная сестра и сподвижница братьев.

Тургенев, безусловно, мог узнать именно от Аксаковых, с каким страстным и суровым обличением и несколько наивным призывом обратился к царю после поражения на Альме Михаил Петрович Погодин: «Восстань, русский царь! Верный народ твой тебя призывает! Терпение его истощается! Он не привык к такому унижению, бесчестию, сраму! Ему стыдно своих предков, ему стыдно своей истории... Ложь тлетворную отгони далече от твоего престола и призови суровую, грубую истину». (Тарле Е. Уп. соч., с. 100).

Это был крик души, может быть, грубоватой, наивной, но глубоко искренней...

Тургенев, конечно, глубоко чужд Вере Сергеевне Аксаковой. Он никак «не вербуется», не усваивает возбужденного тона, страстей политической игры. Он говорит, положим, часто очень умно. Положим, он даже прав, когда говорит, что самое главное для России — не заклинания, не риторика общих слов: важно извлечь из севастопольских событий полезный для будущего урок. Призвать суровую истину — немедленно отменить крепостное право, этот главный стыд не перед предками, а перед потомками. Это признает и пылкая Вера Сергеевна. Но он как-то излишне, по ее мнению, рассудителен, спокоен. Мысль о необычайном умственном превосходстве «пассивного» созерцателя Тургенева, конечно, ей не приходит в голову: ее сознание подавлено узкой идеей! «Тако веруй!» — словно требует она. В противном случае такие натуры отказывают и в уме, и в характере непохожему на них человеку. Портрет Тургенева в дневнике В. С. Аксаковой — образец такого преображения на свой лад: «Я со вниманием всматривалась в него (Тургенева.— *В. Ч.*) и прислушивалась к словам и вот что могу сказать. Это человек, кроме того, что не имеющий понятий ни о какой вере, кроме того, что проводил свою жизнь безнравственно и которого понятия загрязнились от такой жизни, это — человек способный испытывать только физические ощущения; все его впечатления проходят через нервы, духовной стороны предмета он не в состоянии ни понять, ни почувствовать... У Тургенева мысль есть плод его чисто земных ощущений... У него есть какие-то стремления к чему-то более деликатному, к какой-то душевности, но не к духовному; он — весь человек ощущений, впечатлений, человек, в котором нет даже языческой силы и возвышенности души, дряблость душевная, как и телесная, несмотря на его огромную фигуру...»

Тургенев, конечно же, понимал, как нестерпим бывает зной догмы, овладевшей страстным умом по-своему хорошего женского существа. Опять — «субстанциональный пирог» вроде Татьяны Бакуниной! Опять — полнейшее игнорирование и своей судьбы, и реального, совершенно очевидного краха славянофильских обличений Запада. Опять призывание высших сил для наведения порядка в мире и в его, тургеневской,— и тут он не ошибся — душе.

Тургенев, по обыкновению, терялся, смущался перед натиском на его душу, на его сознание таких цельных натур, как Вера Сергеевна Аксакова. Как объяснить тому же автору «Марфы Посадницы», неистовому по-своему Михаилу Погодину, что «верный народ, призывающий царя»,— какая невыносимая риторика!— это абстракция. Посмотрите, словно говорил Тургенев, как без зазрения совести откупаются от призы-

ва в ополчения богатые дворяне и купцы, как слабо осознаются истоки поражений, неподготовленности казнокрадами из бюрократической верхушки. Чему они преданы — царю или цареву жалованью? Да и откуда берется это романтическое ожидание, что суровая, грубая истина, говорящая о великих силах страны, отыщется где-то возле престола, прозвучит с царственных высей?

* * *

Для Тургенева самые суровые и грубые истины прозвучали в эти годы из далеких станиц над Тереком, с бастионов Севастополя. Они рождены были там, где, искупая чужие прегрешения и просчеты, умирали, героически и просто, солдаты и черноморские матросы, флотоводцы и генералы. Молодой летописец Севастопольской страды Лев Толстой — поистине новый центр интересов Тургенева, жадно влекущая к себе фигура. Не он ли завершит эпоху литературного междуцарствия? Тургенев лично еще не знал Толстого, но путь к знакомству с автором «Детства» и «Отрочества» — через сестру Толстого М. Н. Толстую — был открыт. Именно из Спасского...

* * *

...В конце октября 1854 года, когда обжигал лицо холод резких бесснежных морозов, а крупный иней, не таявший до полудня, как соль хрустел на пожухлой, омертвевшей траве, Тургенев, тщательно укутавшись, выехал из Спасского в сельцо Покровское, имение супругов Толстых.

Зима, уже близкая, всегда неудобная, торопила Тургенева... Взгляд его скользнул по обледенелым, недавно еще мокрым ветвям деревьев, стынущему лозняку у пруда, синему небу... Оно было бездонно и ясно. Не за горами и «введенье, которое ломает леденье». А там — белое небо, белый снег на всей земле. «Небо и земля, все будет бело — словно молочное море индийской мифологии»,— с неопределенной грустью припомнил он когда-то прочитанное. Зимних дорог, зимней охоты Тургенев не любил. Он почти не знал их, и редки январи, проведенные им в Спасском.

Путь до Покровского недалек — всего 20 верст. Сейчас он кажется хозяину Спасского долгим. Тайное нетерпение гонит этого, вечно уравновешенного, господствующего над своими порывами человека. И стучат по широкой, схваченной морозом дороге колеса, наскакивая на плотные комья, выпрыгивая

из закаменевшей колеи. Вечный говор протяженных русских дорог — «говор колес непрестанный...».

Мягкие, «овечьи» натуры — а себя Тургенев, полушутя, часто относил к ним! — тоже знают бурь порыв мятежный, неутоленную жажду деятельной любви. Одна из таких «бурь» и влечет сейчас автора «Записок охотника» к Толстым, вернее, к Марье Николаевне Толстой. Не привыкший отказывать себе ни в чем, Тургенев не скрывает пылкого ожидания, жажды узнать — все равно от кого! — хоть что-то о ее брате, о поразительном человеке, которого он, не видя ни разу, поистине носит в сердце.

...Многие месяцы он, которого все считают мастером, чье имя жаждут, соревнуясь, выставить на обложке и «Современник», и «Отечественные записки», пробуя расстаться со «старой манерой», создать наконец первый роман «Два поколения», настойчиво спрашивал друзей:

— Попал ли я в тон романа?

Увы, и деликатнейший С. Т. Аксаков, и Н. Х. Кетчер, и В. П. Боткин, читая рукопись, отвечали: нет, «не попал», роман оказывался перегруженным биографиями героев, подробностями, каким-то внутренне неподвижным. «Младая будет жизнь играть...» Но жизнь не заиграла, душа словно молчала в этом скоплении эпизодов. А словесные краски? Они были какие-то непрочные, словно размытые...

И вдруг «Детство» неведомого «Л. Н.», где воистину «пахнет жизнью». Воистину жизнью играющей, не знающей срисованных чувств, без воспоминательного отношения к ней, воскрешенной жизнью! Как поражала уже первая исковерканная русская фраза гувернера-немца Карла Ивановича в его рассказе о горемычной жизни: *«Я был нешаслив ишо во чрева моей матрри»*. Она говорила о том, как опростился, «расшнуровался» этот скиталец, как жаждет он душу рассказать. Хотя бы детям! А мать этих детей? Она и неземная тень, и живое воплощение любви к ним, к беспутному игроку — мужу!.. Общее выражение ее, рано умершей, ускользает, она видится и юному герою «сквозь воспоминания, как сквозь слезы», сквозь «слезы воображения».

Эти-то «слезы воображения» — Тургенев улыбнулся, припоминая чтение «Детства»,— еще можно приписать и ученической ориентации на... него, Тургенева. Но откуда все другое — и прежде всего этот несравненный дар рисовать самодвижение жизни? Нет людей и картин в роли «фона», декорации — все живет, все движется, уверенное в себе. Небольшой штрих, но за ним — целое море наблюдений. Звучит вся гамма бытия человеческого. И самое главное — освещение: не извне поднесен

«фонарь» к картине, свет исходит из самой пестроты быта, он разлит, рассеян везде:

«В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись, *как рак*, раздувает Митька-форейтор; на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от *пахучего навоза;* солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, *глянцевитые от росы, покрывающей их*. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно *их мерное жевание*. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на *сухой куче навоза*, лениво потягивается...»[1] (Выделено мной. — *В. Ч.*).

Тургенев знал, что иногда быт, пейзаж — зрелище коровы, пьющей воду из пруда, утки, отряхивающей воду с лапок, вообще все привычки, случайности «низкой» жизни — особым образом притягивают взор и его, как человека и художника. Он тоже не выносил беспредельной синевы неба, бесконечности, страшился Времени, поедающего мгновения его жизни. Он «зарывался» тогда в теплые недра быта, падал ниц перед расцветающим чувством любви: его утешает эта слабая, но все же торжествующая в краткий миг жизнь! «Не все мимолетно, не все призрачно» — об этом говорит завязывающееся и расцветающее в душе чувство.

Но у Толстого — совершенно иное отношение к плоти мира. Он не знает оцепеняющих страхов перед беспредельностью, перед незримой работой смерти. Тот же ветреный отец в «Детстве», слушая после смерти жены игру дочери Любочки, потрясен:

«Он молча взял ее за голову и стал целовать в лоб и глаза с такой нежностью, какой я никогда не видывал от него.

— Ах, бог мой! ты плачешь! — вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные глаза.— Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это *мамашина пьеса*.

— Нет, друг мой, играй почаще,— сказал он дрожащим от волнения голосом,— коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой».

И что же идет следом за этим? Мимо отца проходит, сразу потупившись, служанка Маша, отец — ловец перед богом —

---

[1] Е. Н. Купреянова проницательно отметила новизну отношения Толстого к различным мирам: «У Тургенева и Григоровича... крестьянский мир далеко не всегда вовлекается в другие сферы, но у Толстого нравственный мир крестьянина, его трудовая жизнь и психология неизменно «сопрягаются» с внутренним миром и духовными исканиями личности» (Эстетика Л. Н. Толстого. М.— Л.: Наука, 1966, с. 237).

задевает ее кокетливо, говорит *наклоняясь* к ней: «А ты все хорошеешь.» А та просит, как-то интимно *прошептав*, пропустить ее... (Выделено мной.— *В. Ч.*).

Какое непрерывное, ничем не подталкиваемое самодвижение жизни, способной играть и у гробового входа, разбивать холод воспоминаний, изумлять непредсказуемыми поворотами страстей! Никакой страх перед бесстрастной судьбой, ковыляющей за каждым, перед иными, увы, важными для Тургенева «романтическими фигурами», не сковывает, не цепенит жизни... Это качество эпического созерцания жизни. Да откуда же оно в этом «Л. Н.»?

...Удивительно рассветное время русской словесности! У него свой дар справедливости, колорит, атмосфера, отрадный темп жизни. Идут будни, обсуждаются домашние новости, слышна в сенях воркотня самовара, но сколько не отменимых ничем величин в отечественной культуре являлось в это время под обычным грифом: «от Толстого прислано», «от Фета получено»... Загорались зори без затменья, неподвластные никаким ненастьям.

Б. Эйхенбаум, один из лучших исследователей творчества Толстого, говоря о ранних «предтолстовских» произведениях Тургенева, и о повестях, предшествующих «Рудину», отмечал:

«Его письма полны «литературы» и идут от нее — от ее традиций и штампов; его произведения, идя оттуда же, сливаются с письмами... У него все «стилистично» — и пейзаж, и герой, и лирика, но стилистично в меру. Поэтому его произведения кажутся вторичными, построенными на какой-то другой литературе, более сырой и «натуральной» — как ее отделка или облицовка... Простясь со своей «старой манерой», Тургенев не простился с традициями, а выбрал путь их собирателя воедино, навсегда отказавшись как от следования какой-нибудь одной... так и от преодоления многих».

Вещий инстинкт и встреча с грубыми, суровыми истинами Толстого подсказывали Тургеневу: даже предельно совершенный артистический стиль письма не может сравниться с тем здоровым «несовершенством», чуждым всякого интеллектуального кокетства, которое несет проза Льва Толстого. Она задает поистине тяжкую работу сознанию. Это проза в чем-то шероховатая, корявая, даже «антилитературная»... Совершенны миниатюры, работа «часовщика», а грандиозное редко бывает совершенным: его совершенство не в штрихах, не пластическое только. Истинно совершенно, до конца отлажено только «вчерашнее», уходящее. Но какая радость в таком совершенстве?

...18 февраля 1855 года скончался Николай I. Еще шли к Се-

вастополю, потерявшему Нахимова, Истомина, Корнилова ратники и дружины ополчений, еще штурмовался и вскоре был взят Карс. Но самые главные надежды Тургенев стал связывать с иным «ветром», с окончанием войны и началом реформ. Об этом говорил и высочайший манифест царя Александра II от 19 марта 1856 года, возвестивший о завершении Крымской войны.

«При помощи небесного промысла, всегда благодеющего России,— говорилось в нем,— да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее; да развивается повсюду стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый, под сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных...»

Это был сжатый план грядущих реформ!..

7 Заказ 314

ЭНЕРГИЯ СКИТАЛЬЧЕСКОЙ СУДЬБЫ

Но прошу тебя... уйди в себя, в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по своему безумию порывы юности, в эту тоску без тоски — и напиши что-нибудь этим тоном.

Из письма Н. А. Некрасова И. С. Тургеневу (1851)

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится!

И. С. Тургенев. Рудин (1856)

...В феврале 1856 года, когда в «Современнике» (№ 1—2) только что вышел «Рудин», на квартире у Тургенева появился молодой офицер Алексей Бакунин, родной брат друга студенческих лет в Берлине Михаила Бакунина.

Крымская война только что бесславно закончилась. Ожидания перемен объединили на время людей самых различных слоев.

Алексей Бакунин, служивший в Митаве, но поддерживавший деятельную переписку с изрядно опустевшим Премухином, с сестрой Татьяной, с братом Александром, сражавшимся всю войну в Севастополе, не был мыслителем. Он просто рассказывал о жизни дома и, конечно же, о последних днях, вернее, последней ночи сданного неприятелю Севастополя. Ведь четыре брата Бакунины в первый год Крымской войны вступили в Тверское ополчение, в Новгородскую дружину, чтобы помочь отстоять Севастополь...

— А самое главное,— продолжал свой бесхитростный рассказ Алексей,— мы рассчитывали на милость государя к Михаилу...

Весть о поступлении четырех Бакуниных в ополчение должна была дойти до Петербурга, должна была подействовать на Николая I, подтолкнуть его к смягчению участия Михаила...

Тургенев хорошо помнил, чем кончалась давняя статья Бакунина «Реакция в Германии» (1842): «Страсть разрушения есть вместе и творческая страсть». Он помнил будущего «апостола всемирного разрушения» яростно митингующим в Париже 1848 года.

Выданный царскому правительству австрийской полицией 11 мая 1851 года как участник Дрезденского восстания «особо

«опасный государственный преступник» Михаил Бакунин все эти годы находился в заключении в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Комендант крепости Иван Набоков — родственник Бакуниных — был в достаточной мере милостив к узнику, снисходителен к переписке его с братьями, он разрешал свидания, но все надежды Михаила на освобождение разбивались о четыре стены. Он слабел, у него выпадали зубы, сокрушался его характер.

Бакунин пишет знаменитую «Исповедь», которую читает Николай I, оставляя на ней свои замечания. Особенно нравятся ему обличения дряхлого, полного «материалистического» безверия Запада, где, как писал узник Петропавловки, «ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право: все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, даже себе самому не верит; привилегии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкою, — слабая препона против возрастающей бури!»

После этих слов Николай I и напишет: «Разительная истина». Но автора «Исповеди» все-таки не помилует. Бакунина ждала ссылка в Сибирь.

* * *

Михаила Бакунина впоследствии, после появления тургеневского романа, называли «Рудиным, не погибшим на баррикаде». О самой семье Бакуниных вспоминали реже: без Михаила семья эта явно опростилась, лишилась своеобразного генератора идей...

Роль М. А. Бакунина для Тургенева при «формировании образа своего героя» — так округло выразились комментаторы «Рудина» в обстоятельном и глубоком комментарии к изданию романа в собрании сочинений писателя в 30-ти томах — действительно была очень значительной. Это, конечно, не означало, что, создавая свой первый роман летом 1855 года в Спасском, перерабатывая его по замечаниям друзей осенью этого же года в Петербурге, Тургенев все время видел за главным героем его Дмитрием Рудиным только силуэт петропавловского узника. И тем более, как отметила Л. М. Долотова в докладе «Генезис и поэтика романа Тургенева «Рудин» (Сессия, посвященная столетию со дня смерти И. С. Тургенева. ИМЛИ, 3—4 октября 1983 г.), не было никаких оснований предполагать в Тургеневе неприязненное, злое чувство по отношению к Бакунину. При всем расхождении их позиций. Нет оснований говорить и о первоначальной зыбкости, туманности, непроявленности самого образа Рудина — потому, дескать, Тургенев затем так легко

сдвигал акценты, переходил от иронии к патетике, «уступая» нажиму друзей и т. п. И даже перемена первоначального названия романа «Гениальная натура» на более нейтральное «Рудин», устраняющее декларативную авторскую оценку героя, была лишь этапом познания героя, выражением внутреннего движения мысли автора. Это же развитие мысли, предельно самостоятельной в Тургеневе, хотя и крайне чуткой, внешне «податливой» к замечаниям друзей, определило, по наблюдениям той же Л. М. Долотовой, два уточнения: одновременное (в 1860 г.) добавление концовки эпилога романа (гибель Рудина на пустеющей баррикаде с кривой и тупой саблей в руке) и явно снижающее Рудина сравнение его в первых главах с заезжим принцем. «Я вижу фортепиано,— начал Рудин мягко и ласково, как *путешествующий принц*,— не вы ли играете на нем?» — этот новый словесный мазок оказался не инородным, не диссонирующим с прежними.

Можно говорить о длительном саморазвитии героя в сознании писателя. Может быть, так и не законченном. Наблюдалась известная зависимость, несвобода автора от героя. «В Рудине ему (Тургеневу. — *В. Ч.*) пришлось иметь дело с целою полосой нашего развития, с теми «веяниями» сороковых годов, от которых он сам никогда не мог освободиться, которые его самого сделали «лишним человеком»,— и вот в создании Рудина он был «связан внутри себя» именно этими веяниями»,— проницательно отметил эту «несвободу» автора по отношению к главному герою Ю. Николаев в критическом этюде «Тургенев» (Николаев Ю. Тургенев. Спб., 1894, с. 81).

Эта сложная несвобода создателя «Рудина» от веяний, исходивших из эпохи Белинского, от гигантской личности Бакунина,— состояние, весьма затяжное, тревожное. И Рудин в силу длительного саморазвития стал особым «лишним» человеком. Можно сразу сказать — не сразу «справился» с ним даже ироничный Тургенев, не сразу добился желанного равновесия всех сторон самого романа как «романа частной жизни». Появлялись и раньше в тургеневском мире «лишние люди», Рудины помельче, болезненно рефлексирующие, сломленные бытом, всеобщим непониманием, вроде Гамлета Щигровского уезда. Легко распоряжается ими автор, стоявший как будто в отдалении, свободный от той сшибки стихий, которые лишали воли, если угодно, перетирали этих героев. С Рудиным — при внешней свободе и явной несвободе автора от героя, несовпадении стихий характера пророка-энтузиаста («гениальная натура») и легко обуздывающего себя повествователя — очень многое было совсем иначе. «Колебания маятника» — от господства иронических акцентов до восхищения пробуждающей

всех энергией скитальца, без которого всем словно «нечего делать» в романе,— были очень значительными. Их позднее, в 80-е годы, подробно опишет Н. Г. Чернышевский по просьбе А. Н. Пыпина.

* * *

Исследователи давно отмечали, что герои Тургенева «готовыми» являются в художественное пространство романов, что они остаются в известной мере неподвижными, а толстовская явная «диалектика души» всегда заменена у Тургенева «тайной» психологией, опирающейся на пересказ, в виде своеобразных «формуляров» героя — развернутых предысторий, подпочвы. Многие звенья психологического анализа опускались, но всевидящее, всеведущее око автора обращает внимание на тот или иной читаемый знак в прошлом, объясняющий многое.

...Роман начинается поистине с изумительной легкостью, нет ни признака духоты и тесноты бытописательства, нет и назойливого сосредоточения «на аршине пространства» (Достоевский) жгучих, невыносимо мучительных для одного мгновения, для этого аршина пространства вопросов. Невелик по объему «Рудин», но и этот объем использован как будто «нерасчетливо». Сколько в романе одних прогулок по летним (как всегда летним!) тропинкам, сколько музицирования, «бесцельного» салонного суесловия! Конечно же, в центре внимания вновь усадьба, вновь роскошная, но не подавляющая человека природа родного писателю орловского подстепья. Так и видишь сквозь все описания окружающие Спасское поля, перелески. Но ощущаешь не жаркий кольцовский «ветер с полудня», а тургеневский свежий, но чуть прохладный ветер, текущий сквозь жаркие лучи солнца.

«Кругом, по высокой, зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны; в вышине звенели жаворонки» — этот ласковый простор ощущается за стенами дома Дарьи Ласунской, где собраны герои романа. В эту даль уходят и звуки музыки, как будто истаивая, она же гасит, растворяя, страстные речи Рудина. Нет стеснения, низких потолков трактира, где спорят Иван и Алеша Карамазовы, нет сдавленности душевной, того напряжения, когда так и кажется: «Не решишь что-то — пропадешь!..» Никаких запредельных стихий, никаких «вечных» собеседников — ни Христа, ни дьявола! — даже в минуты отчаяния. Рудин после упреков Натальи в том, что он, в сущности, образ «сложа-руки-сидения» (Достоевский), что от слов к делу ему не перейти, тоже дошел до последней сте-

ны... Что его ждет? Вечное скитальчество... Но и эта стена отчаяния убрана, весьма заботливо, автором, и, прощаясь с Натальей, в сущности, у бездны на краю, он пишет ей вежливое, в меру напевное письмо.

А случайна ли сама усадьба? Или она просто «подвернулась»?

Она тоже — форма умиротворения, усиления власти автора над героем, форма «покорения» материала. Чуть позднее Тургенев скажет, что при создании Базарова («Отцы и дети») ему мыслился образ грандиознейший, некий pendant[1] с Пугачевым... А куда он, современный Пугачев, «заточен» им? Нет, не в клетку, но... Свои разрушительные, «огнепальные» речи он произносит в тихой усадьбе, в домике родителей, за чаем, обедом...

Любопытно, что художник И. Н. Крамской, мучимый тем, что лицо Тургенева ему «не дается», отмечал ту же «клетку» — «сентиментальную, искусственную задумчивость». И вопрошал П. М. Третьякова: «Но откуда же впечатление у меня чего-то львиного?» (Из письма П. М. Третьякову 13 августа 1874 г.).

«Чего-то львиного»... Но «львы» Тургенева спокойно музицируют, гуляют по аллеям, они все чуть искусственно говорливы или задумчивы...

За характером Рудина тоже скрывается свое львиное, свой Пугачев или несколько Пугачевых, тот же М. А. Бакунин, отчасти В. Г. Белинский,— но поприще для него вновь избрано иное, как бы «приручающее», «одомашнивающее» его: утренние беседы в салоне Ласунской, прогулки с Натальей, высекающие восторг в молодом гувернере Басистове мгновенные импровизации между уроками с детьми... Вновь «клетка», но такая уютная, поэтичная, по-своему просторная!

...Дмитрий Рудин входит в эту среду, в огромный каменный дом, сооруженный по рисункам Растрелли на холме, «у подошвы которого протекала одна из главных рек России», без особого смущения, но и без чувства родства с ней. Еще нет в нем базаровской резкости, презирающей отчужденности, но есть холодное удивление: как «спаслось» и еще спасается все это, живущее сплошь частной жизнью, но живущее без видимого испуга, как уцелело в достаточно тревожное время?

Дарья Михайловна, светская львица на склоне лет, лишь способна быть рассеянной и важной в кружке ей подчиненных людей. Она довольна настоящим, а еще более — своим прошлым. Среди этого круга приближенных и подчиненных есть

---

[1] pendant — соответствие *(франц.)*.

и свой нестрашный остряк и неудачник Африкан Пигасов — он тоже когда-то бывший реальностью, сейчас «раздражился и окис». И стал призраком. Наконец, ловкий угодник, сплетник Пандалевский, мелкий приживал — он напоминает о былом светском роскошестве: когда-то *таких* было много вокруг Дарьи Михайловны! Наконец, есть и стынущая в ожидании огня красавица — вдова Липина. И почти возникла, окрепла «завязь» традиционного усадебного романа: брат этой Липиной Волынцев, не исчезая из-под бдительного ока Ласунской, ухаживает за ее дочерью Натальей...

Знакомые все лица! Вновь «Русью ларинской» здесь пахнет, но с ароматами лермонтовских желчевиков и гоголевских коробочек... Правда, всего дано в меру, все совмещено без насилия.

Но Пугачев и в клетке остается Пугачевым. И Рудин, даже галантно беседующий за чаем, слушающий музыку с *прекрасным выражением*, воплощает в себе, постепенно выявляя это, совершенно иную духовную природу. Ничто не «приручило» его ранее, ничто не способно растворить его в себе и сейчас. Какие-то искры излетают из этого характера.

Современные исследователи «Рудина», активно опираясь именно на этот роман, нередко жестко классифицируют героев Тургенева по «уровням человечности», создают произвольные категории персонажей. Так, по В. Марковичу, получается, что есть в тургеневском мире «архаичные» герои, обломки патриархальных времен, есть «эгоистичные» (низший уровень человечности) — Пандалевский и Пигасов, Паншин в «Дворянском гнезде». Есть более высокий уровень («присутствие момента духовности») человечности. На этом уровне живут Лежнев и учитель Басистов, Берсенев и Шубин в «Накануне», все Кирсановы в «Отцах и детях». «Иерархии людей соответствует иерархия родов чувства,— отмечает в одной из работ В. Маркович. И прежде всего чувства любви. Есть, наконец, избранники, персонажи высшего уровня человечности — Рудин, Базаров, Лиза Калитина и Елена Стахова. «Жизненная цель этих людей никак не связана с нормами и ценностями господствующего общественного уклада и в то же время абсолютно несовместима с ними...» — так сводит воедино свои, на наш взгляд, чисто субъективные наблюдения В. Маркович. Это элита, некие существа с небесной прививкой, люди не от мира сего, лежащего во зле пошлости и обыденности. Если они «пытаются как-то согласовать или хотя бы соразмерить свою цель с наличными формами общественной жизни, у них ничего не получается».

Навязывание подобных классификаций, элитарных представлений о роде человеческом Тургеневу слишком насильст-

венно. Оно совсем не правомерно, внеисторично. Можно ли так отделять Рудина и Лежнева, людей с одинаковым прошлым, способных понять друг друга до конца? Можно ли поместить даже Калиныча или Лукерью из «Живых мощей» в число тех, в ком не присутствует момент духовности? Есть во всей этой табели о рангах нечто, напоминающее грубую классификацию В. Ф. Переверзева, наложенную на героев «Мертвых душ» Гоголя: «небокоптители чувствительные», «небокоптители активные», «небокоптители рассудительные», «небокоптители комбинированные» («Творчество Гоголя»)... Это явное оскопление, обесцвечивание богатства гоголевских характеров.

В том-то и дело, что взаимоотношения Рудина со средой, его попытки, говоря языком В. Марковича, «соразмерить свою цель с наличными формами общественной жизни» гораздо сложнее. Что тут, на этой площадке, «получается» у него, а что не «получается»?

Пожалуй, этот гордец испытывает даже своеобразное удовлетворение, когда ломается всякая иерархия почитания и он оказывается... побитым. А это происходит в романе не раз. Так, в момент решительного объяснения с Натальей, незадолго до отъезда Рудина, именно героиня упрекает Рудина в том, что для него «от слов до дела еще далеко» и снисходительно советует ему: «Вперед, пожалуйста, взвешивайте ваши слова, не произносите их на ветер...»

Кто тут выше, кто ниже, кто на каком уровне?

И все-таки именно Рудин — неостановимый двигатель всех событий, сдвигов как в пределах очерченного художественного пространства, так и вне его. Рудин, прототипом которого был Михаил Бакунин.

В. Г. Белинский в свое время говорил: «Бакунин во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки,— это вечно движущееся начало, лежащее в глубине его духа».

Это вечно движущееся начало, отделив его от гримас, причуд, казусов, позднее, много лет спустя, почувствовал, например, А. Блок. В 1906 году, когда тридцать лет прошло со дня смерти Михаила Бакунина, А. Блок воссоздает свое впечатление от неубитого в 1848 году «Рудина», от человека-стихии, от человеческой судьбы, похожей на костер, крайне своеобразно: «Тридцать лет шеренга чиновников в черных сюртуках старалась заслонить от наших взоров тот костер, на котором сам он (Бакунин, апостол анархии. — *В. Ч.*) сжег свою жизнь. Костер был сложен из сырых поленьев, проплывших по многоводным русским рекам; трещали и плакали поленья, и дым шел коромыслом; наконец, взвился огонь... Имя «Бакунин» — не

потухающий, может быть еще не распылавшийся, костер... Бакунин — одно из замечательнейших распутий русской жизни. Кажется, только она одна способна огорашивать мир такими произведениями. Целая туча острейших противоречий громоздится в одной душе» (Михаил Александрович Бакунин. 1814—1876.— Блок А. Собр. соч. М., 1979, т. 4, с. 214).

Тургенева от М. А. Бакунина в 1855 году еще не отделяла такая дистанция времени, как А. Блока. Главные деяния Бакунина — после бегства из Сибири, появления в Лондоне,— деяния, похожие на сказку о гениальном забулдыге, играющем с огнем, были еще впереди. И они оказались уже, увы, неинтересны Тургеневу. И иной прочности, «ставрогинский», характер потребуется, чтобы выдержать пламя страстей, тучу противоречий шагнувшего вперед прототипа Рудина! Но и «сырые поленья» 40-х годов горели уже жарко. И кто иной видел и дым, и копоть, и жар более отчетливо?

Тургенев, «угадывая» характер Рудина, мог вспомнить и редкостное безразличие Бакунина к деньгам,— как правило, к чужим, одолженным деньгам, и его безответственность дилетанта перед журналами. Но это казалось мелочью перед другой привычкой: насиловать, реформировать, загонять в русло узкой нормативности естественное течение жизни, дружбу и любовь! Откуда явилось в сердцевине дворянских гнезд это сверхрациональное бездушие? Не Бакунин ли делал чувства своих сестер и Станкевича, и Белинского, отчасти самого Тургенева («премухинский роман») предметом сложного и бездушного философско-эстетического анализа? Лежнев в «Рудине» расскажет Александре Павловне о подобном вмешательстве Рудина в его «роман»: «Рудин нисколько не желал повредить мне,— напротив! но вследствие своей проклятой привычки *каждое движение жизни, и своей и чужой, пришпиливать словом, как бабочку булавкой*, он пустился обоим нам объяснять нас самих, наши отношения, как мы должны вести себя, деспотически заставлял отдавать себе отчет в наших чувствах и мыслях... ну, сбил нас с толку совершенно!» (Выделено мной.— *В. Ч.*).

Эта привычка «пришпиливать» жизнь словом, предписанием, как бабочку булавкой,— такая заманчивая, внешне как будто прогрессивная!— еще утверждалась. Она уравновешивалась другой, привлекательной стороной «бакунинства». Но эта страсть к пришпиливанию, деспотизм доктринера при нарушении равновесия, здравого смысла крайне опасны. Именно это бурно развилось в позднейшем Бакунине, поэте заговоров, вытряхивавшем армии бунтарей «из рукава», видевшем в людях лишь спички, а в массах — взрывчатый материал.

Но почему все же эта энергия мысли, образованности, жажда героического поприща оказывались ненужными? Прежде всего — на Родине? Почему никак нельзя было этот «генератор идей» приладить к канцелярии, присутствию? «Человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспения помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиваться — так толпа и делала, — или приостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить?» — писал А. И. Герцен[1].

Вероятно, Тургенев лишь отчасти повторял путь герценовской мысли относительно Бакунина. Реальные «извивы» бакунинской, часто авантюристической деятельности, секреты заговоров, «микробунтов» Бакунина его слабо интересовали. «Жаль его — тяжелая ноша — жизнь устарелого и выдохшегося агитатора»,— напишет он М. А. Маркович 16 сентября 1862 года.

Но острота противоречий в Бакунине 30—40-х годов, отражавших сложность русской действительности, властно приковывала внимание писателя к Премухину, к особнякам Арбата и Сивцева Вражка, к восторженным душам слушателей «Рудина». Порой кажется, что Тургенева не покидало — как он ни отделен был лично от М. А. Бакунина после 1848 года — изумление. Как далеко может качнуться «маятник»! Споры в тихих, узких кружках о Гегеле, абстрактные мечтания в «Моей метафизике» Станкевича, куплеты о молодом идеалисте-критике Крапивине в водевиле П. А. Каратыгина. И вдруг? Изумляющее всех явление одного из этих русских идеалистов 30-х годов на баррикадах, в центре идейно-политической борьбы в Европе! Какая титаническая сила буквально вытолкнула на этот перекресток Бакунина, придав водопаду его энергии своеобразный — анархический и донкихотский — угол падения?.. Сколько было говорено о семье и роде, как неких ячейках, противостоящих внесемейному разладу и отчуждению в мире, о несокрушимой силе единения в семье. Оказалось, что именно в крепком премухинском гнезде родилась эта воля к скитальчеству, к разрыву всяких уз, протест, бьющий и через край, и вкривь и вкось... Вот что испекла «русская печь»!

Тургенев, повторяем, не одобрял бакунинских программ вселенского разрушительства, тем более многих средств их

---

[1] Он же, уточняя свое мнение, добавлял:

«В этом человеке лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было запроса. Поставьте его куда хотите, только в *крайний ряд*... Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление везде... делает из него одну из тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни современная история» (Соч.; В 30-ти т., т. 9, с. 39).

реализации, но и спорить с этим не хотел. Он вообще не коснулся, создавая образ главного героя, Бакунина 1848—1851 годов. Он знал о его судьбе, но его роман — не об этом. Слишком далеко уводил *такой*, баррикадный Бакунин от типичного кружка в «культурном слое» дворянства.

Характер Рудина, и без того «перенасыщенный» («голова перевешивает все»), был бы «испорчен», стал бы однолинейным и скучным, если бы в роман был включен тот опыт шумливых экзальтированных жестов, криков, которыми пробавлялись, вызывая негодование Герцена, а еще больше К. Маркса, мелкобуржуазные романтики от революции. «Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнью за актерства, и жертва их все-таки была *ложь*. Это страшные вещи, многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее»,— писал А. И. Герцен о некоторых «байроновских» гримасах романтиков революций. В другом случае Герцен называл таких людей (Англия и Швейцария были сборными местами для осколков всех неудавшихся революций!) «поколением хористов революций»: «Оно с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, торжественную и яркую постановку. Как для Николая *шагистика* была главным в военном деле,— так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции».

* * *

Сейчас, в 1855 году, «поколение хористов революции» Тургеневу было еще не нужно. Зато позднее, когда будет создаваться «Новь», ему понадобится Цюрих и тамошняя молодежь из России, готовившая себя для хоровых и сольных партий! Тут тоже было много «расчеловечивания», много Кукшиных и Ситниковых.

Герцен избежал и участи «лишнего человека», и опасности «расчеловечивания». Он, нашедший *свое дело,* великий строитель мостов к новому берегу, лишь оттенял судьбу Рудина, сам будучи фигурой слишком яркой и исключительной, был слишком далеко и своеобразно откатившимся от яблони яблочком. Как и В. Г. Белинский, чье имя вообще не упоминалось в русской периодике «мрачного десятилетия».

Правда, оставалась еще фигура Тимофея Николаевича Грановского, не создавшего школы, не сделавшего крупных научных открытий, но создавшего «идеальный первообраз профес-

сора». Не мог ли этот прототип повлиять на судьбу Рудина в романе?

Возвращаясь из Спасского в Петербург с рукописью «Рудина», Тургенев присутствует на похоронах Т. Н. Грановского (7 октября 1855 г.) и... И, вероятно, еще одно «веяние» врывается в далеко не замкнутый «сосуд характера» Рудина.

Смерть Грановского взволновала Тургенева. Но где-то в глубине души — недаром столь иронично в «Накануне» изображение отца историка Берсенева, честного геттингенца, постоянно «подавленного ходом истории», говорящего сыну перед смертью: «Передаю тебе *светоч!*» — Тургенев все же не хотел замораживать героя на этапе своеобразного профессорского либерализма. Образ Бакунина на баррикаде, вероятно, пугал Тургенева, но и создавать «культ кафедры», в конце концов предпочитать Кавелина Белинскому Тургенев подспудно, а порой и явно не хотел. Есть *свет* лекций, но есть и *огонь* борьбы...

О процессе «расчеловечивания» в связи с Т. Н. Грановским, человеком «положительного нравственного влияния» (Герцен), художником на кафедре, говорить нельзя, а вот о приостановке движения, неком подсыхании, стушевывании темперамента вполне можно. Грановский не был гоним, он благоденствовал, но иерархическая пирамида по-своему изнурила его. Он «красил» собою место в казенной науке, он невольно подчинялся целому, его нормам, он был приговорен к почету, к неподвижности.

Был еще Н. В. Станкевич как некая душевная теплота, изначальный свет идеальных метафизических исканий, не знавших деления на «западничество» и «славянофильство».

Но ему нашлось иное место.

В Петербурге В. П. Боткин как раз и дал Тургеневу дельный совет — обратиться к образу Н. В. Станкевича, человека, «замешанного» во все начинания 40-х годов... Так появляется в «Рудине» Покорский, добровольно признанный вождь московского кружка, в котором воспитались и Рудин, и другой герой романа Лежнев.

Он умножил число мыслимых прототипов «рудинства», но подвел, пожалуй, черту под духовно-идеологическими ресурсами 30—40-х годов.

* * *

Едва ли радовал Тургенева этот итог, это странное богатство. Высокий столп севастопольских пожаров обнажил перед духовным взором Тургенева судьбу всех лучших представителей интеллигенции в мрачные — и как бы застывшие! — годы

николаевской реакции. Судьбы тех молодых наследников декабризма, которые жили в годы ожидания будущей бури, надежд на нее. А. И. Герцен много раз писал о судьбе людей своего круга. Но одна из его характеристик особенно глубока:

«Последние звенья, связующие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к другому, люди, отвязавшиеся от рода, разлученные с средой, покинутые на себя; люди ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества других... Люди отрицания для прошедшего. Люди отвлеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности».

Эти слова могли бы, пожалуй, войти и в исповедь Рудина. Самую серьезную. Тургенев, несвободный в одном отношении к Рудину — частице самого себя, герою, окруженному дорогими и автору тенями Станкевича, Белинского, Грановского, был совершенно свободен в другом плане: он, гений меры, вкуса, мастер гармонизации самых кричащих противоречий, легко избежал крайностей идеализации этого характера, и с другой стороны, излишней и явно несправедливой иронии.

Избежал, правда, не сразу... Вначале сырые поленья дохнули на него запахами того дурного словоговорения, которое он так не любил в кружках, кипятильниках красноречия. И победы Рудина, «диалектика обаятельного», поданы с явной иронией.

...Уже в первой стычке Рудина в салоне Ласунской — он и прибыл сюда не для дела, где *оно* здесь для него? — как бы демонстрируется новизна жизненной позиции, которую обрел этот герой.

Рудин — свой человек в царстве абстракций, общих законов. Он счастлив тем, что все «дроби жизни» покорно выстраиваются для него, как опилки железа в магнитном поле, в величественную систему. Он говорит, возбуждая протесты Пигасова:

«Стремление к отысканию общих начал в частных явлениях есть одно из коренных свойств человеческого ума и вся наша образованность.

— Вот вы куда-с! — перебил растянутым голосом Пигасов.— Я практический человек и во все эти метафизические тонкости не вдаюсь и не хочу вдаваться».

В кружке Станкевича и Белинского страсть к отысканию общих закономерностей в пестром, изменчивом потоке случайностей породила особое отношение к жизни, особый язык, понятный лишь членам кружка. «Мы с ним медленно, понемногу отделялись от земли и неслись куда-то, в лучезарный, таин-

ственно-прекрасный край»,— скажет Тургенев в «Якове Пасынкове» об этом общем состоянии идеалистов 30-х годов.

Рудин наслаждается игрой ума. И Тургенев не скрывает порой своей иронии: так дитя наслаждается редкой игрушкой, пойманным и уже ручным зверьком.

«— Посмотрите,— начал Рудин и указал ей (Наталье.— *В. Ч.*) рукой в окно,— видите вы эту яблоню: она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения...

— Она сломилась оттого, что у ней не было подпоры,— возразила Наталья».

Почему не доходят до Рудина простейшие доводы? Почему он так и остается в первой половине романа самоувлеченным, блуждающим среди «эмблем», не замечающим реальных вещей и человеческих характеров?

Сам Рудин не только «надломлен», но даже и изломан, измят философскими веяниями.

Он уже в первых главах мог быть объектом иронии, он действительно раздражает, но и вызывает острое любопытство...

Все можно поработить, пригнуть к земле дикой силой, как бы говорил всем своим поведением Рудин, но нельзя отнять у человека его свободу суждений относительно этого, пусть еще всевластного, окружающего мира. Он непрерывно говорит на своем языке, правда, изобилующем темными для многих понятиями, словно боясь... забыть этот редкий еще язык духовно свободного человека!

Извинительны ошибки Рудина и его назойливая последовательность, его стремление каждый миг питаться тончайшими эссенциями мыслей и чувств, «надламывать» привычные верования других. В Рудине, как сказал Н. Берковский, все определяется одним: он живет «в вечном ропоте «возможного» против «действительного». Он своего рода ясновидец, мучимый сознанием двойственности человека: так много в человека вложено, столько посеяно семян для разумной, высшей жизни и так призрачно, так недействительно его скудное бытие!

* * *

«Рудин» писался в Спасском летом 1855 года, и фоном творческого труда было трехнедельное веселое гостеванье в доме Тургенева В. П. Боткина, Д. В. Григоровича, А. В. Дружинина.

Обеды, прогулки, хороводы крестьян, наезды соседей. И не только это...

Почти сразу же по приезде изысканный гастроном Василий Боткин стал притворно ворчать на хозяина:

— Вечно ты все преувеличиваешь... Зазвал, между прочим, полюбоваться красотой соседки-помещицы, старинной барской усадьбой. Помню твои слова: «Попадаете при первом взгляде на нее, как кошенные стебли!..» Сколько раз твои преувеличения ставили тебя в смешное положение!..

Воркотня Боткина навела внезапно друзей на мысль: а не сочинить ли фарс о смешных последствиях страсти к преувеличениям? Первым эту мысль подхватил сам Тургенев.

«Сюжет фарса не отличался сложностью: выставлялся добряк-помещик, не бывавший с детства в деревне и получивший ее в наследство; на радостях он зовет к себе не только друзей, но и всякого встречного; для большего соблазна, он каждому описывает в ярких красках неслыханную прелесть сельской жизни и обстановку своего дома. Прибыв к себе в деревню с женою и детьми, помещик с ужасом видит, что ничего нет из того, что он так красноречиво описывал»,— вспоминал Д. В. Григорович.

А гости, откликнувшись на приглашение, ехали, возмущение их росло... Была в этом фарсе «Школа гостеприимства» сцена, когда один из гостей, желчный литератор (его играл Дружинин), в гневе бросает горящую спичку на солому, служившую ему постелью и говорит: «Пускай горит, он накормил нас тухлыми яйцами!» На крик «Пожар!» выбегал сам хозяин (Тургенев) и произносил знаменитую фразу: «Спасите меня, я единственный сын у матери!..»

Но уже в середине октября 1855 года Тургенев прочел «Рудина» редакционному кружку «Современника». На чтении присутствовали В. П. Боткин, Н. А. Некрасов, И. И. Панаев. Всю вторую половину октября, ноябрь и декабрь Тургенев перерабатывает повесть, вероятно советуясь в редакции, читая новые фрагменты друзьям и знакомым. Н. А. Некрасов с радостью убеждается: «А Тургенев славно обделывает «Рудина». Ты дал ему лучшие страницы повести, натолкнув его на мысль развить студенческие отношения Лепицына (Лежнева) и Рудина. Прекрасные, сердечно-теплые страницы — и необходимейшие в повести! Теперь Тургенев работает над концом (над эпилогом), который также должен выйти несравненно лучше». (Из письма Н. А. Некрасова В. П. Боткину 24 ноября 1855 г.)

История этих доработок, углубления и уточнений характеристики Рудина — редкий случай запечатленного единства исканий художника и ожиданий целого круга лиц, жаждавших тоже понять себя, свое прошлое, главнейшие потребности времени.

Но как различны были эти ожидания.

Активнейший оппонент Н. Г. Чернышевского А. В. Дружи-

нин призывал откинуть в наследии критики гоголевского периода «оскорбительную нетерпимость убеждений», развить элемент, «примиряющий и согласующий спорящие стороны», ввести «благоразумный контроль за собою». Зачем крайности, возникшие в атмосфере николаевского деспотизма? Нужен ли теперь «дух партий» и неразлучная с ним «нетерпимость»? И нужен ли художник-дидактик? Зачем вообще поэту приносить талант в жертву интересам так называемой современности, если публицистически эти «цветы» быстро вянут и отцветают? Так будет вопрошать А. В. Дружинин, еще пребывая в среде людей «Современника», в 1856 году в статье «Критика гоголевского периода».

М. Н. Катков в это же время в очерке «Пушкин» по-своему своеобразно подводит черту под эпохой В. Г. Белинского. Зачем художнику брать метлу — ведь чернь, приглашающая поэта, «избранника небес», исправлять ее, «исчисляет свои пороки вовсе не с тем чувством, которое «жаждет исправления», ведь лучше иное: «Вы хотите, чтобы художник был полезен? Дайте же ему быть художником».

Для революционных демократов Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова «темное царство» еще не кончилось с крахом и смертью Николая I. Еще не пало крепостничество, и дело народа лишь для немногих стало жизненной необходимостью, «органически срослось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни». В оценке людей 40-х годов Чернышевским и Добролюбовым начинают преобладать резкие ноты скептицизма, насмешки, раздражавшие, конечно, и А. И. Герцена, и Тургенева. Ни «Фауст» Тургенева с его призывом: «Отречься от своих желаний должен ты, отречься», ни тем более поведение героя «Аси» не могли совпадать с социально-нравственной программой революционных демократов. В лучшем случае эти произведения послужили им для своеобразных доказательств своей правоты «от противного».

Естественно, Тургенев и не стремился кому-либо угодить, смысл уточнений и углубления характера Рудина был для него в другом.

Тургенев в этот петербургский период работы над романом в известной степени отошел от образа Бакунина. До него ли дело, тем более до его слабостей, если уж речь пошла о целой полосе общественного развития? Тургенев ощущал, что здесь он должен победить в себе беса иронии и отказаться от духа пародирования. Ведь иронизируя над персонажем, он мог даже незаметно для себя низвести до комического уровня важнейший момент общественного бытия. А трагедия «лишних людей», «гамлетов щигровского уезда», не могла быть комич-

ной. Лишь поначалу нелепы и смешны их взволнованное бездействие, риторика, поза непризнанных гениев. И Тургенев лишь в первой части романа «Рудин» форсирует иронические интонации, чрезвычайно тонко снижая образ героя.

Нотки иронии зазвучали уже в описании рудинского красноречия: «Он умел, ударяя по одним струнам сердца, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его *высоко поднималась*, какие-то завесы *разверзались* перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди». (Подч. мной.— *В. Ч.*).

Рудину была самой Ласунской отведена роль говоруна, человека-новинки, а в делах все решалось советом и хитрой уловкой старосты, плута-малоросса, вечно приговаривавшего: «Старенько-то жирненько, молоденькое — худенько...»

Да и рассказы Лежнева о Рудине рисовали характер, исторгающий фейерверк кличей, звонких формул, но в сущности характер иллюзиониста. Рудин лишь создавал голод, тоску по истине, не насыщая своих последователей ничем. Даже евангельскими пятью хлебами...

Искренние его признания: «Мне остается теперь тащиться по знойной и пыльной дороге, со станции до станции, в тряской телеге»,— тоже не «звучат» и кажутся позерскими. Хотя они истинны! Скитаться всегда, оставляя за спиной временных попутчиков, почитателей, измельчающих его идею жизни последователей... Никого не имея вровень с собой, всех безнадежно извиняя,— это ли не мучительное испытание? — Рудин в условиях 40-х годов, при безгласии и немоте,— вспышка личности, дерзнувшей «взять на себя те функции, которые прежде выполняло общество в целом» (В. Маркович).

Но вся эта вспышка, все дерзновение были внутренне обреченными. И вершина всех «снижений» Рудина — впрочем, трагических,— конечно, приговор Натальи...

Описание обманутых надежд Натальи, движение чувств в ее душе, подобное движению соков в весенней почве,— прекрасные страницы романа, показывающие всю несостоятельность «гениальной натуры».

Тургенев словно прощается с целой полосой развития, не страшась приводить подробности, огорчавшие, вероятно, иных друзей, дававшие новым людям в «Современнике» достовернейшую точку отсчета при движении в будущее.

И все же Рудин покорял читателя. Душевными грозами, вечной текучестью мысли.

Рудинские душевные грозы — в прочитанных книгах, в его речах, в его поведении. Он как будто внеприроден. И никогда

его душевная жизнь, его дух не знает соприкосновения с бессознательно-могучей стихией природы.

...Отъезд Рудина из имения Ласунской — начало (а вернее, продолжение) его скитальчества. Как подлинное «житие» святого начиналось, обрастая слухами о его чудесах, как правило, после его смерти, так и отъезд Рудина обострил настойчивые попытки всех окружавших его, вошедших вновь в свою жизненную колею, понять идею жизни этого гонимого множеством обстоятельств человека.

Общий тон воспоминаний и раздумий о Рудине определяется глубоким сочувствием к прошлому скитальца и к его настоящему. И здесь в романе, в связи с этими воспоминаниями, возникает прекрасный образ Покорского, дань искренней любви самого Тургенева к Станкевичу и Белинскому.

«Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии...— вспоминает Лежнев, участник бесед у Покорского.— А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях... Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали, и понятнее...»

Кем угодно были эти пять-шесть мальчиков, только не людьми мещански-ограниченными! Несчастье этих юношей состояло в том, что «черенок» европейской культуры прививался к стволу торопливо, порой кустарно, что официальное просвещение не нуждалось в их страстной воле к знанию. Вне канцелярий не было еще легального великого поприща... Опередившие свое время, часто одинокие на старых родительских почвах, эти саженцы цвели бесплодно. Но бесплодно только до известного времени!

* * *

Первый роман Тургенева заквашен, в известном смысле, на гоголевском «рассоле».

Это влияние сказывается во всем: и в свободе перехода от возвышенного до простого, и в отсутствии самоцельной наблюдательности, и в особой роли рассказчика, повествователя, умело «управляющего» симпатиями и антипатиями читателя к тому или иному герою. «Рассказчик», подставное лицо... которое плетет словесный узор, в произведениях Гоголя как бы движется зигзагами по линии от автора к героям»,— отмечал не-

когда академик В. В. Виноградов. «Зигзаги» повествователя, его манеры в «Рудине» усложнялись самим временем, углублением и отчасти переменой его взгляда на людей 40-х годов под воздействием ранних споров с «шестидесятниками».

От Гоголя идет и известная статичность, неподвижная, «восковая» застылость целого ряда портретов, фрагментов романа, полное господство автора над всеми ситуациями, поворотами сюжета, свобода остановки диалога и перевода его в прямой психологический анализ.

Рудин долгое время говорил, не имея личных связей с людьми, не чувствуя их слабостей, несовершенств. Он, пожалуй, самый инфернальный герой Тургенева. Он, как у Гоголя, не нуждается в действии для самораскрытия: ему достаточно пьедестала и... жестов. Он пришпилен к своей сверхзадаче: он и «другие» герои жили в разных плоскостях. Но вдруг — потребность сойти с пьедестала... Любовь Натальи, конец замкнутого и самодовлеющего одиночества, стычка с живой и неповторимой личностью, несущей свою правоту... Это уже тургеневское в романе: начало движения, рождение нового психологизма и сюжетологии. «Небожитель оказывается на земле, увязает в ней» (Маркович), делает несколько шагов... Куда? Помимо всего — и к прозе Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, где сверхличное не подавляет, не сковывает героев. Но шагов было сделано еще немного. Л. Н. Толстой однажды запишет в дневнике: «Я есть соединение двух деятельностей. Одна из них «ограничена» внешним миром, это деятельность «телесная»... Вторая деятельность — духовная — ничем «не ограничена» и потому «свободна». Я желаю желать» (Юб. соч., т. 1, с. 235).

В «Рудине» этот родник не мог еще «забить»: накапливается богатство интонаций, позерство сменяется жалобами, оглядка на себя уступает место оценке мира, автор заставляет Лежнева договорить нечто рудинское. Но это все как бы прикладывается к Рудину: до самодвижения, диалектики души тут весьма далеко.

Сам пейзаж в «Рудине», конечно, уже не похож на гоголевское небо в «Сорочинской ярмарке» («голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землей»), но он еще как у Гоголя, так упоительно роскошен. Звезды вечно теплятся, летняя ночь нежится и нежит... Но не декорации ли это романтического плана? «Крупные, сверкающие капли сыпались быстро, с каким-то сухим шумом, *точно алмазы; солнце играло* сквозь их мелькающую сетку; трава, еще недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу; орошенные деревья *томно трепетали* всеми своими листочка-

ми» — это, безусловно, прямая передача привнесенных в природу человеческих ощущений, хотя резко возросла и фиксация собственно свойств дождя, состояния трав, деревьев.

Но больше всего гоголевское влияние сказалось в конечном полном господстве автора над главным героем — Дмитрием Рудиным. Несвобода от него — временна, господство — постоянно. Рудин и «рудинство» — это словно вычисленные величины, как вычислен Собакевич или Ноздрев, герой не способен «удрать», выкинуть непредвиденной «штуки», как пушкинская Татьяна с ее замужеством, штуки, неожиданной для гениального автора «Евгения Онегина». Он входит в роман практически готовым, его идея жизни неизменяема. Он может сломаться, но не измениться. Парадоксально, может быть, но и очевидно: как нельзя стронуть, сдвинуть с незримых постаментов Манилова, Собакевича, Ноздрева, готовых навсегда к одной, вечной роли, так и скиталец, «подвижнейший» герой Тургенева, кажется, воплощение движения,— не сдвигаем в сущности никуда. Ему надо погибнуть на баррикаде: это «часть» его пьедестала, элемент неподвижности.

В. М. Маркович в книге «Человек в романах И. С. Тургенева» (Л., 1975, с. 63) — своеобразно определил глубокую зависимость поэтики Тургенева от гоголевской прозы. Он отметил в романах Тургенева явный «недобор» обычных слагаемых для характеристик. Базаров будет «лишен» биографии, а Рудин с опозданием характеризуется Лежневым. А между тем Тургенев на редкость «беспечен», не встревожен этими «недоборами». «Статичному представлению о человеке не дано отвердеть, и противоположность между статичными и динамичными элементами образа не принимает резких форм... Событийная динамика сюжета и стихия сюжетных взаимоотношений тоже обузданы в своих «разрушительных» (по отношению к характеристике) тенденциях», — отмечает исследователь.

И в 1863 году Тургенев будет повторять: «Я — повар старого покроя и не умею на нее (массу новейших читателей.— *В. Ч.*) готовить...» (П. В. Анненкову, 28 сентября 1863 г.). Он будет, правда, ценить «особый переливчатый колорит» эстетических наслаждений (из письма А. Ф. Онегину 27 декабря 1868 г.) будет отмечать резко возросшую (как соперничество с психологизмом!) роль языка у другого «повара старого покроя» А. И. Герцена: «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело» (П. В. Анненкову, 30 октября 1870 г.). Но в отношении гениального открытия Л. Н. Толстого — изображения «диалектики души», почти саморазвития «души» в сложной среде домашней и исторической жиз-

ли — «старый повар» Тургенев, даже читатель «Войны и мира», будет непреклонен: «...есть бездна этой старой психологической возни («что, мол, я думаю? что обо мне думают? люблю ли я или терпеть не могу? и т. д.) — которая составляет положительно мономанию Толстого» (И. П. Борисову, 27 февраля 1868 г.).

Хотя он, как никто иной, ощущал: время с его «давлением» на героев, невиданная сложность обстоятельств, определяющих судьбу, приводили в движение множество сил души, не все можно было собрать в фокус единственного решения, жизнь растекалась вширь и вглубь. И уже Лиза Калитина сделает чуть больше «шагов» в сторону будущих героинь Толстого и Достоевского. А судьбу Нежданова («Новь) Тургенев будет, в известной мере, исследовать с неожиданной последовательностью, почти с толстовской скрупулезностью и «самоковырянием». Не мерой вечности измеряются и преходящие, изменчивые «микросдвиги» в душе Базарова, особенно в миг, когда он, сраженный красотой «стынущей» аристократки Одинцовой, испытывает чувство, похожее на злобу. Да и сами поворотные, неповторимые мгновения, когда «судьба меняет лошадей», от романа к роману готовились Тургеневым, с возрастающей психологической зоркостью. Это была своеобразная «диалектика души», повернутая назад, в предысторию кульминационного решения.

Но «отпустить» героя начисто, отдать его во власть логики непроизвольных чувств — «что я думаю? что обо мне думают? люблю ли я или терпеть не могу?» — Тургенев все же не мог. Не начнется ли бессистемное описательство, хаос случайностей, рабство перед фактами и фактиками?.. Куда течет *такая* река и где ее истоки и устье? Все-таки не из хаоса, не из сумбура слепых ощущений родилось совершенство пушкинского слова, приведшего в равновесие все стихии страстной, насыщенной, не прирученной русской речи... Не очень верил Тургенев и в возможности такого реализма, при котором за скобками или в роли анемичных декораций остается объективный, самодвижущийся мир, а читателю дается лишь одна «психологическая действительность» или игра условных образов. Можно провраться и через недостаток фактов, но можно, как сказал бы и Тургенев, «провраться мистически» (А. Блок). Повар старого покроя видел далеко — он видел многое и в «кухне» новейших времен.

ПРОЩАНИЕ ЧЕРЕЗ ПОРОГ МОНАСТЫРЯ

Русская жизнь представляет из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия и отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала...

А. П. Чехов. На пути (1887)

...Эта апофеоза русской женщины... такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева.

Ф. М. Достоевский. Пушкин. Очерк (1880)

...Вскоре после окончания повести «Ася» 22 декабря 1857 года Тургенев пишет Е. Е. Ламберт из Рима: «Я теперь занят другою, большой повестью, главное лицо которой — девушка, существо религиозное; я был приведен к этому лицу наблюдениями над русской жизнью; не скрываю себе трудности моей задачи, но не могу отклонить ее от себя».

Он вскоре покинет Италию, и античные развалины Рима, жаждущие заговорить с человеком, руины, в которых «самое запустение носит печать изящества и грации», станут бесплотным, почти музыкальным впечатлением. За Альпами, у ворот Рима, замолкал некогда для Тургенева весь шум Европы, и долго после 1840 года он вспоминал итальйские пиршества для души, для глаза и слуха. Но сейчас — иные времена. Прозаические заботы — лечение в Вене у медицинских тузов, поездка в Лондон к Герцену по конкретным вопросам будущей крестьянской реформы — будут поглощать все внимание Тургенева. Воспоминания о Париже, о доме Полины Виардо тоже будут чаще всего безрадостно-учтивыми. Выражая сочувствие Н. А. Некрасову в его хлопотах по журналу, в его муках личного плана (связанных с А. Я. Панаевой), Тургенев искренне вспомнив нечто свое, напишет: «...скверные наши годы, скверное наше положение (во многом, как ты знаешь, сходное); но дóлжно крепиться, не для достижения каких-нибудь целей, а просто чтоб не лопнуть» (27 марта 1858 г.).

Этого «печалования», говоря старым языком, по-прежнему много в письмах Тургенева. Но кастальский ключ, который «волною вдохновенья в степи мирской изгнанников поит» (Пушкин), коли уж пришел в движение, «забил» в сознании поэта, невольно оживляет все, творит иное сознание. Оазис

мучительной тишины среди близкой бури... Образ ушедшей в свои думы и предчувствия девушки, будущей Лизы Калитиной, то и дело вплетается в тургеневские раздумья о Родине, о ее грядущей судьбе. В том же письме, от 22 декабря 1857 года, он делится с Е. Е. Ламберт тревожной надеждой, одновременно объясняя другие стороны будущей повести (романа «Дворянское гнездо»), обращенные к проблемам обновления России после Крымской войны: «Все это время много и часто думал о России. Что в ней делается теперь; двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) — и войдет ли в волны или застрянет на полпути?.. Ленив и неповоротлив русский человек — и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда — великое слово! — поднимет и этого медведя из берлоги...»

Язык Тургенева, как всегда, то печален, то ироничен, шутлив. Он ни на миг не забывает, что беседует с одной из утонченных и тоже полурелигиозных женщин Петербурга, отчасти прототипом Лизы Калитиной. Но тревоги и заботы Тургенева предельно серьезны. Нужда — великое слово!— действительно подняла из былой берлоги «медведя», то есть историческую необходимость, ходуном заходил традиционный быт, пришли в движение надежды, часто противоположнейшие. И преобладающим в настроениях Тургенева в 1857—1858 годах стало стремление деятельно, не зная «низких» тем, неартистических, так сказать, вопросов, всеми силами способствовать делу преображения России, воспрянувшей после оцепенения. Начался и для Тургенева, как выразился профессор Г. Н. Поспелов, «своего рода идейный штурм» основ былого крепостнического строя, во имя скорейшего освобождения трудящихся масс. Оставаясь во многом деятелем либерально-просветительского плана, Тургенев искренне верит в эти годы, что возможности для победы над крепостничеством не будут упущены! Он верит, что русский человек обретет навыки сильной гражданской жизни, что... Если продлить далее цепочку ожиданий и мечтаний Тургенева, она сомкнется в это время по целому ряду пунктов, не утратив самобытности, с общественно-политической программой «Колокола» А. И. Герцена и Н. П. Огарева. «Колокол» начал выходить с июля 1857 года, параллельно с «Полярной звездой»[1]. Тургенев одним из первых откликнулся

[1] Во вступительной статье к журналу Тургенев прочитал слова, которые могли быть и его «аннибаловой клятвой»:

«В отношении к России, мы хотим страстно, со всей горячностью любви, со всей силой последнего верования,— чтобы с нее спали наконец ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее. Для этого мы теперь, как в 1855 году (когда появилась программа «Полярной звезды».— *В. Ч.*), считаем первым, необходимым, неотлагаемым шагом:

на приглашение издателей «Колокола» — не только слушать «Колокол», но «и самим *звонить* в него!» — и уже 10 декабря 1857 года посылает Герцену «дело» полтавского помещика Кочубея, в запальчивости, при денежной ссоре, расправившегося с управляющим И. Зальцманом (последний, жертва, при безгласности суда еще и был осужден судом!). В течение нескольких лет Тургенев будет активным корреспондентом, советчиком, а в 1862—1863 годах и оппонентом Герцена и особенно Н. П. Огарева и М. А. Бакунина.

Время создания «Дворянского гнезда» — это и короткий период напряженного сотрудничества с «Современником» Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. При всех ощутимых расхождениях, эмоциональном отчуждении, например, с Н. Г. Чернышевским — «сухость и черствый вкус», «нецеремонное обращение с живыми людьми»,— Тургенев постоянно подчеркивал в Чернышевском близкое себе понимание «потребностей действительной современной жизни». И, конечно, Тургенев всегда резко отвергал снобистское, эпикурейско-барское отношение А. В. Дружинина к Н. Г. Чернышевскому, как к неуклюжему, но работящему работнику, нужному «Современнику» лишь ...начитанностью и трудолюбием.

Чернышевский «гнул» туда, куда устремлялась и мысль создателя «Записок охотника» — к скорейшему освобождению крестьян, наиболее полному, последовательному.

Характерно, что даже в тургеневские диалоги с Л. Н. Толстым в 1856—1858 годах как будто врывается и звон «Колокола», и резкость публицистических интонаций великих революционных демократов, «молодых штурманов будущей бури» (В. И. Ленин). Тургенев, например, не только решительно отвергает прожект Толстого и Фета о создании журнала, посвященного «исключительно художеству». Он убеждает Толстого почти как Чернышевский: «В наше время не до птиц, распевающих на ветке» (17 января 1858 г.). Он увещевает Толстого: «Политическая возня Вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; — да ведь и на улицах грязь и пыль — а без городов нельзя же» (27 марта 1858 г.). А в защите Белинского голос Тургенева — опять в связи с Толстым — вообще обрета-

---

«Освобождение слова от цензуры!
Освобождение крестьян от помещиков!

Освобождение податного состояния от побоев! Не ограничиваясь, впрочем, этим вопросом, «Колокол»... будет *звонить*, чем бы ни был затронут — нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное, все идет под «Колокол» (Ветринский Ч. Герцен. Спб., 1908, с. 303).

ет суровость тона неожиданную. Толстой с сочувствием прочел в статье А. В. Дружинина «Критика гоголевского периода» упреки последнего в адрес Белинского, чересчур якобы жестоко, без сердца разгромившего Марлинского — «Марлинский, при его уме, гибкости и наглядности, при славе, им добытой, при живой поэтической струе, мог... легко отказаться от мишурной риторики...» Тургенев, уловив сочувствие Толстого Дружинину, с неожиданной горячностью и прямотой вразумляет его: «Что за детское — или, пожалуй, старческое воззрение! Как будто дело шло о том, чтобы уцелел талант Марлинского! Дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого, дело шло об разрушении авторитета, мнимой силы и величавости... Коли бить быка, так обухом» (16,23 декабря 1856 г., 4 января 1857 г.).

Совершенно неожиданно для либерала и постепеновца именно Тургенев убеждает будущего бунтаря, адвоката «стомиллионного земледельческого народа», что девиз Дружинина, антипода Чернышевского, Ohne Hast, ohne Rast (без торопливости, без отдыха), уместен где-нибудь во Франции или Британии. А нам он не пристал, «как говорится, ни к коже, ни к роже...»

Куда исчезло патентованное, не раз заявляемое западничество Тургенева!

* * *

И все же... Как активно ни помогал Тургенев осудить в «Колоколе» очередного Пеночкина или изящного бюрократа, «засекающего крестьян на следствии, не возвышая голоса и не снимая перчаток», как ни увлекала его «публицистическая» сторона литературной жизни, он оставался и рядом с Герценом, и в кругу «новых людей «Современника», как некогда среди собратьев по «натуральной школе», существом неслиянным, «не связанным» узкой нормативностью. Конечно, пыльные города нужны, говорит он Толстому, но сам он все-таки ищет горного воздуха, античных руин, ищет полной несвязанности с любой однодневной доктриной. Конечно, грядущая реформа затрагивает судьбы миллионов крепостных, но взор Тургенева прикован все же к дворянскому гнезду...

Ап. Григорьев, автор одной из лучших (и до наших дней) статей о «Дворянском гнезде», своеобразно определит эту неслиянность, неспособность Тургенева «засесть в какое-либо узкое определеньице и блаженствовать в нем» (Белинский) как черту его личности и таланта: «Есть какая-то неполнота в его творчестве — и вследствие этого *какое-то моральное раздраже-*

ние вместо веры и удовлетворения остается после некоторых повестей его...» (Подч. мной.— *В. Ч.*).

* * *

...«Дворянское гнездо» начинается с нарочито бестревожной, почти идиллической картины. Светлый весенний день, *розовые* тучки высоко в *ясном* небе, красивый дом, окруженный садом, выходящим прямо в поле. В губернском городе О... нет только «лазурных сводов», хотя «глубь лазури» есть, нет любимого Жуковским «фиала забвенья» («Элизиум»). Говорить красиво о природе Тургенев никогда не «отучится», даже помня о беспощадной базаровской иронии на сей счет. «Природа все еще годится для роли божества, ей можно, без усилий, предписать эту роль!» — словно вздыхает Тургенев.

А люди, созерцающие эту глубь лазури, слушающие звуки ночи, которые «пылают любовью»? Две почтенные собеседницы у окна — мать Лизы, чувствительная вдова губернского прокурора Марья Дмитриевна Калитина, и бойкая старушка в белом чепце, Марфа Тимофеевна Пестова, ее тетка, являются на первой же странице. Они — словно осколки былой ларинской и грибоедовской Москвы. Для Лизы Калитиной эта ворчливая Марфа Тимофеевна — почти не состарившаяся незабвенная Хлестова из «Горя от ума», наделенная народным здравым смыслом, тоже хлесткая на язык! — единственная в доме заступница, моральная опора, советчица. И опорой она является благодаря деревенской простоте, резкости оценок, успокоительно контрастирующих с возвышенным строем души Лизы.

Низкий «жанр», просторечье для Тургенева — отнюдь не противоположность романтической величавости. Прекрасный «слух» на народную речь уживается в нем с меланхолией созерцаний. Звуки у Тургенева действительно то пылают любовью, то «певучим, сильным потоком струились они — и в них, казалось, говорило и пело его счастье». И до этого Лаврецкий, попав в свою усадьбу, вспоминает парижский обман, трату лет «на женскую любовь», вслушивается в шелест «уходящей, утекающей жизни». Но одновременно старый слуга Антон говорит ему о страхах былой, не тронутой ничем крепостной старины, и герой прекрасно слышит его: «Раз я им (прадеду Лаврецкого.— *В. Ч.*) в саду *встрелся* — так *даже поджилки затряслись;* однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить — *и старшого над собой не знал*... Бывало, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмот-

рит на него да скажут: «Мелко плаваешь»,— самое это у них любимое слово... (Подч. мной.— *В. Ч.*).

Редкое равнодействие летучих, зыбких романтических одушевлений природы, «розовых облаков» и прочных, грубоватых красок быта, стихии хлестких народных словечек сопровождает читателя на всем протяжении романа. Подробности повторяются в разных обстоятельствах, подводное течение будто вырывается на поверхность.

В «Дворянском гнезде» гармонично уравновешено все — описания людей и драматические их испытания, покой и катастрофы, хотя внешне кажется: ни одна подробность не взвешена заранее, не вычислена, не насильственна. Посудачат, скажем, в первой главе эти две пожилые женщины о состояниях, о женихах и правах, оценят новость — возвращение в город О... Лаврецкого без жены — и ничто не изменится в наличном составе компонентов бытия. Завтрашний день будет повторением нынешнего. Лишь одна чуть тревожная нота, вернее, намек на нечто все же прозвучит: «Состояние у ней (матери Лизы, вдовы прокурора Калитина.— *В. Ч.*) было весьма хорошее, не *столько наследственное, сколько благоприобретенное* мужем» (Подч. мной.— *В. Ч.*).

Известно, что дворянские имения в эти десятилетия непрерывно закладывались и перезакладывались, судейские чиновники, жадно облеплявшие любое, ими же затемненное «дело» в ожидании взяток, богатели на процессах, на кормовых «теплых» местах. Но это действительно лишь намек на нечто. Подлинный смысл «благоприобретенного состояния», зла, сосредоточенного в нем, раскроется лишь после всех событий, когда Лиза, уходя в монастырь, скажет: «Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и *как папенька богатство наше нажил; я знаю все». Все это* отмолить, отмолить надо» (Подч. мной.— *В. Ч.*).

«Все это...» На языке Лизы Калитиной это могло означать, пожалуй, одно: Тургенев ощущал предреформенную Россию как одну из кризисных точек человечества, а сама эра реформ представлялась ему, как и Герцену, периодом «социальных проб «этого всего», то есть и предреформенного уклада, и крестьянской общины, и дворянства.

Справиться с напором обступавших его вопросов, давлением обстоятельств русской действительности, не вчера сложившихся, было нелегко, и Тургенев, великий мастер «смягчений», «уравновешиваний» проклятых вопросов, не случайно отодвинул проверку всего, что задумала отмолить Лиза, то есть время действия «Дворянского гнезда», в 1842 год. «Все это», что решилась отмолить Лиза,— не только неправедные деньги отца, вобравшие, по ее догадкам, в себя зло и греховность жизни.

Они вобрали и неразвеявшийся страх старого слуги Антона, нравы барства дикого «без чувства, без закона» прадеда Лаврецкого и его, Лаврецкого, собственную «обломовщину». Отмолить надо все это не ради прошлого, а скорее, ради будущего всех, дорогих ей, Лизе, людей!

П. В. Анненков проницательно отметил этот сложный смысл будущих молитв Лизы и обоснованность всех тревог, напряжений, ломающих уклад «дворянского гнезда»: это уголок, где для русского общества заключена одна «из тайн собственного существования».

Н. А. Добролюбов также отмечал трагический общественный смысл драмы именно в гостиных, в аллеях парка, в семейно-бытовой среде «дворянского гнезда»: «Драматизм его (Лаврецкого.— *В. Ч.*) положения заключается уже не в борьбе с собственным бессилием, а в столкновении с такими понятиями и нравами, с которыми борьба действительно должна устрашить самого энергического и смелого человека» («Когда же придет настоящий день?»).

Случайно ли это слово «устрашить»? Ведь Тургенев не дал крылатого наименования вроде «темное царство» или «обломовщина» всему комплексу понятий и навыков жизни, который управлял жизнью и судьбой обитателей «дворянского гнезда»... Этих резких определений Тургенев не мог дать, ибо его собственное отношение к «дворянскому гнезду» и к поэтичнейшему образу Лизы крайне мучительное, сложное. И все же слово «устрашить» не случайно в статье Добролюбова. «Темное царство» или обломовская лень, осознанные как таковые, уже не столь страшат. А как быть со столь родным миром, исполненным такой человеческой красоты, неповторимой поэзии сердец и душ?

* * *

...Пожалуй, до Федора Лаврецкого ни один из героев Тургенева не имел столь обстоятельного «формулярного списка», «досье», наподобие «французских преступников в парижской префектуре» (Г. Джеймс), а проще говоря, сжатой и подробной летописи жизни дедов и отцов, истории воспитания героя, нравственных скитаний (в пересказе от автора) и ошибок молодости.

Неожиданно, как это было и с Рудиным, появление Лаврецкого, господина «в сером пальто и широкой соломенной шляпе», в дверях дома Калитиных, где он разминулся с Леммом, старым учителем музыки, и поздоровался с Лизой («Ведь вас, кажется, зовут Елизаветой?»). Но никак не неожидан в каж-

…ком душевном движении он сам! Он продуман, «вычислен» автором, угадан заранее в каждом последующем поступке. Все явное имеет в нем тайные психологические пружины, корни. Идеи живут в нем психологической жизнью! Рудин — воплощенная энергия скитальчества, энергия почти «нематериальная», внеличная; он настолько дитя «могущественных философских веяний», что... «едва успею я войти в определенное положение, остановиться на известной точке, судьба так и сопрет меня с нее домой»,— признается он сам. В судьбе Лаврецкого власть надличностных, вечных стихий осознанно ослаблена, введено действие иной и более земной идеи. Он вообще ближе к земле, к почве, к стихиям отечественной истории, «преломившимся» в истории его рода. Рудин боится своей судьбы, Лаврецкий уже управляет ею.

А как воссоздана его родословная?

Она воссоздана тоже иначе, чем в «Трех портретах» или в позднем рассказе «Старые портреты»,— без замирания сердца перед смерчами страстей, бушевавших в прошлом, но и без тихого благоговения.

Родоначальник Лаврецких в княжение Василия Темного почему-то заброшен в Бежецкий верх, на тверскую землю. Не воспоминание ли это о гнезде Бакуниных, о Премухине? Но все остальное — и дед, степной барин, и испытания 1825 года, пережитые отцом Тургенева, знавшим многих декабристов,— орловское, вернее, «лутовиновское»...

Автор и герой листают ветхие страницы родословной Лаврецкого с какой-то требовательной настойчивостью, как листы современной газеты. Чем же *мы* богаты? Неужели исполняется — в который раз!— печальное предсказание:

Богаты мы — еще из колыбели —
Ошибками отцов и поздним их умом...

Увы, опыт дедов и отцов, как обнаруживает Лаврецкий в час испытаний для дворянства, богат, ярок, живописен часто, но он принципиально *не тот,* что нужен сейчас. Многое в нем есть, но нет *нужного!* Не для 1842 года, а для 1858 года... Прадед Андрей, тот, для которого все «мелко плавали»... «До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой...» Дед Лаврецкого был уже попроще, это всецело земной человек, тихий, заурядный прожигатель жизни, распущенная пружина: как тараканы, сползлись к нему знакомые и незнакомые мелкие людишки и попросту... проедали, без шума, блеска кутежей, имение... Серая повседневность угасания, хаотичного обжорства без проблеска страстей! Отец Лаврецкого

отбросил темные преданья и буйного барства и тихие соблазны «травоядного» существования — он «нафранцужен», начитан во французском духе, играет на флейте, гадливо относится к простодушному порабощению усадебных родичей сытой кулебякой, святочными гаданиями, розгами для дворни и крещением бесчисленных племянников, внуков. «...Драться при нем тоже не смей, служить не хочет; слаб, вишь, здоровьем; фу-ты, неженка эдакий! А все оттого, что Вольтер в голове сидит», говорили родичи об этом «яблочке», далеко откатившемся от родного ствола, в дебри французской премудрости XVIII века. И не заметили усадебные фамусовы, что он, как и многие русские дворяне, лишь хворал от этой «прививки», был наполнен какой-то чудовищной «брагой» — и Руссо, и Гельвеций, и тот же Вольтер,— но... духа свободомыслия, вселенного «изувером Дидеротом», хватило на то, чтобы прижить в отцовском доме ребенка от горничной Малаши,— им и был Федор Лаврецкий... Да еще на то, чтобы в продолжение всей остальной жизни с какой-то странной самоуверенностью не знать России, даже по-русски изъясняться нелепо, с галлицизмами. Лишь герб Лаврецких был дополнен припиской: «В законности — добродетель»... Совсем в духе Б. Н. Чичерина!

Федор Лаврецкий, внешне могучий, но склонный к созерцанию и лени, лучшие годы просидевший вне жизненного водоворота, в искусственном уединении, в университете стал жертвой беспорядочного, нелепого своей искусственностью и, конечно, праздного прошлого.

На первый взгляд Лаврецкий вернулся в Россию, предстал перед Лизой в состоянии, когда это эпикурейское прошлое осталось позади, когда он «...сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал».

Но такое расставание не может быть однократным решением, весь процесс «поклонения — сжигания» весьма противоречив: Лаврецкий одновременно и сжигает многое, и все же... горячо поклоняется своему прошлому. Иного прошлого у него нет! Много семян посеяно этим прошлым, ростки их нельзя выполоть. Привычкой к ритуалу созерцания, смешанному с самовосхищением, рожден, скажем, «романтичный» взгляд Лаврецкого на Лизу, которая приехала с матерью к нему в Васильевское и стоит с удочкой, в белом платье, перехваченном лентой вокруг пояса, над прудом: «О, как мило стоишь ты над моим прудом!»

Словесные краски в одной из фраз, поясняющих состояние Лаврецкого в финале романа после ухода Лизы в монастырь, в момент посещения опустевшего гнезда Калитиных, «где он в последний раз напрасно *простирал* свои руки к *заветному*

кубку, в котором кипит и *играет золотое вино наслаждения»*, также из прошлого. Они будто заимствованы у Марлинского!.. Лев Толстой безусловно решительно отверг бы такой стиль, такое «лучистое», бесплотное строение фразы...

Не принял бы он не только строение фраз. Все эти «заветные кубки», звезды, что вновь зажгутся «на розовом небе», свет месяца, что падал «пятном дымчатого золота», «благовонную глубину... ночи», «звуки Оберонова рога» в зеленой чаще... Ведь в предельно патетической ситуации «Войны и мира», когда Андрей Болконский схватил древко знамени и «с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него», закричал и побежал впереди батальона, Толстой не может обойтись без точного, антипатетичного штриха: «Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся *от тяжести* в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять подхватил знамя и, *волоча его за древко*, бежал вперед...»

Разве у знамен, у символов, у божеств есть тяжесть? Разве их можно грубо волочь? Ведь даже мрамор Ники Самофракийской «летит», он невесом, идея «развоплощает», обожествляет материал...

Позднее сам Тургенев будет зло, почти саркастически шутить над этой бесплотностью и Рудина («скитался не одним телом — душой скитался»), и Лаврецкого, мысли и чувства которого таяли, утекали, струились. «Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. *Займи свое место в пространстве, будь телом*, братец ты мой.» — скажет Шубин, дилетант и резонер, другу, очередной разновидности «байбака», Берсеневу.

Увы, настоящей пищи дано было Лаврецкому мало, и «телом» — при всей крепости фигуры и степном румянце — он не стал. Не стал деятелем, творцом своей — и других — судьбы.

В характере Лаврецкого, как точное отражение ошибок отцов, всей эпохи 40-х, когда книжная мысль ломала и сокрушала факты, творила призрачные поступки и судьбы, была какая-то досадная «неготовность», недоделанность... Особенно очевидная для конца 50-х годов, когда «настала эпоха чисто аналитическая, эпоха оглядки на самих себя, эпоха поверки требований жизнию» (Ап. Григорьев). К древу рода Лаврецкого делались то и дело «прививки» — то прививалась чужеродная англомания, то в фаворе был «изувер Дидерот»... Россию предки Лаврецкого в итоге знали плохо, лишь раз, в 1812 году, и дед и отец Лаврецкого вспомнили, что «русская кровь течет в их жилах». Изнеженное племя «переродившихся дворян» прожило десятилетия, не имея гражданского поприща, казар-

ма и канцелярия нивелировали яркие дарования или вообще отбрасывали их в сферу сугубо частной жизни, прозябания, самозакисания, дилетантизма во всем.

А разве в себе самом не обнаруживал Тургенев нечто «не готовое»?[1]

Писатель, конечно, до предела смягчил это состояние «неготовности», «незрелости» Лаврецкого, состояние, особенно очевидное в канун реформы, предельно наглядное и нелепое для «новых людей». Смягчил целой цепочкой поступков, решений, обстоятельств настолько, что Н. А. Добролюбов, при всем безусловном желании поиронизировать над бездеятельным, ученым «байбаком» и подобной ему «братией», признал, что «над ним неловко иронизировать».

Действительно, до иронии ли, если?.. Если Лаврецкий искренне жаждет дела, если он уже не имеет нужды бороться с собственным бессилием, с расслабляющей рефлексией! Может быть, Лаврецкий, единственный из героев Тургенева, способен был быть тем передавателем народу потенциала культуры, энергии знаний, форм сильной гражданской жизни, о котором будет мечтать Тургенев после 1861 года? Мечтать в письмах к А. И. Герцену, вспоминая и Петра I, и Ломоносова, которые подвизались в этой же роли?.. Для этого у Лаврецкого были все возможности. Ведь в самую элегическую, может быть, минуту Лаврецкий способен вдруг рассмеяться над самим собой: «Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон, мужик едет на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою... Что же? захотел ли бы ты поменяться с ним?»

Мужик, причем не условный «соотчич», реальная деревня, которая окружает «дворянское гнездо», то и дело всплывают на окраине художественного мира романа. Но слабостью реализма Тургенева — может быть, даже «духовной драмой» писателя, как пишет Г. Н. Поспелов,— было то, что этот реальный мужик эпизодичен, что он, едва явившись, становится

---

[1] В поведении Лаврецкого много подробностей, которые без преувеличения можно назвать автобиографическими. Разрыв героя с женой в Париже после «сюрприза» с любовной запиской некоего французика Эрнеста, неожиданная поездка Лаврецкого в Италию вместо возвращения в Россию. Все это так напоминает печальные скитания одинокого Тургенева в Париже, Зинциге, Риме, горечь его мысли, что нельзя рассчитывать «на счастье в том, опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами». (Из письма Е. Е. Ламберт 10 июня 1856 г.) В раздумья Лаврецкого могло войти и признание Тургенева Л. Н. Толстому: «Не давайте проскользнуть жизни между пальцами, и сохрани вас бог испытать следующего рода ощущение: жизнь прошла, а в то же время она не начиналась, и впереди у вас неопределенность молодости со всей бесплотной пустотой старости» (27 марта 1858 г.).



И. С. Тургенев в 1830 году. Акварель.



Спасское-Лутовиново. Усадебный дом. Этюд Я. П. Полонского. Масло. 1881 г.



Спасское-Лутовиново. Кабинет-спальня И. С. Тургенева. Фотография В. А. Каррика. 1883 г.



И. С. Тургенев. Акварель К. А. Горбунова. 1838—1839 гг.



Полина Виардо. Акварель П. Ф. Самарина.



П. В. Анненков. Литография К. А. Горбунова. 1845 г.

А. Я. Панаева. Акварель середины XIX века.



Н. А. Тучкова-Огарева. Фотография 1870-х гг.



И. С. Тургенев в группе писателей «Современника» (И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский; Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович). Фотография С. Л. Левицкого. 1856 г.



Д. В. Григорович. Литография.



Н. Г. Чернышевский. Фотография В. Лауферта. 1857 г.



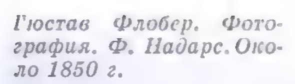
И. С. Тургенев. Фотография И. и А. Альгейр. 1868—1869 гг.



И. С. Тургенев. Портрет работы А. А. Харламова. Масло. 1875 г.



Проспер Мериме. Фотография Ройтлингера.



Гюстав Флобер. Фотография. Ф. Надарс. Около 1850 г.







Ги де Мопассан. Фотография Ф. Надара.

«Застолье классиков». Слева направо: А. Доде, Г. Флобер, Э. Золя, И. С. Тургенев.



Полина Тургенева-Брюэр, дочь И. С. Тургенева. Фотография 1870-х гг.



Вид Буживаля.



Одна из улочек Буживаля. (Публикуется впервые.)



М. Т. Савина в роли Верочки из пьесы И. С. Тургенева «Месяц в деревне». Фотография 1879 г.



Я. П. Полонский. Рисунок М. М. Антокольского. 1870 г.



Открытие памятника А. С. Пушкину. Гравюра А. Баумана с наброска М. Чехова. 1890 г.



И. С. Тургенев. 1870-е гг.



Умирающий Тургенев. Рисунок К. Шамро. 1883 г.

частью бессловесного пейзажа. Процесс самоотрезвления Лаврецкого протекал бы иначе, если бы Тургенев и в 1858 году не держался когда-то принятого правила: «Пора мужичков в отставку...» Но крестьянскую Россию в отставку не отправишь, она не «выдерживает» роли фона, ее воздействие, ее взыскательный нравственный суд заставляли писателя постоянно не только ставить вопрос о социальной ценности своих героев, ценности их социально-нравственного опыта, но и судить их во многом с позиции мужицкой России и ее партии в литературе[1].

* * *

К чему же готов и к чему не готов был Лаврецкий?

В период создания «Дворянского гнезда» Тургенев, как известно, несколько раз ездил в Лондон к Герцену и Огареву. Содержание бесед их, изложенное в известной статье Герцена «Еще вариация на старую тему» (1857),— особенности исторического развития России, осмысление трудов славянофилов. Для Герцена Россия — сверходаренный ученик, которого можно перевести... сразу «через класс». Минуя европейское мещанство, минуя муки капиталистического строя, опираясь на сохранившуюся крестьянскую общину, она может сразу шагнуть в будущее мировой цивилизации. Тургенев считал, что такие скачки требуют подготовки, что община тоже насквозь буржуазна, что, избегая мук, не усвоишь научных и технических достижений Европы. До полной остроты эти споры еще не дошли. И не могли еще дойти. Герцен в этот период выступал за прекращение мелочных споров даже с Аксаковыми, «с Москвою». «Я чую сердцем и умом, что история толкается именно в наши ворота...» — писал Герцен. И потому долг всех — включиться в «труд в пользу русского народа, который довольно в свою очередь поработал на нас!».

Лучше всего включиться в этот труд — на Родине. Призыв Герцена сливался в сознании Тургенева с укоризненным советом и приглашением Сергея Тимофеевича Аксакова, настойчиво звавшего Тургенева домой: «Нельзя жить на чужой стороне, когда решается судьба родины...»

---

[1] Н. Г. Чернышевский потому и имел полное право увидеть в герое «Аси» резкую критику дряблости и безволия либерального романтика, бессилие человека 40-х годов на поприще социальной борьбы; он судил о повести по законам, отчасти признаваемым и Тургеневым. И Н. А. Добролюбов находил в повестях и романах Тургенева не просто иллюстрацию своих идей о бессилии просвещенного либерализма, но и близкие себе оценки этого явления.

И Лаврецкий словно внемлет этим призывам, более того, он «действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях». Ап. Григорьев, явно преувеличивая смысл этого сдвига, и в канун встречи героя с Лизой, и после разрыва с ней говорит даже о решительном преодолении Лаврецким беспочвенности и эгоизма: «Смирение перед почвою, перед действительностью, возникло в душе его, как душе поэта — не чисто логическим, рудинским или михалевическим, требованием,— а отсадком самой почвы, самой среды, пушкинским Белкиным»; «Он дитя почвы — вследствие чего и кончает нравственным смирением перед нею»; «Сохранившаяся в душе его (Лаврецкого.— *В. Ч.*) способность сочувствовать этой старушке (Марфе Тимофеевне.— *В. Ч.*), физиологическая связь между этими двумя, столь разделенными годами и образованием существами, это — святая связь пушкинской натуры с Ириной Родионовной, святая любовь к почве».

Желания, особенно страстные,— часто творцы нашей мысли. В итоге Лаврецкий, если во всем согласиться с Ап. Григорьевым, предстает пушкинским скитальцем, гордым человеком Алеко, как будто последовавшим позднему совету... Ф. М. Достоевского в его известнейшей речи на пушкинском юбилее в 1880 году и смирившимся перед народной правдой, *почвой*! На Достоевского статья Ап. Григорьева действительно оказала большое воздействие. Но Тургенева такой благополучнейший исход — герой его осел на земле, устроил быт своих крестьян, «выучился пахать землю» — едва ли утешал. Истинный итог жизни Лаврецкого, старика в сорок пять лет,— все-таки в словах: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»

Все решения Лаврецкого — в 1842-м и через восемь лет, в 1850 году,— отмечены одной особенностью: «Ему лично удалось уцелеть и устроить дело своей души, не больше» (Г. Бялый), но ничто не отменило общей катастрофы, краха героя. В «неготовности» Лаврецкого, наполовину «пропутившего» жизнь, истратившего лучшие годы на «сделанное», фальшиво-романтичное чувство, выразилась вся неготовность российских «скитальцев» к серьезному делу. Столько мечтать о счастье для народа, грустить о судьбе крепостных невольников, осыпать само правительство, достойное этого, упреками за торможение прогресса — и вдруг в решающий миг не иметь за душой не только ничего готового, но и прийти к этому мгновению усталым, отягощенным прошлым, не знающим реальнейшей России! И именно встреча с Лизой, любовь к ней, открывшая Лаврецкому нравственное величие, красоту и цельность русской девушки, не соприкоснувшейся с чуждым просвещени-

ем, обнаружила полнее всего огромную власть над ним былых основ и «дворянского гнезда», и патриархальной деревни.

Роман Лизы и Лаврецкого один из исследователей назвал «странной зарей без грядущего утра и дня...».

В нем все зыбко, нежно, томительно и для мира сего невероятно духовно.

Н. А. Добролюбов, прочитав «Дворянское гнездо» и даже понимая, как трудно иронизировать над пассивностью Лаврецкого — все-таки он женат, не вполне свободен, а сама «свобода» сомнительна,— тем не менее не принял этой зыбкости, скованности героя. Лаврецкий для него сделал даже шаг назад по сравнению с Рудиным: он «почти не является даже пропагандистом», он «во всем романе робко склоняется пред незыблемостью ее (Лизы.— *В. Ч.*) понятий и ни разу не смеет приступить к ней с холодными разуверениями» («Когда же придет настоящий день?»).

Странно было само появление Лизы: «дворянские гнезда» никогда не были устроенным «святым местом», в них невозбранно проникали всякие соблазны, и людям чистым, не затронутым ничем, трудно было избежать тех или иных модных воздействий именно дома. Тургенев хорошо помнил, как развивало и калечило иное «дворянское гнездо» Татьяну Бакунину, превратив ее в «субстанциональный пирог». Повторяя увлеченности братьев, одержима была в канун Крымской войны полемикой европейских держав Вера Аксакова в своем абрамцевском гнезде. Дворянские девушки разделяли верования, утверждавшиеся в «гнездах». И если мир во зле лежал, то это зло, хотя бы на подошвах, заносилось и в усадьбы. В доме Калитиных многое определяли бойкий и решительный отец, губернский прокурор и делец, наживший греховное достояние, и чувствительная, но пустоватая мать. И вдруг в этом доме явилось существо ангелообразное, неземное, стыдящееся любого самоуверенного громкого слова. О нем вновь можно сказать только лермонтовскими строками:

Что за звуки! неподвижен внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне...

Драматизм существования Лизы в том, что, стоя неизмеримо выше окружающей среды по чистоте, нравственной взыскательности, она все время старается уверить и себя и других, что она такая же, что она, может быть, греховнее других. Она укоряет себя... за что? Д. И. Писарев тонко ответил на этот во-

прос: «...за отвращение, которое в ней возбуждает зло или неправда...» Поэтому она почти согласна выйти замуж за Паншина: отвращение даже к нему — греховный помысел, недостаток смирения, воли к самоотречению!

Еще больший ужас вызывает в ней идущее к ней счастье.

Лиза все время как будто исчезает, «улетучивается», ей неловко обременять собой мир, все ее миропонимание, как и слова, «не свои», а занесенные извне. Доминантой характера этой героини стало в итоге самоотречение столь полное, что она именно боится оскорбить кого бы то ни было своим счастьем, довольством. Еще до встречи с пошлым фарсом — умиранием и воскрешением жены Лаврецкого Варвары Павловны! — Лиза испытывает острейшее сознание вины за свое счастье. Человечество так бедно счастьем, любовью, в мире так много озлобления, горя, что ей кажется, будто за ее личным счастьем непременно прячется чья-то обездоленность, чье-то скрытое горе и тайные слезы. Ее первый совет Лаврецкому — помириться с женой. Ей трудно отвоевывать, «отнимать» для себя счастье. Жалость, совестливость, жажда примирить все в мире и есть плоть ее религиозного чувства.

Откуда же явилось это неземное существо?

Следует сказать, что и Н. А. Добролюбов, и Д. И. Писарев с напряженным вниманием и с особым тактом отнеслись к этому образу. Многое в нем их, безусловно, не удовлетворило — и особенно полная невозможность для Лизы соединить веления долга и счастье, чувственные радости. Молодая жизнь права, когда ищет наслаждения, не сковывает себя аскетизмом, из головы идущей или вообще надчеловеческой волей. А тут — такой страх перед условностями, такая беззащитность перед злой волей! Объясняя истоки такого поведения, Д. И. Писарев писал: «...заражена с детства миазмами нашей домашней атмосферы». В другой работе он же, признав редкую, «трогательную прелесть», трепетность чувств героини, говорит: «Она — вечная и добровольная мученица... ежели взглянуть на дело серьезно... то нельзя не заметить, что Лиза идет по ложной и опасной дороге... у Лизы нет орудия против несчастья. Считая его за наказание, она несет его с покорным благоговением» («Дворянское гнездо». Роман И. С. Тургенева).

Но Д. И. Писарев не задумался над вопросом: а хватило ли бы воздействий одного этого «гнезда» с его миазмами, чтобы создать столь исключительную ангелообразную натуру? Или сил одной набожной няни, кстати дополнительно введенной по совету П. В. Анненкова в «формуляр», в предысторию «недосказанного, недопетого» образа Лизы уже в 1859 году, чтобы породить такой редчайший максимализм в самоотречении?

Но сейчас стоит пристальнее всмотреться в некоторые компоненты того, «словесно не выраженного полностью потока взволнованных, до конца неосознанных чувств», как сказала профессор Г. Б. Курляндская, который определяет жизненные решения Лизы. И прежде всего — как это сделала Г. Б. Курляндская в книге «Структура повести и романа И. С. Тургенева 1850-х годов» — в философский смысл мотивов самоотречения, в сущность расхождений Тургенева и революционных демократов в вопросах нравственно-этических.

...Иммануил Кант, один из великих философских наставников юности Тургенева, как известно, активнее всего отвергал из всех эмпирических, практических принципов счастья принцип *личного* счастья. И делал это, как показал В. Ф. Асмус в своей книге «Иммануил Кант», весьма убедительно. «Принцип этот сам по себе ложен; опыт опровергает представление, будто хорошее поведение всегда приводит к счастью,— пишет В. Ф. Асмус, излагая доводы И. Канта,— наконец, принцип счастья нисколько не содействует созданию нравственности; совсем не одно и то же сделать человека счастливым или сделать его хорошим». Но главная причина неприемлемости принципа счастья в том, что он «подводит под нравственность мотивы, которые, скорее, подрывают ее и уничтожают весь ее возвышенный характер, смешивая в один класс побуждения к добродетели и побуждения к пороку и научая только одному — как лучше рассчитывать, специфическое же отличие того и другого совершенно стирают» (Цит. по кн.: Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М., 1973, с. 351).

В самом деле, к чувственному, практическому счастью стремится и Лаврецкий, и Паншин, и даже подхалим и наушник Гедеоновский, доносящий, вероятно, матери Лизы о ее единственном свидании... Кто же «моральнее», если вся мораль измерима только расчетом, если порочное и добродетельное стремление так схожи? В известном смысле, этот вопрос стоял и перед гончаровским Обломовым, созерцавшим «счастье» и успехи Штольца: счастливое и нравственное и для него не были едины в проворном приобретателе...

Как видим, в числе тех «веяний», что ощущаются в «Дворянском гнезде», есть, безусловно, и отголоски этих сомнений И. Канта, идей А. Шопенгауэра о «неразрушимости нашей истинной (то есть врожденной.— *В. Ч.*) сущности».

Безусловно, в этике и И. Канта, пришедшего к выводу, что истинно моральный закон есть закон святости, и А. Шопенгауэра, усмотревшего единственный путь к нравственному бла-

женству в преодолении неразумного мира волей, страстным хотением, в движении к бескорыстному созерцанию, к аскетическому самоотрицанию, сказалось практическое бессилие немецкого бюргерства, оторванность мыслителей от великих революционных движений.

Тургенев в России 1857—1859 годов, идущей к реформам, полной сил и революционного пафоса, был в более сложном положении. Встреча Лаврецкого с Лизой, вся недолгая история зарождения их надежд и тревожно-глубоких, мучительных, даже греховных для Лизы решений, горестный испуг при их крушении и почти молчаливое расставание героев, безусловно, воссозданы в романе на фоне предчувствий общего крушения былых «дворянских гнезд». И потому в «Дворянском гнезде» так ощутимо чувство неизбежности конца, хрупости всего усадебного уклада жизни.

Все лучшие порывы героев, даже окаменевшего среди неудач Лемма, как будто заранее имеют предел, конец, причем несчастливый. Все, дорогие автору герои остаются обманутыми в своих ожиданиях, в своем доверии к жизни. Все вообще лучшее — и тот же Лемм, музыкальный наставник Лизы, и сама Лиза и Лаврецкий — только пассивно защищается. И даже не защищается, а как бы удаляется от надвинувшейся агрессивной пошлости. В лице ли щеголя и дилетанта Паншина или разыгравшей комедию своей таинственной смерти жены Лаврецкого Варвары Павловны. Куда же они, воплощения высшей морали, удаляются, не покоряясь злу, но и не мстя ему, куда удаляются мимо зла? В монастырь, в дальнее поместье, в безбрежную мирскую степь России, где и затерялся Лемм. Удаляются, вслушиваясь в замирающую музыку тончайших, стыдливо-нежных жизнеощущений, скорбя за весь мир, содрогаясь мысленно от тяжелых предчувствий.

Откуда эта грусть? Неисправимый западник, в юности нырнувший в «немецкое море» — так говорил о себе Тургенев — мог бы только радоваться крушению патриархальных отношений, переменам... Тем более что он понимает, как зыбко, призрачно существование «дворянских гнезд», и идея спасать подпиравший их крепостнический уклад ему глубоко чужда: нельзя спасать застой, всесилье казармы и бюрократизма. Но и надвигающиеся, буржуазные реформы несут столько безотрадных моральных перемен, что делаются ненужными — он видел это на Западе! — многие прекрасные человеческие качества.

Да, мера жизненности всякого явления — мера его нужности... Евгений Базаров чуть позднее, в «Отцах и детях», не случайно в предсмертном бреду будет доискиваться ответа на это:

«Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник... мясо продает... мясник... постойте, я путаюсь...»

В «Дворянском гнезде», при всей печали общего колорита, чувстве сиротства и непоправимого одиночества в мире, сопутствующего и Лаврецкому, и Лизе, и Лемму, есть, с другой стороны, и по-своему героические попытки поспорить с судьбой, преодолеть путь самоотречения.

Лаврецкий, и, на свой лад, Лиза, и даже Лемм пробуют быть жизнеспособными, то есть нужными, они превозмогают в отчаянной и мучительной борьбе с некоей фатальной, откуда-то со звездного неба явившейся силой свое отчуждение от творящего, «зиждущего» потока жизни. Тургенев не отказывал этим героям — правда, в весьма своеобразной форме! — в активном, даже героическом начале. И характерно, что само сближение Лизы и Лаврецкого, кульминационный момент их отношений, когда «им сделалось вдруг так хорошо обоим», связаны именно со вспышкой деятельной энергии Лаврецкого. С его победой в споре с Паншиным, этим, по словам Д. И. Писарева, комическим сочетанием Молчалина и Чичикова.

...Нить взаимных психологических отношений Лизы и Лаврецкого, вообще крайне спутанная, начинается в романе со своеобразного «узелка», который, пожалуй, хуже прямого безразличия или отчуждения. «Узелок» этот, который оправдывал, извинял в глазах Добролюбова скованность, застылость Лаврецкого в борьбе с религиозностью Лизы, — его связанность браком. Будешь активным — будешь походить на заурядного ловеласа: ведь никто не знает, что Варвара Павловна умерла для героя раньше, чем пришло неоправдавшееся известие о ее смерти. Не знает этого и Лиза, и потому после всех мимолетных встреч, которые вселили в нее чувство, что «да, он точно добрый», она спрашивает только об одном: «Как могли вы... отчего вы расстались с вашей женой?»

Д. Н. Овсянико-Куликовский считает, что тут Лизой, как монахиней в миру, руководило одно стремление: «Указать другому, возбуждающему симпатию и сострадание, правильный путь...» Но критик проводит здесь исследования с абстрактной религиозной душой, изучает некую «несговорчивую логику христиански-убежденного ума» вне реального характера тургеневской героини, вне природы, вернее, стихии любви, ведомой именно тургеневским героиням.

Уже этот вопрос о жене задан с таким трепетным чувством, естественностью, что, как ни подчеркивает Тургенев заданность, категоричность позиции Лизы-судьи, — она слушает ответ, «не расслышав его», — читатель чувствует порыв ее ду-

ши, живой, естественной. Все продумано писателем, «оразумлено» в пространстве романа даже излишне строго, героям даны тесные площадки, с которых им далеко и самостоятельно не уйти. Но сколько прекрасных смягчений, затушевывающих этот рационализм, сколько внезапных движений чувств в героях!

...Естественно и трепетно зарождение любви в душе Лизы, сдавленной, стесненной идеей долга и самоотречения. Простое доверие героини к Лаврецкому полно каких-то сложных ожиданий, надежд. Диалог насыщен такими смущающими обоих интонациями, что, кажется, само зарождение любви неминуемо, а ее развитие будет подчинено воле героев, энергии самих влюбленных душ, их спутанной «диалектике».

Есть известный соблазн — принять тургеневское изображение «интимно-психологического диалога» и пейзажа, тайные упреки Лизы Лаврецкому, когда он радуется своей «свободе», и ее тайные же надежды — за самостоятельную, «независимую» от автора, подчиненную собственной диалектике психологическую жизнь. Не от Толстого ли это? Хотя и нет еще толстовской «неправильности, отрывочности, недоконченности и всяких скачков» (В. В. Стасов). В самом деле, трудно не восхититься проницательностью и гибкостью слога автора, разворачивающего перед читателем все, вплоть до «последнего уловимого», до атомов чувств в момент, когда Лиза, отказав Паншину, страшась возмездия за эгоизм любви, хочет разобраться в своих помыслах: «Ей и стыдно было и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим человеком, который и в церковь редко ходит, и так равнодушно переносит кончину жены,— и вот уже она сообщает ему свои тайны... Правда, он принимает в ней участие; она сама верит ему и чувствует к нему влечение, но все-таки ей стыдно стало, точно чужой вошел в ее девическую, чистую комнату».

На первый взгляд здесь Тургенев дает не очертания характеров, не результат и зримые проявления чувств, а как Толстой, «сам психологический процесс, его формы, его законы» (Чернышевский), передает непредвиденный и не проверяемый в своем течении процесс, который создают взрывные страсти сердца и страсти ума. Правда, этому сближению всегда мешает то, что любовь у Тургенева совершенно лишена чувственного оттенка (а без этого любая «диалектика души» воздушна, бесплотна и бессочна!), что он заранее делает незаконным, *обреченным* совершенно естественный для молодой жизни порыв к наслаждению, порыв совсем не головной, не «оразумленный».

В романе предельно сблизились гоголевская статичность фигур, стоящих как бы на пьедесталах, не делающих ни шага

ние заданного действа, и толстовская текучесть, изменчивость души, каждый раз имеющих, по сравнению с гоголевскими, возможность «выбора», непредсказуемости решения, психологических скачков. Так внешне сходны, близки этот самостоятельный, обладающий непредсказуемостью, огромным числом выборов психологический процесс Толстого и тургеневский, абсолютно выверенный, поддающийся проверке, вычисленный и жестко детерминированный процесс движения чувств, что... многие исследователи говорят об элементах психологического анализа, о переходе объективного тона в экспрессивный, взволнованный внутренний монолог, о вкраплениях в стиль авторского повествования в «Дворянском гнезде» «субъективно-экспрессивных форм внутренней речи героини» (Г. Б. Курляндская).

* * *

Тонкость и изящество воздушных психологических линий, вводимых почти невесомой рукой автора, богатство и звучность пауз, недомолвок, взглядов, «робко и жадно ловимых» в «Дворянском гнезде», таковы, что сразу ощущаешь: это совсем не былая дамская и кавалерская тонкость «Месяца в деревне», которая «рвется» изысканно, очаровательно, но психологически бесцветно. «Здесь человек сгорел» (А. Фет)... Здесь все великие решения зарождаются в сердце и едва-едва, как из глубокого колодца, доходят до нас в слове. Тонкость душевных движений Лизы почти безмолвна, героиня боится грубых и отчетливых слов, она верит почти по-тютчевски:

> Есть целый мир волшебных дум;
> Их заглушит наружный шум,
> Дневные ослепят лучи:
> Внимай их пенью — и молчи...

Сколько бы поколений читателей ни следило за беседами Лаврецкого с Лизой, за ее муками слова и волнением, некая глубина душевная остается не затронутой взглядом.

Огромную роль в связи с этим приобретает язык предчувствий, намеков, опосредствованных характеристик героини. Наконец, велика роль той же музыки Лемма, тоже «вышедшего» из рамок отведенной ему роли окаменевшего от неудач гения, из роли осиленного лилипутами Гулливера. Ну, а гоголевская традиция «карнавализации жизни», традиция настройки глаза читателя на волну «яркой цветности и узорчатой затейности» (В. Хализев)? И она не умерла в романе: яркая, предельно наглядная деталь оказывается частью психологического

пространства, громко заявляющей о себе в «Дворянском гнезде».

Мотивы безнадежности всей жизненной борьбы, правда, вплетены в роман изначально. «Счастье ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило»,— скажет Лиза тетушке после катастрофы, перед расставанием с родным домом. Счастье — это трудные и тяжелые шаги по людной мирской дороге. Это не хрупкий цветок, бог весть чем оберегаемый, а итог часто разнородных усилий, борьбы со всяческой неправдой, итог безбоязненного отношения к жизни. Кто боится жизни, тот, может быть, и праведен, но не очень счастлив!

Но это не означает, что у героев нет в жизни вершин, влекущих к себе, ускоряющих их движение. К победам или поражениям.

В первый раз эта вершина ощутима в момент, когда Лизу оставило сознание вины, готовности к отречению от счастья, испуга перед грозным взглядом божества. Оно оставило ее, когда, побывав в Васильевском, у Лаврецкого, она едет домой с матерью и Леммом. В эту ночь забылось смирение, нет предчувствия наказания за свои и чужие проступки. В самом мире, окружающем Лаврецкого и Лизу, нет даже намека на жестокость, вечный грохот борьбы, на чье-то отчаяние и тоску: «...Молодая расцветающая жизнь сказывалась в этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево; большая черная тень ее шла с ней рядом; было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелов. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме; неполный месяц блестел твердым блеском; свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки...»

Но Лиза еще должна пройти нелегкий душевный путь — и пройдет часть его! — сомнений, искренних тревог. Она откажет Паншину, измучит себя борьбой с призраками («Мне все мерещится ваша покойная жена, и вы мне страшны»,— скажет она Лаврецкому), она попробует найти облегчение в молитвах, прежде чем наступит то случайное свидание у дома Калитиных, когда... Когда Лаврецкий сказал ей о своей любви, а она, веря и не веря в законность своего счастья, подняла взоры к небу, ответив: «Это все в божьей власти...»

Есть один, столь же счастливый свидетель объяснений Лаврецкого и Лизы. Это старый учитель Лизы Лемм. Он, не приспособленный к житейской толчее, совершенно беззащитный перед вирусом жестокости, давно страдает оттого, что почти нигде в жизни не торжествует добро, не исполняется его при-

цип: «Только праведные правы». Праведные как раз страдают, они все время — «под прессом» пошлости, грубости. И вдруг исполнилась надежда Лемма, забил ключ вдохновения в нем. В последний раз играет он вдохновенно, предельно одухотворяя вещный мир своей музыкой. Кажется, что красота уже спасает мир, все предметы приведены в движение энергией благородных чувств. Поистине, как писал Шеллинг: «В человеке содержится вся мощь темного начала и в нем же содержится и вся сила света». Ночной концерт Лемма — последний счастливый миг в его судьбе:

«Она (сладкая, страстная мелодия.— *В. Ч.*) вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу... Маленькая, бедная комнатка казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика».

Вероятно, после «Певцов», когда в святилище музыки на миг превратился даже грязный Притынный кабак, Тургенев не создавал такого гимна красоте и безграничному, выпрямляющему человека воздействию музыки... Но точно так же, как и в «Певцах», где отодвинувшаяся было тьма почти сразу после пения Якова ворвалась в кабак, обратила золотые слитки в камни, спутала, смешала торжество песни, так и в «Дворянском гнезде» вслед за этой ночью явилось утро без рассвета, сказалась вся неготовность Лаврецкого...

* * *

Кого же винить в конечной катастрофе, резко изменившей судьбу и Лизы, и самого Лаврецкого? Ведь этот подвиг самоотречения Лизы — тоже совсем и не подвиг... Он столь же свидетельствует, как отметил П. В. Анненков, «о болезни общества, как и великие преступления». Безмерное страдание лучших героев «Дворянского гнезда» («но и не мщение») отметит Ф. М. Достоевский, дав свою интерпретацию решения Лизы: «Кроткий человек не мстит, проходит мимо, но примириться со злом и сделать хоть малейшую нравственную уступку ему в душе своей он не может» (Лит. наследство, т. 86, с. 82 – 83).

Причины самоотречения Лизы столь сложны, что винить во всем Варвару Павловну Лаврецкую, с ее уклончивыми и вертлявыми речами, винить эту торжествующую пошлость (она и мужа зовет изысканно — Теодор), видеть в ней болезнь,

зло — едва ли правомерно. В конце концов это жена, поистине сотворенная из ребра Адама! Пусть Лаврецкий — он в данном случае «Адам» для Варвары Павловны — вырос вне кружков, породивших бесконечную рефлексию в «Гамлете Щигровского уезда», рудинское красноречие, с которым герой был так «неосторожен» вблизи готовой плениться Натальи Ласунской. Но тем не менее Варвара Павловна — его прямое выражение. Откуда иначе явилась в ней страсть к рискованным шалостям, к соревнованию в изобретении отчаянных и скандальных проказ вроде объявления о смерти, тщеславная игра в шикарную жизнь? «Игумен — за чарку, братия — за ковши»,— такую пословицу записал когда-то В. Даль. Праздное, бесцельное существование Лаврецкого, его неумение найти себя в деле и дело в себе обернулось в нем «сделанной любовью» к ней, бесцельным блужданием по Европе в зрелые годы. А в Варваре Павловне — откровенным, еще более желанным ей прожиганием сил!

Человек — центр вещей, центр событий. В «Дворянском гнезде» в центре событий, печальных и для Лизы, и для Лемма, был поставлен человек, о котором Лемм со вздохом говорит: «Да, мой бедный молодой друг; вы, точно,— несчастный молодой человек».

Да только ли один Лемм так думает о промотавшемся байбаке, в чьем сознании в момент разрыва образ Лизы то и дело сливается с другим, неотвязным женским образом? Герою чудится, что и прадед Андрей презрительно смотрит на него с полотна на стене, повторяя набок скрученными губами слова матери Тургенева: «Эх ты! мелко плаваешь!»

Многое сопряг Тургенев в романе, в характере и сюжете судьбы Лаврецкого, не упростив, не сгладив,— но смутность перспектив, обилие иллюзий, развеявшихся в прах, определили слабость положительной программы героя. Жизнь требовала от него активнейшей борьбы, в которой сочетались бы интересы личности и народа, требовала выработки такого разумного расчета своих действий, при котором преходящее, личное, сиюминутное входило бы частью в задачи прогресса, а долг не был бы чем-то мучительным, подавляющим естественные чувства. А герой «Дворянского гнезда», с одной стороны, усвоил все «прививки» былых книжных веяний, пассивность, а с другой — значительную часть своих решений, как и Лиза, перелагает на сверхреальный нравственный закон («категорический императив»). Все иное — чересчур относительно, обманчиво.

Лиза не может объяснить Лаврецкому естественность, закономерность случившегося. Это трудно для нее, не выносящей стихии холодных слов. Да и слишком обиден был бы для Лав-

рецкого, положительного байбака, смысл ее суждения! Один из последних диалогов героев поражает цельностью чувств Лизы и избытком словесных жестов в Лаврецком.

«— Да,— сказала она глухо,— мы скоро были наказаны.

— Наказаны,— проговорил Лаврецкий.— За что же вы-то наказаны?

Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали; они казались меньше и тусклей».

Если бы герой был менее эгоистичен, то он заметил бы, что она и до этого не раз выражала ясное понимание своего трагического положения.

Лиза могла бы, вероятно, сказать, что не очень еще велика заслуга того, кто только вышел из игры, из нелепой, сочиненной любовной игры, кто, вернее, выбит был из нее злополучной запиской француза. Кто прозрел лишь на свое личное нелепое положение... Но в ту же игру еще играет все «дворянское гнездо», и потому ей невмоготу жить даже в родном доме. Ее заветной мечты коснулись чужие грубые руки. Ей трудно видеться даже с Лаврецким: «Федор Иванович, вот вы теперь идете возле меня... А уж вы так далеко, далеко от меня. И не вы одни, а...»

Как бы предвосхищая Достоевского, Тургенев переносит вместе с Лизой в монастырь какой-то страшно важный, неразрешимый суетным слабым человеческим умом узел русской жизни. Этот узел для самой героини, движимой не черствым чувством долга, а живой любовью к покинутому гнезду, к людям, высоким убеждениям, что жизнь «не шутка и не забава, даже не наслаждение», развязывается только одним:

«Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки; но делать нечего; чувствую я, что мне не житье здесь; я уже со всем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз; отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереться навек...»

Тургенев не выразил четко своего отношения к решению Лизы. Дальше элегической концовки, мелковатой, пожалуй, совершенно ничтожной для такой героини (ведь Лиза не Джемма из «Вешних вод», нашедшая замену утраченного в Америке), Тургенев не пошел. Его Лаврецкий излишне уравновешен для монастыря, бесстрастен для мест, где требуется страстная, всепоглощающая вера. Перед монастырскими вратами тургеневский герой лишь «прогулялся». И печальную участь Лизы он, вероятнее всего, устрашился раскрывать до конца. Ведь ее сиротство, одиночество в мире поистине непоправимо. Ей нет спасения и в келье от обступающей и монастырь тревоги. Что келья? Она, может быть, лишь подвернулась... Эту уловку прекрасно почувствовал П. В. Анненков, сказавший о незавер-

шенности судьбы героини: «Драма есть уже в ее появлении между людьми того круга, которые нам представлены автором, драма затем сопровождает каждый ее шаг, не кончаясь даже и там, где автор кончает повесть. Куда скроется Лизавета Михайловна от требований своей мысли? Где она найдет тот кров, под которым пугливая совесть не может быть потревожена? Есть ли, в самом деле, убежище для нее? Не выдумана ли тут келья, как старый, романтический мотив, пригодный к тому, чтобы завершить роман чем-нибудь поприличнее?»

История отказалась еще приуготовить для Тургенева, тем более открыть ему двери «сюда»! Нужно было какое-то сложнейшее волнение, мука, которые породила жизнь в Толстом и Достоевском, чтобы начать чувствовать острейший интерес и к отцу Сергию, и к старцу Зосиме, и к Алеше Карамазову. Тургенев пока похож на того человека, томимого муками, которые он книжками разрешить не может, жаждущего помощи обессилевшему уму, но одновременно и раздавленного гордыней:

> Не скажет ввек с молитвой и мольбой,
> Как ни скорбит перед закрытой дверью:
> — Спаси меня, я верю, боже мой,
> Приди на помощь моему безверью!
>
> *(Ф. И. Тютчев)*

Ведь не только для того, чтобы отмолить грехи прошлого, идет Лиза в монастырь,— ее ведет туда и желание вымолить что-то важное для будущих поколений. Сколько предчувствий — растущего ожесточения, духа стяжательства, пошлости и бездушия, предчувствий сиротства в ее душе.

«Надо будет покоряться... Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...»

Что же тогда будет?

Ответа нет, и в сущности и Лиза, и Лаврецкий, и Лемм остаются перед читателями в виде скорбящих странников, открытых всем житейским бурям, не имеющих в руках ничего, чтобы защититься. Лаврецкий способен, правда, обратиться к молодому поколению, не замечая, что оно едва ли его расслышит и тем более поймет.

«Играйте, веселитесь, растите, молодые силы,— думал он, и не было горечи в его думах,— жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака: мы хлопотали о том, как бы уцелеть — и сколько нас не уцелело!— а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами».

Тепловат, конечно, этот прекраснодушный либерализм.

Лежнев в «Рудине» был реалистичнее, прозорливее, когда говорил Рудину, что новые поколения идут «мимо нас и не к нашим целям...». Дело свое, часто жестокое, но отнюдь не туманное дело Лаврецкого, новые поколения будут делать совсем иначе, чем он думает. Как? И сюда ему дверь еще не приоткрыта...

Надвигались 60-е годы... Распад «дворянских гнезд», приход новой эпохи, остроту борьбы, пугавшей Тургенева, нельзя было остановить. Они надвигались со всей их противоречивостью, с реформами и Базаровым, с крестьянскими бунтами и подвигом Н. Г. Чернышевского, с писаревским походом против Пушкина и «Войной и миром» Толстого, грандиозным триумфом гуманизма Достоевского... Но душевный порыв Лизы, исполненный величайшей нравственной взыскательности, трепета, тревог за чужое горе, самоотречения, не нашедшего еще поприща для превращения в самопожертвование, не умрет за монастырскими стенами. Он будет вновь и вновь являться перед духовным взором Тургенева. Начиная уже с романа «Накануне»...

«НАКАНУНЕ», ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В «ЗАВТРА»...

Вот как вы теперь лежите в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше — лени или силы? — так я вас и отолью.

И. С. Тургенев. Накануне (1859)

В основание моей повести положена мысль о необходимости *сознательно*-героических натур... для того, чтобы дело продвинуть вперед.

Из письма И. С. Тургенева И. С. Аксакову (13 ноября 1859 г.)

...В марте 1859 года Тургенев напишет в Петербург из Спасского: «Я решительно начинаю чувствовать в себе присутствие какого-то героического духа» (В. Я. Карташевской, 31 марта 1859 г.).

Невольно удивишься: из тургеневской ли, иронично-печальной почтовой прозы такое ясное и «крепкое» признание?

Конечно, оно скоро утонет в традиционных жалобах, сетованиях, полных изящества, грациозности, неутомимой жажды красивого, «музыкального» страдания, — в жалобах, часто идущих навстречу ожиданиям адресата. И опять в письмах Тургенев станет похож на себя как меланхолический, наблюдательный иронист, печальник, завороженный скрытым присутствием в настоящем загадочного прошлого, неявной игрой тайных сил в человеке. От мира как реального представления к миру как художественному сновидению — для него один шаг. Словно мастерская огромной силы творит в нем непрерывную работу.

Почтовая проза, как лиана, обвивает «ствол» тургеневской жизни и творчества, она многое забирает, но еще больше отдает. Эта проза — своеобразный накопитель впечатлений и одновременно обработка их, как бы «малые обороты» двигателя.

Любопытно, что прежде чем явиться в «Накануне», белокурый молодой московский художник Павел Шубин, в котором странным образом смешаны озорство и ироничность, «пленной мысли раздраженье» и игривость резвого балованного мальчика, полное неумение «держать середину между шуткой и серьезом», этот герой «проживет» почти шестилетнюю жизнь *в письмах* писателя! Он и сольется с прототипом —

22-летним, в 1853 году, спасским соседом Тургенева, помещиком Василием Каратеевым, и далеко откатится от него.

Вот одно из первых упоминаний о Каратееве: «У меня здесь есть сосед, некто Каратеев, малый лет 22, очень неглупый — хоть и глуздырь пока. В нем очень много симпатичного — но он немножко церемонится слишком». (Из письма П. В. Анненкову 20 ноября 1853 г.)

Сказать что-либо о Каратееве пока нельзя, хотя одна крайность прорисована — церемонность, жеманство, склонность к капризу... Но и через полтора года «глуздырь» не забыт. В следующем письме характер Каратеева уже обжит, освоен, помещен в определенную ситуацию.

«Каратеев не приезжал... Помнишь: Ах, Василий — о Василий». (Из письма В. П. Боткину 17 июня 1855 г.)

И наконец, печальные проводы Каратеева в Крым, финал жизни молодого литератора-дилетанта, оставившего Тургеневу свое сочинение: «Бедный Каратеев был у нас накануне вступления в поход с ополчением. Мы проводили его с шампанским — и пожелали ему всех благ. Он был очень мил — и комически-забавен, хотя и самому ему было грустно — и мы грустили о нем». (Из письма А. В. Дружинину 20 августа 1855 г.)

Что значит «глуздырь»? Это не просто слово из словаря В. Даля, означающее «умник, разумник, умничающий мальчишка». Вспомнив это слово, Тургенев безусловно вспомнил Белинского, называвшего «глуздырем» Алексея, одного из младших братьев Михаила Бакунина, кстати, тоже художника-дилетанта. Василий Каратеев обрел *нечто родовое*, он вписан в поколение умных, артистичных небокоптителей, «получил» оценку... Белинского!

Что означает иронический припев: «Ах, Василий — о Василий»? Это уже звено сюжета для раскрытия московского Керубино — Шубина. В. П. Боткин (он тоже Василий), А. В. Дружинин, Д. В. Григорович, будучи в мае 1855 года гостями Спасского, сочинили и разыграли фарс «Школа гостеприимства»: безусловно, Василий Каратеев был вовлечен в эту игру, причислен, как свой, к людям 40-х годов. Кстати говоря, в этом фарсе «Школа гостеприимства» были нападки на Чернышевского, а «глуздырь» Шубин в «Накануне» вылепит скульптуру, в которой Инсаров будет карикатурно представлен упрямым бараном, ждущим смертельного удара. Иронический вздох «о Василий» относится и к себе, будущий Шубин уже отделяется от «глуздыря» Каратеева: включает в себя и нечто автобиографичное.

И наконец, проводы Каратеева в Крым, на войну,— про-

буждение «игруна» перед грозным и прозаичным лицом реальности: его ждет бездорожье и грязь, воровство казнокрадов, тиф и холера, которые пострашнее французских ядер, ждут грязные избы с клопами... Стоило взгрустнуть о милом и капризном артисте и одновременно упрекнуть многих, так талантливо прошутивших свою молодость, оставшихся пустыми сосудами: «Он (Инсаров.— *В. Ч.*) с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода!» («Накануне»).

«Лианы», оплетавшие «дерево», не иссушали, а по-своему питали его, делали причудливее размах ветвей, сложнее и объемнее всю крону. ...Слова Тургенева о героическом состоянии духа в период создания «Накануне» не были случайными: никогда, вероятно, замечательный художник не жил столь сложной, полной надежд и острых впечатлений жизнью, как в 1859—1862 годах. Роман «Накануне» закономерно оказался прямой противоположностью «Дворянскому гнезду». Монастырю, куда заточил Тургенев Лизу Калитину, куда он перенес, не решив, целый узел мучительных проблем, куда он, в известной мере, произвольно, не найдя исхода, спрятал чудесную энергию молодости, в «Накануне» противопоставлено всецело общественное дело Инсарова, дело Елены. Противопоставлено поприще благороднейших практических дел. Различие было столь громадным, что поэт-петрашевец А. Н. Плещеев заранее предсказывал такую судьбу роману и позиции Тургенева: «Все живое, молодое и мыслящее будет на стороне Тургенева». Но не все разделяли его восторг. Некоторые, самые близкие друзья писателя, как, например, графиня Е. Е. Ламберт, оставаясь еще под впечатлением подвига самоотречения Лизы Калитиной, не смогли принять чересчур «бойкой» якобы Елены Стаховой, жаждущей практического счастья, реального благородного деяния: «Мы привыкли к той мысли, что добродетель должна быть угнетена или, по крайней мере, скромна и застенчива».

Мало кто заметил и то, что между романами было и нечто общее. Почему Лиза уходит в монастырь? «Отзывает меня что-то...» Какая-то словно надличная сила, лежащая вне Инсарова, отзывает и его на родину: «Не я хочу, *то* хочет». Но как различны эти «что-то» и «то» по своему воздействию на внутренний мир героев! В одном случае в Лаврецком и Лизе, героях, полных сил, рождается тоска. Отяжелевает, ожесточается сердце у Лаврецкого, и каким-то обесцвеченным («ни горя, ни тревоги») становится взгляд у Лизы. В другом случае даже болезнь так и не увидевшего Болгарии Инсарова не гасит пламени его надежд, порывов к борьбе. А в Елене Стаховой смерть

мужа не колеблет сознания правильности ее выбора. Самоотречение одной героини противопоставлено иному «само» — самоотверженности, самопожертвованию!

...Есть несколько свидетельств того, как постепенно и болгарин Инсаров, и его славянская страна, где закипала близкая русской душе освободительная борьба, превращались в своеобразную манящую «огненную точку» в сознании Тургенева.

Он уже пишет роман, видит образы его во сне, но порой ему хочется испытать какие-то новые ощущения, вдохнуть «озона». Хочется, бросив все, уехать в Италию! «Вне Италии нет спасения!» — скажет и Шубин в «Накануне». Но характерно, что влечет Тургенева не античный музей под открытым небом, не уснувшие страсти времен Возрождения, а Италия, восставшая в это время против австрийского угнетения, влечет воздух Италии, Джузеппе Гарибальди...

Тургенев не входил в подробности вспыхнувшей весной 1859 года войны между Австрией и королевством Пьемонт, где правил умеренный либерал граф Кавур, войны в союзе с Францией, не изучал специально деяний Гарибальди и его добровольцев. Но самоотверженный героизм гарибальдийцев, среди которых был и Л. И. Мечников, старший брат знаменитого русского биолога, не оставлял Тургенева равнодушным. «...Подышать этим, теперь вдвойне благодатным воздухом.— Стало быть, есть еще на земле энтузиазм? Люди умеют жертвовать собою, могут радоваться, безумствовать, надеяться? Хоть посмотрел бы на это — как это делается?» — напишет он Е. Е. Ламберт 12 июня 1859 года.

Прекрасны события, в которых «скомканный» в будничном бездействии парус мужественной человеческой души расправляется: предстает именно парусом, а не свернутой тряпкой! Чудесны события, в которых человек решает, не страшась ничего, задачи, превосходящие его силы! Шубин говорит в «Накануне» о деле, которому стала причастна Елена: «Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай бог всякому!.. там натянуты струны, звени на весь мир или порвись!»

Безусловно, эта программа весьма абстрактна, она — скорее для сердца, «для темперамента», так сказать. Героического состояния духа в Тургеневе, конечно, не хватало на то, чего от него ожидал, например, Н. А. Добролюбов, приступая к чтению «Накануне». По его мнению, Тургенев «должен был бы поставить своего героя лицом к лицу с самим делом — с партиями и народом». Это ожидание не было случайным. Близилось время, когда молодые сподвижники Чернышевского будут

организовываться уже не в кружки для изучения философских трудов, а в подпольные общества, будут выпускать прокламации, а Тургенев, умевший необычайно пламенно переживать литературно-художественные впечатления, останется как бы «неконкретным». Он будет все еще мыслить о героизме и раздвоенности, опираясь для своей классификации... на образы Шекспира и Сервантеса. Так свою мечту о героических безумцах писатель выразит в статье «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), решительно предпочтя Гамлету, рефлексирующему мудрецу, безумца Дон-Кихота. Исследователи творчества Тургенева давно заметили, что «Тургенев расшифровывает образ Дон-Кихота... как образ революционера» (М. К. Клеман), что «в образе Дон-Кихота Тургенев стремился раскрыть нравственный облик революционера» (Ю. Д. Левин). Но никто не обратил внимания на такую подробность в характеристике Дон-Кихота: «...весь живет (если можно так выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла...» Почти инсаровская программа! А ведь Тургенев так и не выходит в статье из книжной тени и принца Датского, и Рыцаря печального образа. И никакое подталкивание в направлении групп, партий, реальной борьбы либералов и революционеров не помогло бы ему: писатель привык идти своими ногами, обо всем говорить на своем языке. Как остроумно заметил Ю. Манн в статье «И. С. Тургенев и вечные образы мировой литературы», статья Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» поразила современников... нарушила «горизонт ожидания...», привлекла внимание непривычной и, как многим показалось, неоправданно высокой оценкой Дон-Кихота... Его (Дон-Кихота.— *В. Ч.*) возвышение показалось натянутым для публики» (Изв. АН СССР. 1984, т. 43, № 1, с. 23). Сам Ю. Манн отметил, что «традиционно Дон-Кихот сопоставлялся с Санчо Пансой, и в столкновении этих персонажей, в наличии самой «донкихотской пары» виделась глубочайшая мифологическая ситуация нового времени», что новая поляризация безграничной веры (Дон-Кихот) и беспредельного сомнения (Гамлет) есть итог воздействия одной силы: дела, отношения к делу. «Дело всегда — вынужденное прерывание рефлексии...» (там же, с. 28).

Любовь Тургенева к людям действия, к творцам достаточно конкретных исторических событий такова, что, говоря о Дон-Кихоте, он словно видит реальных творцов прогресса: «...когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать».

И прежде всего он видит творцов освобождения крестьян в России... Италия отважного безумца, освобождавшего Сицилию Гарибальди, мелькающего в письмах Тургенева,— все же

далекая периферия тургеневского романа. И без Испании Сервантеса, где воинствовал благородный безумец с копьем, и без Италии Тургенев мог уже дышать благодатным воздухом энтузиазма, самопожертвования, даже безумства храбрых. Эта героическая атмосфера была и в Лондоне, где он наблюдал бодрого и крепкого в те дни Герцена («натура могучая, шумная — и славная»), и в Петербурге, в украинском землячестве, где он в феврале 1854 года познакомился с Т. Г. Шевченко. Но прежде всего атмосфера борьбы ощущалась в «Современнике», где в 1859—1860 годах Тургенев, правда, чувствовал себя не особенно легко.

Почему же именно в момент, когда он в романе «Накануне» в наибольшей мере приблизился к социально-этической программе Чернышевского и Добролюбова, последовал неотвратимый разрыв писателя с журналом?

М. Е. Салтыков-Щедрин много лет спустя, в 1875 году, вспомнит «Современник» этих лет и проницательно определит в письме к П. В. Анненкову силы притяжения и отталкивания, очень сложно действовавшие тогда на Тургенева: «Нет около него никого — оттого он и уснул. Нет никого, кто бы вызывал его на споры и будил его мысль. В этом отношении разрыв с «Современником» и убил его... Там были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать самого себя. Теперь впереди скопец Стасюлевич» (редактор либерального «Вестника Европы». — *В. Ч.*).

Героическое самосознание... Не от чтения книг, даже самых мудрых, оно рождается. Безусловно, и Тургенев, и даже Герцен — при всех ссорах с «новыми людьми» — ощущали: Чернышевский и Добролюбов в 1859—1860 годах обрели редкое духовное состояние людей, резко опередивших в понимании событий множество прозорливых своих современников. Герцен это признает позднее, сказав о Чернышевском: «Стоя один выше всех головою, среди петербургского брожения вопросов и сил, средь застарелых пороков и начинающих угрызений совести, средь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решил ухватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся — *что им делать*» («Порядок торжествует»).

Признание это многого стоит, ибо Чернышевский ухватился за руль, который в какой-то момент держал с полным сознанием правоты — даже в глазах молодого поколения! — сам издатель «Колокола».

* * *

Роман «Накануне» — самый «московский», может быть, вообще самый городской среди всех произведений Тургенева. Как ни стремится писатель и здесь увести героев то в загородное Кунцево, на травянистый берег Москвы-реки, то к прудам Царицына. Здесь, в Царицыне, так мило поет во время катания на лодке немочка Зоя, «нанятая» подруга и компаньонка главной героини романа Елены Стаховой, и кричит перепелом сонливый мудрец Увар Иванович. И все же огромный «город-растение», город дворянских усадеб, монастырей, базаров и трактиров, аристократических клубов и тесных студенческих углов, рядом. Возвращаясь из Царицына, семья Стаховых, друзья их семьи — среди них и молодой историк Берсенев, и его друг болгарин Инсаров, и семейный остроумец, одаренный дилетант-скульптор Шубин — невольно ощущают: «В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки; казалось, будто говорили тысячи голосов: Москва неслась им навстречу. Впереди замелькали огоньки; их становилось все более и более...»

Бесспорно, в Москву, которая, по собственному признанию, так «не давалась» ему всегда, привел Тургенева первоисточник «Накануне» — та упоминавшаяся уже тетрадка, которую передал писателю Василий Каратеев в 1855 году, уходя с орловским ополчением под Севастополь. Центральный момент в каратеевской истории — бегство московской барышни из родительского дома с болгарином Николаем Катрановым, поэтом, фольклористом, борцом за освобождение Болгарии, учившимся в Московском университете.

Ничего выигрышного не упустил писатель из давнего сюжета. С редкой наглядностью развернул Тургенев скрытый, свернутый как пружина драматизм всей любовной истории. Может быть, чересчур наглядно. В 18-й главе романа, после объяснения будущей беглянки Елены с Инсаровым, прозвучат пылкие слова Инсарова, состоится новое «знакомство» героев.

«Так здравствуй же,— сказал он ей,— моя жена перед людьми и перед богом!»

А затем эта же сюжетная пружина, развернувшись, больно ударит по традиционным представлениям матери Елены о семейном счастье, вызовет ее монолог, обращенный к дочери: «Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Без родительского благословения! И ты думаешь, что я это так оставлю? что я не буду жаловаться? что я позволю тебе... что ты... что... В монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты!»

Драматизм, замкнутый, сосредоточенный в сюжете, искусно «выпущен» и разлит, так сказать, по всем каноническим законам построения драмы. А. Г. Цейтлин, автор книги «Мастерство Тургенева-романиста», безусловно, прав, отмечая в «Накануне» и «бóльшую внешнюю драматичность», и возросшую «активность сюжетного развития». Н. А. Добролюбов, не подсчитывая количества глав перед завязкой и кульминацией, не следя за мелкими событиями вроде болезни Инсарова, «провоцирующими» участие Елены в его судьбе и сближение героев, появление претендента на руку Елены Курнатовского, заставляющее ее «решать» и т. п., отметил: «Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и в какую среду попал он, Тургенев весь отдается изображению того, как Инсаровы любят и что из этого происходит. Там, где любовь должна, наконец, уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть» («Когда же придет настоящий день?»).

Скрытый глухой упрек слышен в этой похвале. С одной стороны, хорошо, что Тургенев смог преодолеть рационализм, расчерченность и заданность плана («весь отдается изображению»), а с другой? Сдержанный вздох неудовлетворения очевиден: не очень далеко увел автор Инсарова (и это после того, как он дал «нам понять и почувствовать» его характер) по пути гражданской деятельности! Здесь критик вновь судил роман по законам, признававшимся и Тургеневым. Он чутко уловил, как в Инсарове автор приближался к тому идеалу борца, который готов для «настоящего дня», и как он же, «плохой союзник», остановился перед неким барьером, оборвал жизнь героя.

Добролюбов невольно объяснил, как «подсобен», относительно важен был сам по себе каратеевский сюжет для Тургенева. История бегства барышни — история банальная... Когда не «убегали» экзальтированные барышни из дому! И Наталья в «Рудине» могла бы убежать с Рудиным после его неосторожных речей и, кто ведает, может быть, дошла с ним в скитаниях дальше Венеции с ее оперным театром. Правда, раньше барышни обычно убегали с офицерами, изредка — вульгарный вариант! — с трагиками... Беглянки очень быстро загоняли своих кумиров под каблук и возвращались домой, прощенные и обласканные. Но тут — особый случай... Московская барышня не испугалась особых невзгод, она поехала в страну, где зрела (и шла) освободительная борьба... *Иной* была не история бегства, а сама героиня! И поступок ее — совершенно ясный, воплощенный упрек Москве. Почему не нашлось в ней человека, в чем-то равного Инсарову? Почему нет попри-

ща, где чудесный энтузиазм героини был бы к месту?

Некоторые из современниц Елены Стаховой, правда, считали, что Тургенев испытал сильнейшее воздействие других примеров женского подвижничества. Русская феминистка, исследовавшая «исторические судьбы женской личности», Е. Н. Щепкина была убеждена, что в Елене Стаховой, последовавшей за Инсаровым в Болгарию, отразилось очень многое, далекое от жизни московских усадеб. И образы двух эмансипированных Наталий, жены Герцена и юной Тучковой, в последующем жены Огарева (Тургенев наблюдал их в Париже в 1848—1854 годах). И образ «бразильянки» Аниты, ангела-утешителя итальянца Гарибальди. В конце 30-х годов Гарибальди уплыл в Южную Америку, чтобы защищать маленькие республики Монтевидео и Рио-Гранде,— там он и нашел Аниту. Свою долю «внесла» в образ Елены, согласно Е. Н. Щепкиной, и француженка Розетти, которая, полюбив румына, поэта и революционера, отправилась с ним на его родину...

Думается, что все эти истории, в лучшем случае, малосущественное дополнение, позолота для заключительных сцен «Накануне» в Венеции, для картин смерти чахоточного Инсарова на руках Елены. Некоторые психологические подробности для описания смерти Инсарова и отчаянья Елены Тургенев мог взять из давней истории: смерть Н. В. Станкевича в 1840-м в Италии на руках В. А. Дьяковой, сестры М. А. Бакунина.

Мысль Н. А. Добролюбова: «...давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и в какую среду он попал»,— вероятно, самое точное выражение и социально-нравственной проблематики романа, и главных усилий Тургенева — великолепного мастера русской прозы.

Герой и среда... Для того, чтобы дать понять, «что такое Инсаров», и созданы были, не без обычной оглядки на Москву фамусовскую, ларинскую, Москву 30—40-х годов с ее кружками и салонами, многие образы из окружения Елены. Создано очередное «дворянское гнездо», окруженное, как большой деревней, Москвой. И любопытно, что среда эта вновь не стала лишь неким «темным царством», предназначенным играть пассивную роль фона к любовной истории, к характеру Инсарова. В этом гнезде и, шире,— в тургеневской Москве! — идет и помимо Инсарова своя сложная жизнь, возникают неожиданные сцепления характеров, «бурления» страстей, готовятся сдвиги.

...Итак, лето 1853 года[1], берег Москвы-реки недалеко от

[1] Любопытно наблюдение А. Г. Цейтлина относительно сближения времен в романах Тургенева: «О событиях «Дворянского гнезда», происходивших в 1842 году, Тургенев писал в 1858 году — разрыв в 16 лет. О собы-

Кунцева и *два лежащих* на траве молодых человека, будущих соперников Инсарова на традиционных для тургеневских романов «рыцарских» турнирах перед духовным взором и нравственным чувством очередной избранницы. В данном случае — Елены Стаховой.

Эти два героя — молодой, влюбчивый скульптор-дилетант Шубин с детски-миловидным лицом, с фигурой, в которой «все дышало счастливой веселостью здоровья», его друг — серьезный, но несколько отвлеченный историк Берсенев, не преодолевший школярской скованности, навыков архивного юноши, полагающегося на дар высиживания ученого труда.

Они олицетворяют собой два вида застоя. Один — связанный с гипертрофией книжности, с убежденностью, что история — это всего лишь поток мнений, верований, учений, а не дел, характеров. Факты в этой истории как послушные стеклышки в калейдоскопе: встряхнешь — и готова новая концепция... Другой вид застоя — резвость Керубино, живописное псевдодвижение, истрачивание себя, способность... «пахать», не запрягаясь в какое-либо серьезное дело. Это «обломовщина» без халата и дивана. Есть и еще один лежебока, безмолвный и принципиально-неподвижный — Увар Иванович. Правда, он не так-то прост, этот Увар Иванович: он, самый неподвижный как будто, вдруг оказывается незаурядным судьей псевдоподвижности и резвого Шубина, и тяжелодума Берсенева. Он словно ждет от молодых: когда же вы кончите жить по книжке, литераторствовать и начнете дело делать? Почему вы держитесь надеждой на случай, на три сваи — «авось, небось да как-нибудь»? Потому и его лежание на «самосоне»[1] побуждает того же Шубина к ироническим и настороженным гаданиям: «...лежите в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше — лени или силы».

В «Накануне» ощущается вообще некоторый диктат авторской воли, особенно в оценках разновидностей этой «энергии лежания». Форма для Тургенева всегда порождение «деспотизма внутренней идеи», застывшая в сюжете и слове энергия мысли. В «Накануне» этот деспотизм замысла особенно ощутим. От плана «Накануне», как заметил один современник Тургенева, «не веет волшебной изменчивостью, смутою жизни», он слишком, пожалуй, четок, холодноват.

Иван Александрович Гончаров, создатель «Обломова», имел

тиях «Накануне», происшедших в 1853—1854 годах, он писал в 1859 году — разрыв во времени уменьшился уже до 5 лет. О событиях «Отцов и детей», происшедших в 1859 году, он повествовал в 1861-м» (Мастерство Тургенева-романиста. М., 1958, с. 87).

[1] «Самосон» — диван в Спасском.

основания для ревнивых опасений — не предвосхищает ли Тургенев и его будущих открытий? Что же иное как не та же идея «обломовщины», осознанно выраженная, это лежание, «почивание», идея вообще неподвижности, лени, за которой, правда, чувствуется и сила? Неподвижности ума, чувства, инстинкта... Правда, Гончаров заподозрил в плане «Накануне» лишь попытку незаконного вторжения Тургенева в давно известный ему замысел «Обрыва», он совсем не обратил внимания на другое: *на влияние* «Сна Обломова» на роман Тургенева. Сколько откровенно *лежащих*, почти дремлющих героев, сколько застоя даже в мнимой энергичности того же Шубина! Какой это тщательно проработанный, поистине обломовский фон для фигуры Инсарова!

Тень былых «лишних людей» — Рудина или Лаврецкого — на сей раз не упала ни на Берсенева, ни на Шубина. Писатель даже не предпринял усилий как-то возвеличить их.

...Андрей Берсенев, хорошо воспитанный человек, со следами «порядочности» во всем его неуклюжем существе, кажется на первый взгляд более чем достойным внимания Елены. Его кумир — Тимофей Николаевич Грановский. В речах, своеобразных мыслеощущениях Берсенева Тургенев с очевиднейшей иронией передает все пышнословие гегельянства. Мысль Берсенева «тепловата», созерцательна, груды книг для комбинаций мысли ему вполне достаточно, как «грядки» для бесконечного возделывания. И никогда не возникнет в нем разочарования, не мелькнет желания пробудиться[1].

Весь образ Берсенева, за исключением импульсивно вырвавшегося у Инсарова признания о золотых русских сердцах, адресованного Берсеневу, словно подсвечен мерцающим ироническим светом. Может быть, и над собой иронизировал Тургенев, когда перо его выводило некую вариацию из «Поездки в Полесье» — рассуждение Берсенева о природе: «Сильнее ли

---

[1] С какой поразительной силой эту необходимость пробуждения, освобождения от наваждения книг, от «берсеневщины» выразил много лет спустя И. А. Бунин в короткой зарисовке 1924 года «Книга». Улыбка горькая обманутого сына есть в этом возмущении:

«Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгою в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким...»

Это даже не крик, а упрек многим дворянским поколениям, которые жили в вечной боязни показаться недостаточно книжными, объяснялись словами абстрактного, чисто литературного плана. Как Лаврецкий, как сам Тургенев...

сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?»

Озорник и вечный игрок Шубин твердит, уловив интерес Елены к Берсеневу: «Тебя любят, ты победитель!» Но тот продолжает жить в счастливой меланхолии: «Природа напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас?»

Разве это не чисто философский взгляд на природу, живущую необыкновенно простой и тем-то и сложной жизнью?

Лекции Т. Н. Грановского, как известно, были своего рода поэтическими импровизациями на материале истории. Их нужно было слушать, опираясь на развитое воображение. Народы как отдельные личности сменяли на вдохновенно рисуемом полотне друг друга, на поприще истории, удалялись и восходили... Цезарь или Нерон, рыцари и философы-стоики, античные барельефы воплощали великие умозрения или были обломками утраченных сокровищ. Но Елена уже не из числа восторженных слушательниц незабвенного Тимофея Николаевича! Сам Т. Н. Грановский в годы Крымской войны терялся в раздумьях: как совместить патриотизм и ненависть к Николаю I? Ибо победа в Крыму укрепит позиции самодержавия, отодвинет эру либеральных реформ...

Другие веяния сформировали Елену! Даже Шубин, слушая восторженно-темные речи Берсенева, этого, словно пережившего себя и потому смешноватого «Грановского», нетерпеливо возражает: «Эх, ты, сочувственник...»

Не без иронии сообщит Тургенев в эпилоге, что Берсенев обратит на себя внимание статьями о древнегерманском праве и «значении городского начала в вопросе цивилизации». Опять «далека песня», как говорит Увар Иванович, далека от России, от ее нужд. И опять только слова, да еще тяжеловатые, только усердие книжника.

Прошло время, полагает и Шубин, отчасти второе «я» Тургенева, когда философы и поэты хотели весь мир объять. У нынешнего поколения руки коротки, да и само дело не требует такой всесветной широты... Вечно не попадать в цель, но гордиться, что коли уж бросил, то хватил дальше цели? Так можно и не научиться ничему, при редкой талантливости! Сузить, определенно сузить надо русского человека, специализировать даже, чтобы изжить размахайство, сделать его деловитым! Российский баловень, печальный счастливец, слишком долго пренебрегал мизерными частностями, повторял тот путь, что высмеял Н. А. Некрасов в герое поэмы «Саша»:

Книги читает да по свету рыщет —
Дела себе исполинского ищет,
Благо наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов,
Благо идти по дороге избитой
Лень помешала да разум развитый.
«Нет, я души не растрачу моей
На муравьиной работе людей...»

Переход к «муравьиной», в глазах вещателей глобальных истин, излишне конкретной работе был очень скучен, мечта теряла для них многое, перестав быть дальностью, ни к чему не обязывающей. И Герцену было нелегко спорить с А. А. Слепцовым, когда он ощущал, что даже его, герценовское «искрометное остроумие» этому сподвижнику Чернышевского, лелеющему планы создания конспиративных организаций, издания прокламаций, не нравится. «Массам нужно было сказать такие слова, которых они до того почти или вовсе не слыхали, и притом сказать их так, чтобы, не *набивая голову мудреностью, проникнуть в сердца заколоченного Николаем и не отпертого Александром русского нутра»,*— так определит А. А. Слепцов свои ожидания (Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982, с. 237). Понимая, что лишние люди таких слов не скажут и не отопрут русского нутра, Герцен был вынужден, даже защищая «лишних людей», признавать, что упрек в их адрес за праздность, рефлексию, за чисто словесное выражение протеста правомерен сейчас, в конце 50-х годов. Сейчас есть поприще для дел, в 40-е годы его не было. «Мы признаем почетными и *действительно* лишними людьми только *николаевских»,*— отметит он, уступая доводам «желчевиков» в статье «Лишние люди и желчевики».

Берсенева этот оправдательный жест не касался: и потому так, в духе Герцена и Чернышевского, суров к нему Тургенев.

* * *

А что такое сам Шубин, второй рыцарь «турнира»?

В фамусовском московском доме наряду с диваном — «самосоном», с ритуалами объедания, с арапчонками и арапами, с паркетами бальных залов был еще и словесный «паркет»: его выкладывали всякие остроумцы, а натирали его репетиловы, загорецкие. Отчасти даже и Чацкие...

Романтики начала XIX века вообще любили — в угоду не развитым еще вкусам, праздному застою ума, ищущего мелких чудес,— создавать даже и из своей личности причудливую легенду. Художник О. Кипренский, родившийся в прозаичес-

ком Копорье, произвел свою и без того вымышленную фамилию от античной Киприды, богини любви. Он намекнул этим, что своим рождением был обязан тайной, но божественной любви. Смерть натурщицы Кипренского, слывшей любовницей талантливого художника, наложила на сказку жизни новую загадочную тень. А хлопоты о судьбе дочери этой натурщицы? Они, породив толки, дорисовали вполне уже мифологический портрет.

Сколько Ленских, певцов вечной весны, перевидало начало XIX века, певцов вечной любви, которые и подумать не успевали, что кроме *вечной любви* есть и стадия семьи, есть состояние мужа, отца. Как плод отрицает цветок, так и семья, отцовство, в известном смысле тяжкий труд, отрицает эту беззаботную весну...

Тургенева трудно представить отцом при всей его почтенной, «львиной» внушительности: он и сам сравнивал холодность своего отношения к Инсарову с непреодоленным холодком в отношении к дочери... Шубин — еще один вариант вечно влюбленного дилетанта, это синтез романтика с его игрой вдохновения и потерявшего многое в своем очаровании Чацкого. Тургенев, создавая этот образ, еще раз задумался о резком недостатке грубых, свежих впечатлений, ударов о грубые преграды в своем жизнеобороте. Лорнет, проклятый онегинский лорнет — он всему виною! Ни одно ядро из множества, осыпавших Л. Н. Толстого на 4-м бастионе, не залетело в тургеневскую жизнь, ни одной безобразной драки в своем «мертвом доме», как Достоевский на каторге, не видел он.

Домашние спектакли, уютные салоны, изюминки эпиграмм, неторопливые письма... Тургенев, то помогающий М. А. Бакунину или П. Л. Лаврову, то вступающий в переписку с М. А. Вовчок, с К. Н. Леонтьевым, К. К. Случевским, помогающий, часто не разделяя многих воззрений их, то «возящийся» с соседом — упрямцем А. А. Фетом — все время как будто преодолевал недостаток жизнеоборота, скудость притока грубых, естественных подробностей жизни. Скучно скользить по навощенному паркету гостиных, шествовать по чистеньким дорожкам немецких курортов среди остриженных деревьев... Здесь возникают исключительно головные страсти, умственные приключения! Конечно, культура былых эпох всем помогает, всех поднимает, это такой «запас прошлого», при котором и бедняк — не бедняк... И все же! «Что честность, когда потеряна честь»,— говорил оскорбленный шекспировский мавр. Честь создает подвиг, честность воспитывает гимназия, хорошая семья, даже салон.

Инсаров, в отличие от былых романтиков, не знавших про-

должения слов, их перехода к делу, поражает Елену какой-то новой мерой самого патриотизма.

«— Вы очень любите свою родину? — произнесла она робко.

— Это еще не известно,— отвечал он.— Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил».

Подобный ответ немыслимо сух, риторичен для Шубина. Он еще не знает поля битвы, где можно умереть за родину и тем доказать, что он ее любит. Но не самодовольство рождает в этом «артисте», мальчике, которому так трудно «мужчиною стать», свобода иронических оценок, всеразрушающий сарказм, подчеркнутое озорство. Вообще, трудно его счесть «спящим», неподвижным: он, кажется, один из немногих пробудившихся... Натура эмоциональная, пытливая, Шубин с горечью осознает свое (и Берсенева, еще недавно казавшегося победителем!) бессилие догнать Инсарова на каком-то внезапно ставшем главным пути. Не в ярлык же влюбилась Елена, столь чуткая и требовательная? Они с Берсеневым оба в переходном периоде — в «накануне»... И не известно, будет ли это их «накануне» иметь завтрашний день. Может быть, этот рассвет — без полдня — незаметно стушуется в сумерки? Инсаров уже имеет дело, которому не стыдно посвятить жизнь, он знает свой «день». Шубин с бессильной иронией говорит об этом: «Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука!»

* * *

Инсарова спас от расплывчатости и неясности не математически ясный план романа, а отступления от плана. Был в «Накануне» персонаж, не разделявший скепсиса «исконного зрителя», не желающего кричать ни «viva», ни «a basso», персонаж, попросту не знавший такой раздвоенности,— Елена Стахова. Благодаря ее восприятию Инсаров и предстал перед читателем без налета донкихотства, то есть исторической слепоты, предстал как «сознательно-героическая натура». Елена — то зеркало, которое не ломает лучи, не создает фантастических сплетений света и тьмы, доверия и сомнений. Она, согласно Н. А. Добролюбову, главное лицо в «Накануне». Но своеобразие этого главенства в том, что именно ей открылось все обаяние Инсарова, заключенное «в величии и святости той идеи, которою проникнуто все его существо».

...Инсаров поразил воображение Елены тем, что многое

в нем ей надо открывать, идти от догадок к ясному разумению, от недоверия к полному доверию. Поскольку же в герое нет ничего чрезвычайного, поскольку он, к огорчению Д. И. Писарева, вообще скоропостижно умирает («К чему эта смерть, обрывающая роман на самом интересном месте, замазывающая черной краской неоконченную картину?»), то единственный путь возвеличения героя — это именно причудливая цепочка догадок, раздумий, определений Елены, ее колебания и выбор. Дневник Елены, в котором анализируются частности в Инсарове, вначале более видимые, чем целое, беседы героини с ним — здоровым и заболевшим — все это своеобразные ухищрения беллетристической техники Тургенева, которые призваны были изгнать именно «сушь», то есть рационализм в герое. Инсаров — это, в известном смысле, не просто герой, говоря языком Ап. Григорьева, это «веяние», это «психическая музыка». Но он стал и характером благодаря тому, что за всей техникой стояло живое, знающее свои тревоги, радости, трагизм чувство Елены.

...Первое упоминание об Инсарове заставило Елену лишь с живостью спросить Берсенева, как его зовут, с интересом выслушать биографию героя. Биография эта, в сущности, традиционный формуляр, только вложенный в уста Берсенева. Родом Инсаров из Тырнова, ребенком пережил ужасное событие — турецкий ага зарезал мать (Елена содрогнулась при этом), казнен был отец, мстивший аге. потом Инсаров учился в Одессе, Киеве, конспиративно наезжал в Болгарию. Сейчас герой живет одной мыслью — освободить Болгарию... Конечно, беллетризация формуляра — дело трудное даже для Тургенева. Ремарки: «с живостью спросила», «содрогнулась», «перебила Елена», «Елена задумалась» и т. д. — все-таки ниже уровня мастерства Тургенева. Формуляр — это прямая помощь автора, это поддержка героя извне, а не самодвижение его. Но вкус Тургенева не подвел его: он сократил формуляр, он сразу вслед за этим создал возможности для самораскрытия, самодвижения героя. Он появляется у Берсенева на даче, и читатель видит всю *силу его узости*, кажущейся односторонности.

Берсенев, конечно, изучил Фейербаха, изучил, сам не ведая для чего. Вероятнее всего, в силу традиционной привычки — жить во все стороны... Эта привычка приводила русских юношей к редкой, но словно бесцельной самоотдаче в изучении множества наук, неприменимых еще в России, к появлению необязательного ни в канцелярии, ни в казарме энциклопедизма. Тургенев изумлялся мелочности тем, интересов русской толпы на курортах — и для *этих тем* нужно было знать столько языков? Позднее чеховские герои в «Трех сестрах» будут

иронически говорить об этой бесцельной роскоши: «В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего».

Но ненужным придатком могло быть и иное. Привычка жить всецело по настроению приучала дворян и к свободному выходу в отставку, к забрасыванию всякой учебы, к свободе игры са м собою. Право прожигать жизнь, не знать цены капиталу образованности, таланта, признавать — без тени сомнения! — своеобразное равенство с дуэлянтом, утверждающим свой вес и значение только смелостью «вызовов»,— разве это тоже не «шестой палец»?

Инсаров такого своеправного права распоряжаться собой — по настроению, прихоти, вольности дворянской! — не знает. И Фейербаха он будет изучать, лишь дав отчет себе: нужно ли это для его идеи «или же можно обойтись без него». Видимо, точно так же относится Инсаров и к другим областям знаний: странствовать в них по закону вольности дворянской он не будет! Подлинное оживление наступает в нем при известном сужении, замыкании круга интересов, максимальном приближении бесед к нужному, к теме освобождения Болгарии.

«...Какая совершалась перемена в Инсарове при одном упоминании его родины: не то чтобы лицо его разгоралось или голос возвышался — нет! но все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь... *сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась* в каждом его слове». (Подч. мной.— *В. Ч.*)

Этот глухой огонь, отжатость от всего сырого, собранность, делающая человека скромным, чуждым фразерства, вначале обманули ожидания Елены, готовой к поклонению традиционному «герою». И Шубин уже убеждал себя, что в Инсарове «обаяния нет, шарму», а положительные его черты, «сушь», сосредоточенность на одной идее едва ли покорят Елену...

Но Шубин ошибся... Есть истины, которые живут всецело на языке сладкоголосого говоруна, есть шарм изящества, остроумия, но есть, как проницательно отметил Тургенев в статье «Гамлет и Дон-Кихот», и другая вера. Вера «в истину, находящуюся *вне* отдельного человека, не легко дающуюся, требующую служения и жертв». Почему нелегко дается Инсарову его патриотизм? Потому, что он потребовал от героя отказа от порыва, от жажды личной мести турку, зарезавшему его мать. Он потребовал постоянной готовности примирять рознь земляков, наконец, готовности умереть за родину... Легко служить своим поверхностным желаниям, прихотям, трудно завоевать

истину, которая не в одном тебе, а *вне* тебя, в общем деле, которая станет твоей лишь в меру постоянства служения этой идее и в меру силы твоей жертвы. Если слова человека «стыдятся» за его дела, то грош цена этим словам!

Не упрекая никого вокруг себя, Инсаров тем не менее сплошной упрек всем, кто пребывает в динамике лежания или ложной активности. Талантливые дилетанты вроде Шубина понимают этот упрек. Ведь дел у них вне их личности почти нет, и потому они и пересыпают свои заявления иронической солью, говорят двусмысленно, капризно, по-ребячески. Инсаров говорит мало, сухо, но только о делах, Шубин, наоборот, говорит много, цветисто, он весь — в пестром блеске импровизаций, в бенгальском огне словесных шарад, насмешек над Инсаровым. Но в нем нет и намека на инсаровское глухое и неугасимое горение.

Ах, этот Шубин — турман! турман! Все кувыркается, как голубь все ищет случая прибиться к делу... Но кто пожнет там, где не сеял, и что соберешь там, где ты не рассыпал?

Елена первой — и очень скоро! — сделала важное открытие и в Инсарове, и в других участниках «турнира». Если слова не жгутся, то есть искры их лишь трещат, разлетаясь забавным пучком, если все поведение человека сплошь повторение вчерашнего дня, то... эти слова лгут! Да все это поведение в чем-то фальшиво. Нет движения, есть лишь сидение на месте, жизнь становится тусклой, скованной. «Этот не лжет,— оценит она Инсарова,— это первый человек, которого я встречаю, который не лжет: все другие лгут...»

Впервые, может быть, вообще сделан такой резкий вывод в мире Тургенева. Впервые предстала ложью эпикурейская открытость, резвость московского Керубино или книжное отшельничество маленького Грановского.

* * *

Образ Елены Стаховой — явное психологическое свидетельство близости желанного мгновения, когда «Накануне» перейдет в настоящий день. Эта московская барышня еще ничего не сделала, кроме того что оставила дом, уютные пуховики и диваны родительского особняка в Москве, но для Н. А. Добролюбова все было деянием: главное, ничто не привязывает ее «насильно к трупу отжившего прошедшего...» Сказано резко, и, может быть, великий революционный демократ несколько торопил события. Но решение Елены Стаховой для него — начало перемены, целого процесса. «Везде и во всем заметно самосознание, везде понята несостоятельность старого порядка

вещей... дети теперь подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего» — так заканчивал Н. А. Добролюбов знаменитую статью «Когда же придет настоящий день».

Главной опорой критика, ручательством, как он обычно говорил, истинности и необратимости этого движения в умах была прежде всего героиня «Накануне». Она была опорой столь надежной, что критик не побоялся ошибиться в прогнозе, заканчивая статью с редкой конкретностью: «...канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!»

...Роман обдумывался и писался отчасти на бивуаках. Петербург — Спасское — изредка и ненадолго Москва — Париж — Лондон — маленький французский городок Виши, где запах нескольких липовых аллей напомнил автору Родину, но без ее «необозримых полей, полыни по межам, прудов с ракитами...». Таковы маршруты движения, по которым, со скрипом и не без толчков, катилась «телега жизни» писателя в 1859 году. Настроение? Оно было полувзволнованное, полугрустное, которое всегда находило на него и перед работой и во время ее.

Женских силуэтов, сливавшихся с образом Елены, обожествляемых или забываемых, почти не видно. Это не Лиза Калитина, имевшая несколько прототипов. Той реальной московской барышни, что оставила «глуздыря» Каратеева, предпочла ему болгарина Катранова, Тургенев не знал.

Фантазия художника ищет опоры, а не находя ее, обращается за помощью к вычислительной машине ума. А как ведет себя вообще девушка, столкнувшись с человеком не ее круга? Каков состав ее эмоций и догадок? «Сейчас я как раз сочиняю отрывок из дневника молодой девушки (все молодые девушки ведут дневник — а вы вели дневник?). Но это очень трудно,— пишет Тургенев П. Виардо.— Трудно схватить эту смесь безрассудности с инстинктом, которая стоит всей рассудочности мира. А потом, надо быть наивным...» (Из письма 11 октября 1859 г).

...Дневник Елены. Он возник, в известной мере, вынужденно, как попытка преодолеть сразу две преграды: и известную немоту, психологическую бедность Инсарова, и опасность торопливого прославления банальной «свободы», пресловутой эмансипации женщин. Чтобы поступить так свободно, как поступила Елена,— мало прихоти, мало минутной дерзости...

Весь дневник Елены, созданный ею после знакомства с Инсаровым — это именно поиск той действительности, которая не призрачна, не случайна, не омертвела. ...Это поиск героя, который увлечет ее не затейливостью ума, не бездейственным умствованием, а каким-то реальным делом, подвигом. Все кап-

ризно, мимолетно в дневнике, здесь строку диктует чувство, нет нажима со стороны автора... Но как целеустремлен этот поток чувств, внезапных открытий в себе и в мире, как неостановимо желание идти на свет, загоревшийся где-то вне «клетки»!

«Андрей Петрович мне приносит книги, но я их читать не могу. Сознаться ему в этом — совестно... Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц?»

«О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да, это главное в жизни. Но как делать добро?»

«Инсаров, господин Инсаров,— я, право, не знаю, как писать,— продолжает занимать меня. Мне хочется знать, что у него там в душе?»

Эти записи сгруппированы, стеснены в одну главку (XVI), хотя хронологически они охватывают события почти целого лета. Грезы, обман неопытной души, томления — по форме все так похоже на состояния все той же Татьяны Лариной. Но Инсаров — не Онегин. Инсаров, готовый отдать жизнь за освобождение родины, примиряющий раздоры в болгарской общине, не спешащий мстить личному врагу,— резко изменил само направление восторгов и ожиданий героинь в тургеневском мире. До него тургеневские женщины стояли гораздо выше мужчин по цельности и решительности душевных порывов. Теперь Елена смиряется перед отвагой и мужеством Инсарова. Это особое смирение, совсем не тишайшее, и оно было не понято многими.

Консервативную (чопорную) часть читателей и друзей Тургенева поразила «неприятная» новизна в поведении грезящей во сне и наяву героини: Е. Е. Ламберт назовет эту новизну в героине «бойкостью». Рецензенты пожестче заговорят об «элементе разрушения», воплощенном в Елене, и ее «не женской храбрости и стремительности».

Слова «женская эмансипация» еще не вошли в обиход, но характерные упреки в безнравственности той свободы[1], которую, не спросясь никого, гордо отстаивала Елена, призывы к писателю — осознать место женщины в семье, в ее связи

---

[1] И может быть, Тургенев, очень чуткий к веяниям времени, впервые уловил неуловимую границу: чуть больше дашь развязности, смелости героине, таких шагов, как натиск Елены на Инсарова — «А! ты хотел убежать от меня? Тебе не нужно было русской любви, болгар! Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься!» — и благородство характера, трагическое величие его выветрится, Елена превратится... в заурядную «эмансипе», в Кукшину! Смелость Елены не может стать обыденной, бестрепетной, эгоистичной, обращенной к натурам, *далеким* от Инсарова.

через семью с вечностью — уже прозвучали. Эта же свобода распоряжаться собой, свобода от заветов старого быта была в глазах Н. А. Добролюбова той новизной, которая и составляла основу «энергического», деятельного характера Елены, позволяла ему сделать вывод, что Елена, как идеальное лицо, составлена «из лучших элементов, развивающихся в нашем обществе».

* * *

Лучшими элементами общественного сознания в глазах Добролюбова и в какой-то мере Тургенева были прежде всего жажда активной деятельности, которая «снедает проснувшееся общество», лихорадочное мучительное нетерпение, с которым молодое поколение ожидало дела. Каким может быть это дело? Узок был еще круг сподвижников Чернышевского и Добролюбова. На многие вопросы они сами искали ответов. Им важен первый, самый трудный и такой важный для Елены шаг. Здесь все почувствовали не каприз безответственности, не самодурство, не «метафизику бунта», а нечто очень важное. Для судьбы Елены, для судьбы молодого поколения, для России! Не над игрушечной драмой очередной беглянки из родительского дома — единственный раз в жизни! — плакал Тургенев, создавая сцену отъезда Елены с Инсаровым в зимнее московское утро. Так и слышится его волнение в шепоте матери Елены, с ужасом взирающей на творимое дочерью — да только ли ей, самой жизнью! — неслыханное дело:

«Да... Болгария! — пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как купавка — и она его жена, она его любит... да это сон какой-то».

Прослезил Тургенева отец Елены, сибарит, старый московский барин, влетевший в санях на тот же московский двор и подбежавший — как точно угадано его состояние! — к дочери с последним благословением, с маленьким образком.

«Ну! — сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели, — надо проводить... и пожелать... — Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег...»

Последние слова увозимой и увозящей больного Инсарова Елены: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте, прощай Россия!» — смутили покой и двух московских умниц, Берсенева и Шубина. Им стало так неловко, недоумение так придавило их, как будто в карете увезли

покойника. «Умирало прошлое, прошлое байбаков... Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим... но все-таки умирало».

Для этой сцены необходима была именно Москва. И только она. Несправедливо в этой сцене одно: не могло никогда умереть то прошлое, что создало Пушкина, Глинку, Лермонтова, Гоголя, обусловило величие Бородина и Полтавы... И Москва, где «каждый камень хранит надпись, начертанную временем и роком» (Лермонтов), не могла стать таким умирающим прошлым, царством сплошных байбаков. И потому-то, может быть, столь потрясены и «дети», и «отцы». Им не до конфликта! Умирает прошлое, зыбко, призрачно настоящее, неведомо, каким будет будущее... Громко звучит лишь суровый, горький и справедливый приговор: именно Москва в тот момент, из-за предшествующего *сна*, проиграла на узком, но чрезвычайно важном для текущего момента поле сражения — в ней в тот миг не нашлось осознанно-героических натур. Она долго и бездеятельно потела, как хлебный квас на леднике, слишком долго жила в домах-усадьбах, вписанных в город, но как будто... отвернувшихся от улицы, не имевших часто даже парадных подъездов. Она вынужденно долго спала на диванах-«самосонах»...

Этим финалом Тургенев углубляет глубоко тревожную оценку деловым ресурсам и Москвы, и всей помещичье-чиновничьей России. Шубин, так и оставшийся самым вопрошающим лицом в романе, подводит плачевный итог всему: нет дельных людей, не родилась еще русская деловитость:

«Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Все — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самому себе: вот что я, мол, чувствую... Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда же придет пора? Когда у нас народятся люди?»

* * *

...Роман «Накануне» стал своеобразным художественным прологом множества революционных деяний, в которых главным действующим лицом была русская молодежь. Разночинская и дворянская. В частности, русские девушки. «Земля и воля», «Народная воля», опыт конспирации и величие откры-

того самопожертвования, заблуждения и прозрения... В новых произведениях Тургенева появятся героини вроде Марианны из «Нови» или безымянной девушки из стихотворения в прозе «Порог», которые самобытно повторят на новом этапе духовный путь Елены. Еще раз подтвердится историческая правота Н. А. Добролюбова, убежденного в том, что скоро будет и массовая революционная армия, и надежные революционные организации. Непрерывно растущая армия, пополняющаяся — даже при обилии заблуждений, страданий, провалах на этом пути[1]. Россия, по образному определению В. И. Ленина, поистине выстрадала в XIX веке марксизм.

Но Тургенев не был всего лишь иллюстратором деяний и пассивным зарисовщиком изменчивой психологии, нравственного мира своих бунтарей. Он и формировал эту психологию, и умело низводил до уровня карикатуры анархистов, крикунов, «хористов» великих движений, мельчащих идею. Инсарову и Елене противен явившийся к ним в Венеции Лупояров, кричащий, как Загорецкий от революции: «Во мне самом славянская кровь так и кипит!»

Одно замечательное свойство всех лучших представителей русских борцов за свободу прозорливо рассмотрел и утвердил Тургенев. Его Елена, Марианна, героиня «Порога», Базаров и Нежданов глубоко чужды всем модным в последующем течениям «левого радикализма» и идеологам их, превращающим свой протест в некое метафизическое самоуслаждение «бунтом» как таковым, в средство или предпосылку создания «контркультуры», «контрнасилия», «новой чувственности», «новой структуры инстинктов» и т. п. Для таких теоретиков сама молодежь — лишь дешевое пушечное мясо для глобальных провокаций. Этот «дух переворота», заботливо созидаемый во многих ученых трудах Г. Маркузе или Сартра, ведет к новому одичанию, к развязыванию низменных инстинктов, к анархизму всех видов. «Анархизм — вывороченный наизнанку буржуазный *индивидуализм*»,— писал В. И. Ленин (ПСС, т. 5, с. 377).

---

[1] «Откуда брались эти светлые, свежие и чистые юноши и девушки? — вспоминал народоволец В. Г. Тан-Богораз.— Кто их знает. Они рождались сами собой, выходили из почвы, как новые побеги тоже благородного корня. В то время в революционных кружках совершались рядом два противоположных процесса. Центр быстро погибал, периферия медленно росла. Прежние руководители исчезали... В то же время расцветали местные кружки, как дикие полевые цветы. Они были такие наивные, бесстрашные, на все готовые... местные кружки ширились и разрастались и мало-помалу спелись в подпочвенный слой, на котором через двадцать лет выросла освободительная война» (Тан-Богораз В. Г. Колымские рассказы. М.— Л., 1931, с. 280).

Тургеневские героини верят не в мелкобуржуазные теории насилия «левых» радикалов, развязывающие инстинкты слепого разрушения, а в историческое творчество народа, развивающееся в русле самых прогрессивных тенденций общественного развития. Они остаются мечтателями, людьми высокого гуманизма среди любых обстоятельств. И удивительно, что в канун реформы 1861 года, в канун многих событий XIX и XX века, Тургенев художественно утвердил этот прекрасный тип русского борца за свободу, которому суждена была долгая и немеркнущая слава.

БЕСПОКОЙНЫЙ И ТОСКУЮЩИЙ БАЗАРОВ...

Ну, и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм...

Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях (1863)

...Весна 1861 года — первая после отмены крепостного права. Тургенев встретил это удивительное время в Спасском, «старом гнезде», его единственном доме среди множества «квартир».

Еще не улетучились из памяти недавние восторги. Он вспоминал, как в Париже, среди многочисленной русской колонии, в день объявления «воли» многие, как на пасху, христосовались. Сам он сгорал желанием быть в России! Старый декабрист Николай Тургенев твердил: теперь и он может умереть со словами: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко, с миром...»

По ту сторону пролива, в Лондоне, тоже ликование! А. И. Герцен и Н. П. Огарев «из дали нашей ссылки» приветствовали Александра II именем *Освободителя* и призвали его ко второму шагу — «освободить, вместе с русским, крестьянином, новую русскую государственную мысль» (Манифест.— «Колокол», № 95). Несколько недель спустя дом Герцена в Вестенде, убранный флагами и пышно иллюминированный, увидит и толкотню торжества, съезд гостей-эмигрантов из Италии, Франции, услышит свежесочиненный квартет князя Голицына Emancipation, слепленный из мелодий русских народных песен.

В Спасском все происходящее понималось гораздо глубже, точнее и трезвее.

Прежде всего бросалось в глаза действительно странное, дурацкое, как скажет И. С. Аксаков, положение в «Манифесте»: на первой же странице его объявлялось, что «земля составляет неотъемлемую собственность помещиков», что шло наперекор народным понятиям. И. С. Аксаков, как и Тургенев,

и Толстой знал эти народные понятия, выражавшиеся в формуле: «Мы — господские, а земля — наша». Но царь, величайший в мире рабовладелец, не мог, конечно, обидеть помещиков, даже выступая в роли посредника. Операция выкупа «свободными» крестьянами земли ему очень понравилась. Но заставить крестьян выкупать свою же землю, по образному определению И. С. Аксакова, было то же самое, что «заставить дуб выкупать свои собственные корни!»

Именно этот-то пресловутый «выкуп», вернее, пункт о нем в «Положении 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крестьянской зависимости», гласивший, что «крестьяне, за отведенный... надел, обязаны отбывать, в пользу помещиков, определенные... повинности: работой или деньгами», и обнажил перед Тургеневым весь неожиданный узел противоречий, весь груз «камня», стронутого с горы.

Недовольны дворяне, лишенные части привилегий, смутным брожением полна крестьянская масса, ошеломленная новизной, знающая лишь навыки былой инертно-рабской жизни. П. В. Анненков, углубляя в Тургеневе эти настроения, пишет ему в июне 1861 года: «Крестьяне уже составили убеждение себе, что воля должна вводиться точно так же, как рекрутский устав, переселение в Сибирь и ссылка на Амур — с отпором на одной стороне, кнутом и экзекуцией на другой...»

Было над чем улыбнуться, о чем вздохнуть!

Россия порой казалась Тургеневу своеобразной кометой в газообразном состоянии, которая еще не стала планетой. Нигде не стало ничего крепкого, твердого — лишь странное бездействие: все продолжают «сидеть — в виду неба и со стремлением к нему — по уши в грязи». Сбывалось давнее его опасение, что народ без образования — в *гражданском*, а не ученом смысле — беззащитен, скорее испуган, чем рад.

Крестьяне, даже в Спасском, правда, сообразили на первых порах одно: «...что их бить нельзя и что барская власть вообще поослабла» (Из письма П. В. Анненкову 10 июля 1861 г.) Удивление Тургенева вызывал тот факт, что мужики вдруг испугались идти с *барщины* (она была легкой, всего трехдневной в неделю) на *оброк*, требующий от вольного крестьянина самостоятельности, инициативы, смелости и риска...

Зыбкость, неустроенность, грубая развороченность былого уклада — и на редкость деловое настроение самого писателя. Еще в августе и сентябре 1860 года был обдуман и подготовлен план «большой повести» — таково первоначальное определение «Отцов и детей». А в августе 1861 года Тургенев уже известил, что написано «блаженное последнее слово». Благодаря сложившейся привычке писателя оповещать обо всем друзей,

читать им рукопись, ждать советов и фиксировать многое в письмах — стремительный процесс создания знаменитого романа виден ныне до множества мелочей.

В обсуждении весьма деятельно участвовал и «друг навсегда» П. В. Анненков с его «энциклопедически-панорамическим пером» (из письма П. В. Анненкову 15 февраля 1861 г.), и «эгоист» В. П. Боткин, чей ум, к счастью, был «по-прежнему жив, и тонок, и капризен» (из письма Л. Н. Толстому 16 марта 1861 г.), а также Е. Е. Ламберт, Е. Я. Колбасин, К. К. Случевский...

Правда, был среди советчиков Тургенева человек, который еще до публикации романа сделал его полем битвы. Битвы идей с автором, но главным образом с «Современником», потерявшим Н. А. Добролюбова (он умер летом 1861 года), но остававшимся в глазах этого человека — редактора «Русского вестника» М. Н. Каткова — основным возмутителем либерально-охранительного спокойствия.

К 1862 году М. Н. Катков наконец обрел свое истинное лицо.

«Старые боги кончились, жрецы их поникли и присмирели»,— скажет М. Н. Катков в статье «Старые боги и новые боги» (Русский вестник, 1861, № 2), имея в виду крах присмиревших крепостников, банкротов во всех отношениях, и растущую мощь революционно-демократической идеологии. Это было смелое откровение. Падение авторитета давнего литературного «маниловца» профессора С. П. Шевырева Тургенев наблюдал на одной лекции Шевырева в Париже в 1862 году. Оно было столь явным, что среди слушателей 60-х годов вдруг повеяло кислой сыростью преисподней Сивцева Вражка и Малой Конюшенной!.. Это была не стена консерватизма, а скорее расшатанный гнилой плетень! Новый Булгарин, новые охранители в образе держиморды или ревнителей чистого искусства стали невозможны. М. Н. Катков понимал это яснее всех, говорил об этом грубо, резко, с неуважением к банкротам. И он же первым указал новый путь борьбы с «Современником», с революционным движением.

Многие, знавшие М. Н. Каткова как англомана, знакомого Белинского, недоуменно спрашивали: «Не донос ли многое, что подается как полемика, в «Русском вестнике»?

Что ж, Катков уже не боялся этого вопроса, тревожившего слабохарактерных обвинителей. «Мы не отказываемся от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек, но будем этим заниматься, искусством не для искусства, а в интересах дела и чести». Так писал он уже в 1861 го-

ду, собственным признанием ловко превращая отвратительное доносительство в своего рода гражданскую добродетель.

М. Н. Катков, как засвидетельствовал П. В. Анненков, первым почувствовал, что новый герой Тургенева, медик Базаров, если даже и не понравится «партии Чернышевского» в «Современнике», тем не менее не карикатура на «радикала» (то есть революционера Добролюбова). О разрыве Тургенева с «Современником» ему было хорошо известно. До М. Н. Каткова доходило в той или иной форме и горячее, правда, чисто эстетическое возмущение Тургенева наплывом «бездарных и рьяных семинаров», появлением новой, «лающей и рыкающей литературы». (Из письма П. В. Анненкову 8 августа 1861 г.) Может быть, М. Н. Каткова радовали и резкие, даже наплевательские по отношению к людям 40-х годов оценки Д. И. Писарева. После одной из этих насмешек Тургенев не без горечи скажет: «Отрывок — из статейки г-на Писарева, присланный тобою, показывает, что молодые люди плюются,— погоди, еще не так плеваться будут!» (Я. П. Полонскому, 24 января 1862 г.).

Конечно, фанатичный редактор «Русского вестника» ощущал, что подобное возмущение вовсе не делает Тургенева человеком его партии, что, в сущности, сам роман и образ Базарова есть плод общения автора с тем же «Современником», что автор «Отцов и детей» — как бы через высокую баррикаду!— утверждает, и прежде всего могучей, подавляющей лентяев и «байбаков» фигурой Базарова, историческую правоту и грядущую победу нигилиста.

П. В. Анненков очень точно описал одно из сражений над текстом рукописи, начавшееся с возмущенной, отнюдь не деланной реплики М. Н. Каткова:

— Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином!

Разговор, вероятно, был долгим. И П. В. Анненков воспроизвел его клочковато, спутанно, но точно:

«Но М. Н.,— возражал я,— этого не видно в романе: Базаров возбуждал там ужас и отвращение».— «Это правда,— отвечал он,— но в ужас и отвращение может рядиться и затаенное благоволение, а опытный глаз узнает птицу в этой форме...» — «Неужели вы думаете, М. Н.,— воскликнул я,— что Тургенев способен унизиться до апофеозы радикализму, до покровительства всякой умственной и нравственной распущенности?..» — «Я этого не говорил,— отвечал г. Катков горячо и, видимо, воодушевляясь,— а выходит похоже на то. Подумайте только, молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже смерть его есть еще торжество, венец, коронующий эту достославную

жизнь... Кто может знать, во что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества — значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии...»

Что ж, в даре предвидения М. Н. Каткову не откажешь[1].

* * *

...И вновь «дворянское гнездо» Марьино, правда, наспех сооруженное, бивуачное, причудливо слепленное и раздерганное бурным временем. Вновь приезд явного чужака Базарова, с непредсказуемой линией поведения. Предварять его явление в среду «феодалов» — это значило смягчать впечатление взрыва, стелить соломку. Здесь же все дело — в неожиданной сшибке разных психологических стихий. Что крепче, жизнеспособней, то и уцелеет!

Здесь нет обычного формуляра, но есть портрет, есть лицо, как замена формуляра, как фокус усилий жизни... Портрет Добролюбова и его интонации невозмутимого отчуждения и гордости, знающей себе цену: «Вот я и попал на литературное подворье», «К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу», «Неужели думают, что я испугаюсь таких угроз и в угоду Тургеневу изменю свои убеждения. Странные понятия у этих господ!» — эти интонации оживают при первом же появлении Базарова, при ответах гостя хозяину Марьина Николаю Петровичу Кирсанову.

Николай Петрович — сама любезность, гость сына Аркаши и для него — предмет умиления. Он поэтому «быстро обернулся», подошел к человеку в длинном балахоне с кистями, «крепко стиснул его обнаженную *красную* руку, которую тот не сразу ему подал». Почему не сразу, почему *«красную»?* Да подобные встречи с непременным умилением, вздохами, поцелуями — вне душевного опыта Базарова, а рука... Что ж, это рука,

---

[1] Позднее, в 60—70-е годы, когда стали появляться и малохудожественные романы «про косматых нигилистов-пьяниц», вплоть до лесковских «На ножах» и «Некуда», Тургенев будет немало удивлен тем, что он окажется... чуть ли не главой этой крайне тенденциозной литературы! А Базаров, вопреки его замыслу, будет открывать галерею портретов неприличных, пустых, косматых, нерашливых существ, так называемых карикатурных нигилистов, которые, как заметил Герцен, до Базарова и его тоскующей души «никогда... не дойдут». Тургенев будет доказывать — отчасти ему поможет в этом Д. И. Писарев, — что его Базаров натура почти героическая, суровая и честная, что, сочиняя его, он чувствовал к нему влечение, род недуга, что он, лишь мелочами, дал возможность «нашей реакционной сволочи ухватиться за кличку, за имя». (Из письма М. Е. Салтыкову-Щедрину 3 января 1875 г.)

знающая труд в лабораториях, и труд не от случая к случаю. Базаров представился «ленивым, но *мужественным* голосом». Портрет его весьма непростой, писатель, углубляя сходство с Добролюбовым, создал его так, что в нем смешаны и неприязнь, и уважение к силе. «Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно (лицо.— *В. Ч.*) оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум...»

В портрете Базарова неуловимо смешаны и аскетизм, нетерпимость, снисхождение силы (в ответ на упование хозяина, что «не соскучитесь у нас», губы Базарова «чуть тронулись») и теплота, ироничность, можно сказать, естественность. В портрет незаметно вложены намеки на многие возможности этой натуры. И на внезапное — ведь аскетизм это сухой порох!— все сжигающее чувство любви к Одинцовой, и на столь же страстное сомнение. Где есть сила и мужество — там есть движение.

На многое намекает и имя героя — Евгений (благородный). Оно, как тонко подметил костромич Ю. В. Лебедев, тоже избрано не без дальней мысли. В романе есть эпизод, когда Базарову понадобилась помощь его ангела-хранителя, когда ему, не верившему ни в какие таинственные силы, вдруг стало не хватать наличного бытия. Перед встречей с той же Одинцовой в ее имении, страшащийся своей слабости, надломленный уже, Базаров иронично скажет Аркадию: «Поздравь меня... сегодня 22-е июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется»[1].

Ангел-хранитель был, конечно, бессилен перед направляющей рукой автора «Отцов и детей», властвовавшей от первого до последнего мгновения над судьбой Базарова. Но как умело скрыта эта власть! По поведению Базарова на первых страницах трудно было предположить, что он — человек-скала, подвижник, почти аскет, неуязвимый и рациональный, — вступит в опасную игру с судьбой, вспомнит об ангеле-хранителе, не выйдет из состояния глухой тоски и погибнет, как Евсевий, от духовной язвы, тоже занесенной женщиной из чужого стана...

---

[1] «Попечитель» Евгения Базарова — святой Евсевий («благочестивый»), епископ Самосатский,— жил в IV веке, в период духовной смуты и напряженной идейной борьбы... По характеристике жития, был он «муж правоверен, благочестив, постоянен, мужествен, непоколебим»,— пишет Ю. В. Лебедев, напоминая, что и смерть этого подвижника, борца с язычником-императором, тоже «базаровская». «Базаров... знает, что Евсевий погиб случайно и что в смерти его была повинна рука женщины из враждебного арианского стана» (По поводу одной реплики Базарова... И. С. Тургенев. Вопросы биографии творчества. Л.: Наука, 1982, с. 200—201).

...Сами приехавшие — Аркадий, сын Николая Петровича, юноша со звонким голосом, вечно «сбивающийся» то на искренний восторг перед небом родины, то на притворный напускной цинизм, и Базаров несут много черт неожиданности, «случайности». Базаров запоминается сразу — его изваяли лаборатории, анатомический театр, произительные брошюры вроде «Материя и сила» и, видимо, давящая, затяжная нужда, о которой он, гордый человек, едва ли сообщал отцу, все еще державшему руку на пульсе тех, «по четырнадцатому декабря». Но важнее всего некое иное воздействие — оно и сделало разночинца, сына уездного лекаря, фигуры, по былым меркам, совсем незначительной, скорее страдательной в уездном и губернском большом свете, личностью, неожиданно заметной и уверенной в себе.

Тургенев не объяснил прямо причин возросшей силы и значения разночинной интеллигенции. А ведь Аркадий мог бы, как это сделал Берсенев относительно Инсарова, изложить отцу нечто суммарно-представляющее о Базарове. Да и о себе одновременно: так сделал Лежнев, объясняя Рудина! После публикации романа, как известно, возникли из-за этого недоумения. Говорили, что если бы Базаров вырос в «темном царстве», в мире щедринских недоумков, вырос среди смятых, задавленных еще в юности душ,— все было бы яснее. А. И. Герцен, также отметив отсутствие указаний на источники формирования героя, написал Тургеневу, что поэтому он, рисуя Базарова, и остановился на первом поверхностном слое: «...остановился на дерзкой, сломанной, желчевой наружности, на плебейско-мещанском обороте». (Из письма И. С. Тургеневу 9 апреля 1862 г.)

Но и Герцен, в известной мере, обманулся в Базарове. Тургенев, вероятно, мог бы только улыбнуться — отчасти улыбкой Добролюбова! — над таким советом Герцена: «Что бы ему было прислать Базарова в Лондон?.. Базаров в Лондоне увидел бы, что это только издали казалось, что мы размахиваем руками, а что на самом деле мы ими работаем» («Еще раз Базаров»). В глазах Базарова, знающего неизбежность совсем иной работы, это приглашение почти равно пожеланию Николая Петровича Кирсанова — «надеюсь, не соскучитесь».

Почему Базарову смешны простодушные заверения и ожидания хозяев, что он здесь не соскучится? Да потому, что и скука, и радость всецело «управляемы» им! Он работник и в своей душе. У него хватает сил себя ломать... Он словно сосредоточен на том, чтобы не слиться с данной средой. Если здесь просят поужинать, то он просит «поесть», если здесь видят некую тайну в улыбке, в характере той же Одинцовой, то он ви-

дит «бабу». «Эта госпожа ой-ой-ой...» Он сразу же отметит и фигуру Павла Петровича Кирсанова, в английском сюртуке, с неколышимым пробором, с романтическим «устремлением вверх, прочь от земли», с каменными воротничками, и скажет о нем: «Удивительное дело — эти старенькие романтики! Разовьет в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено...»

Жаргон не творит еще, конечно, характера, он говорит скорее о направленности движения. Может быть, Базаров еще становящийся, а не законченный нигилист? Еще плавающий среди слов, едва заучивший их?

Но как колюч этот слой его речений, манер, поз, как неизбежны поэтому схватки, заставляющего оправдывать позы, жесты, хлесткие суждения! Как быстро разгорается сыр-бор на Руси... О предстоящей схватке Базарова с романтиком, посвятившим десятилетия праздной жизни роковой любви, бегло сказано: Павел Петрович ему «руки не подал и даже положил ее обратно в карман». «Не будет мира, — говорил этот жест.— Здесь все пройдет проверку и кто-то один уцелеет!..»

Первый «слой» фраз, словесных жестов, самораскрытий Базарова, «нырнув» в который одни, вроде М. Антоновича, увидели пародию на молодое поколение, а другие, как Д. И. Писарев, восторг перед позитивизмом и рационализмом, в сущности очень прост, даже примитивен. Он откровенно публицистичен. Создатели дешевых антинигилистических романов долго будут черпать из этого слоя. Им хватит пищи и здесь! Как и сатирикам, которые долго будут писать о зловредном медике, что «внес с собою цинический, некий запах хирургический», что ушел «в селения, полон духа разрушения».

Надо было русскому обществу дожить до времен А. П. Чехова, В. В. Вересаева, вглядеться в благороднейшие фигуры врачей, работавших «на холере», вслушаться в тоску Астрова и Чебутыкина, чтобы... увидеть в Базарове — будущем уездном лекаре, как он сам говорит о себе, привыкшем самозабвенно трудиться в деревенской глуши,— предшественника благородных чеховских, вересаевских, купринских «докторов», уездных интеллигентов, свидетелей множества драм народной жизни. Да как они уцелевали, с редким благородством, с базаровской независимостью духа, в провинциальном водовороте? Эти чуть холодноватые, замкнутые Астровы? Опора их — базаровская привычка к труду, к подвигу, растянутому на десятилетия и на тысячи верст свивающихся в круг провинциальных дорог... Он, тургеневский, смутьян, умерший столь рано, прародитель их энтузиазма и, увы, столь частого скептицизма и одиночества!

Тургенев не дал предыстории появления «плебейского» поведения Базарова во многом потому, что ее еще и не было: все творилось рядом с ним, все было первооткрытием. Тургенев словно передразнивает в Базарове ту «лающую, рыкающую» литературу, которую, как ему казалось, и создал наплыв бездарных семинаров. Правда, Базаров с самого начала столь могуч, такой чисто толстовской силой отрицания веет от него, что трудно удержаться от догадки: а не избрал ли Базаров это «амплуа» как средство своеобразной самозащиты, не играет ли он свою роль, в чужой и коротковатой одежде, играет излишне зло, с переигрыванием, с перехлестом, с сатанинской усмешкой? Характер каким-то непостижимым образом все время богаче слов. Мысль изреченная — почти ложь...

Тургенев помнил страстную непримиримость Толстого. Дуэль Тургенева с Толстым едва не состоялась летом 1861 года. Он помнил злое толстовское отрицательство 1856 года, его вопрос и призыв к друзьям оглянуться на себя, на свои привычки и занятия, задуматься: «А не вздор ли все это?» Не кроется ли в толстовском психологизме нечто родственное методу Базарова?[1] Тургенев явно передает гримасы, а не лицо новых и во многом близких ему натур:

«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта».

«И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество».

«Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены... Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других...»

Есть нечто деланное, нарочитое, вызывающее в этом потоке наглядного самораскрытия, в повторении азов... Но вместе с тем слышится что-то очень знакомое, очень родное... Русское!.. Русское злое отрицательство,— как лик любви, святотатство — как жажда веры, отрицательство до выворачивания всего себя наизнанку, без оглядки, сплеча, с жаждой дойти до бездны и в бездну заглянуть, как скажет позднее Достоевский. Недаром

---

[1] Б. М. Эйхенбаум однажды отметит: «Не будем бояться слов — основная сила Толстого определяется именно особого рода цинизмом, до предела разлагающим душевную, интимную жизнь человека и превращающим ее в какой-то химический процесс. Отсюда особенности его «психологического анализа», построенного на недоверии к неразложимости, к слитности, к цельности душевной жизни» (Лев Толстой. Л.: Прибой, 1928, кн. 1, с. 35).

именно автор «Преступления и наказания» почувствовал в Базарове — за этой нарочитой апологетикой физиологии, химии — нечто безграничное, тоску по всеобъемлющему знанию, по исполинскому делу. Такую жажду не скоро утолишь. Как будто кто-то гонит и самого Базарова, как он гонит перед или за собой рой подражателей — от той же Кукшиной до сына откупщика Ситникова и Аркадия. Гонит не чья-то воля, а закономерность жизни, она движет их, не спрашивая, включив какой-то мотор.

Вероятно, Тургеневу казалось странным, что многие, отыскав эти формулы о физиологии, исключающей всякую метафизику любви, вцепившись только в них, и порицали Базарова и неумеренно идеализировали его. Да это же перед лицом вечности лишь детские буквы, написанные на береговом песке! И разве можно из набора плоских цитат создать сокрытый двигатель великой души? С таким дешевым багажом Базаров мог бы позднее бесследно раствориться в толпе «базароидов», то есть измельченных псевдонигилистов... А этого не произошло, и нигилизм Базарова позднее, когда улеглась пыль журнальных сражений, предстал как явление, полное благородства, чистоты, своеобразного идеализма. И даже мечтательности. Роль нигилиста для Базарова, как и карикатурные передразнивания отдельных тезисов, суждений, взятых со страниц «Современника» или «Русского слова», оказались лишь моментом поведения, временной желчевой наружностью лишь названного нигилистом революционера.

* * *

Фактор силы...

Всякая революционная ситуация именно его выдвигает на первый план. И Базаров — может быть, единственная фигура в русской прозе, стоящая на высоте революционной мысли Чернышевского и Добролюбова,— не мог, конечно, пройти мимо этого фактора истории.

В одном из словесных поединков с Павлом Петровичем Кирсановым Аркадий, неумело подпевая Базарову, обратился к обсуждению вопроса о роли силы в истории.

«— Мы ломаем, потому что *мы сила*,— заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, *сила* — так и не дает отчета,— проговорил Аркадий и выпрямился.

— Несчастный!— возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее,— хоть бы ты подумал,

что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! *Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила — да на что нам она?* Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды... Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! *Сила!* Да вспомните, наконец, *господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною,* а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас». (Выделено мной. — *В. Ч.*)

Этот довод, сравнение лагеря нигилистов с ордой, как известно, подсказан Тургеневу П. В. Анненковым (см. публикацию его письма в статье В. А. Архипова в «Русской литературе», 1958, № 1). Друг Тургенева продолжает и в письме свою защиту «литературного типа слабого человека», начатую некогда в связи с тургеневской «Асей», в связи со статьей Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez vous». Сила слабого человека — размышление, создающее «целительную атмосферу» в обществе, возбуждающее все запросы. А силачи, цельные «мужи крепкого закала», самодуры ничего не дают цивилизации. Так размышлял некогда Анненков, в сущности обосновывая идею постепенного, разумного прогресса. Сейчас эти идеи удивительным образом состыковались с замыслом Тургенева. Базаров — это сила, цельность, это стихия силы под стать Пугачеву... Как поведет себя он среди слабых людей, уверен ли он до конца в себе?

Герой несколько настороженно слушает и Аркадия, и Павла Петровича. Почему? Он знает роль силы, которая, как известно, солому ломит, но он же знает и силу этой соломы, особенно если ее необозримо много, если в число добродетелей России так долго вносились прежде всего созерцательность, покорность, терпение.

Базаров лишь с любопытством, почти одинаково снисходя и к неофиту Аркадию, который для уверенности даже «выпрямился», и к старшему Кирсанову, слушает все словопрение о силе. И лишь при угрозе быть раздавленным миллионами приверженцев цивилизации, «соломой», он нехотя промолвил:

«Коли раздавят, туда и дорога... Только бабушка еще надвое сказала...»

Не сразу поймешь: о чем тут речь?

О судьбах цивилизации, о роли «слабого» человека, сберегающего культуру от кичащихся силой гуннов и «монголов»? О крикунах, ниспровергателях Рафаэля, встреченных Павлом Петровичем в Риме, сильных лишь своим невежеством? Но это лишь внешняя сторона спора. Слова Базарова о неясности того,

с кем будут эти миллионы, то есть массовая армия, его же намеки на то, что и «четыре с половиной человека» — это тоже сила, способная быстро умножиться, говорят о чем-то куда более близком не к абстрактному противоборству силы и слабости, а к реальной русской пореформенной жизни. Они говорят — и это замечательная победа реализма Тургенева! — о глубоком постижении им жизнеощущений «четырех с половиной человек» в редакции «Современника», о верности правде вопреки личному разрыву с ними.

* * *

...В день появления «Положения» об отмене крепостного состояния Н. Г. Чернышевский, как известно, был занят переводом «Основной политической экономии» Дж. Ст. Милля. «Современник» отозвался на «Манифест» без дозы умиления, отозвался демонстративно, иронически: опубликованием «Извлечения из постановления о «всемилостивейшем даровании крепостным людям прав свободных сельских обывателей».

Такая почтительная издевка! Ирония людей, знающих свою нынешнюю и грядущую силу...

У этой позиции неучастия великого революционного демократа в процедуре дарования крестьянам личной свободы — своя предыстория, очень веские причины. Чернышевский предвидел, что все дело, если оно останется в руках либералов или плантаторов, будет испорчено, непременно выйдет какая-нибудь «гадость». Полная гадость или «компромиссная». «Как я был глуп, что хлопотал о деле, для которого не обеспечены условия! Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение! Досада за вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства», — писал он еще до появления «Положения». Писал, по обыкновению, иносказательно, с помощью своеобразных сравнений, парабол, аналогий. Он видел, что земля если и доставалась крестьянам, то доставалась на столь выгодных былым рабовладельцам условиях, что становилась... средством умножения тягот, новой уздой!

Порвавшаяся цепь великая, говоря словами Н. А. Некрасова, ударила «одним концом по барину, другим по мужику», но по мужику она ударила куда больнее.

Способен ли был народ вмешаться в эту «игру»?

Нелегкий вопрос... Г. В. Плеханов в свое время заметил: мучительными сомнениями характеризуется отношение Н. Г. Чернышевского и к самому народу. Невежество и нужда, инерция почтения к казенной бумаге, долгое отсутствие развитой гражданской жизни неизбежно сделают свое дело: и у истинных доброжелателей народа — это с печалью осознавал

Чернышевский! — не будет массовой армии! Не будет ее в такой момент, когда весь исход политических столкновений — Чернышевский-политик, опередивший свое время, уже глубоко осмыслил опыт борьбы в Европе, опыт создания, скажем, рабочих ассоциаций! — решает только сила организованности, действия самого народа, как массовой армии. *«Сила есть последняя инстанция во всех крупных исторических тяжбах.* Это не значит, что всякий тяжущийся должен немедленно прибегать к силе. Но это значит, что всякий тяжущийся должен увеличить свою силу. Так смотрел Чернышевский», — писал о сути тревог и надежд великого революционного демократа Г. В. Плеханов (Очерки по истории русской общественной мысли XIX века. П., 1923, с. 251).

При всем мастерстве Чернышевского «подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров» (Ленин), даже его могучая проповедь не могла сразу дойти до порабощенного нуждой и невежеством крестьянства. Сколько горечи знало его патриотическое чувство! В романе «Пролог» Левицкий (Добролюбов) записывает после свидания с Волгиным (Чернышевским): «Он не верит в народ. По его мнению, народ так же плох и пошл, как общество».

Чернышевский и в подцензурной печати с горечью писал о том, что «рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях...». Тут он ненадолго смыкался с Д. И. Писаревым, который принципиально не верил в скорое прозрение массы. О ней Писарев писал вообще с неоправданной резкостью: «Во всякое время... удовлетворялась тем, что было «налицо», «...никогда в жизни не (пользовалась) своим головным мозгом как орудием самостоятельного мышления»; «...эта масса, желудок человечества... идет черепашьим шагом вперед по силе инерции» («Базаров. «Отцы и дети». Роман И. С. Тургенева»).

Величие, даже гениальность Чернышевского, отмеченная В. И. Лениным, состояли в том, что он почти сразу же после сближения, резко разойдясь с Д. И. Писаревым, возложившим все надежды на мыслящий пролетариат, на тех, кто оторвался «от людского стада», кто сознает «свое несходство с массою и смело отделяется от нее поступками, привычками, всем образом жизни», в итоге все же сохранил непоколебимую веру в неизбежное народное восстание. Он решительно способствовал перерастанию революционной ситуации в революционный взрыв, ждал мгновений «энергических усилий, отважных решений» крестьянства.

Тургеневский Базаров был прав, когда говорил, что бабушка надвое сказала, что еще неизвестно, кто будет раздавлен. Он

знал явно больше, чем мог и хотел сказать «отцам». И было отчего вздрогнуть Павлу Петровичу, когда в ответ на его вопрос: «Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?» — Базаров многозначительно промолчал... А в ответ на догадку, на упрек, может быть, даже на надежду, что и *эти* бунтари поболтают по молодости, пошумят по-репетиловски, как всякие мелкие обличители, и утихнут, Базаров ответил Павлу Петровичу:

«Чем другим, а этим грехом (то есть праздной болтовней.— *В. Ч.*) не грешны...»

Сказано было сквозь зубы, никаких надежд на худой мир не оставлено.

* * *

Впрочем, Базаров часто говорит не просто экономно, но небрежно, лениво, сквозь презрение. «Экономия умственных сил есть не что иное, как строгий и последовательный реализм»,— так оправдает позднее Д. И. Писарев эту манеру спора. Ему, в общем-то, скучно излагать даже поверхностный, уже устаревший для него слой своих мыслеощущений. Превосходство героя над окружающими безраздельно, монопольно, и даже активная пропаганда естественных наук для Базарова — лишь легкий и частный, будто временный, далеко не конечный этап его исканий. Это словно одна из его «одежек». Базаров скажет в романе, как о чем-то азбучном для него, что для него «природа — не храм, а мастерская — и человек в ней работник». Но ему давно скучно «ботанизировать» даже с Анной Сергеевной Одинцовой, давать латинские названия цветам, травам, его увлекают более тревожные эксперименты. «С людьми возиться», держать в руках совсем иной «скальпель» — все гонит его к далеко не врачебной практике.

Базаров, в известной мере, повторяет духовный путь пламенных исканий людей 30—40-х годов, когда в России осмысливали, переваривали того же Гегеля или Фейербаха с такой редкой самоотдачей и энтузазмом, что знали сумрачный германский гений не хуже, чем на родине философов, а применяли положения Гегеля столь универсально, что... крайности русских неофитов изумляли иностранцев.

Естественные науки в 60-е годы в России также в какой-то момент стали не просто одной из сфер деятельности. Это был путь утверждения свободы, раскрепощения мысли. Не случайно книга великого русского физиолога И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», предназначавшаяся для «Современника», была задержана цензурой даже в пореформенные вре-

мена. А ведь в ней провозглашалась... не идея бунта или требование учредить парламент. Нет, внешне, если не заметить имени Гарибальди, все совершенно академично:

«Все бесконечное многообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению. Смеется ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, грезит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение... С этим не может не согласиться даже самый заклятый спиритуалист».

Это, конечно, не публицистика. Но такая мысль, грубо, по-базаровски, бунтующая против идеалистических объяснений механики мира (а вернее, застылости), отвоевывающая мир у бога для науки, была революционной. Необходимо проснуться и от наваждения гегельянства, осознать мир резче, грубее, физиологичней, удариться мудрой головой о простоту и вещественность! Л. Н. Толстой, другой великий бунтарь, убежденный в том, что нельзя сквозь онегинский лорнет смотреть на мир, даже много лет спустя, в 1909 году, повторит с неперегоревшим жаром душевное состояние далеких лет: «В то время как Гоголь вступил в литературный мир... царствовало... до невероятности глупое учение Гегеля, по которому выходило то, что строить дома, петь песни, рисовать картины и писать повести, комедии и стихи представляет из себя некое священнодействие, «служение красоте», стоящее только на одну ступень ниже религии» («О Гоголе»).

Чем не сеченовское, продернутое, как нить, сквозь природу и историю «мышечное движение», отрицающее всякие божественные тайны? И чем не базаровское глобальное превращение мира из храма, где присутствует бесконечность, непостижимое, в кузницу, лабораторию, мастерскую?

...Уже создавая «Детство», Толстой бросил вызов целой литературной традиции... Что и с чем, например, следует сравнивать, чтобы увеличить в прозе эффект наглядности? С какого момента талант начинает натыкаться на вешалки готового платья для героев и чувств, на склад патентованных сравнений и метафор? Толстой вспоминает, как Бальзак в своем романе «История величия и падения Цезаря Биротто», описывая действие «Пятой симфонии» Бетховена, говорит, что, слушая ее, он «видит ангелов с лазурными крыльями, дворцы с золотыми колоннами, мраморные фонтаны, блеск и свет». «Это описание,— зло комментирует Толстой, уже тогда готовый «троглодит»,— не напоминало мне сонаты Бетховена не только

потому, что «никогда я не видал ни ангелов с лазурными крыльями, ни дворцов с золотыми колоннами».

У французского поэта Ламартина Толстой находит сравнение: вода, «как жемчуг, падающий в серебряный таз». И тут же яростно спорит с целой романтической традицией, от Гюго до Жуковского: «Прочтя эту фразу, воображение мое сейчас же перенеслось в девичью, и я представил себе горничную с засученными рукавами, которая над серебряным умывальником моет жемчужное ожерелье своей госпожи...»

Можно представить, как горячо и бескомпромиссно доказывал Толстой — не замечая, что насмешками над «лазурными» крыльями, над «жемчужными» каплями, он задевает что-то существенное в поэтике Тургенева! — что его воображение художника оскорбляется роскошной лавкой драгоценных камней в качестве опоры для взлета фантазии... «Бирюзовое небо», «серебряная луна», «яхонтовое море», «золотые волосы»...

«Я никогда не видел губ кораллового цвета, но видал кирпичного; глаз — бирюзовых, но видал цвета распущенной синьки и писчей бумаги... А сравнения со статуями, героями опер, балетов?.. Мне тесно среди них...»

Вот *этот* резкий голос Толстого, этот его натиск на мертвый, восковой язык традиционных романтических сравнений, пожалуй, порой слышится в Базарове! К сожалению, Толстой в момент появления «Отцов и детей» не хотел даже слышать имени Тургенева, и его оценка романа далека от объективности: «Все умно, все тонко, все художественно, и я соглашусь с вами, многое назидательно и справедливо, но нет ни одной страницы, которая бы была написана одним почерком с замиранием сердца». (Из письма Л. Н. Толстого П. А. Плетневу 1 мая 1862 г.) Где уж до узнаваний себя в Базарове!

Естественно, что у Базарова были и прямые прототипы. И, улавливая нечто «толстовское» в Базарове, мы не хотим умалить роль врача Дмитриева, Виктора Якушкина, может быть, орловского соседа И. В. Павлова, поражавшего «оригинальной грубостью своих приемов, под которыми таилось у него много мысли, наблюдения, юмора» (П. В. Анненков). Но эти прототипы не объясняют все же, почему Базаров так превосходит всех в Марьине, в кругу «базароидов», в имении Одинцовой. Базаров — ***великий разночинец.***

* * *

И этим отнюдь не исчерпан был монументальный и сложнейший характер. Преддверие будущего — опасная зона, и не

один библейский Моисей умер в преддверии, не войдя в землю обетованную...

Суверенность его личности, непричастность к глупым установлениям то и дело становятся сомнительными.

Истинный рост и мощь великана обозначается тогда, когда он склоняется, осторожно и нежно, к ребенку. Величие Базарова странным образом передает нарастающее от главы к главе противоречие: ему противно спорить с недомыслием, с наивностью, либеральной или реакционной, ему явно нелегко читать лекции по ботанике и химии Одинцовой, удовлетворяя ее каприз, ему смешно говорить детям, что он «дохтур». Но он все-таки и спорит, и «ботанизирует» (просвещает) Одинцову... Он внимает бурям в стакане воды в гостиной Кукшиной. А раз дав сердцу волю — в отношении Фенички — он дошел и до старомодной неволи: принял вызов на дуэль...

Непримиримый, категоричный, но в то же время — весь из уступок! Истинно великое сердце уязвимо перед многим. Дуэль с Павлом Петровичем — глупая дань феодальному окружению. А вся дружба с мягким баричем Аркадием как соратником? Не уступка ли это потребности в дружбе, в слушателе? Он и хочет возиться с людьми, и ищет независимости от их наивных норм жизни. Обманывать себя долго нельзя, и Базаров в конце концов прощается с Аркадием — прощается сурово, по-добролюбовски: «Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки... Да что! Ваша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает...»

Базаров понимает — как человек с народным здравым смыслом,— что дружбу заводить и спорить надо с оглядкой. Увлечешься — не оградишь себя самоиронией, презрением к феодалам, будешь вещать, как некогда Рудин,— и растаешь в котле словоговорения, в панибратстве, как крупица соли. А путь впереди долгий, трудный; слой единомышленников, даже включая «олухов» вроде Ситникова, так тонок. А их, увы, тоже надо включать...

Скучно говорить, скучно спрашивать, если многое и до вопроса ясно... Базаров, встретив на пути в усадьбу Кирсановых подводы с мужиками, слышит ответ: «Полагать надо, что в город». «В кабак»... И без этого уклончивого ответа Базаров все видит, он ясно оценивает весь хаос хозяйственных дел Николая Петровича. И потому столь задорно изумляется затем одному: хозяин неустроенной усадьбы... играет на виолончели!

От базаровского задора веет холодом улыбки Мефистофеля.

Далась же ему эта виолончель кроткого Николая Петровича! Но если «сопрячь», соединить эти явления — мужиков,

едущих в кабак в весенний день, кормящий год, как известно, и благодушного, беспомощного «феодала», вздыхающего о «покойнице-жене, заглядевшегося, как ребенок, «на крупного цыпленка», томно играющего на виолончели, то есть от чего придти в серьезную тревогу. И Базаров (с таких-то моментов начинает открываться истинная глубина его характера, роднящая героя уже с самим Тургеневым!) не просто тревожится, он возмущается странной слепотой доктринеров, опекающих Россию, видящих в ней все, что угодно, только не реальный, с его точки зрения, народ. Базаров говорит порой так, как в 1862 году заговорит Тургенев в письмах к А. И. Герцену: «Толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке».

Неудовлетворенность, отрицательство нормально для Базарова как толчок к работе, но опасны и ненормальны остановки на одном этом, то есть позерское *удовлетворение* своей возвышенной неудовлетворенностью. Злые, вдохновенные речи Базарова — это не пестрые, претенциозные речи нигилистического карикатурного «мальчика», но страстные монологи «мужа», своеобразного патриота России. Это не лермонтовская необъяснимая «странная любовь», не тютчевский патриотизм бессознательной веры, это патриотизм действования. Этот слой мыслей и чувствований Базарова порой не только контрастирует с его нигилистическим жаргоном, с отрицанием Рафаэля, Моцарта (лучше для человечества якобы победить геморрой!), он, по существу, отрицает его. Нельзя идти только за словом героя, за тем, что у него на языке, и при общей оценке его суждений об искусстве. Этот патриотизм действования, скорейшего излечения всех болезней общества через устранение их причин вовсе не так враждебен поклонению тому же Пушкину. Н. Н. Страхов с редкой проницательностью, делающей честь современной Тургеневу критике в целом, отметил в иконоборце Базарове глубокое, скрытое преклонение перед «иконой» искусства: «Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает его потому, что глубже понимает его. Очевидно, музыка для Базарова не есть чисто физическое занятие, и читать Пушкина не все равно, что пить водку. В этом отношении герой Тургенева несравненно выше своих последователей. В мелодии Шу-

берта и в стихах Пушкина он ясно слышит враждебное начало, он чует их всеувлекающую силу».

Искусство есть одна из *сладостей* жизни, а для дела, для победы над элементарным невежеством и ленью нужно нечто горькое, прозаическое, аскетичное. «Искусство всегда носит в себе элемент *примирения,* тогда как Базаров вовсе не желает примиряться с жизнью. Искусство есть идеализм, созерцание, отрешение от жизни и поклонение идеалам; Базаров же реалист... *Восторг* — вот зло, против которого идет Базаров и которого он же имеет причины опасаться... Искусство имеет притязание и силу становиться гораздо выше *приятного раздражения зрительных и слышательных нервов;* вот этого-то притязания и этой власти не признает законными Базаров»,— писал Н. Н. Страхов в статье «Отцы и дети» (Русский вестник, 1862, в. 2).

Подобная основа аскетизма, иконоборчества Базарова объясняет многое и в Д. И. Писареве, который так талантливо, поистине увлеченно «разносил» Пушкина, забыв на время, что без Пушкина не было бы и его критики... Но это страстное забвение — не пустая ненависть невежд или зависть посредственности, способной лишь «хрюкать» на Моцарта и Рафаэля! В сущности, базаровский нигилизм — это высокий скептицизм аристократа иной мысли, отлично знающего, что за тощей похлебкой позитивизма, за распластанной скальпелем лягушкой есть роскошные кушанья великого искусства. Сейчас ему не до них! Сейчас они — расслабляют! Базаров, в известной мере, и своеобразный фейербахианец, отрицающий гегельянство, универсальную схему, единую науку во имя дробления наук, специализации, уточнения знания. Истина для него не некий зверь, которого можно отловить в кружковых спорах, в чтении Гегеля, в мечтах. В его насмешках над пассивностью, прекраснодушием Николая Петровича или запоздалым печоринским демонизмом поведения Павла Петровича звучат и отголоски мнений Белинского о «москводушии» маниловцев от литературы и философии, без цели читавших что-то, болтавших о чем-то, не связывавших со словом «польза» никакого представления.

* * *

Но почему так одинок Базаров среди «своих», одинок в пошлом кругу завершенных нигилистов, живущих «на ренту» с нигилизма?

Реформа приоткрыла двери к спорам, дискуссиям, «ниспровергательству», порой дубовому, суетливому и кощунственно-

му. Она распахнула двери шумного отрицательства, игры в бунтарей и для массы людей, не овладевших еще культурой, часто обделенных талантом, умом. В этих «дверях» уже в 60-е годы возникала толчея, неразбериха! Нередко сталкивались, как в мутной воде, истинные творцы новой морали, новых нравственных ценностей, платившие за все судьбой, всей пламенной жизнью революционеров, и неприкаянные души, и суетливые ловцы удачи.

Тургенев искренне горевал, когда до него дошла весть о смерти Н. А. Добролюбова. Памяти В. Г. Белинского, тоже неистового ниспровергателя лжекумиров, он и посвятил роман о Базарове. Это были великаны, к которым, увы, льнули лилипуты нигилизма, торопливо освобождавшие себя от серьезного труда, от понятий долга, рвавшиеся в авангард разрушительства. Как льнули к Базарову такие его последователи, как Евдоксия Кукшина и сын откупщика Ситникова. Их Тургенев осознанно «вычесал... из русской действительности нам напоказ» (Достоевский). Может быть, себе на беду: кукшины и закрепили тень на его имени, сделали ему — на 15—16 лет! — репутацию недруга нового поколения. Плохо прилеплявшееся к яркой индивидуальности Базарова понятие «нигилист» им-то и оказалось впору. Эти кукшины и делают Базарова вождем, без благородства Базарова они сразу многое теряют... и... слово «нигилист» вновь прилепляется к нему!

И не отделаться уже Базарову от роли вождя, роли святого даже после смерти! И тянется за ним монотонная цепочка «базароидов». Можно умереть от их криков, их суеты, от одиночества среди них, от горечи сознания, что олухи-то как раз и рвутся на первое место. Герцен в Лондоне, а затем в Женеве будет изумляться тому, как скудная униформа, одномерность удушит все оригинальное в подобных Ситникову «хористах» нигилизма. «Нет ли в этом пристрастии к однообразию того же раздражительного духа, который сделал у нас из канцелярской формы сущность дела и из военных эволюций — шагистику?..— спрашивал он в очерке «Еще раз Базаров».

Герцен и Тургенев уловили, что такого рода мелкобуржуазными бунтарями движет пессимизм, страх перед будущим, неуверенность в своем месте в нем, в будущем. Страх расковывает, «растормаживает» инстинкты протеста, самоутверждения, из неприкаянности рождается анархический демонстративный вызов, определенный критичный стиль поведения, абсолютная отрицательность, шумная, наглядная, порой жалкая. Кричать о ней надо — иначе опять наползет на душу страх, все покроет тень собственной малости!

Базаров в романе активно подчеркивает различие между со-

бой и Ситниковым. Ему смешон и Аркадий в роли нигилиста. Будто надел он некий маскарадный костюм, между тем «бал кончился», а он так и забыл снять его! Базаров словно предвидит, что если не платить до конца судьбой за избранный путь,— путь революционный!— то беспорядочное, анархическое отрицательство всего на свете может завести в тупик цинизма, к «добродетелям» невежества, к «счастью» свободной любви, к эгоистической раскованности подсознательных привычек, к формам самовыражения в садизме и шутовстве. Базаров мог, как оказалось, погибнуть от «язвы» неразделенной, непонятной любви к Одинцовой. Глядя на эту мраморную Диану, он был в состоянии испытать ломающее (и сломавшее его) чувство любви-ненависти. Какой поклонник свободы в любви способен был сломаться от столь частной невзгоды?

Нет, Катков не зря тревожился, говоря, что вопреки всему в романе, по мелочам снижающем героя, Базаров «как-то случайно попал на очень высокий пьедестал».

Он попал на трон как раз закономерно! Беда его в том, что он одинок на этом троне...

И будет одиноким, хотя множество лиц из окружения Базарова без всякого права, как мошкара, тоже лезли на тот же трон. Кукшины и ситниковы платили дешево за право трещать на всех перекрестках о своем нигилизме, об эмансипации. Они платили галдежом в застольных беседах, двумя-тремя бутылками шампанского, развязными манерами!

Тургенев отчетливее многих разглядел, что в таком чуждом Базарову нигилизме вдруг закричало, завопило о себе ущемленное «я» множества мелкобуржуазных, пошлых душ, нерадивых рекрутов науки, не готовых ни к упорному труду, ни к подвигу. Закричало все, что было десятилетиями чужаком в царстве талантов. Им надо скорее принизить недостижимое, упростить сложное, облегчить трудоемкое, и тогда верблюд бездарности пройдет сквозь игольное ушко.

Мир можно опустошить быстро, если в «ступу» отрицательства, как заметил сам Тургенев в Риме, попадает и Рафаэль, и Ватикан с творениями великого Микеланджело. Не явится ли на свет такой нигилизм, не имеющий ничего общего с Базаровым и Писаревым, попросту говоря, мещанское, мелкобуржуазное анархическое опустошительство, которое будет походить на бурное, хаотичное, неуправляемое движение? Не говорит ли сама энергия, бьющая в маленьких базаровых, об ужасающей нравственной приниженности? Не будут ли ситниковы, как малодаровитый М. Антонович, сильный лишь рядом с Н. Г. Чернышевским, после неудач, после малых для себя «дивидендов» с нигилизма негодовать даже на свое, не обогатив-

шее его карман направление, клеветать на великую личность своего учителя? Так сделал позднее М. Антонович...

* * *

...Анна Сергеевна Одинцова — не главная, конечно, виновница гибели Базарова. Гибели какой-то случайной, явно не идущей к нему. Счастье как-то не шло Лизе Калитиной, гибель не идет могучему, жаждущему людей ломать Базарову.

Одинцова вообще не могла быть погубительницей кого бы то ни было — она не принадлежит к женщинам-демонам вроде Полозовой («Вешние воды») или Ирины («Дым»). Сводить с ума — это такое геройство, которое требует забвения себя. А тут постоянная память о себе, взгляд на себя и Базарова — со стороны. Актер и зритель едины в Одинцовой. Даже когда Базаров признался, что за две недели пребывания в ее доме он стал с негодованием осознавать в себе романтика, что ему трудно стало громко и внятно сказать, «что в нем «происходит», признался, что он, наконец, любит ее, любит «глупо, безумно»,— и тогда спокойствие и вкус самонаблюдения не потеряли ценности для этой героини.

«Она не чувствовала себя оскорбленною; она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидела за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие».

Линейка Тургенева геометра определила каждый шаг, жест, реплику Одинцовой. И умертвила почти все. Скажем, был в ее юности — бедной юности дочери промотавшегося отца — роковой шаг: она решилась выйти замуж за богача в летах Одинцова. Как мучителен будет подобный шаг для Ирины Осининой в «Дыме»! Ни намека на ураган тревог, обид на жизнь, тоски нет в характере героини «Отцов и детей»: «взрыв» не вырыл в ее душе уродливой дисгармонии. Одинцова, может быть, самая холодная, не мечтательная героиня в тургеневском мире. Божество любви, меняющее весь мир, заставляющее звучать даже тишину и косные предметы, лишь однажды приблизилось к напряженно беседовавшим Базарову и Одинцовой. Они говорили о счастье, о привычке к комфорту, Базаров искренне напомнил героине о ее пропадающей красоте, которую видят здесь, в деревне, лишь они с Аркадием, двое студентов. И тут — только раз — повеяло поэтичнейшим духом тургеневских свиданий: послышалось «таинственное шептание» ночи, тайное волнение охватило Одинцову, сообщившись и Базарову.

Первые такты прекрасной мелодии зазвучали, великий волшебник стал скликать всех вечных спутников подобных пробуждений души. Но тут же последовал «отбой» — не то место, не та героиня!

* * *

«Падать» Базаров начал гораздо раньше.

...Есть удивительная подробность в творческой предыстории романа: замысел произведения о страстном бунтаре, не спасовавшем в жизни ни перед кем, пошел в рост, как зерно в почве, после одного художественного сновидения. «Я однажды прогуливался и думал о смерти...— говорил Тургенев переводчику Х. Бойзену.— Вслед затем предо мною возникла картина умирающего человека. Сцена произвела на меня сильное впечатление, и затем начали развиваться остальные действующие лица и само действие».

Здание, как видим, строилось, в известном смысле, «с крыши». И проводя героя, ниспровержителя авторитетов, по салонам и залам дворянских гнезд, по «случайным семействам», Тургенев знал, как непоколебим будет авторитет смерти, все разрушающей, все примиряющей, развенчивающей гордые иллюзии даже смелого ума.

Можно сказать даже, что Тургенев, вычислив путь героя, сначала похоронил Базарова, пережил то изумление перед очередной несправедливостью и справедливостью природы, которое прозвучит в эпилоге, в раздумье перед могилой героя: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной».

Похоронил, а потом дал этому страстному, грешному, бунтующему сердцу недолгую насыщенную жизнь, дал непрочное ощущение торжества своей идеи, универсальности и превосходства ее над былыми верованиями «отцов»... Базаров — врач на миг — получил перед собой в качестве пациента весь мир, весь род людской. В этот-то миг торжества он и гибнет под грузом сомнений, в испуге перед односторонностью, дисгармонией своего развития. Он развенчивается тогда, когда как будто встретил то, что извечно сопутствует победителю, что противостоит в тургеневском мире работе смерти: способное любить женское сердце, способное откликнуться на многие чувства, создать в герое счастье такой полноты, которое не кончится

никогда, способное изгнать «страх перед бесконечностью и ее земным обликом — смертью» (Гершензон).

Как будто встретил... Встретил он — это диктовал расчет!— существо рационально-холодное, женщину, спокойно укрощающую себя, не забывающую, что она живет в упорядоченном доме, спит «чистая и холодная, в чистом и душистом белье». Только такой фанатик узкой идеи, как М. Н. Катков, ожидал, что Одинцова будет поставлена выше Базарова, сможет «осадить» его... В любви выше тот, кто больше отдает, кто больше о себе забывает, чем помнит себя, кто наделен буйной слепотой страстей, готовностью идти до конца. Где все это в Одинцовой? Ей с самого начала была уготована тропинка, аллея, а не беспредельность... Она для Базарова — лишь намек на целую систему иных ценностей, на мир красоты, без которой его победы так безрадостны.

Рука, слишком умная, глаз геометра определили уже время и место появления Одинцовой в романе. Она явилась в момент, когда Базаров почти устал от побед. Когда он разбил уже, без надежд на реванш, Павла Петровича, когда он с грустью смотрит, как беззаконная комета, на свой «хвост», на последователей. Когда открывается бездна трагического одиночества Базарова, готового для решительного дела — не только научного творчества!— но так и не находящего этого реального дела.

К моменту бесед в имении Одинцовой обозначается совершенно ускользнувшая от многих современников глубочайшая и неожиданная как будто связь Базарова — позитивиста, поклонника естественных наук — с отвергаемым идеализмом, с тем противоречивым духовно-нравственным наследием прошлого, которое он грубо, часто озлобленно, отрицает.

Базаров безусловно понял, кому удобна роль вечных отрицателей. Только кукшиным... Им много дает власть дешевого скептицизма, развязного освистывания всего, что выше их уровнем. Базаров же осознает над собой притяжение и власть иного пути, ощущает страшный духовно-нравст-

---

[1] Профессор Ив. Иванов, вероятно сгущая краски, заостряя мрачные видения Базарова, пишет о некоей пустой, вымощенной булыжником площади, созидаемой в мире вульгарным материализмом: «На ней нет памятников, вообще,— произведений искусства, не растет ни одного зеленого дерева, не цветет ни одного душистого цветка. Все выкорчевано и вырвано как бесплодный сор. Ни светлой красоты, ни простодушной радости, ни вдохновенной песни. Обычно — работа и еда,— по временам взрыв темной тяжелой страсти,— волна застоявшейся крови... Так до конца, пока не настанет черед расти лопуху» (Иванов И. И. Иван Сергеевич Тургенев. Нежин, 1914, с. 531).

венный голод в своем безлюбовном, антиромантическом мире. Голод подлинного русского Фауста 60-х годов ведом ему[1]. Этот голод души, тоскующей среди укороченных желаний, мелких тщеславий, среди «метеорных явлений», прозорливо угадал впоследствии Ф. М. Достоевский. Но эта тоска и голод родились после столь явных отрицаний поэзии и красоты, родились в душе, заковавшей себя в тяжеловесные латы Бюхнера и Огюста Конта, что все порывы его к красоте кажутся и Одинцовой и Фенечке какими-то страшноватыми или просто греховными. Кажется, что в Базарове застонал кусок скалы, камня, не знавшего раздвоенности!

Вся сцена объяснения Базарова в любви, на редкость яркая, мучительная, может испугать: «Он (Базаров.— *В. Ч.*) задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его».

Удивительно ли, что после этого треска разодранных декораций, успешного спектакля о сути нигилизма, стонов раненого камня ожило в Базарове гамлетовское сомнение во всем: в силах человека, в смысле своего самопожертвования, в «олухах» — приспешниках. Но сомнение в себе — на первом плане... В какой-то момент стало ясно, что его убеждения оказались в резком расхождении с его же чувствами, с более глубокими жизнеощущениями. До этого самоуверенный, не знающий, перед кем бы он мог спасовать в жизни, Базаров внезапно становится печальным, видит себя такой же, как и все, песчинкой праха, он вспоминает — не без подсказки автора — печаль Паскаля и Монтеня: «А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!»

При желании можно оценить это раздумье как стихотворение в прозе...

Но почему глубок этот внезапный и очень утонченный, совсем не базаровский пессимизм?

Для Базарова нет истин *вне* его деятельности, вне его ощущений, впечатлений. Он фактопоклонник, как Д. И. Писарев. Нет божественной воли и абсолютной идеи рядом с человеческим сознанием. Он потрясен, окрылен и отчасти раз-

дражен этой ответственностью. Отсюда и его неприязнь к фразе, острое ощущение комизма многих дел, малости людей. С какой-то неведомой высоты, не в силах духовно умалиться до малой добродетели, смотрит он на заботы родителей, на Аркадия, который конечно же, пойдет по родительской стезе:

«В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки...»

И все же, учтя особенности философской ситуации, следует вернуться к ситуации конкретно-исторической, обострившей пессимизм Тургенева и, в известной мере, утрату им четкой перспективы исторического развития. Без этого — в частности без учета отношений и полемики Тургенева с Герценом и «Колоколом»! — не очень ясны многие реплики Базарова в конце романа, складывающиеся в своеобразный монолог. Да, Базаров умирает как старый романтик, умирает трогательно, не без пышной фразы и позы. Он просит явившуюся к его постели Одинцову: «Дуньте на умирающую лампаду — и пусть она погаснет!»

Лампада эта перекочевала в роман, скорее всего, из «Рудина», где герой тоже говорил о себе: «...и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль...»

Труднее объяснить странное и неожиданно-высокомерное сомнение Базарова, упрекающего мякенького, либерального барича Аркадия в увлечении одной красивой иллюзией, идеей народного блага: «...проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,— она такая славная, белая,— вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?»

Ну, почему же «возненавидел»? Почему же и не постараться в борьбе со злом ради будущей «белой избы»? Что за странное высокомерие?

Герцен напрасно мечтал о том, чтобы автор «Отцов и детей» прислал Базарова к нему, в Лондон. Базарову было заранее уготовано совсем иное.

В западнике Тургеневе не просто оживал не менее свирепый, чем у Толстого, аристократизм: ему становится на редкость неприятен даже привкус покаяния перед мужиком,

обожествление «абсолютного тулупа»... Изба хороша, но каков будет тот Филипп или Сидор, что заселит эти «белые избы»? Не возникнет ли внезапно толпа без невежества, но и без образования, мещанство, как царство сплоченной посредственности?

Тургенев будет искренне — и тут скажется его либерально-просветительская ограниченность — удивляться странной слепоте А. И. Герцена: почему он думает, что русский крестьянин сплошь антибуржуазен, набожен, чужд накопительству? Сам он давно знает мироедов, доморощенных воротил уездных масштабов, и укажет Герцену, что Россия «носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе, теплой и грязной избе, с вечно набитым до изжоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самодеятельности — что далеко оставит за собою все метко верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию в своих письмах». (Из письма А. И. Герцену 26 сентября 1862 г.)

В период же создания «Отцов и детей» Тургенев еще не сыпал столь явно соль на раны Герцена, не задевал его иллюзий, не стремился так прямо, как сказал Г. Бялый, «увидеть в Герцене нечто такое, чего Герцен не хотел бы видеть в себе и что дорого ему, Тургеневу». Зато он отчетливо видел скрытое противоречие в самом «Колоколе».

На что был похож герценовский «Колокол» в 1859—1861 годах?

Он напоминал корабль во время сильнейшей качки... Едва, например, Н. П. Огарев поместил свой проект освобождения крестьян с землею, выкупленной «посредством финансовой меры» (то есть оплаты государством стоимости земли за крестьян), едва он стал мечтать, что на выкупленной земле вырастет «будущность нашей крестьянской общины» (Колокол, 1859, 15 марта), как авторы ряда резких писем в «Колокол» отвергли этот проект, запротестовали против чересчур изысканного «диалога» с правительством. Они напомнили Герцену о том, что подачки народу легко даются и еще легче отнимаются: «Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!»

Герцен ввязывается в спор с автором этого письма, помещенного в «Колоколе» 1 марта 1860 года, говорит с огромным талантом о растущем своем отвращении к кровавым переворотам. Про себя он чувствует, что прав. Но вот беда — не ошибки мучительнее всего, а сознание ненужности твоей правоты!

Появляются новые номера «Колокола», и вновь потоки писем, как волны в шторм, несут очередную «качку» кораблю.

Н. П. Огарев не устает обращаться к здравому смыслу помещиков, зовет их примириться с идеей выкупа. Народу, дескать, надо оставить всю землю, а им, помещикам, взять деньги и жить наймом рабочих! А иначе? Иначе помещики разъединятся, разойдутся и с народом, который тогда «их побьет», и с правительством, которое «их прижмет» (из статьи «Что нужно помещикам»).

Тургенев, читая подобные призывы к помещикам отдать нечто, подписать контракт об уступках, противных их классовой природе, мог только рассмеяться и припомнить сцену из типичной французской жизни. Заключается брачный контракт, доволен жених, строящий все расчеты на получаемое невестой после смерти отца наследство, улыбается невеста. Лишь «виновник» счастья, отец ее, изучив контракт, расчеты молодоженов, был изумлен: «Здесь, кажется, говорится только о моей смерти...»

Российские собакевичи тоже не собирались подписывать такие контракты.

Как ни много было в среде русского дворянства людей, «покидавших свою классовую точку зрения» (Г. В. Плеханов), но призывы «Колокола» к разуму помещиков, к их слиянию с народом, к работе в толще народа студентов, исключенных в эти годы из университетов («В народ! В народ! — вот ваше место, изгнанники науки, покажите... что из вас выйдут не подъячие, а воины народа русского»), все-таки повисали в воздухе. Еще нелепей было учреждение при «Колоколе» листка «Общее Вече» (с 15 июня 1862 г.), предназначенного для раскольников как потенциальной революционной силы. В «Вече» редакция «Колокола», неверующая, глубоко безрелигиозная, заговорила на глазах Тургенева со старообрядцами, раскольниками на языке... верующих людей. Она стала чересчур прагматично проводить в жизнь давнюю дневниковую идею Герцена: «Доселе с народом можно говорить только через священное писание...» Несколько суждений Базарова о мужике, может быть, неоправданно резких, безнадежных — мужик и бога готов слопать, и самого себя обмануть, лишь бы напиться дурману в кабаке — и явились в «Отцах и детях» как ответ крайностью скепсиса на крайность иллюзий.

Тургенев, конечно, не мог, увидеть, что страстный поиск и создание революционных армий и Чернышевским, и Герценом в условиях, когда ничего готового не было, когда их призывы могла подхватить лишь часть разночинной и дворянской интеллигенции, были продиктованы не наивностью, не слепотой взгляда, а страстной верой в революционные силы народа, убеждением, что народные массы хотят справедливого соци-

ального строя. Может быть, Герцен был похож на *свободы сеятеля пустынного*. Сеятель мог потерпеть поражение в пределах дня текущего, но его посев — в частности призыв идти в народ! — не пропал, взошел уже через десять лет. Тургеневский же сеятель, Базаров, терпит поражение, так сказать, принципиально, терпит его в своей душе. Лишь благодаря Д. И. Писареву удалось во многом «взойти» тому, что было заложено в этот могучий характер, что сам Базаров к концу романа перестал как будто ценить, — вере в возможность человеческой души преодолевать и безнадежную отсталость окружения, и тупик в личных исканиях, и горечь одиночества и ненужность.

Базаров, увы, долго еще оценивался по частям, по клеточкам, из которых он якобы составился. Героя никто не узнал ни как своего законченного противника, ни как бойца своей рати! Многие, писавшие о Базарове, сейчас кажутся сами... персонажами романа, спорящими с ним вне художественного мира произведения. М. Антонович, уловив в романе сомнение в революционных возможностях крестьянства, только на основе этого и постарался обесценить роман, представить его читателю как злой пасквиль на настроения молодого поколения. Д. И. Писарев, не возлагавший надежды на скорое мужицкое восстание, «простил» базаровский скептицизм, но резко преувеличил значение вульгарно-материалистических сентенций Базарова, сделал его «реалистом» на свой лад. Третьи так и не смогли отделить Базарова от «базароидов». «Полных» Базаровых в жизни никто не встретил, никто не исповедывал всей сложной системы базаровских мнений. «Однако же все слышали те же мысли поодиночке, отрывочно, несвязно, нескладно. Эти бродячие элементы, эти неразвившиеся зародыши, недоконченные формы, несложившиеся мнения Тургенев воплотил цельно, полно, стройно в Базарове,— писал Н. Н. Страхов.— Отсюда происходит и глубокая занимательность романа и то недоумение, которое он производит. Базаровы наполовину, Базаровы на одну четверть, Базаровы на сотую долю не узнают себя в романе. Это их горе, а не горе Тургенева».

«ЭТО СТРУНА ЗВЕНИТ В ТУМАНЕ...»

Буду продолжать свои очерки о русском народе, самом странном и самом удивительном народе, какой только есть на свете.

Из письма И. С. Тургенева П. Виардо (1 мая 1852 г.)

По-моему, в «Призраках» слишком много реального. Это реальное — есть *тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время,* уловленная тоска... Это «струна звенит в тумане» и хорошо делает, что звенит...

Из письма Ф. М. Достоевского И. С. Тургеневу (23 декабря 1863 г.)

...Весной 1863 года, когда в России, пережившей отмену крепостного права, кипела ожесточенная словесная война вокруг романа «Отцы и дети» (1862), вокруг нигилиста Базарова, в Париже, где писатель жил в уютной квартире на улице Риволи, свершилось небольшое событие бытового плана. Наметился сдвиг, изменивший внешние условия его жизни. Как выяснилось в последствии, не только внешние...

Именно в это время прославленная певица Полина Виардо — она в сорок с небольшим лет стала вдруг «спадать» с голоса, как говорили в XIX веке! — переселилась из Франции с мужем, добродетельным Луи, тремя дочерьми, Луизой, Клавдией и Марианой, и сыном Полем в небольшой курортный городок Баден-Баден в Германии.

Весной 1864 года П. Виардо в последний раз споет в парижском Théâtre Lyrique. В марте 1864 года в Петербурге в музыкальном магазине Иогансона на Невском проспекте появится альбом романсов Полины Виардо на стихи Пушкина, Фета и Тургенева. Превращение ее в композитора, превращение неубедительное, призрачное, свершилось, конечно, благодаря хлопотам и затратам Тургенева. Он же способствовал рекламированию этого и других альбомов. Эти хлопоты, дань дружбы, были пустые... «За утратой голоса ударилась, как видно, в композицию,— иронически писал о сочинениях П. Виардо композитор Ц. А. Кюи,— и издала несколько тетрадей романсов, наглядно доказавших, что даровитое исполнение и творчество не всегда бывают достоянием одного и того же лица» (Санкт-Петербургские ведомости, 1867, 24 декабря).

Занятия композицией — довольно слабое утешение для певицы, которая не могла оставить музыку. Для активной натуры Полины Виардо необходимо было дело! В Баден-Баде-

не, излюбленном месте отдыха русской аристократии, возле золотого ключа игорного дома, энергичная Полина решила открыть музыкальную школу для учениц из знатных русских семей. Здесь же она начнет писать оперетты, давать концерты, создаст — вокруг Тургенева и при его участии! — весьма интересный культурный центр.

Что означал для Тургенева отъезд из Парижа близкого ему семейства?

Сравнивать этот «микросдвиг» с тем, что происходило, глубоко воздействуя на сознание Тургенева, в России, конечно, нет нужды. Побывав в Петербурге в мае 1862 года, он видел зловещие пожары Апраксинского двора, слышал злорадные и страшно нелепые обвинения обывателя в свой адрес: «Ваши нигилисты город жгут!» Кому среди этого хаоса мнений и возбуждения страстей докажешь, что при сочинении образа Базарова он чувствовал к нему «влечение, род недуга...» и что редактор «Русского вестника» М. Н. Катков даже ужаснулся, увидев в Базарове чуть ли не апофеозу людям из «Современника»... Чуть позднее Тургенев узнал об аресте Д. И. Писарева (2 июля 1862 г.) и Н. Г. Чернышевского (7 июля 1862 г.), непобежденного, как оказалось, узника Петропавловки... На его глазах обнаружилась великая «шаткость» умов, как говорили публицисты тех дней, и в высших слоях, и в неопытном, «самобытно еще не жившем народе» (Достоевский), и в самой литературной среде. «Новое принималось плохо, старое потеряло всякую силу, неумелый сталкивался с недобросовестным; весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово «свобода» носилось как божий дух над водами»,— скажет писатель об этом переломном времени в романе «Дым» (1867).

И все же... Переезд чрезвычайно близкого Тургеневу семейства — событие из разряда домашних происшествий, не «число», а мелкая «дробь» в сумме случаев, составляющих жизнь! — надо учесть. «Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей, *дроби* жизни мы откидываем: надобно и их принимать в расчет»,— как всегда остроумно писал П. А. Вяземский, поэт, насмешник, обломок пушкинской эпохи («Старая записная книжка»).

Дроби жизни, гирьки быта всколыхнули всю чашу весов...

* * *

Итак, Баден-Баден... На долгие семь лет, вплоть до франко-прусской войны 1870 года. Здесь, застенчиво защищаясь от упреков в незнании русской жизни, часто уступая многим уп-

рекающим его в этом незнании — «этот упрек может относиться только к тому, что я написал *после* 1863 года»,— Тургенев будет работать. Будет постепенно «одолевать» даже протест искренних поклонников, ожидавших от него лишь канонического «тургеневского» романа, и во многом создаст нового... Тургенева! Автора фантазии «Призраки» (1864), будущих «Стихотворений в прозе» (1879—1882) и, самое важное,— серии «таинственных повестей», среди которых такие шедевры русской прозы, как «Странная история» (1869), «Степной король Лир» (1870), прекрасные рассказы и повести той же «серии»: «Собака» (1866), «Бригадир» (1868), «Несчастная» (1869), «Стук... стук... стук!» (1870), «Часы» (1876), «Сон» (1877). Позднее образ этого нового во многом Тургенева дополнят и обогатят «Песнь торжествующей любви» (1881) и «Клара Милич» (После смерти), опубликованная в год смерти писателя...

Эти произведения — исток их в «Фаусте», повести, появившейся одновременно с первым тургеневским романом «Рудин» (1856),— не просто сопутствовали таким романам, как «Дым» и «Новь», вызывавшим огромный общественный интерес, острую полемику. Нередко они досказывали более углубленно то, что не было развито ни в одном романе.

Весь период создания так называемых «таинственных повестей» был в судьбе Тургенева периодом, к которому — в наибольшей степени — относятся начальные слова из знаменитого стихотворения в прозе «Русский язык»: «Во дни сомнений, во дни тяжких раздумий о судьбах моей родины...» Сомнений и тревог в душе художника-гуманиста, великого патриота и борца за лучшее будущее Родины.

Тургеневская струна словно зазвучит в тумане, зазвучит интимно, приглушенно, рассеивая смягченный звук в особом зрительно-акустическом пространстве. Это уже не симфония, не программная музыка, а скорее всего ноктюрн, скерцо, прелюдия, порой сонаты... Здесь не нужен стал весь оркестр, особенно «медь гремящая»... Но ведь и фортепиано Ф. Листа или Ф. Шопена, тоже не испытывавших часто нужды в многозвучном оркестре Г. Берлиоза или Р. Вагнера, соперничало с оркестрами... И тургеневские «рапсодии» и «сонаты» вовсе не осколки чего-то целого — у них своя сложная и величественная «программность»...

Эту «программность», проще говоря, внутреннюю цельность новых произведений и художественных решений заметили и пробовали выразить многие.

Н. Н. Страхов уже в 1871 году писал: «У него, очевидно, бродят разные мысли насчет русской жизни, но он не решает-

ся их прямо и ясно высказать и все рассказывает странные истории и курьезные случаи, будто не имеющие дальнейшего значения... Перед поэтом как бы постоянно носятся образцы западного искусства, Лир, Вертер и пр., и он ищет им подобий в нашей скудной и бледной жизни. Пошлость русского быта, общая низменность нравов и характеров составляет необыкновенно яркий контраст с порывами сильных страстей, с исключительными событиями и лицами, в которых как бы открывается иная природа, мир явлений более высокого порядка» (Последние произведения Тургенева — Заря, 1871, № 2).

Бродят разные мысли, но... они как бы вечно пребывают в состоянии незавершенности, недосказанности! И сильные страсти словно не вытекают из скудной и бледной жизни, а вносятся из книг...

«Во многих из этих «историй» — «Гомер спит» — бодрствует только удивительный художник языка, увлекательный рассказчик, тонкий рисовальщик подробностей»,— писал, словно продолжая линию догадок Страхова, профессор Ив. Иванов (Иван Сергеевич Тургенев. Нежин, 1914, с. 649).

Еще позднее, в год столетия со дня рождения Тургенева, программа «таинственных повестей» — после прочной привязки их и к философии А. Шопенгауэра, и отчасти к моде на спиритизм, на идеи школы Шарко — будет определена еще более отвлеченно:

«Его внимание останавливается теперь на неразрешимых загадках бытия. Это — не романтизм, не поэтизирование народных поверий, не игра воображения, это — тот же реализм, направленный в особую сторону. И первая загадка бытия — судьба» (Венок Тургеневу. 1818—1918, с. 93).

Эта странная нота сожаления, даже снисхождения к Тургеневу, якобы писавшему что-то «не то» после «Отцов и детей», терявшему форму, обманувшему деспотичные ожидания читателя, долго сопровождала оценки этой страницы тургеневской прозы[1].

Одним из первых и необычайных итогов осмысления Тургеневым пореформенной действительности была, как это не-

[1] По мнению Л. Пумпянского, комментировавшего таинственные повести в 30-е годы, Тургенев даже не имел право на эпиграф из А. Фета к «Призракам»:

Миг один... И нет волшебной сказки,
И опять душа полна возможным.

Почему? Да потому, что все сверхъестественное здесь, по мнению Л. Пумпянского, с одной стороны, признается таковым, а с другой — подвергается изучениям, опытам, «штудиям» на основе оккультных наук, методов доктора Шарко и т. п. Какое же волшебство — простой спиритический сеанс!

удивительно, фантазия «Призраки» (1864). Удивление может быть вызвано тем, что в ней, этом прологе ко всей «таинственной прозе», есть и реминисценции из Шопенгауэра, звучит и тоска об ограниченности человеческого знания, беззащитности человека перед ледяным дуновением смерти. Есть и острая жажда, как у тех фетовских ласточек, что скользят дерзко над гладью вечереющего пруда, над опасной, «запредельной» для полета стихией, заглянуть в неведомое:

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

В «Призраках» предпринята попытка извлечь из множества внешних впечатлений от пореформенной России, из преданий лутовиновской старины, из итальянских впечатлений, из прочитанного то, что будет и «запредельным», не имеющим прямой связи ни с одним конкретным впечатлением, и одновременно останется конкретным, даже автобиографическим, отражающим драматизм непосредственных раздумий писателя о реальной русской действительности. «Отсюда схожесть и в то же время непохожесть отдельных сцен «Призраков» на сюжеты, которые были их прообразом. Эти «сюжеты» со временем и под влиянием новых впечатлений осложнились, наполнились новым содержанием, изменили свою тональность, ассимилируя накопленный писателем опыт чтения и размышлений»,— отметил А. Б. Муратов в книге «И. С. Тургенев после «Отцов и детей».

...Герой фантазии, как гетевский Фауст, отдает себя во власть своего, истинно тургеневского Мефистофеля — конечно, он является в загадочном женском образе да еще с английским именем Эллис. Этот «поводырь» не будет открывать ему никаких новых миров, не поведет его в запредельные царства. Он лишь поможет оценить прожитое, виденное, прочитанное, чуть «продлив» линии, резче очертив контуры миров, обогатив «придуманной правдой» (Арагон) то, что было доступно физическому зрению. Может быть, самый странный любовный роман, очень отдаленно предвосхищающий мучительную драму непонимания и взаимного влечения инопланетян, развернутую, скажем, в «Солярисе» С. Лема, и связан с этой музой-вампиром, трагически умирающей в финале фантазии.

«Сделка» состоялась, и вот всякий раз из среднерусской равнины, с плотины, так напоминающей плотину и пруд в Спасском, над которым висят «волокна пушистого тумана», от старого дуба, казавшегося «огромным застывшим зверем», и начинаются эти «полеты», а проще говоря, сны.

П. В. Анненков, правда, предупреждал Тургенева, что эти ночные полеты с Эллис дадут повод для карикатур, пародий: «Это летание двух душ над землей примут за тягу вальдшнепов или фантастическую сказку».

Подлинная роскошь стиля — эти сильнейшие и тончайшие описания Рима, Парижа, Петербурга, английского острова Уайт! Печаль Тургенева глубока, тайны человеческой истории дразнят воображение, сомнение разрушает то, что создает (с помощью Эллис) фантазия, но так магически-прекрасна эта призрачная, однодневная, исчезающая красота эпох, людей! Картины не бесцельны, в них как бы слиты видимое и идея этого ожившего мгновенья.

Картина Рима времен Цезаря... Несметная армия божественного Цезаря «надвигается» на память, на воображение героя, донося «несказанное напряжение, достаточное для того, чтобы приподнять целый мир...». В Цезаре Рим довел до своего завершения торжество силы, цинизма, грубости, попиравших мир... И все же пал. «Я не хочу, я не могу, не надо мне Рима, грубого, грозного Рима»,— умоляет герой.

Но Италия, уже совсем другая Италия, не оставляет сознание героя. Оживает мир красоты, стихия музыки, слышится чудесное женское пение. «Великое тебя пугает... любуйся красивым»,— говорит Эллис. Такая Италия — приют божественной красоты, уже утраченной или осмеянной, сиротливой всюду... В сновидении героя эта красота поистине царственная. «Женский голос все громче, все ярче раздавался во дворце; меня влекло к нему неотразимо... я хотел взглянуть в лицо певице...»

Но постепенно рассеянный свет как бы концентрируется, полеты с Эллис, как выясняется, имеют определенную орбиту, создаваемую огромной силой притяжения России. Три российских эпизода в фантазии в наибольшей степени и автобиографичны, и связаны с вопросом: «Куда катится колесо?»

Прежде всего, прекрасное видение из эпохи Разина, отражавшее всю глубину раздумий писателя о народе. Тургенев видит могучую энергию народа, бунтующую, неостановимую, превосходящую громкое, но механическое шествие легионов Цезаря. Сцена под Царицыном, где некогда погиб предок Тургенева — воевода Тимофей Тургенев,— эпическая, почти суриковская: такова людская теснота на Волге, теснота не где-то в узком пространстве, а на безбрежном просторе, как в «Утре стрелецкой казни» на просторной Красной площади, как в «Покорении Сибири» на бескрайнем раздолье Сибири! Гул набата и лязг цепей, гул и рев пожара, пьяные песни и крики: «Бей! вешай! топи! режь! любо! любо! так! не жалей!» — слы-

шались явственно, слышалось даже прерывистое дыхание запыхавшихся людей...

«Степан Тимофеевич! Степан Тимофеевич идет! — зашумело вокруг, — идет наш батюшка, атаман наш, наш кормилец! — я по-прежнему ничего не видел, но мне внезапно почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на меня. — Фролка! где ты, пес? — загремел страшный голос. — Зажигай со всех концов — да в топоры их, белоручек!»

Это почти Мусоргский, его сцена «Под Кромами» из гениального «Бориса Годунова», ожившая в слове, послушном великому мастеру.

Тургенев страшится бунта, и это, конечно, одно из впечатлений пожаров в Петербурге в 1862 году. Правда, как отметил в 1884 году, уже после смерти Тургенева, его парижский друг, один из властителей дум народнической молодежи П. Л. Лавров, образ народа наделен грозным величием: «Народ, в сближение которого с передовою интеллигенцией никогда не верил Иван Сергеевич, представлялся ему не смирным и примиренным с судьбою, но в «великую ночь», когда «можно видеть, что бывает закрыто в другое время»... сны этого народа воплощались для поэта в грозное видение» (Вестник народной воли, 1884, № 2, с. 103—104).

Да, писатель страшится бунта, но он ненавидит и ту силу, что стремится остановить наводнение разинских и пугачевских мятежей... Эта сила жаждет вообще остановить жизненное развитие, породить казарменного истукана.

В «Призраках» появляется видение того казарменного города, что выдумала, словно боясь сама своей стихийной силы, Россия, выдумала, как узду государства, видение того города, где она сковала себя корой бюрократии так, как гранитной набережной скована была Нева. Это видение — Петербург, воплощение казарменной безоговорочности, символ мертвенного порядка. Он возник в фантазии в своей непоколебимости, но, увы, тоже в призрачной силе, с гранитными стенами крепости, с пирамидкой ржавых ядер, с золотой шапкой Исаакия. Он, правда, сейчас далеко не так монументален: испитые лица людей, эмансипированные девицы с папиросками во рту мелькают в больном городе...

Две стихии — разгульная разинская и властная петровская — сталкиваются, сшибаются над пространством России, создавая, как при сшибке холодных и теплых ветров, туман, болезни, неожиданные комбинации сил... Безрадостно смотрит пока на эти «сшибки» Тургенев, все более одинокий, лишенный опоры в этой новой формирующейся действительности.

Тургеневу порой казалось, что эпоха реформ, не справив-

шись с натиском всего нового, задержанного, накопленного за десятилетия застоя, могла выродиться в эру «бюрократического либерализма». Или в тяжелую ночь реакционных контрреформ! Он упрашивал когда-то Герцена дать спокойно работать хотя бы Головнину, министру просвещения! Успеет образоваться в России культурная почва, тогда не будет хаоса в преображении страны, не будет манипуляций вкусами безграмотной массы. Конечно, это были иллюзии либерала...

Но пока этого еще нет в России. «Задыхаясь под мучительным гнетом, русская мысль ищет себе хоть какого-нибудь исхода. Поставленная между бессмысленной, скажу даже, преступной бюрократией и невежественною массой, она не имеет, сама по себе, никакого политического значения, никакой материальной опоры, которая бы стала ее поддерживать и защищать против насилия»,— растерянно писал либерал-публицист К. Д. Кавелин в «Голосах из России».

* * *

Вероятно, язык мелодий, способность Тургенева, не игнорируя того, что видит око физическое, отсчитывать время в другую сторону, назад к эпохе Разина или Цезаря, «апеллировать к пафосу истории», как сказал (по другому поводу) С. Аверинцев, не поддаются спрямленному истолкованию. Ведь помимо видений Рима или Парижа, где по улице бежит россиянин, мценский помещик, «за продажной куклой», помимо иглы Петропавловки или картин русского уезда, в фантазии идет непрерывная лепка души героя и Эллис, их поединок роковой. Глубоко правомерен эпиграф к фантазии:

Миг один... И нет волшебной сказки —
И душа опять полна возможным...

Волшебная сказка, приближение к тайне, чему-то сверхчувственному и запредельному, длится действительно миг. И может быть, в этот миг Эллис ответит на мучительный вопрос героя:

— Или ты — как эта комета носится между планетами и солнцем — носишься между людьми... и чем?

Действительно — «чем»? Какой силой? Вопрос, правда, остался без ответа. Но Тургенев, мастер дивный, продлил «миг», растянул его на несколько снов, микромгновений. И эта Эллис, чистый призрак, «упырь», как беспощадно и зло, ломая сказку, по-народному определил Достоевский, откинув роскошные тургеневские определения «скитающаяся душа», «сильфида», «злой дух», все же что-то герою ответила. Она постепенно те-

ряет демонические черты, она вот-вот станет живой, влюбленной, способной даже к кокетству, ревности. Она уже жаждет любви, как единственной возможности ей, призраку, ожить и ответить — таким образом — на вопрос... И в момент гибели, когда эта бесплотная гостья, которой мы желаем уже воплощения и счастья, когда она не успела укрыться от силы, которой «все» подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла» — эта сила смерть,— Эллис уже окружена и сочувствием, и любовью читателя.

* * *

Но ведь печаль, но ведь пессимизм с безусловной ориентацией на Шопенгауэра? Но как музыкальна и эта печаль! И по-пушкински светла...

Среди мира призраков, погибших эпох, рухнувших царств, отгремевшей удали самым непризрачным, самым живым оказалось, кроме этой невозможной, выдуманной Эллис, вестницы волшебной сказки, длящейся миг, одна музыка. Вернее, странные голоса, звуки, жалобы вещей, предметов, словно не желающих быть бренными, призрачными, тоже тоскующих о бессмертии! Мир видимый, воплощенный переходит в слышимый, звучащий. Краски поют, а мелодии светятся.

«Жалуется» и развалина башни, печально и слепо выставившая с вершины утеса полуобрушенные зубцы... Жалобно звенит струна в комнате... Пронзительный и дремотный гул, голос пустыни слышится в ночи... «Мы есть, мы не желаем умирать...» Высокая нота звенит над русской равниной. «То не ветер воет, то не дождик струится ручьями: то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи»,— скажет писатель в «Довольно».

Вещи стонут и жалуются не от испуга и страха, а оттого, что сама суть жизни часто мелко-неинтересна и нищенски-плоска. Страшно то, что нет ничего страшного.

Пессимизм Тургенева, столь страстный, столь полный любви ко всему, что «душу облекает в плоть», любви к победам человеческого духа над слепой силой судьбы, что этот пессимизм не устрашает, не погружает в скорбь, а как-то своеобразно утешает.

В финале «Призраков» мысль Тургенева целиком вернулась к России, к главной его заботе: куда сдвинутся люди, что вырвется наружу в них в пореформенные времена?

Пролетели, перекликаясь, в холодной высоте журавли — воплощение горячей, сильной жизни, неуклонной воли... И герой фантазии заметил: «И было что-то гордое, важное, что-то

несокрушимо-самоуверенное в этих громких возгласах, в этом подоблачном разговоре. «Мы долетим небось, хоть и трудно»,— казалось, говорили они, ободряя друг друга. И тут мне пришло в голову, что таких людей, каковы эти птицы, в России — где в России! в целом свете немного».

Такие люди — несокрушимо-самоуверенной воли, способные сломаться физически, но не согнуться духовно, люди исступленные в известной мере[1] — скоро «найдутся»...

* * *

Тургенев был очень «не уверен», когда публиковал «Призраки». Неуверенность Тургенева выразилась и в том, что он изгнал первоначальное определение ее жанра и назвал ее фантазией *«за недостатком другого прозвища»* (Из письма к В. Я. Карташевской от 14 мая 1863 г.). В журнале публикацию фантазии он снабдил весьма извинительным предисловием. Вот его текст: *«Вместо предисловия.* Всякое настоящее произведение искусства должно говорить само за себя, стоять на своих ногах,— а потому не нуждается в предварительных объяснениях и толкованиях. Не, имея убеждения, что «Призраки» принадлежат к подобного рода произведениям, я решаюсь просить читателя, который, быть может, в праве ожидать от меня что-нибудь посерьезнее, не искать в предлагаемой «фантазии» никакой аллегории или скрытого значения, а просто видеть в ней ряд картин, связанных между собой довольно поверхностно» (Эпоха, 1864, № 1—2, с. 1).

Это робкое «приглашение» — «не искать скрытого значения», видеть в фантазии «просто... ряд картин» — современная Тургеневу, автору «Отцов и детей», критика не приняла. Уже в апрельской книжке «Современника» за 1864 год М. Антонович, найдя фантазию в целом «бессвязной», далекой «от тенденций», то есть от общественной борьбы, усмотрел в ней и страх перед крестьянским волнением, и неприязнь автора к сатире. Д. И. Писарев в статье «Реалисты» (1864) в числе «пустяков» назвал и «Первую любовь», и «Призраки». Эту горечь односторонних, обманутых Тургеневым ожиданий Д. И. Писарев испытает и после появления романа «Дым» (1867) и выразит ее в одном страстном упреке: «...Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова?»

---

[1] «Характер русский добродушен: злых людей в России совсем даже нет. Но в России много исступленных»,— заметил однажды Ф. И. Достоевский (Из записных тетрадей 1872—1875 гг.— Собр. соч.: В 30-ти т., Л., 1980, т. 1, с. 270).

Апологеты «почвенных ценностей» вроде Н. Н. Страхова и Е. Н. Эдельсона были оскорблены безотрадным, как им казалось, сомнением Тургенева относительно пореформенной русской действительности, его отстраненностью от нее.

Сатирические журналы («Искра», «Будильник» в 1864, 1865 годы), как и предполагал П. В. Анненков, нашли в «Призраках» материал для карикатур и пародий.

Лишь П. В. Анненков понял сложное состояние души давнего друга, уловил глубокий автобиографизм, сложность философско-исторических исканий автора.

Тургенев искренне обрадовался: «Я даже дрогнул, прочтя слово: «автобиография»! — когда Павел Васильевич Анненков, прочтя фантазию, написал ему: «Никто не даст себе труда уразуметь этого автобиографического очерка (то есть «Призраков»)... Десяток человек, конечно, поймут, сколько тут относительной правды, жизненности, душевной исповеди, грусти и теплоты, но для этого десятка именно и нужно печатать фантазию» (из письма И. С. Тургеневу 25 сентября 1863 г.).

Уловить автобиографию в серии видений и картин, связанных являющимся герою призраком, весьма трудно, если не упрощать природу «автобиографизма» тургеневского творчества.

П. В. Анненков был прав. Тургенев часто жаловался в 60-е годы, что «суть» русской жизни с каждым днем слабеет и теряется для него, что нет новых живых впечатлений и давно не «лакомила» его жизнь редким словом. Но разве личные настроения, состояния, тончайшие жизнеощущения не материал, не впечатления? Человеку дана возможность углублять и расширять в себе память, улавливать в виденном неуловимые, разлитые таинственно и часто стихийные силы, открывать сцепления и взаимодействия явлений. Не свойственно ли вообще человеческой памяти постепенное *погашение* тщательно, резко описанных предметов, гремящих всеми оттенками конкретных интересов, реальных ситуаций? Кто объяснит, например, каким образом реальная каменная громада Петербурга, превращалась в повестях Гоголя в фантастический загадочный мир Невского проспекта?

Загадка автобиографизма в «Призраках» и других «таинственных повестях» и рассказах Тургенева, между прочим, и загадка познания, вечная тоска по ограниченности, ничтожности нашего знания. Что мы знаем и что мы хотели бы знать? Скольким порывам к полному знанию нет утоления! Горькое сознание недосягаемости многого сопровождает нас. И что еще? И самая грозная загадка — это наше собственное «я», происхождение многих его особенностей, его связей с прошлым,

с хрупким, изменчивым настоящим, с неизбежным концом, главной тайной будущего.

В этой горечи неутоленного знания, с ощущением скудости нашего опыта стоят перед могилой мятежного Евгения Базарова его родители, но говорит за них, конечно, автор. Только он мог *так вопрошать:* «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...»

Крайне ограниченно то, что «видим» мы, но бесконечно многообразно то, что «глядит» на нас. Крохотно все, что знаем мы, но беспредельно то, что «знает» нас, управляет — стихийно — нами.

Усилия человеческой мысли постичь это беспредельное, познающее тебя же пространство — это тоже «материал» лирики. И прав был Ф. М. Достоевский, сказавший еще в 1863 году в «предварительном споре» с критиками «Призраков»: «Ограниченная утилитарность — вот все, чего они требуют... *Поэтическая правда* считается дичью. Надо только одно копирование с действительности. Проза у нас страшная. Квакерство!.. Мне довольно, что я уж слишком основательно понял тоску и прекрасную форму, в которую она вылилась; то есть брожением по всей действительности *без всякого облегчения.* И *тон* хорош, тон какой-то нежной грусти, без особой злости» (из письма Ф. М. Достоевского И. С. Тургеневу 23 декабря 1863 г.).

* * *

...Тургенев неоднократно задумывался — особенно в начале 60-х годов — над вопросом: во что может *вырасти* сама по себе, без всякого руководства со стороны образованного слоя, без просвещения, всецело на основе собственных духовных ресурсов, патриархальная крестьянская масса? С наличным багажом преданий, песен, суеверий, сказок, привычками неразвитой гражданской жизни? С надеждой на того мифического барина, что «приедет и рассудит»?

Перед ним проходили и его Касьян с Красивой Мечи, сектант из секты бегунов, который «вырос» до проповеди — нельзя бить дичь, «показывать кровь», которая прячется во всем живом... Писатель мечтал заглянуть в «бунташный» XVII век, в котором рядом с Козьмой Мининым, Дмитрием Пожарским,

Степаном Разиным возвысились фигуры неистового, исступленного протопопа Аввакума, с его огнепальным словом, ворвавшимся в омертвевшую словесность, как буря, или Никиты Пустосвята.

Появлению «Странной истории» предшествовал острейший и доныне актуальнейший спор Тургенева с Герценом.

Тургенева удивляла непостижимая для него перемена в Герцене 60-х годов; презирая и чуть не топча в грязь, как выражался Тургенев, образованный класс в России, он все революционные и реформаторские начала полагает в явно идеализированном крестьянстве, в деревенской общине... Тургенева оскорбляло, что образованное общество для Бакунина, явившегося в Лондон после бегства из Сибири в 1861 году,— царство теней, сплошных призраков, «годных только под топор» (эта бакунинская «приправа» стала ощущаться и в герценовском «Колоколе»). Община же — залог и самобытности, и русской удали, и многих иных откровений...

Да куда же может вырасти еще неграмотный народ, предоставленный самому себе, лишенный духовной аристократии?

Тургенев как будто почувствовал — со своих, естественно, позиций — какую-то бессознательную, но тем более опасную словесную игру: русский мужик, Антон-горемыка или его Калиныч, Хорь, Бирюк, Герасим вдруг стали объектом невероятных интеллигентских ребусов, философских спекуляций. Этот мужик стал превращаться, оставаясь неграмотным, в «мессию», «богоносца», в невероятный, сладостный миф! Никто не думает: а далеко ли он ушел в своем развитии, не душит ли его невежество и пьянство? Для творцов своевольных, но таких внешне патриотичных концепций он даже... чем темнее, тем лучше! Тем дальше, дескать, от европейского мещанства...

Тургенев, который, по справедливому замечанию С. М. Петрова, не заметил, что идеализация общины — ошибка и Герцена, и Чернышевского — была «порождением их страстного стремления к социализму... веры в революционные силы народа», тем не менее высказал в своей полемике с А. И. Герценом замечательные идеи: «И вот вы, отрекшись от всех идеалов в мире, сотворяете себе новый кумир, не золотого тельца, а бараний тулуп, да и давай ему поклоняться и славословить его: «Абсолютный тулуп, тулуп будущности, тулуп общинный, социальный!..» Чему же дивиться, что наша молодежь, упившись вашей неперебродившей, социально-славянофильской брагой, бродит потом, отуманенная и хмельная, пока не сломит шею или разобьет нос об *действительную* действительность нашу» («Концы и начала»).

Тургенев призывает Герцена ценить образованную часть об-

щества, учитывать, что россияне, как европейцы, должны идти той же дорогой, по которой ушли вперед, пусть и не без утрат, передовые европейские страны. Роль образованного класса — Тургенев временами забывает, что нет такого единого класса, что есть Базаровы и Пеночкины, Лаврецкие и Паншины!— быть «передавателем цивилизации народу...». «В этой роли,— напоминает он,— подвизался и Петр Первый и Ломоносов, хотя ее, эту роль приводит в действие революция».

Споры с Герценом, ссора с Достоевским... И все же опыт общения с тем же Достоевским, уроки его гениальных по глубине, «кричащих» и потрясающих картин мятежной человеческой души, взыскающей самой полной истины о Родине, не оставили Тургенева безучастным, нейтральным. Порой кажется, что и он, создавая такие шедевры, как «Странная история», «Степной король Лир», «Живые мощи», вопрошал, подобно Достоевскому, себя и время: а что же противопоставит русский народ прущему на него чудовищу буржуазности с огромным денежным мешком?

* * *

...В «Странной истории» изображен как будто уникальный случай, нелепый случай в жизни довольно заштатного губернского города: дочь крупного откупщика, существо, в котором герой-повествователь до этого видел не робевшую провинциальную барышню, а «молодую, серьезную, настороженную жизнь», вдруг выпала из своего круга, исчезла в просторах России. И добро бы — ушла, как Лиза Калитина, в монастырь, отказав до этого всем женихам! Нет, для Софи и ей подобных, душ «не от мира сего», отыскивается в России иной, но такой убедительно русский путь. Сектантство, старообрядчество; путь кустарного сотворения истины!..

В этой девушке с внезапной силой раскрывается жажда самоотвержения, жажда следовать за таким наставником, «который сам бы мне на деле показал, как жертвуют собой». Велик тот, чьи убеждения не «краснеют» за его дела!

Но Софи — не Елена Стахова, не Лиза Калитина. Само направление ее исканий ужасает героя своим антиэстетизмом, страшным вызовом воспитанию, утонченной культуре. Она мечтает о страшном и бессмысленном самопожертвовании:

«Один вельможа велел себя похоронить под папертью церковною для того, чтобы все приходившие люди ногами попирали его, топтали... Вот это надо еще при жизни сделать».

Оставив дом, семью, комфорт, Софи стала спутницей обличающего мир темного, «святого» Васеньки. Он — «все знает»,

в бессмысленной болтовне юродивого — все «смыслы» жизни. Что он бормочет? Он, в веригах, мокрый, голодный, призывает изгнать сатану из тела, все кости ему сокрушить. «На него хлад, на него хляби небесные, дожди проливные, пронзительные, а он ничего, живуч!»

Как ни странно, но это сползание в юродство, во все виды сектантства, в ереси всех «толков», вплоть до толстовства,— следствие примитивности, неразвитости самого понимания свободы, предоставленного человеку выбора, следствие отсутствия многих навыков жизни. Свобода для Софи — это какое-то мщение культуре, непременно вызов своей среде, ломка, сокрушение былой веры, грехопадение и даже святотатство.

Вероятно, Тургенев, в отличие от Достоевского, как раз жмурится там, где Достоевский изумленно и наиболее широко «раскрывает глаза», где он пускается в сложнейшие догадки, ищет бездн и провалов. «Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, бога»,— раздумывал автор «Игрока» в «Дневнике писателя» за 1873 год. И о потребности страдания, без которого и само счастье для него неполно, он вспомнит. И многое другое.

Тургенев даже в «странной прозе» не бросается к краям человеческого бытия, он придерживается теплой середины жизненного процесса, самого уютного слоя, где протекает, в сущности, почти вся жизнь человека. Он мерит странности, «вывихи», «курьезы», «тайны» мерками универсальными, конкретно-историческими, а не отвлеченными, не предпочитает прозрение или откровение точному знанию.

Свобода — это не абстракция, это то, что человек, получив, должен «тратить», то есть реализовать.

Как мог реализовать свободу иной самодур купец? «Праву моему не препятствуй!» — твердил он ранее. Или он же праздно, то есть свободно, бездействует, потому что для чего иначе само богатство, как не для наглядной, вызывающей зависть роскошной «свободной» праздности!

В случае с Софи иное: здесь сплошное жертвование собой, накладывание на себя вериг. Никак иначе, без растаптывания себя, она не осознает силу веры, сладость свободы!.. В этом решении нельзя видеть психологический вывих, случай помешательства. Раскол, старообрядство, как и обилие сект, «толков»,— следствие того, что рухнул, раздробился единый свод религии. Многие не ждут уже покорно и благоговейно, что с церковного амвона прозвучит самое мудрое и нужное слово: понизились эти амвоны, а люди стали свободнее, развязанней и развязней.

«Русский человек, самому себе предоставленный — *неминуемо вырастает в старообрядца* — вот куда его гнет, его прет — а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе,— писал Тургенев А. И. Герцену,— чтобы не знать, какая там глушь, и темь, и тирания. Что же делать? Я отвечаю... возьмите науку, цивилизацию — и лечите этой гомеопатией мало-помалу. А то, пожалуй, дойдешь до того, что будешь, как Ив. Серг. Аксаков, рекомендовать Европе для «совершенного исцеления» «обратиться в православие» (25 декабря 1867 г.).

Почему такой резкий разрыв, неужели нельзя иначе реализовать свое право на свободу? Даже в делах веры? Увы, убедить Софи или тысячи других, что постепенное, естественное преображение страны, народа даровитого, но еще погрязшего в безграмотности,— это лучшее направление их энергии, трудно: такие будни — это лишение свободы для нее. Конкретная цель или повод борьбы старообрядцев, и даже самого неистового из них протопопа Аввакума против Никона удивительно узки, примитивны (два перста или три перста!), они не стоят для европейца тысячи самосожжений. Но сколько силы, страсти, слепой энергии рождали эти примитивные ереси и в духоборах, и в молоканах, и в толстовцах! Это-то и сладостно, как забытый или открытый вновь вкус свободы!

Неестественно огромную роль во всех сектах, «толках» начинал играть пророк, толкователь, вождь, не более ясный умом, чем остальные, но с неукротимой верой, с огнепальной душой. Он первый палку взял — он и капрал для остальных! «Все наши расколы, наши Онуфриевщины да Акулиновщины именно так и основались»,— говорил Потугин в романе «Дым».

Впервые, пожалуй, мысль Тургенева останавливается в недоумении перед сжатой пружиной человеческого заблуждения... Случайная встреча на постоялом дворе с той же Софи, ныне Акулинушкой при «божьем человеке». Она стаскивает грязные сапоги с юродивого, бурчащего невнятные проповеди, врачует ему язвы... Оба уже связаны какой-то цепью — общей веры и сомнения, муки веры и боязни разочарования в ней. Как строго обрывает юродивый попытку поговорить с Софи, но и она — как торопливо уводит Васеньку! «...Стиснув зубы и прерывисто дыша, она вполголоса, короткими, повелительными словами понукала растерявшегося юродивого, подпоясала его, *подвязала ему вериги*, нахлобучила ему на волосы суконный детский картуз». Много близкого уже к сердцу отчаяния в этой хрупкой богородице! Ее слова не рознились с делом, она нашла наставника и вождя, понукает и себя и его, но в какое же новое, «грязное рабство она ввергла себя».

Кто же эта «богородица» русских проселков — дура или святая?[1]

Этот особый идеализм — новая загадка, это такой «склон» в душах, по которому скоро хлынет, безусловно трансформировавшись, энергия молодых подвижниц и подвижников, *идущих в народ*. Многих изумит тот взрыв идеализма, немыслимый нигде уже, кроме России, когда тысячи юношей и девушек из обеспеченных семей, не зная того народа, в который они «идут», не смущаясь грязи, темноты, будут именно *идти в народ*. В романе «Новь» и в стихотворении в прозе «Порог» Тургенев будет задавать себе один и тот же вопрос: что это — новый вид донкихотства или что-то более великое?

Не суеверие ли это особого рода? Не слишком ли дорогой ценой дается утоление этой жажды жертвовать? Почему для иных счастье неотделимо от мученического венца? Вероятно, тень незабвенного Дон-Кихота вновь не раз вставала перед духовным взором Тургенева. Он лучше Гамлета, доказывал в 1860 году писатель, «Гамлет тот же Мефистофель», а «в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила — и как удержать эту силу в границах, как указать ей, где ей именно остановиться».

Но сейчас на первый план выдвинут иной вопрос, лишь промелькнувший в тургеневской статье «Гамлет и Дон-Кихот» (1860):

«Неужели же надо быть сумасшедшим, чтобы верить в истину? и неужели же ум, овладевший собою, по тому самому лишается всей своей силы?

Далеко бы повело нас даже поверхностное обсуждение этих вопросов».

Сейчас Тургенев как раз и пошел «далеко»...

В Софи для Тургенева обозначалось какое-то смыкание сектантки с будущими последователями идеи хождения в народ. Он преклонился перед ней и... испугался за нее! «Вера в «народность» есть тоже своего рода вера в бога, есть религия — и ты — непоследовательный славянофил — чему я лично, впрочем, очень рад...— писал он Герцену, варьируя ранее высказанную мысль,— ...ты, романтик и художник... веришь —

[1] Отголоски этих же тревог и тоски звучат и в замечательном стихотворении «Памяти Ю. П. Вревской».

Почему эта блистательная женщина, украшение петербургских салонов, предмет поклонения многих, вдруг все оставила и очутилась среди стонов раненых, окровавленных бинтов, тифа и сырой соломы тюфяков в военном госпитале в Болгарии? Та же жгучая жажда жертвы, единственный, возможный для нее способ изведать счастье — «помогать нуждающимся» — увлекли и Вревскую. Другого счастья, без привкуса страдания, она не ведала...

в народ, в особую породу людей, в известную расу: ведь это в своем роде та же троеручица!» (15 декабря 1867 г.).

Куда ведет Васенька неистовую свою почитательницу? Куда ведут свою более многочисленную паству творцы нелепейших учений, составленных из обрывков Евангелия, сумбурных ощущений «несправедливости» мира и жажды свободы, как своего рода дерзости, мщения миру? Бесполезно спрашивать невежественного юродивого. Знают ли это даже более мудрые Васеньки, сотворители своих еретических учений, распространяющие их, опираясь на полиграфические машины, великий талант и авторитет своих имен?

«Так русская печь печет»...

Она «печет» в несметном количестве живописных бродяг, странников в миру, блаженных в литературе, ясновидцев в философии, мудрых слепцов в профессуре. Это часто и есть русский «ответ», ужасавший своей нелепостью Тургенева, на надвигавшиеся испытания, закономерности новой буржуазной эры. Спасемся в непротивлении! Спасемся в уходе от мира! Спасемся через нравственное самоусовершенствование! Через всемирную отзывчивость и «добротолюбие» русской души!

Дорожил ли Тургенев этим удивительным рассказом? Безусловно. Едва он уловил нотку снисхождения даже в доброжелательных оценках «Странной истории», этого чрезвычайно дорогого ему рассказа, снисхождение к образу Софи, например, в письме писателя М. В. Авдеева, писавшего об устарелости Софи, о презрительном сожалении к ней,— как последовало непривычно резкое для мягкого Тургенева, саркастическое даже возражение, протест против узкого понимания современности и актуальности в литературе:

«Неужели вы до того потонули в «современности», что не допускаете никаких не *современных* типов? Я *«отстал» с своей Софи:* еще бы! Да я, пожалуй, еще дальше назад хвачу; *Софи не возбуждает ничего, кроме «презрительного сожаления»;* и этого, по-моему, еще много... Подобные лица жили, стало быть, имеют право на воспроизведение искусством. Другого бессмертия я не допускаю, а это бессмертие, бессмертие человеческой жизни — в глазах искусства и истории — лежит в основании всей нашей деятельности» (из письма М. В. Авдееву 13 декабря 1870 г.).

Атмосфера непонимания и нелепых обвинений Тургенева в нелюбви к России, в страсти описывать темные явления определила беглые и неглубокие оценки удивительного рассказа в тогдашней печати. Лишь через 26 лет после появления «Странной истории», когда позади были и хождения в народ, и теория малых дел, и крайности эпох террора народовольцев, и

многое другое, часто наносное, случайное, что нередко окружало искание, даже выстрадывание «правильной революционной теории» (В. И. Ленин), В. Я. Брюсов смог написать: «Василий и Софи два новых типа у Тургенева. В те годы Софи только что стали появляться в русской жизни. Тургенев перенес этот тип на 15 лет назад и сообразно с этим изменил обстановку. Основная черта этого типа — жажда подвига, желание «душу свою положить ради идеи» (Тургенев и современники. Л., 1977, с. 185).

* * *

Что еще могут натворить люди, не знающие, как тревожен груз свободы? Кустари в сфере этики, безумцы и поэты в решении частных дел, короли Лиры и Фаусты русской уездной глуши?

Тургенев усложняет свое возвращение к «почве», он углубляется в *почву*, во многом перекликаясь с Достоевским и Лесковым. Является продолжение таинственных повестей — «История лейтенанта Ергунова» (1868), «Бригадир» (1868), «Несчастная» (1869), «Степной король Лир» (1870), «Стук... стук... стук...» (1871).

«Степной король Лир»... Тургенев нашел героя и сюжет, который позволил взглянуть на фантастику русского народного быта сквозь призму вечного типа.

Кто он такой Мартын Харлов, герой повести?

...Он явно устарел, этот могучий помещик со своей непомерной силой и застарелой гордостью, с голосом сиплым и невнятным, точно он кричал кому-то в сильный ветер через овраг. Он держится среди дочерей, зятя, слуг лишь на одной ступени, уже шаткой, своего трона: «Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке; народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями».

Эта сила — какая-то беспокойная и беспризорная, доверчиво-наивная. Она смешна для дочери Анны, снисходительно слушающей хвастовство отца, опустив глаза, для ее мужа, Слеткина, вкрадчивого, жестокого сына стряпчего.

Зыбкое, тревожное величие сопровождает деяния великана Харлова. Он хрупок для новых времен, уязвим, и жизнь как будто ждет единого неверного шага уездного Лира, чтобы навсегда его сбить, смять, унизить. И безвозвратно вычеркнуть его!

Раздел Харловым имения — высшее торжество его власти, финал всего развития Харлова, всю жизнь предоставленного

самому себе. И одновременно — это полная утрата трона! Он хотел царственным жестом остановить распад своего царства, морально подавить мелких хищников, верил, что все его фантазии и самодурные жесты еще священны для детей. Но все последующее оказалось проще и страшнее: былой король изгнан отовсюду, лишен всего. А его же гордость не дает ему возможности никому жаловаться! В сырой октябрьский день он, оборванный, обманутый, но столь же слепой и наивный, прибежал в спасительный дом соседки, своей покровительницы: «Что-то даже клокотало в его груди — и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждающие белки глаз».

Все стихийно, все «клокочет» в этом человеке — и величественные все жесты, и месть его, рожденная внезапной мыслью: «А кров... кров я их разорю, и не будет у них крова, так же, как у меня! Узнают они Мартына Харлова! Не пропала еще моя сила!»

Портрет народа, который складывался из «странной» прозы Тургенева — этот портрет был углублен и рассказами «Конец Чертопханова» (1872), и характером Лукерьи, воплощавшим долготерпение и кротость народа, в «Живых мощах» (1874), рассказами, вошедшими в «Записки охотника». Он был правдив, достоверен, он же в целом свидетельствовал о мучительных раздумьях писателя над русской действительностью.

«Таинственные повести» убеждали, прежде всего, их автора, что прочен, устойчив только ум, только то человеческое «я», которое отточено воспитанием, имеет навыки свободы, труда, знает о великой целесообразности своих решений. Все остальное, даже прекрасное само по себе, но существующее в стихии чисто бессознательных, наигранных или подражательных действий, усиливает власть случая, бросает человека в пучину невероятных приключений.

Эта проза в итоге внутренне полемична по отношению ко многим социально-нравственным исканиям русской литературы. Тургенев вместо писем и публицистических отповедей западника проводит перед духовным взором великих мечтателей и утопистов — от Толстого до Достоевского — и юродивого Васеньку, и почти лермонтовского фаталиста Теглева («Стук... стук... стук»), и оскорбленного воровством, нищетой, пошлостью романтика Чертопханова, убивающего «поддельную» мечту, коня Малек-Аделя, и кроткую Лукерью, которая никаким «мысленным грехом не больно грешила» — ей все заменяют сны, беззвучные голоса земли. Какой своеобразный, удиви-

тельный народ — и Мартын Харлов, и Василий Гуськов, «бригадир», и эта же Лукерья, и даже Санин из «Вешних вод», который позволил новому вихрю разметать хрупкое, еще собираемое свое гнездо!..

Но такая Русь (иной, бунтующей против угнетения Тургенев не увидел) не устоит — вопреки всем пророчествам — перед напором новых явлений, перед суровой необходимостью идти универсальным путем цивилизации. Можно сколько угодно усыплять ее, как пушкинскую царевну в хрустальном гробу, но время разбудит ее и заставит меняться, чтобы жить. Нельзя — это главный вывод повестей — преуменьшать роль культурного слоя в России, способного направить огромную талантливость народа в правильном направлении. Иначе... трудно без содрогания представить, что обрушится на страну, переполненную такой взрывчатой смесью стихийного бунта и жажды покорности, тиранических привычек и романтических сожалений... Ничего нет среднего, сглаженного, везде углы, крайности, везде «ожесточение» — и в любви, и в ненависти. Все следствие «каких-то еще неизвестных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь, хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их», — писал Тургенев.

* * *

...Друзья и современники Тургенева задолго до появления всей серии «таинственных повестей» заметили, что какая-то высокая музыкальная приподнятость, музыкальное обаяние присутствует в его прозе. «Смеющийся трепет весны», «мягкое шушуканье и долгий говор лета», «дремотная болтовня ранней и холодное лепетанье поздней осени»... И рядом с этим музыка грозы в «Первой любви» над Нескучным садом, когда и грома не слышно, но «на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы...». Краски пейзажа звучны, как верно взятые аккорды... И кажется, ни на миг не умолкает сопровождающий даже тайные мечтания героев незримый оркестр, развивающий вариации мелодий, музыкальных образов.

Даже в письмах он, кажется, ищет напева, помнит о взлетах и падениях чувства. Особенно чувства влюбленности. Всем тревогам и печалям у Тургенева придано изящество, всюду в певучем хрустале разлит любовный напиток, правда, чуть тепловатый, почти «безалкогольный», все резкое подменено нежным.

«Кружатся всякого рода ощущения — как снежинки во время метели» (из письма Е. Е. Ламберт).

«Ваше письмо... упало на мою серую жизнь, как лепесток розы на поверхность мутного ручья» (из письма М. Г. Савиной).

Так он писал, словно пытаясь нечто неуловимое, таинственное в своем подсознании извлечь на свет и дать этому загадочному «нечто» художественное определение. Может быть, звуки правдивее, богаче любой этикетки, наклеенной на предмет? Может быть, в чудесной их путанице, смешении иное мгновение обретет вечность?

В рассказе «Сон» Тургенев исследует состояние юной души, брошенной с самого рождения в бездну тревожного одиночества, страстно ищущей в мире опоры, встречи с отцом. Все, чего он, незаконный ребенок, сын неизвестного отца, мучительная игрушка для матери, то горячо любящей его, то вдруг испытывающей невольное отвращение к нему, лишен в жизни, ему восполняют сны. Мечтать, мечтать! Это уже не случайность, а каждодневная реальность его души. Тупая плотная стена отчуждения будто рассыпается в снах, все закрытые двери сами собой открываются... И отыскивается такое желанное счастье — улица, дом, где живет отец, ни разу не увиденный в жизни. Отыскивается, наконец, он сам...

Бесспорно, в рассказе много непривычных для Тургенева роковых встреч, исчезновений. Незнакомец-барон, демонический герой для матери. Он выходит прямо из стены, «весь черный, длинный». Правда, Тургенев, предвидя обвинения в мистицизме, пояснит тут же: «...под штофной обивкой оказалась потаенная дверь». Кстати, во всей таинственной прозе писатель будет «прорубать» такие же спасительные для себя, в случае обвинений в спиритуализме, игре с привидениями, «двери»... Ему, автору «Призраков», важны не мистические туманы и роковые злодеи, а неисследованные реальности душевной жизни человека, связующие нити, переходы от одной души к другой, бессознательные, но не менее важные от этого тяготения и притяжения сына к отцу, женщины к роковому, ставшему вдруг единственно интересным в жизни человеку. Подумать только: к тайне существования в мире, к жутким метаморфозам этого черного длинного человека, видимо, столь же одинокого в мире, так привыкли и сын, и мать, что все простое, житейское («отец уехал в Америку»)... отвергается: «Я решительно не был в состоянии помириться с мыслью, что к такому сверхъестественному, таинственному началу мог примкнуть такой бессмысленный, такой ординарный конец!»

Вечное приближение к невозможному, к волшебной сказке, обогащающей мир, и воспел писатель в рассказе «Сон».

В «Рассказе отца Алексея» галлюцинации, правда, смяли, раздавили вначале одну человеческую жизнь (сына), а затем другую — отцовскую. Игра с неведомым, с «чертом» оказалась непосильной для наивного, доверчивого юноши, для всех кротких душ, окружающих Якова.

Впрочем, только ли он, несчастный Яков, герой рассказа? Истинный герой — воплощение доброты, сострадания, неистощимой любви — сам отец, пожилой сельский священник. Потому-то так и чудесен его язык, словно вобравший все оттенки мук, бед, проблески надежд его. «*Опечалился я гораздо от этого письма*», «*Возрелся* он в меня — а то он словно и не видел, кто перед ним стоит...», «Пал я тут перед ним на коленки и заплакал, и *горьким взмолился моленьем*», «Видно, сумела, голубушка, *ожесточенное его сердце тронуть*» — эти обороты речи, золотые, как песчинки на лотке золотоискателя, выловлены в народной среде.

Можно сказать, что этот же чудесный русский язык согревал Тургенева, писавшего и новеллу-воспоминание «Старые портреты» (1881), открывшую очередной, так и незавершенный цикл «Отрывки из воспоминаний — своих и чужих»... Нет движения, призрачно все в старой усадьбе Алексея Сергеевича Телегина и его жены Маланьи Павловны. Сам хозяин не ходит уже, а лишь... перебегает от кресла к креслу... Все заполняют собой воспоминания, внезапные вспышки памяти. Но звучит такой чудесный русский язык, полный неумирающей жизни, огня, страстей, озорства, что возникает полный движения очерк судеб дворянского рода, его оскудения, от былого расцвета, торжества до нынешнего вымерочного существования.

«Все жеребцы бурые в масле — гривы поколень, хвосты покопыть... Львы!»

«Ну полно, полно, Маланьюшка,— перебивал с улыбкой Алексей Сергеевич,— бело твое платье, а душа еще белей!»

«Ну не плачь, глупенькая, авось, нас там (после смерти.— *В. Ч.*) господь бог помолодит — и мы опять станем парочкой!— Помолодит, Алексис!— Ему, господу, все возможно,— заметил Алексей Сергеевич.— Он чудотворец!— пожалуй, и умницей тебя сотворит...»

* * *

...Безусловно, в этом страстном тяготении Тургенева к чему-то таинственному, что скрывается, как ему казалось, за пределами нашего объяснимого, понятного, эмпирического мира, есть известная ограниченность. Исторически, впрочем, объ-

яснимая. «Каждый принимает конец своего кругозора за конец света»,— писал любимый Тургеневым А. Шопенгауэр («Афоризмы и максимы»). Долгое время многие драмы в судьбах и жизненных решениях тургеневских девушек определялись, как в ранней поэме «Параша» (1843), своеобразным поединком бога и дьявола в девичьей душе. Перед юной Парашей, исполненной чудесных ожиданий, вступающей в мир сочувствующей ей природы, поэт готов падать ниц — ведь в ней, Параше, живет возможность чуда, освещающего и согревающего мир, в нее вложен «залог»:

Возможность страсти, горестной и знойной,
Залог души, любимой божеством...

Любовь для идеалистов 30-х годов — это мировая сила вроде абсолютной идеи Гегеля, давшая жизнь всему. В ней — высшее преимущество человека над остальными частями мирозданья. Ведь только в человека божество — или абсолютный дух, по Гегелю,— может вложить свой залог, свой дар — возможность страсти горестной и знойной, святого благодатного страданья.

Время и, безусловно, опыт проникновения в глубь многих чужих «я», в глубь своих ощущений, новые разлуки «с улыбкою странною» открыли Тургеневу картину куда более сложной и таинственной игры — с природой, с прошлым и призраками небытия,— в которую неуловимо втянут человек. Реалист, поклонник научного мышления, иронически оценивавший все виды мистицизма или смирения во Христе, он в то же время увидел всю сложность человеческих жизнеощущений, огромную роль воображаемой части человеческой жизни в его реальной судьбе, взаимосвязей настоящего с прошлым, увидел, как мучителен путь человеческого познания тайн природы и особенно космоса и главной из всех тайн — тайны смерти. Столь часто он, не переживший поворота к религии, как это было с Толстым и Достоевским, благоговевший перед могучими возможностями разума и науки, задумывался над непостижимым началом небытия, над почти нематериальной силой той же музыки, что Толстой после визита в Спасское в июле 1881 года запишет в своем дневнике: «Тургенев боится имени Бога, а признает его...» Это было, конечно, преувеличение: желание автора «Исповеди» опереться и на Тургенева стало творцом этого тенденциозного вывода...

Главнейшим, вероятно, моментом во всем процессе углубленно-реалистического исследования «грозных и горестных тайн», которые приоткрылись когда-то Тургеневу в связи со смертью Н. В. Гоголя, будет постоянно усиливающееся напол-

нение того или иного сюжета, очередной «странной истории», «случая» тем, что составляло душу тайны, ее слагаемые. Душа человека — это то свято место, которое, прежде всего, «пусто не бывает». Но откуда рождается ее редкая отзывчивость, ранимость, ее многозвучность? Способность одного человека не прямо, а порой зигзагообразно, даже «после смерти», донести свое «я» до другого?

Тургенев и до создания «Песни торжествующей любви» и «Клары Милич» (После смерти) задумывался о характере неодолимого притяжения, которое охватывает влюбленные души, изменяет весь круг их бытия, отменяет действие обычной логики, привычек, норм. Поэзия способна лишь намекнуть на эту силу, на ту область, откуда она приходит. «В первый раз почувствовал что-то необыкновенное, небывалое, словно чья-то рука мне стиснула сердце», — говорил Беляев в пьесе «Месяц в деревне». Какой-то заговор таинственных стихий сопровождает любовь, дает демоническую силу одним и странную кротость, жажду униженного рабства другим. Но человек, существо свободное, выделившаяся частица природы, не терпит предопределения, он не послушен и самим стихиям, темным силам. В своей любви, просветляющей мир, создающей в нем — пусть на миг, как в момент вдохновения, творчества!— более высокую духовную красоту, человек бросает вызов и темному хаосу природы, и наследию роковому предков.

О как убийственно мы любим...

Но откуда же берется и это «небывалое» и буйная слепота страстей? Есть ли, кроме намеков, иносказаний, аллегорий, какой-то более ясный способ рассказа о тайнах роковых поединков? Где читаемые знаки демонической силы, уловимые «жесты» ее? В каком зеркале могут быть пойманы «лучи» тайны?

Любимый Тургеневым на известном этапе Шопенгауэр говорил, что «истинным символом природы всегда и во всем считается круг, потому что он представляет схему возвращения...».

Может быть, и для этих таинственных сил есть «схема возвращения», схема «приливов и отливов»? И если эта схема будет найдена, то, вероятно, все жизненное поприще человека, как бы ни казалось оно беспорядочным и случайным, запутанным, получит какую-то стройность, упорядоченность, завершенность...

Любопытно одно обстоятельство. Фабий, муж Валерии («Песнь торжествующей любви»), рисуя портрет жены, желает «изобразить ее с атрибутами святой Цецилии». Но вдруг... когда явился из условной, почти иррациональной Азии, с немым

рабом малайцем, его соперник Муций, Фабий замечает, что на очередном сеансе он не находит в жене «того чистого, святого выражения», которое ему в ней так нравится и которое навело его на мысль о святой Цецилии...

И лишь когда он кинжалом прерывает и песнь и жизнь Муция, и безвольные, как у лунатика, шествия Валерии к нему на звуки песни, когда исчезает и Муций и раб его малаец, покой восстанавливается. Валерия — вновь святая Цецилия, правда ощутившая наконец в себе зарождение новой жизни...

Не сам ли это Тургенев, мучительно реагирующий на все воздействия роковых, неясных ему сил, изменяющих, «замутняющих» идеальный образ Родины и ее пути в грядущее?[1]

«Песнь» — это предельно-достижимое отождествление музыкального настроения, языка намеков и страстей с внутренним «я» художника. В ней нет никакого распыления этого «я» на сиюминутные и мелочные интересы. Это одно из тех произведений, к которым в наибольшей степени относится высокая оценка М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора?»

* * *

Повесть «Клара Милич» (После смерти) писалась Тургеневым в Спасском, в последний его приезд в Россию в 1881 году.

О чем говорит «Клара Милич», эта последняя из «таинственных повестей» Тургенева?

...О, как же глух, несовершенен бывает еще человек, какой он слепец даже в самые счастливые моменты своей жизни! Ничего он не может прочесть даже в раскрытой книге своей судьбы. Как испуганный таракан, попавший на свет, он бежит в темную щель, в свое разумное и эгоистичное «я». Повесть «Клара Милич» — это маленькая трагедия глухоты, неверия скудного духом человека в присутствие в мире добрых к нему таинственных сил.

Яков Аратов, сын чернокнижника, который «занимался химией, минералогией, энтомологией», — стыдливый, наивный юноша, веривший как-то неглубоко в таинственные силы при-

---

[1] В одном из писем П. В. Анненкову Тургенев с иронией писал: «Кстати, представьте: одна русская дама пресерьезно уверяла меня, что в России разгадали *настоящее* значение «Песни торжествующей любви»: Валерия — это Россия; Фабий — правительство; Муций — который хотя и погибает, но все же оплодотворяет Россию — нигилизм; а немой малаец — русский мужик (тоже немой)... Какова неожиданная аллегория?!» (1 января 1882 г.).

роды, но предпочитавший коллекционировать фотографии, плоские бумажки с остановившейся жизнью. Он, в сущности, сонный, слепой человек. И надо же случиться, что в этого человека из общего ряда, годного лишь для того, чтобы скользнуть взглядом и забыть его, влюбляется Клара Милич, загадочная девушка, неопытная актриса, полная странных, несущих ее саму бог весть к какому счастью ощущений.

Она — вечно наивна, доверчива, она никогда не будет «опытной»: опыт — это повторение прожитого, богатство вторичных ощущений, жизнь по инерции. Опыт хорош тем, что все теперь знакомо, все известно, есть набор решений и откликов на любую тайну и неожиданность. Клара Милич живет, не обретая опыта, ее желания, надежды и поступки каждый раз новы для нее самой. Какая-то роковая надежда найти родственную душу в пестром хороводе лиц и масок бросила ее к Аратову, заставила назначить ему свидание. В этой решительности — чистота и обреченность, резкость и угловатость истинной любви.

Аратов — сплошное разочарование для Клары, резкий контраст ее ожиданиям. Впервые герой теленок, герой-соглядатай — их много было всегда — был поставлен Тургеневым в центр повествования. Может быть, правда, первым был Петушков в ранней повести «Петушков». Но впервые так жестоко высмеивает Тургенев эту вялость, сонность, как тусклые добродетели, как обломовские достоинства. Он знает, как коротка жизнь, как недолго бывают хороши и свежи розы, остры и чудесны желания, великолепно божество молодости. Не прошутите, но и не проспите жизнь, не упустите редкую гостью — любовь! Какого же тусклого «таракана» вызвала на свидание Клара! Он принес с собой лишь осторожность, оглядку, он «спешит спастись в тень».

Аратов на свидании отвечает Кларе как на семинарском экзамене, как чиновник в присутственном месте...

«Я явился на ваше приглашение,— начал он в свою очередь,— явился, милостивая государыня (ее плечи тихонько дрогнули — она свернула на боковую дорожку, он последовал за ней), для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать, вследствие какого странного недоразумения вам было угодно обратиться ко мне, человеку вам чужому...»

Никакого опыта душевной жизни, таланта внимания, сердечности зрения нет и в помине. Клара изумлена такой неразвитостью, слепотой убегающего в тень «таракана». «...Если могу быть вам чем-нибудь полезен...» — продолжает он, не видя, что героиня ужаснулась, осознав меру своего одиночества, наивности среди шумного, но для нее окончательно обезлюдев-

шего мира... Все предстало таким глупым в ее глазах. На ее доверчивый порыв — такой ответ, такая забота о собственном достоинстве, такой удивительный в юноше пасторский тон!

В какой мере Тургенев опирался на реальную историю молодой певицы Евлалии Кадминой, выпускницы Московской консерватории, солистки Мариинского театра, затем перешедшую в драму? И покончившей собой, не вынеся обмана со стороны офицера, принявшей яд во время спектакля (4 ноября 1881 г.) в Харькове, на историю «посмертной» любви к ней статистика В. Д. Аленицына?

В куда меньшей степени, чем, скажем, А. И. Куприн, создатель рассказа «Последний дебют», чем авторы многих пьес и стихотворений, пораженных этой театральной смертью, совпадением жизни и «роли». Е. Кадмина приняла яд при исполнении роли Василисы Мелентьевой в пьесе А. Н. Островского, произнося реплику: «Не хотел любить меня живую, так мертвую полюбишь, может быть...»

Для Клары Милич нет прототипов... «Она только скользит по рассказу, точно китайская тень по экрану»,— заметил Иннокентий Анненский в этюде «Умирающий Тургенев» (1905). Если она при всем этом и реальна, то реальна как весть Аратову из неведомого ему, как и множеству непробудившихся, серых, душевно-монотонных людей, мира, как намек на счастье редкой любви.

Аратов пребывал душевно среди призраков 40-х годов, когда эта возможность явилась. Он боялся наплыва жизни, не увидел ничего вплоть до самоубийства Клары, до поездки в Казань к ее родным, чтения дневника Клары. Да и как было что-то увидеть, распознать, если... Если и у Аратова, как и у самого Тургенева, между жаждой поклонения женщине и жаждой обладания ею была непреодолимая преграда, если... «Все, что волнует, стало для него нечисто или беспорядочно,— нет, не надо, прочь эту крассоту! ...липового чаю, что ли, выпить!» — писал Иннокентий Анненский в том же этюде.

Не будем строги и к тургеневскому герою, и к самому Тургеневу за этот разлад... Только обращаясь в призрак, в тень, в духовный образ, покоряли мягкое, восковое сердце Тургенева многие женщины. Он слишком боялся за красоту, боялся разрушить ее любым неловким жестом, и она уходила от него. «Но когда она уходит, то после нее остается в воздухе тонкий аромат, грудь расширяется, и хочется сказать: да, стоит жить, и даже страдать, если этим покупается возможность думать о Кларе Милич»,— эти слова Иннокентия Анненского — оправдание всех житейских невзгод, всех его слез, обернувшихся алмазами...

ВО ДНИ СОМНЕНИЙ

Как дымный столп светлеет
в вышине! —
Как тень внизу скользит
неуловима!..
«Вот наша жизнь,— промолвила ты
мне,—
Не светлый дым, блестящий
при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»

Ф. И. Тютчев. (Конец 1840-х годов)

...Ну а кочку я выбрал — по-моему — не такую низкую, как Вы полагаете. С высоты европейской цивилизации можно еще обозревать всю Россию.

И. С. Тургенев — Д. И. Писареву (23 мая 1867 г.)

...От своего корня все-таки не уйдешь. И тревожно-мучительную судьбу — быть русским писателем, если уж она отчетливо определилась,— не избудешь в затейливых беседах с прусскими кронпринцами, в дружбе с Ференцом Листом, Чарльзом Диккенсом, Проспером Мериме. Не избудешь эту судьбу и в сочинении либретто для домашних спектаклей Полины Виардо,— с какой бы фантастической щедростью не тратил Тургенев время и душу на эти безделицы! Бесконечен простор России, радостные и тревожные вести из нее, какие-то звуки, неясные знаки ее сложного бытия доносятся до сознания. Вновь рождаются загадочные, непостижимые часто связи между русским художником и Родиной.

Он оставляет стихию занимательных, срисованных чувств, утонченного безделья. От сладкого предчувствия труда захватывает дух. Образы родной земли — Тургенев это не раз ощущал! — словно хранят всю теплоту его былых переживаний. «Ты не одинок в мире! — словно говорят они.— Мы живы, мы помним тебя...» И вот уже неотвязно живет в памяти какой-нибудь пруд, заросший лозняками, камышом — приволье хлопотливых уток. Он «зовет» за собой другие подробности родных углов — вот старый парк с аллеями лип, сад с заглохшими грядками «шпанской» земляники, со сплошной чащей крыжовника, смородины, малины... Приглядись чуть пристальней — и в томный час полуденного зноя здесь непременно мелькнет пестрый платочек деревенской девушки! Неподалеку найдется амбарчик на курьих ножках, оранжерейка, господский дом с балкончиком. Перила, конечно, кое-где повыпадали из него, да и дранка на крыше кое-где заросла зеленым мхом...

Воспоминания терзают. Не радует настоящее. Тургенев

в Баден-Бадене в канун создания романа «Дым» (1967) — сплошное воплощение сомнений, обид и горестного ощущения своей ненужности. Воплощение столь талантливое, что очень многие искренне обманывались на его счет! «Совсем расползся Иван Сергеевич, и внутренний нерв его завял и сделался дряблым и хилым»,— писал В. П. Боткин А. А. Фету. Н. П. Огарев после известного «покаяния» Тургенева («седовласой Магдалины») перед Сенатом в 1863 году, отрицавшего связи с А. И. Герценом, создал сатирический портрет автора «Отцов и детей», окрестив его «новой белорыбицей в русской литературе».

Престарелый остроумец П. А. Вяземский в известной эпиграмме беспощадно намекает на унизительность тургеневского положения в том же Баден-Бадене:

...И павший сей талант томится приживалкой
Близ спавшей с голоса певицы Виардо.

Только А. И. Герцен отчасти понимал Тургенева. Он сам пережил после 1863 года похожее душевное состояние. «Возле мучительного сознания виновности, есть другая пытка — *мучительное сознание ненужной правоты своей,* сознание своего бесплодного превосходства над слабостью всего близкого, молодого, переживающего»,— писал он о себе еще в 1862 году. Герцен угадывает в Тургеневе неодолимую власть «у́стали, отчаяния».

К этому времени Тургенев взлелеял в душе устойчивое представление о себе как о человеке, на имя которого после «Отцов и детей» «налегла тень... эта тень с моего имени не сойдет...». Тягостные сомнения и раздумья при виде всего, что творится на Родине, именно в годы баденской идиллии принимают образ несправедливого разочарования даже в бесспорном.

«Бес раздражения» спутывает все, толкает Тургенева на редкостные самоосуждения. Надорванная обидами непонимания душа исторгает звуки, полные пессимизма, редкой несправедливости к себе. Тургенев то взгрустнет изысканно в письме к Е. Е. Ламберт по поводу того, что «маленький писк моего сознания» так мало значит «на берегу невозвратно текущего океана» (из письма 28 октября 1862 г.). То похоронит себя попроще, не так изысканно, уверив соседа по имению И. П. Борисова, что песенка его спета, что «бороться и ломать деревья» ему уже не по силам: «...благо, чувство к красоте не иссякло, благо, можешь еще порадоваться ей, всплакнуть над стихом, над мелодией» (из письма И. П. Борисову 25 января 1865 г.).

Поистине причудлив духовный мир великих художников. «За каждым шедевром,— как сказал один французский писа-

тель,— мечется или ропщет укрощенная судьба». И прежде чем вещество истории уляжется в тургеневском романе в гармоничном порядке, застынет в прочной кладке стен, оно носится во взбаламученном море его души. Почти убеждает себя Тургенев в том, что он именно «отрезанный ломоть», «старый шелкопер», «мусор, который забыли вымести», «старый литературщик». Но вдруг — такие горячие угли под пеплом! Новая встреча с А. Н. Островским, вдруг написавшим «Воеводу» эдаким славным, вкусным, чистым русским языком. И неподдельный восторг! «Ах, мастер, мастер этот бородач... Сильно он расшевелил во мне литературную жилу»,— пишет Тургенев И. П. Борисову 16 марта 1865 года. Появилась повесть «Казаки» Л. Н. Толстого (1863). Первые отзывы о них еще полны традиционной двойственности. Великолепны для Тургенева в «Казаках» народные характеры, сцены в станице, но скучен Оленин («...это возящееся с самим собою, скучное и болезненное существо. Как это Толстой не сбросит с себя этот кошемар»). Но через год он уже не ищет снижений, избегает оговорок: «Вещь поистине удивительная и силы чрезмерной...» (из письма И. П. Борисову 5 июня 1864 г.).

Сквозь дни сомнений и тягостных раздумий словно пробиваются солнечные лучи. Печаль, может быть, становится даже резче, но и светлее, это уже не шопенгауэровский «мертвизм». В таких сомнениях ощущается страстная, ищущая душа великого патриота.

* * *

Великие исторические бури нужны, чтобы, как прибрежную гальку, перекатывать, бросать в пучину тягостных сомнений таких великанов мысли, как Тургенев. И мощная одержимость жизнью родной страны нужна, чтобы эти бури принять в свою душу.

...Сложную и величественную природу тургеневских сомнений в 1863—1867 годах отчасти поясняют, делают конкретнее некоторые документы, относящиеся к пореформенной России. Дневники людей одного с Тургеневым круга вроде А. В. Никитенко, философские искания П. Л. Лаврова, духовная драма А. И. Герцена, продолжавшаяся, в ином виде, и в 60-е годы.

А. В. Никитенко, официальный редактор некрасовского «Современника» в 1847 году, профессор, цензор, человек, близкий к высшей петербургской аристократии, создал в своем дневнике довольно точный портрет души либерала, мучительно ищущего какой-то суммарной, исчерпывающей формулы, способной стать путеводной звездой для всего русского обще-

ства. Его ужаснул выстрел Дм. Каракозова в Александра II: в этом событии для А. В. Никитенко всплыли со дна «осадки, подонки века, с его безвкусием и материалистическим воззрением». Лозунг нигилистов, заговорщиков, бунтарей — «требуй больше, чтобы получить что-нибудь» — пугает осторожного постепеновца: «Ужас, который они наводят своим *больше,* служит предлогом к тому, чтобы стеснять всякий порыв даже к самому *меньше»*. А. В. Никитенко угнетает, что великая цепь вершин философской мысли в лице Канта и Гегеля вдруг закончилась крутым обрывом, катастрофой. И явились грубые естествоиспытатели, которые бесцеремонно «обращаются... с душой человеческой... считая ее таким же куском мяса, как и все остальное в человеке». Ситуация для людей 40-х годов, в том числе и для Тургенева, которым дорог был культ общих понятий вроде абсолютного духа, дающего вид системы всему, свершаемому в истории, — действительно катастрофическая. Человек в бессмысленном мире для них лишен якоря спасения, он одинок среди хаоса; сирота бездомный, он немощен и гол:

На самого себя покинут он,
Упразднен ум, и мысль осиротела
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела.

(Ф. И. Тютчев)

Владычество бюрократии, якобы вносящей порядок в жизнь, вызывает в А. В. Никитенко еще большую тревогу. Это безобразная сила, «характеристика ее в двух словах: воровство и произвол». Эту характеристику он не раз с сарказмом уточняет: «Чиновники держатся за самодержавие и поддерживают его, потому что они, как насекомые, появляющиеся с сиянием солнца и с ним исчезающие, только им и держатся».

Безрадостная в итоге картина пореформенной Руси, где все сдвинулось, нет ничего прочного, устойчивого... «Мы точно какой-то азиатский кочующий народ: едва успеем раскинуть где-нибудь наши учреждения, как нам велят опять сниматься с места». Один способ есть уменьшить хаос, развал, усмирить произвол и нигилистов и бюрократов (тут А. В. Никитенко говорит, как классический щедринский либерал, как карась-идеалист) — это культ умеренности, постепенности, осторожности, культ принципа «погодить надоть...». На эту тему он говорит многократно, колеблясь, как маятник, в чрезвычайно узком пространстве:

«Я допускаю систему *сдерживания,* но не допускаю системы *притеснения...»*

«Роль старших *не останавливать* порывы и стремления младших, а *приостанавливать*».

«Добывая огонь, надо помнить, что вместе с ним явится и дым. Нужно искусство отвести дым, не погашая огня».

Мед бы пить всему русскому обществу такими благонамеренными устами! Но где эти искусники, способные «отводить дым», в громоздком, морально устарелом аппарате царской администрации? И согласится ли история России с таким рецептом собственного умерщвления?

* * *

...Уже первые страницы романа «Дым» свидетельствуют, что «огонь» и «дым» не развести даже на аллеях и в гостиницах Баден-Бадена. Две стихии возникают одновременно, и если движутся пока параллельно, то от столкновения их удерживает, скорее, рука автора. Опытная рука: в России эта параллельность курсов уже рухнула, а здесь? Курортный распорядок, общая разграфленность жизни в небольшом немецком княжестве обуздали русские антагонистические группы, компании, кружки, рассредоточили их. Сановники, недовольные реформами, ущемляющими их права, и нигилисты, требующие большего, чтобы получить меньшее, встречаются в курзалах, вокзалах, мимолетно соприкасаются, оглядывают друг друга. Тургенев и раньше свободно уводил своих героев за пределы отчизны, например в «Асе». Но «Дым» — это первый роман, где оба лагеря — и атакуемые, и атакующие — намеренно удалены из России, оба они демонстрируют себя вне реальной исторической практики. Где уж изображать борьбу этих сил художнику, полному сомнений, — важно пока разглядеть их! А может быть, и борьбы-то еще не будет?

Баден-Баден, салон генералов и сановников, аудитории Гейдельберга, где учится множество сподвижников Губарева, — это действительно выхлопные трубы, откуда вылетают и «огонь», и «дым». И даже копоть — и консерватизма, и псевдореволюционности. Они уже потеряли силу, не так жгутся, но Тургенев объективно позволяет представить, какой жар скапливается в самой «печи», в России, потрясенной сшибками реформ и контрреформ! Слово «буря» не случайно мелькнуло в романе.

Главный герой романа «Дым» помещик Литвинов — главный лишь в том смысле, что он созерцает оба лагеря! — ожидает в Баден-Бадене невесту и ее тетку. С удивлением отмечает он сближенность антагонистов: очень уж тесно соседствуют «ниспровергатели» и «охранители»! Они смешались, они зара-

жены общим умопомешательством, общей призрачностью своих теорий, мнений, повадок. Литвинов однажды недоуменно спросил Потугина, неизбежного при бездейственности романа резонера, сущую тень аристократки Ирины Ратмировой:

«— Каким образом вы, собственно вы, могли сделаться приятелем Ирины Павловны?

Потугин окинул самого себя взглядом.

— С моей фигурой, с положением моим в обществе оно точно неправдоподобно; но вы знаете — уже Шекспир сказал: «Есть многое на свете, друг Горацио», и так далее. Жизнь тоже шутить не любит. Вот вам сравнение: дерево стоит перед вами, и ветра нет; каким образом лист на нижней ветке прикоснется к листу на верхней ветке? Никоим образом. *А поднялась буря, все перемешалось — и те два листа прикоснулись»* (подч. мной.— *В. Ч.*).

Потугина, положим, сблизили с Ириной случайные, темные придворные бури, тайны старых, дореформенных времен. В самом рабстве влюбленного «титулярного советника» у «генеральской дочери», как в известном романсе А. Даргомыжского, есть нечто романтическое. Но смешение листов с верхних и нижних веток в середине 60-х годов, вторжение улицы в салоны, редакции, споры земств или присяжных в судах с администрацией — это иной, ставший закономерностью вид смешения. Взболтано, взвешено, как в растворе, все. Болтливая «хористка нигилизма» Матрена Суханчикова едет в одном купе с представительницами Руси ларинской, с невестой Литвинова Татьяной и ее теткой Капитолиной Марковной. Люди крайнего оппозиционного течения в самом нигилизме Ростислав Бамбаев, Губарев, Ворошилов входят в те же курзалы, гостиницы, что и генералы из придворных кругов. Буря идет непрерывно, она качает дерево, и ветки смешаны, стянуты. Просвещенный класс питает и рать М. Н. Каткова, либералов и ряды часто неясных Тургеневу бунтарей из разночинцев, гейдельбергских приготовителей революции.

Просвещенный класс — вечный и неизменный герой Тургенева, но весьма пестрый, разнородный. Не ощущается ли здесь более резко, чем раньше, ограниченность социально-философской базы писателя при анализе обострившихся к середине 60-х годов общественных противоречий? Противоречий, все более активно выявлявших свою классовую природу?

Противоположность целей представителей обоих лагерей в романе такова, что, думается, еще немного усилий — и Тургенев откажется от своей давней иллюзии! Иллюзии, согласно которой есть единый культурный, просвещенный слой, призванный быть передавателем культуры народу, обязанный

опекать «пасынков истории» (П. Л. Лавров), то есть людей, живущих бессознательной (а потому бессильной, призрачной) жизнью, приобщать и их к «цельной воле бытия», к единственному светочу истории — человеческой мысли. Откажется от этой иллюзии и поищет иных, не менее важных творцов истории, осознает, что не одни мнения правят миром, что сама история мысли определяется многими существеннейшими факторами.

Роман «Дым» дает основания для таких надежд. Никогда еще, пожалуй, столь резко не очерчена была противоположность двух лагерей, правда, одинаково упрощенных автором. Чиновничья, сановная толпа, заполнившая аккуратные дорожки курорта, «летней столицы Европы», опровергает все мечты и надежды Тургенева относительно культурного слоя и его миссии: тут нет передавателей цивилизации, культуры, тут сплошные «культурные дикари», как сказал бы П. Л. Лавров, будущий друг Тургенева.

«Тут был граф Х., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно «сказывает» романсы, а в сущности двух нот разобрать не может (не вариант ли Паншина? — *В. Ч.*)... и князь У., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи... и Р. Р., забавный толстяк... почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов... и походку враскачку на каблуках... Тут были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы...»

Какие заботы о судьбах «целого» можно связать с людьми, занятыми принципиально интересами только своего клана, группы, несформировавшейся партии вчерашних крепостников? Величайшей победой реализма Тургенева было глубокое проникновение в развитие этого процесса размежевания, уже не сословного, а по существу, классового.

Но от собственной тени не уйдешь, от былых иллюзий не избавишься по чьей-то подсказке. Сразу же после описания этого крестного хода прожигателей жизни, в котором писатель излил «всю желчь и всю досаду» на элиту помещичьей и бюрократической среды, в романе возникают картины шумной и крикливой беседы в нигилистическом кружке Губарева. Черты репетиловского упоения словоговорением — «шумим, братец, шумим!» — помножены здесь на нечто новое: это штаб, подчиняющий себе некую периферию... Угол зрения Тургенева, правда, сбит, смещен. Его интересует не столько ненависть

бунтарей к изленившимся плантаторам, паркетным шаркунам в настоящих лондонских костюмах, сколько отсутствие в самих бунтарях признаков великого сердца, столь заметных в его Базарове.

«Идущий вслед за мной будет сильнее меня»,— говорил один из апостолов. Это пророчество, с иронической усмешкой отметил Тургенев, исполнилось весьма своеобразно: явившиеся вслед за Базаровым нигилисты оказались сильнее его лишь своей упрощенностью, цинизмом! Везде взяла верх сплоченная посредственность... В беседах измельченных новых людей в «Дыме» мелькают знакомые имена социологов, философов. «И все это разом, без всякого повода, перед чужими, в кофейной»,— размышляет слушающий их Литвинов. Матрена Суханчикова, очередной вариант Кукшиной, часто только кричит, трясясь от негодования. Вождь всей группы, лобастый, с широкой шеей и «с косвенным, вниз устремленным взглядом» Губарев, грозно вещает. Намеком на близость не словесных конфликтов, а террора является его реплика, правда, вновь шаржированная: «Ммм... ммм... Сверху донизу все гнило,— заметил Губарев, не возвышая, впрочем, голоса.— Тут не казнь... тут нужна... другая мера».

Безусловно, Тургенев не писал истории революционного движения — ни в «Рудине», когда рассказывал о кружке Станкевича, ни в «Отцах и детях», где Базаров, часто употребляя «мы», говорит о некоей общности уже не в рамках кружка. Он даже отрицал — об этом свидетельствуют и тургеневские «Воспоминания о Белинском» — прямую преемственность между Белинским и Добролюбовым. Смягчая в либерально-постепеновском плане литературно-общественную программу неистового Виссариона, «честного до рыцарства», Тургенев приводил его мимо революционной демократии, скорее в либеральный лагерь.

Многое убеждало Тургенева в том, что нет в России единого просвещенного культурного слоя, что устарели идеалистические представления о движущих силах истории, что «формулы прогресса» сейчас выводятся не одиночками в кабинетной тиши! Он не мог не внимать этим доводам. Мастерски, с сарказмом изображает Тургенев консерваторов в свите Ирины Ратмировой, которые жаждут вернуть Россию не только к дореформенному застою, но даже к допетровской семибоярщине.

«...Мы должны предостерегать; мы должны говорить с почтительной твердостию: «Воротитесь, воротитесь назад»... Вот что мы должны говорить.

— Нельзя же, однако, совсем воротиться,— задумчиво заметил Ратмиров.

Снисходительный генерал только осклабился.

— Совсем; совсем назад, mon trer cher[1]. Чем дальше назад, тем лучше».

Казалось бы, после этого все симпатии автора должны быть безоговорочно отданы тем, кто атакует этот стан «ликующих, праздно болтающих» (Некрасов). Но писатель вновь начинает... с оговорок. Он вновь всматривается в фигуры измельченных нигилистов, «базароидов», в запас их положительных мечтаний. Он хочет понять все их шаги. Даже самые наивные, такие, как решение создать швейные мастерские, «швальни», для раскрепощения женщин. Он ловит и глухие намеки на единение их с народом. В чем? в каком деле? Многое, произносимое среди шума и гвалта, рождает лишь скуку и тоску. Осуждение опережает узнавание.

Больше того. Предубеждение, испуг, отчуждение, в известной мере, определяли узнавание.

Тургенева пугали эти Губаревы, Суханчиковы, Бамбаевы. Новый человек, массовидный «пришелец» мучил романтическое сознание писателя отсутствием психологического объема своих решений, действий, помыслов. Он удивлялся, скажем, извращенной логике суфражисток: эмансипированные девицы не понимали еще, что никакая наука и свобода, искусство не сделают женщину равной мужчине, если... сводить все к отказу от деторождения. Из принципиально бездетных женщин, запретивших себе эту «слабость», боялся Тургенев, вырастут существа, презирающие все нежное, раздерганные, кидающиеся в любой вид, оправдывающий их пустоту, оппозиции. Общество в их присутствии тупеет, но как они не храбрятся, в них самих не умирает сознание бесплодности, ненужности и даже собственного ничтожества!

Тургенев вдумчиво, часто с помощью ирониста Потугина — о нем речь впереди! — изучает новых людей. Он порой умеряет сарказм Литвинова. Потугин убеждает Литвинова: не смотри на каждого из нигилистов в толпе, в шуме кружков — тут увидишь пену у рта, возбуждение, какую-то слипшуюся «паюсную икру» мнений, деклараций.

Все это хорошо известно Тургеневу, но ему важно узнать и то, что скрывается за всем этим.

«Общество наше, легкое, немногочисленное, оторванное от почвы, закружилось *как перо, как пена;* теперь оно готово отхлынуть или отлететь за тридевять земель от той точки, где недавно еще вертелось; а совершается ли при этом, хотя неловко, хотя косвенно, действительное развитие народа, этого

---

[1] Дражайший *(франц.)*.

никто сказать не может. Будем ждать и прислушиваться»,— пишет Тургенев П. В. Анненкову в письме от 12 июня 1862 г.

И это справедливо. Когда подождешь да прислушаешься, то видишь, что та же Матрена Суханчикова способна отдать на общее дело свои последние деньги, а Пищалкин — очень дельный работник. Даже Ворошилов — ординарец при науке — в сущности умен.

Потугин поясняет Литвинову: «Да, да, все это люди отличные, а в результате ничего не выходит; припасы первый сорт, а блюдо хоть в рот не бери...»

По дальше этой оговорки Тургенев не идет. Он так и не ответил на вопрос: куда же придет эта молодежь, что говорит ей жизнь? Если Базаров еще пугал «отцов» той копеечной свечой, от которой некогда сгорела Москва, то сейчас Тургенев «спасает» — и так иллюзорно! — близкий себе мир от всякого пожара. Все порывы молодых объявлены тем же «дымом», миражом... Роман кончается благодушным и наивным для свидетелей выстрела Дм. Каракозова выводом: эти нигилисты — всего лишь блудные дети изленившихся отцов, надо дать им всего лишь «выгуляться», «порезвиться» в модном духе. Пар легковесных бунтарских порывов выйдет вон, и они, как Аркадий Кирсанов, вернутся в родные канцелярии, поместья, казармы. В эпилоге «Дыма» Тургенев с наивной усмешкой сообщает о двух-трех любопытных встречах Литвинова в России. Кого же и в каком виде он встретил? Пищалкина, отчаянного крикуна в баденские дни, он увидел остепенившимся уездным деятелем: «...возвышенной мудростью дышали его речи... Пополневшее лицо совершенно застыло в какое-то величавое желе уже ничем не обузданной добродетели». Речистый Ворошилов, с юношески звонким и хриплым голосом, как у молодого петуха, с упоением пересказывавший брошюрки Либиха, который мог химией «объяснить всю историю человечества», опять поступил на военную службу. А таинственный Губарев, не расставшись с деспотизмом привычек, стал деспотом иного плана: совсем уже на манер генерала из салона Ратмировой он распекает в почтовой избе «мужичье поганое», «хваленую свободу», при которой и «лошадей не достанешь».

Но убеждает ли в этих превращениях великолепное мастерство Тургенева? Он сгладил антагонизм, упростил исход противостояния двух лагерей, посмеялся — и крайне убедительно! — над слабостями атакуемых и атакующих. Но в итоге как бы снял проблему самой борьбы! В действительности, и весьма близкой, пути молодого поколения оказались совершенно иными. Только в глазах обывателя правительство, гонявшееся за бунтарями, выглядело комичным великаном с дубиной, го-

нявшимся за горсткой блудных детей: само-то правительство, узнавшее в лицо этих бунтарей, слышавшее их речи на допросах, судах, эшафотах, очень скоро задрожало от предчувствия: тут кто-то один уцелеет...

Сама социально-философская мысль Тургенева, лишенная даже косвенной поддержки, которую ему давала и дружба, и вражда с новыми людьми некрасовского «Современника», не в силах была преодолеть высокий идеалистический порог.

* * *

В. И. Ленин, говоря об эпохе философских и социологических исканий в России после 1862 года, ареста Н. Г. Чернышевского, говоря о забвении его сочинений, от которых веяло духом классовой борьбы (а заодно и забвении Фейербаха), писал о существенном для всей социологии «шаге назад от Чернышевского», который сделали «молодые позитивисты» Н. К. Михайловский и, в известной степени, П. Л. Лавров. Прежде всего, шаге назад в понимании движущих сил общественного развития.

Что, например, является ощутимой реальностью для создателя «Исторических писем» П. Л. Лаврова? Отнюдь не классы, не их борьба, формирующая партии, а «критически мыслящие личности», хранители мысли. В самой истории, по Лаврову, действуют отвлеченные, расплывчатые союзы людей, скопления личностей в рамках сменяющихся эпох.

П. Л. Лавров давал иллюзию целостного объяснения цивилизации в ее развитии. Он увлекал молодые умы возможностью подвига. Что движет вперед человечество, начиная с появления типа «племенной солидарности»? Потребности питания, безопасности, но особенно — на этом настаивает Лавров — потребности развития, «нервного возбуждения». Это нервное возбуждение по особой схеме фазисов приводит к выделению из косной массы немногочисленных представителей интеллигенции. Мысль в различных комбинациях делалась исключительным достоянием, исторической силой этой группы. Те муравейники, ульи (или «солидарности»), где не выделилась такая интеллигенция, носительница нервного возбуждения и осознанной потребности развития, оставались вне истории («пасынки истории»). Но вне истории остаются и те группы лиц («культурные дикари»), которые лишь наслаждаются в современном обществе «внешними формами интеллектуальных, эстетических и социальных завоеваний, но не чувствуют потребности развития и наслаждения им» (Лавров П. Л. Сборник статей. Пг. 1922, с. 259).

...Область романа — это все-таки область судьбы... Где же роман в этой огромной раме, на этом холсте, использованном далеко не полностью? Неужели весь он — в уголке холста?!

Неувядаемое очарование тургеневских произведений всегда было в почти полном отсутствии в них «футлярности» героев, их предельной подавленности и скованности средой и, прежде всего, статичной суммой цифровых обстоятельств жизни. «Футляр» — это памятные зонтик и калоши чеховского Беликова, которые словно прихлопнули, сплющили тусклого, во всем предсказуемого героя, который живет с успешно реализованным желанием: «Как бы чего не вышло!» И не выйдет никогда — игры жизни нет, самодвижение заперто, остановлено... В известной мере, эту же игру жизни сплющивал, убивал и физиологизм «натуральной школы» и — уже на склоне тургеневской жизни! — искусство «русского Золя» — П. Боборыкина или Д. Мамина-Сибиряка со свинцовыми прокладками социологических мотивировок, предопределенностью поведения героев, коренящейся то в сумме доходов, то в чисто физиологических особенностях человека. Тургенев, безусловно, не придет к толстовской текучести, многослойности чувства и сознания, когда «впечатления прошедшего, действительность и воображение наделяются способностью самостоятельного действия», когда воспоминания могут «бродить», неожиданно «забрести в гуляющее воображение», а само воображение может «измучиться», «расстроиться» и «устать».

Тургенев остался статичней и Толстого, и Достоевского, его герои знают известное оцепенение вычисленности, они заранее «готовы», а не готовят себя в ходе событий; они носят в самих себе опыт сформировавшей их эпохи и устойчивы перед ударами новых обстоятельств. И при всем этом они именно свободны! Нет низкого неба над ними. Свинцовый быт, непосредственную среду Тургенев не делает «подлежащим и сказуемым» в своем мире. Есть что-то от легкости А. Дюма, от «игры любви и случая» в бальзаковских романах в самом искусстве воссоздания Тургеневым любовных историй в «Дыме», в «Первой любви», «Вешних водах». И. А. Гончаров, даже видя, что многое у Тургенева «сшито на живую нитку», что тяжелую борозду он и в романах не прорывает, признавал, как много он умеет дать уму и сердцу читателя даже «отрывочными, недосказанными, недопетыми (как Лиза в «Гнезде») лицами, жалкими и скорбными звуками».

Для Тургенева-романиста важны частности жизни: «Вот, смотрите, как слаб человек, как он ввергнут в поток случайностей, как неожиданно сильна женщина, сильна одной возможностью любви. А неведомые силы, на которые мы не обра-

щаем внимания,— они всесильны...» И в романах Тургенева сильна импровизация, которой никто не управляет, тем более с экономическими выкладками в руках. Дайте же «жизни так играть»! Не оскучняйте ее сухой мудростью экономистов и мрачных бухгалтеров прогресса. Снимите с героев проклятье предопределенности. Иначе Золушка никогда не покинет своего чердака, не найдет своего принца, а Иван-дурак не найдет пера жар-птицы! Иначе сами вы будете скоро выть среди точной и рассчитанной тоски, а чувство любви, если оно вдруг явится, как у Базарова, станет и для вас так похоже на злобу!

...Ирина вошла в жизнь Литвинова, московского студента, еще семнадцатилетней девушкой, утратившей простодушие (при бедности ее семьи это и немудрено!), но обретающей вдруг в облике и характере «что-то своевольное и страстное, что-то опасное для других и для нее самой», еще в далекие 50-е годы.

На первый взгляд какой же здесь-то простор для игры страстей, для человеческих капризов, если даже лавочники говорят при гордой девушке ее отцу и матери: «Что вы, мол, за князья, коли сами с голоду в кулак свищете?»

Простора действительно нет, нищета надевает свои смирительные одежки даже на девичьи помыслы и капризы. Но тем мучительнее, острее борьба чувств, оскорбленных, униженных, как бы заранее укорачиваемых жизнью.

Литвинов становится свидетелем многих мук Ирины, ее колебаний и тревог. По молодости и запоздалости развития он многое понимал тогда, в дни своей московской младости, не столь остро. Это вносит особую прелесть в его воспоминания: Тургенев заставляет читателя начать узнавание героини с наивных пояснений юноши.

Ирина оскорблена, смята и нынешней бедностью отца, и былым величием рода князей Осининых. Ей противен, ненавистен даже Литвинов с его слепотой, с преданной телячьей чистотой.

В сущности, Растиньяк, несущий в себе жадное стремление отвоевать место за пиршественным столом, несущий дух авантюризма, волю к тому, чтобы вырваться из-под гнета бедности в царство успехов, живет в этой девушке! «Поразительны, истинно поразительны были ее глаза, исчерна-серые, с зеленоватыми отливами, с поволокой, длинные, как у египетских божеств, с лучистыми ресницами и смелым взмахом бровей. Странное выражение было у этих глаз: они как будто глядели, внимательно и задумчиво глядели, из какой-то неведомой глубины и дали» — такова эта необычная московская барышня. Тут, пожалуй, и сам Рудин с его пропыленным сюртуком и головными речами будет смешон, а Инсаров покажется лишь

частью среды, которую надо преодолеть... Может быть, Ирина и сама не знает, где подлинный приют ее гордыне, куда влечет ее, «неотразимо захватывая», жажда необыкновенного счастья? Женщины-демоны вовсе не всезнайки, не расчетливые существа. Они часто несчастны в силу своей доверчивости, наивности расчетов, столь же слепой мстительности якобы обманувшим их кумирам... Их несет вперед какой-то вихрь пылких желаний, доверчивости, надежд, тщеславия, жажда первенства на вечном турнире соперничества женских самолюбий. Ирина вполне завладевает Литвиновым, он дважды потерял себя, он и в Бадене знал одно: «Идти за нею, с нею, впереди и без конца».

Но этот юноша в Москве был так слеп, так наивен! Он не замечал, какие злые демоны терзают ее душу! Не зная, как важно для женщины платье, Литвинов застает однажды Ирину в слезах и думает, что ее поразила чахотка.

«Но Ирина не дала ему докончить и с досадой топнула ножкой.

— Я совершенно здорова... но это платье... разве вы не понимаете?

— Что такое?.. это платье...— проговорил он с недоумением.

— Что такое? А то, что у меня другого нет, и что оно старое, гадкое, и я принуждена надевать это платье каждый день... даже когда ты... когда вы приходите...»

Сколько женщин — во все времена! — будет безмерно благодарно Тургеневу за этот дар понимания их вечных невзгод, незаметных другим обид, которые рождает чужой наряд, успех, благодарны за сочувствие их благороднейшему порыву к самому полному, может быть, недосягаемому никогда совершенству, опирающемуся, конечно же, и на наряд. Красота не хочет быть жалкой! Золушки на всех чердаках мира мечтают не о роскоши, а о таком наряде, который бы не оскорблял их ожидания чуда. Умрет, будет задавлен этот бессознательный, неумирающий порыв — и обесцветится, станет пустой, лишенной чудесных неожиданностей вся жизнь! А он может быть убит с двух концов — и откровенной бедностью, и душевной грубостью, деловитостью, жестокостью, поражающей женские души. Становясь вынужденно равной с мужчиной в его силе, женщина теряет свои некогда прекрасные слабости.

Слепота Литвинова удручает Ирину, и только безграничное доверие к этому юноше позволяет ей высказаться: она мечтает, условно говоря, о прорыве на освещенную сторону жизни, жаждет быть победительницей над слепым случаем, поместившим ее на дно нищеты.

«Ох, эта бедность, бедность, темнота! Как избавиться от этой бедности! Как выйти, выйти из темноты!»

Любопытно, что не само по себе богатство влечет ее, это лишь ступенька, выход из темноты. Эта беспредельность женского демонизма, способность удержать мужскую дряблую душу неостановимой игрой душевных сил и покоряет до состояния рабства и незабвенного бригадира в «Бригадире», и Санина («Вешние воды»).

Золушка из Замоскворечья, не наделенная кротостью, умеющая горько посмеяться над промотавшимся отцом, жаждущая победы над темнотой своей судьбы, одновременно боится потерять и себя, и этого «теленка», столь чистого душой,— Литвинова.

Есть в ней какая-то догадка — уже не девичья, а взрослая,— что этот теленок — ее неразменное богатство, что это тот свет, который уравновесит ее мрак, та простота, которой будет не хватать ей всю жизнь.

И вот — бал, первый приз успеха. Бал иной, чем у Наташи Ростовой: тут нет беспечности, нет светлой радости девочки, счастливой своей молодостью. Это битва, в которой для Ирины «стреляет» все... И талантливо вплетенная лента, и букет, «невзначай» оказавшийся в руках, и особенно глаза — «словно потемневшие и расширенные».

Тургенев, описывающий в «Дыме» этот дивный поединок Ирины, изломы ее души, как будто молодеет духовно, забывает и о скептицизме Потугина, и о шумящих нигилистах, и об ущемленных реформой генерал-адъютантах, лелеющих свой генеральский нигилизм.

Успех Ирины, ее отъезд в Петербург, замужество на время как бы выключили Литвинова из игры. Да, и его ли помнить женщине-демону, вступившей в круг, где ее энергии есть упор, есть преграды, которые надо преодолевать? Набор одержанных побед, как наряд, украшает женщину. И не скоро это богатство потускнеет. Созерцание спорящих из-за ее внимания, бьющихся на турнирах остроумия, ума, доблести, джентльменства мужчин может держать в оцепенении женщину: талант красоты, демон тщеславия часто слеп, наивен. Он не замечает, что мнимое покорство и рабство иных слуг есть в сущности господство, есть снисхождение к игрушке. А почести, привычки повелевать — это уже очередной, более нарядный, но футляр!

Нужна новая встреча с Литвиновым и — что не менее важно! — с женщиной-ангелом, невестой Литвинова Татьяной, чтобы Ирина преодолела ослепленность, вспомнила забытое, но не умиравшее в ней движение души.

Без личных воспоминаний, конечно, автор «Дыма» обойтись не мог. В Татьяне, невесте Литвинова,— живое воспоминанье об Ольге Александровне Тургеневой, почти невесте, милом друге 1855—1856 годов. Тут воистину — жизнь заговорила вновь! Она и ее тетушка Капитолина Марковна (Н. А. Ергопкина, тетка О. А. Тургеневой, сироты, почти не знавшей матери) — воплощение любви к народной, теплой, «ларинской» земле, дававшей России Гриневых и Мироновых. Прекрасны, но так наивно-одиноки эти две души в суетливом, «пенящемся» от всяческого высокомерия Бадене!

Тургенев изобразил их с теплым и тревожным чувством: они не знают, что их, как «чистую доску», по-своему разлиновывают суетливые теоретики, прорицатели их судеб, они живут на основе какого-то своего выстраданного взгляда на мир, его ценности, своего самосознания. Но решительно заявить — в духе Достоевского,— что «народ — не мертвый рычаг для приложения сил отдельных более развитых или «сильных личностей», а самостоятельный организм, историческая сила, одаренная умом и высоким сознанием» — Тургенев не мог: потугинские сомнения обессиливали его пафос любви, гамлетизм проникал и в святая святых его веры. Вообще, женщины-ангелы, уготованные для семьи, изображались им как-то анемично, как «неполноприродные» существа. «Все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою»,— отметил Б. Л. Пастернак, говоря о сверхмузыке Скрябина, именно потому и выразившей природу музыки («Люди и положения»).

В Ирине воплощено тургеневское представление о подлинных властительницах жизни, вносящих в нее не мягкий, ровный свет, но рождающих вулканические взрывы в чужих душах, обнажающих демоническую игру обиженных самолюбий, смятых надежд как скрытую подкладку жизни. Ей самой не легко обошлось когда-то решение оставить Литвинова.

Выбор — это утрата и приобретение, частичная реализация себя и саморазорение. Он так нелегок был для семнадцатилетней Ирины Осининой, еще мучительнее для светской, гордой, всего достигшей Ирины Ратмировой через десяток лет.

Она не лжет, когда говорит Литвинову сейчас: «Когда я вас увидела, все мое хорошее, молодое во мне пробудилось... то время, когда я не выбрала своего жребия, все, что лежит там, в той светлой полосе».

Освещенная полоса жизни — все же в том неказистом дворике Замоскворечья... А здесь — копоть, «дым», ветошь маскарада.

Ирина разметала, разорила и в Литвинове все его планы женитьбы на кроткой Татьяне. Мелодия из «Месяца в дерев-

не» — мелодия соперничества опытной кокетки, женщины-демона с кроткой, доверчивой и прощающей девичьей душой — зазвучала и в «Дыме». Но не надолго. Не в этом соперничестве суть драмы.

Драма Ирины — в уже пройденном ею пути, в ее ненавистной свободе, которую она теперь не в силах утратить никогда. Она может потерпеть много поражений от судьбы, она может скорее утратить жизнь, но не эту свободу. Литвинов не удержит вихрь, вновь перерубивший его жизнь, вселивший страх перед «чем-то неведомым и холодным». Комичны все планы Литвинова о совместной жизни с Ириной, он ощущает, что она не вписывается в его уклад жизни, сумму привычек, ритм бытия. Демона не замкнешь в клетку, он свободнее всего от того, кого сам полюбил!

В сущности, история любви Ирины и Литвинова и есть самое долговечное и самое настоящее в романе, отягощенном публицистикой. Что без нее эти словесные поединки и мудрствования Потугина? Нечто преходящее, погребенное давно в пыли книгохранилищ.

«Тургеневские девушки все дальше и дальше уходят в прошлое, но ореол над их головками останется вечно, как вечно стремление куда-то ввысь, как бы не изменилась в практическом смысле жизнь»,— сказала одна из читательниц Тургенева. Изображая любовь Ирины и Литвинова, внезапное продолжение ее — через годы и ошибки, вникая в вынужденные компромиссы обоих, писатель как будто отдыхает и от всевластия разных направлений в умственном движении 60-х годов, защищает свободу соловья петь по своим нотам. Сколько дирижерских палочек — пой *так*, и мы тебя вознесем! — в руках Каткова или М. Антоновича летало над головой певца. Но соловьиную свободу воспевать любовь, то, перед чем пасуют все, даже вцепившиеся зубами в узкие программы, в корректуры своих статей, он отстоит. К. Д. Бальмонт скажет об этом подвиге Тургенева:

Душа нуждается в уроке,
И мир заманчив и не хмур,
Когда читаешь сердцем строки,
Что спел грустящий трубадур...
Благословен учитель чувства,
Нам показавший образец,
Одевший в пламени искусства
И кровь и омуты сердец.

Тургенев — первая влюбленность,
Глаза с божественной игрой,
Где близь уходит в отдаленность,
Заря встречается с зарей.

ТЕНЬ ГАМЛЕТА ПЕРЕД РАССВЕТОМ

У нас нет имен... Много ли нас, мало ли нас — сочтете в день настоящей борьбы... Мы далеки от вас; мы среди вас... Мы сильны не богатством — его можно отнять... Мы сильны потому, что мы — всюду. Мы всюду; с нами все живое.

П. Л. Лавров.— Вперед!, Цюрих 1873, № 1

...Редактор основанного в 1866 году петербургского журнала «Вестник Европы» Михаил Матвеевич Стасюлевич, историк средневековья, классическое воплощение либерала в журналистике, имел невыразительное, «общеевропейское» лицо: не угадаешь — нотариус из Швейцарии, немецкий профессор, американский сенатор?.. У таких натур логика всегда развита в ущерб психике. Горячие порывы, если они вообще были, давно преобразованы в умеренные желания, выкрики — в спокойную речь, мечты — в расчет, гнев и бунтарское негодование — в разумную оппозиционность, а скачки, бег — в успешное служебное шествование. Профессорская культура — чуть холодная, умеренная и аккуратная...

Андрей Белый, истинный сын этой «университетско-профессорской культуры» конца XIX века, скажет о подобных душах, явившихся на всех остальных поприщах русской действительности: «Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса... Больше всего он любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек... После линии более всех симметричностей успокаивала его фигура — квадрат.

Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса» («Петербург»).

Портрет немного ироничный, но точный...

Последнее обстоятельство — вид «обезглавленного», усеченного конуса,— вероятно, обеспокоило бы и М. М. Стасюлевича, и других виднейших либерально-буржуазных публицистов и

критиков, собравшихся вокруг «Вестника Европы» — В. Д. Спасовича, Л. З. Слонимского, А. Н. Пыпина, К. К. Арсеньева. Россия, с ее кучами деревянных домишек, называвшихся городами, с ее буранами, снегами, бездорожьем, темнотой, буйством непросвещенных масс, чуть ли не грядущих гуннов, скреплялась, по их мнению, — худо ли, хорошо ли — своеобразным конусом власти во главе с монархом. Желательно просвещенным... «Усеченный конус» — это республика с конституцией и парламентом — дело желанное, вполне европейское, но в России такое беспокойное! Либералы, умевшие вздыхать о народе, литераторствовать, боялись остаться наедине с этим народом, боялись, что Русь-тройка раздавит и их...

* * *

На М. М. Стасюлевича Тургенев набрел как бы случайно. В 1868 году он послал П. В. Анненкову повесть «Бригадир», предоставив ему же возможность устраивать ее в журнал. Его тяготили — особенно после жаркого обличения Д. И. Писарева! — отношения с М. Н. Катковым. Как, вероятно, тяготили они и самого издателя «Русского вестника» и «Московских ведомостей». «Львояростный» рыцарь консерватизма, критиковавший справа само правительство и особенно либеральных деятелей в нем, тех, что умело подсовывались царю даже на пост диктаторов, неофициальный охранитель основ самодержавия, презиравший даже университеты, «лаборатории нигилистических доктрин», воспитывавшие полупросвещенный «литературный пролетариат», М. Н. Катков не мог, безусловно, мириться с излишне надпартийным якобы Тургеневым. «Московские ведомости» Каткова боролись с революцией везде, где только открывали ее,— такая угроза всем формам, «здоровой русской жизни» — и вдруг... Вся эта борьба для Тургенева — лишь объект для художественно-эстетических созерцаний, для иронических насмешек! Люди, распаленные борьбой вроде Каткова, не могут мириться с теми, кто их кровный интерес, суетный смысл жизни превращает в предмет созерцания, кто их самих помещает среди диковин, достойных насмешливого изучения.

Маленькая подробность. Недовольный тем, что тургеневский Базаров в «Отцах и детях» все время как-то подавлял остальных героев-дворян, М. Н. Катков все время искал повода «спихнуть» нигилиста с пьедестала.

В романе есть эпизод разговора Базарова с мужиком совершенно в духе антиславянофильских воззрений автора: «Ну,— говорил он ему (мужику.— *В. Ч.*) — излагай мне свои воззре-

ния на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории...» Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим... тоже, потому, значит... какой положон у нас, примерно, придел...»

М. Н. Катков, не добившись от автора иронического отношения к Базарову Одинцовой или Кирсанова, стал требовать, чтобы эту непосильную роль сыграл косноязычный мужик. Он должен был «стоять выше» Базарова, сделаться антиподом разрушителя-нигилиста.

Тургенев в 1861 году ответил Каткову: «Ни Одинцова не должна иронизировать, ни мужик стоять выше Базарова, хоть он сам пуст и бесплоден... Он (Базаров.— *В. Ч.*) — в моих глазах — действительно герой нашего времени. Хорош герой и хорошо время,— скажете Вы... Но оно так» (30 октября 1861 г.).

Эпизод как будто забылся... Но в январе 1878 года петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов, казнокрад, мерзкий, даже по мнению К. П. Победоносцева, взяточник, приказал высечь розгами заключенного Боголюбова (Емельянова А. С.). Последовал выстрел в Трепова неизвестной женщины, явившейся к нему на прием и внезапно выхватившей из муфты револьвер,— ей оказалась Вера Засулич. Суд присяжных под председательством А. Ф. Кони оправдал «террористку». «Туча российского консерватизма» (Катков) застыла на миг как перед раскрывшейся бездной, сочла возможным отшутиться: «не первоапрельская ли это шутка?» (сообщение об оправдательном приговоре В. Засулич появилось в газетах 1 апреля 1878 г.). «Предоставим себе льготу блаженного непонимания еще на несколько часов»,— заметил Катков в номере «Московских ведомостей» от 2 апреля.

Но 3 апреля 1878 года в Москве, в момент, когда 15 арестованных киевских студентов перевозились в пересыльную тюрьму, когда кареты с ними сопровождали солидарные московские студенты, возле Московского университета произошло побоище: мясники, зеленщики, приказчики, торговцы Охотного ряда («охотнорядцы») зверски избили студентов, «пролетариев ума», будущих Базаровых.

Тут-то и всплыл в памяти редактора «Московских ведомостей» давний тургеневский мужичок: наконец-то он стал «выше» нигилистов, дал «народный» ответ бессознательным орудиям врагов отечества! Это «открытие», как отметила В. А. Твардовская (в книге «Идеология пореформенного самодержавия. М. Н. Катков и его издания». Наука, 1978), Катков и определил как знамение времени: «Народ *сознательно* воспринимает самодержавие как необходимость и благо». В

дальнейшем Катков стал определять сам протест разночинской интеллигенции против существующего строя как отрыв ее «от национальной почвы», «роковое несогласие ее с народом». Кто желает кровавой перестройки общества? Кто делает, по убеждению Каткова, врагом России ее же молодежь, порождает толпы безумцев, исправляющих должности русских революционеров, не зная даже, чье дело они делают? В. А. Твардовская в своей книге пишет об этом ответе неофициального апостола охранительства: «На демократической интеллигенции, как источнике общественного зла, сосредоточились нападки изданий Каткова. «Наше варварство — в нашей *иностранной* интеллигенции»,— писала его газета, утверждая неприятие интеллигенцией «органических» форм русской жизни», ее космополитизм... Самодержавие, по словам В. И. Ленина, «вело линию Каткова и Победоносцева», стараясь представить себя «охраняющим интересы широких масс крестьян». «Глубокий политический сон масс крестьянского населения» давал возможность представителям разных направлений ссылаться на народ, так сказать, «подтягивать» его под свое знамя» (ПСС. т. 23, с. 260).

Позволить подтянуть себя под катковское знамя Тургенев, создатель замечательного стихотворения в прозе «Порог», гимна подвигу самоотреченья русской девушки, добровольно избирающей путь величайших страданий, естественно, не мог. Кто она — эта девушка в «Пороге» — Вера Засулич, Вера Фигнер, Софья Перовская? Эта переступающая «порог», готовая на почти всеобщее отчуждение, на разочарования в конце пути? Она безымянна, но множество молодых душ, в ком живы были и жажда жертвы, и стремление «идти к униженным, идти к обиженным» (Некрасов), узнавали себя в ней. Узнавали и прощали даже несколько диссонирующий с общим пафосом вопрос, напоминающий о бакунинско-нечаевской «бесцеремонности» в средствах, их вседозволенность, вопрос к героине (вернее, ее самовопрос):

— Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.

* * *

Из парижского далека русская журнальная борьба порой представлялась Тургеневу в виде ужасного скопления раздраженных или готовящихся к бою полуварварских орд, потрясающих издали грубым оружием. Он помнил фонтаны сквернословия, которые извергались в полемике М. Антоновича и

Д. И. Писарева. Тогда в ход шли такие окрики: «умственная нищета» и «нравственная приземистость», «лукошко глубокомыслия», «ах ты, лгунишка», «о недоносок благосветловский», «недоразвившееся дитя» и т. п. Путь словесного безобразия становился порой дорогой успеха, а «прогулки по садам российской словесности» превращались в грубую толкотню среди столь же грубых противников.

К тому же царское правительство то закрывало журналы (после выстрела Каракозова в Александра II, несмотря на оду Некрасова в честь графа Муравьева, которому «вся Россия бьет челом», были закрыты «Современник» и «Русское слово»), то мечтало об «управляемых» журналах, о змеиной мудрости дирижирования хором журналистов.

М. М. Стасюлевич угадал эти мечты, уловил и использовал веяния, исходившие из кругов высшей бюрократии и двора. Нужен был не «взволнованный», не «вопящий» о проблемах, о реформах журнал, а... негромко, без угроз «разговаривающий»... о прогрессе, о просветительстве, о науке. Журнал, конечно, с либеральным лицом, но охлажденный, без каких-либо крайностей. Дело реформ вообще оказалось для незрелого общества утомительным. «Скачќа» вперед не получалось и... И нужен был журнал, где вся острота, нападки на бюрократию были бы «вымочены» как чеснок, как селедка в либеральном глубокомыслии. В таком журнале немыслим был, конечно, Ф. М. Достоевский — его пламенная мысль прожгла бы страницы «Вестника Европы». Здесь вообще не терпели какого-либо идейного «запоя» — идейной чрезмерности любого плана. Сюда не вбегали с улицы... Этим журнал и оказался нужным Тургеневу в это сложное, озаренное блеском пожаров, оглушаемое выстрелами террористов время. Он наряду с И. А. Гончаровым, опубликовавшим в «Вестнике Европы» «Обрыв», и Салтыковым-Щедриным (после закрытия «Отечественных записок») оказался среди немногих крупных писателей, авторов профессорского журнала.

В «Вестнике Европы» появляются практически все произведения Тургенева, начиная с «Бригадира» (1868) и кончая «Стихотворениями в прозе» (1877—1882), последними колосками с опустевшей нивы...

* * *

«Ярый коновод нигилистов и пропагандист всяких эмансипаций» (по мнению профессора и цензора А. В. Никитенко) Петр Лавров, полковник, философ и публицист, в своих «Исторических письмах» считал, что только «мысль есть единст-

венный деятель, сообщающий человеческое достоинство общественной культуре», что вся история есть процесс одухотворения, переработки культуры мыслью... *Зрячие* люди благодетельствуют слепым, платят долг тем, кто израсходовал на их прозрение свою энергию,— философия Лаврова содержит весомые вкрапления позитивизма,— и прозревший, развитой человек должен оплатить эти затраты, вернув «вечно трудящейся человеческой машине» недостающую ей мысль, энергию разума. Вернуть, даже жертвуя собой!

Лавров появился в Париже, бежав из ссылки в Вологодской губернии с помощью Г. А. Лопатина, в марте 1870 года. В 1872 году он переехал в Цюрих, где русская студенческая молодежь — в числе ее было много будущих участников и участниц хождений в народ — и стала слушательницей его лекций, читателем его издания «Вперед», заинтересованным свидетелем полемики П. Л. Лаврова с П. Н. Ткачевым.

Тургенев, судя по воспоминаниям Лаврова, иронически относился к его попыткам вдохновить либеральное окружение М. М. Стасюлевича на создание политической партии.

«Не положено «железа» в наши характеры, а вот малодушия, жажды спокойствия многовато...»

Тургенев внимательно следил за спорами цюрихских и лондонских вождей русской молодежи. Он знал, что в Цюрихе «страсти сильно разгорелись» (из письма П. Л. Лаврову 20 мая 1873 г.), что правительство требует возвращения из Цюриха русских студентов к 1 января 1874 года.

Тургенев предвидел и начало хождений в народ — с нестрой, эклектической программой, с брошюрами вроде тех, которыми будет начинен его Нежданов («И таких, что говорят: «Перекрестись да возьми топор», и таких, что говорят: «Возьми топор просто»),— и провал этих хождений. «В Вашей полемике против Ткачева Вы совершенно правы: но молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать, что можно было медленно и терпеливо приготовлять нечто сильное и внезапное... Им кажется, что медленно приготовляют только медленное — вроде постепенной реформы и т. д.»,— писал он П. Л. Лаврову 23 ноября 1874 года.

Увы, пронзительные идеи да еще тесные кружки, которые «страшно портят глазомер», как предупреждал еще Герцен, создали к весне 1874 года необходимый эмоциональный заряд... И весной этого года тысячи молодых «акушеров» двинулись в народ, чтобы ускорить «роды», народные волнения, восстания, новые пугачевщины и разинщины. Сновидения, невольно навеянные П. Л. Лавровым, П. Н. Ткачевым, стали для многих единственными программами деятельности.

Это была захватывающая — по благородству и вдохновенной слепоте — картина!

Многим из вчерашних студентов было неловко идти в деревни с белыми руками, без запаха пота... И они, стыдясь наивных уловок, старались скорее загореть на солнцепеке, намазывали лицо маслом... Софья Перовская ходила по селам вдоль Камы как оспопрививательница. А. Брешковская, будущая «бабушка русской революции», бесславно окончившая жизнь в стане Керенского, весной 1874 года надела крестьянскую одежду, прикинулась мастерицей по шитью, крашенью, вышиванию, исходила три губернии на Украине, читая мужикам брошюры. И что же в итоге? Среди сел — особенно среди крестьянок — распространился слух, что это, мол, бродит сама царица, переодетая в крестьянскую одежду...

Наиболее рассудительные перед походом, правда, учились кузнечному, сапожному, столярному ремеслам, присматривались к ухваткам, манере говорить рабочих, приучались не бояться блох, клопов, тараканов.

Что за брошюрки несла эта молодежь?

Они были, как все изготовленное без глубокого знания народа в Цюрихе, Лондоне, Париже, на редкость искусственны. Группа А. В. Долгушина, известная Тургеневу, создав типографию под Москвой, вооружала пропагандистов прокламациями: «Как должно жить по закону природы и правды», «О мученике Николае» и «К интеллигентным людям»...

...Тургенев, работая над романом «Новь» (с 1870 года), вовсе не помышлял иллюстрировать «хождения в народ», аресты, самоубийства, деятельность романтиков заговоров, поэтов конспирации, тайной дисциплины. Все это как бы подвернулось, но подвернулось не случайно. Он и на этот раз смотрел на главного героя сквозь призму вечного образа — шекспировского Гамлета. Но в какой «лес» он завел его!

«Мы уходим теперь в тот лес, сиречь в народ, который для нас глух и темен не хуже любого леса»,— говорит в романе перед началом хождений Паклин, комический и жалкий резонер, наполовину «свой» среди незримой организации «безымянной Руси»...

Вероятно, мог быть и другой «лес», и другие «грибы» и цветки, которые собирал бы в нем этот Гамлет, главный герой романа Нежданов. Могла всплыть Сербия и генерал Черняев, тоже увлекательный «лес» для энтузиастов национальной славянской идеи, наконец, уже знакомая по «Накануне» Болгария, куда стремилась Елена Стахова. Главное в ином — зародилась тоска молодых подвижников по реальному, ося-

заемому делу. Забился родник идеалистических порывов, во́ды его стремительно прибывали:

И верю я, тот час настанет,
Река свой край перебежит...

(А. Хомяков)

Куда «перебежит» река, куда потечет? В данном случае в «лес», в народ... Сложилась потребность жертвовать собой. А где Молох, приемлющий жертвы? Он, конечно, найдется...

«Какому Молоху собиралась она принести себя в жертву?» — спрашивает себя спутница Нежданова Марианна. И тут же отгоняет сомнения, «законопачивает» себя — так ей неприятен сквозняк сомнений, навеваемый реальными запахами, грубостью и темнотой «леса», что она обрубает сомнения. «Однако — нет! Быть не может! Это — так; это случайно и сейчас пройдет...»

И это не в начале хождений, а в финале, когда перед ней лежит жертва Молоха — Нежданов, бледный, у которого даже во сне мучительно стянут лоб... Его привезли полумертвого после самого длительного «хождения»... Чего только он не делал, ублажая этот «лес»! И кричал проходившим мимо его подводы мужикам: «Что, мол, вы спите? Поднимайтесь! Пора! Долой налоги!» И подходил к хлебным амбарам, пробуя бунтовать народ там. И наконец, сдавшись на грубое приглашение, попал в традиционный пункт свободомыслия, в «парламент», в кабак, где ему сунули в руки «тяжелый, полный снаружи, словно потный, стакан: «Пей, коли ты точно о нашем брате печалуешься!»

Факты — ничто, иллюзии — важнее их. И не смущена, однако, Марианна. Она — часть той силы, о которой писал П. Л. Лавров в программе издания «Вперед!» в 1873 году: «Много ли нас, мало ли — сочтете в день настоящей борьбы...

— Мы — всюду: в кружке эмигрантов, оторванных от родины, в одинокой ссылке в безлюдном городе, в далеком разоренном селе, в сонном уездном местечке, на базаре ярмарки, на площади столицы... Мы сильны не богатством — его можно отнять — Мы сильны потому, что мы — всюду...»

Эти лозунги, льстящие сердцу заговорщиков, конспираторов, сектантов, скорее относятся к тем, кто вошел в роман сложившимися бойцами, отшлифованными и стандартными конспираторами вроде мужеподобной Машуриной, Остродумова. Вроде скачущего по всем губерниям Кислякова и совсем уж таинственного Василия Николаевича (Нечаева), кто и «нумерует» этих функционеров. Во всем движении бунтарей, двинувшихся в эти скудные селенья, в «край родной долготерпенья», есть

фигуры «готовые» и «сырые», еще «готовящиеся», вроде Нежданова и Марианны. Соломин, герой иного плана, не верящий, как и автор, в сны «золотые» о «батюшке Степане Тимофеевиче», спрашивает Нежданова с улыбкой о готовности к делу:

«— А вы, Нежданов, готовы?

Нежданов нахмурился слегка.

— К чему этот вопрос? Я вам докажу мою готовность на деле.

— Я не сомневаюсь в вас, Нежданов; я только потому спросил вас, что, кроме вас, я полагаю, никто не готов.

— А Маркелов?

— Да! вот разве Маркелов. Да тот, чай, родился готовым».

«Готовых», видимо, было не так уж много, и они не столь интересны для Тургенева, чем «неготовые», но упрямо, настойчиво, жертвуя собой, идущие в «лес». Интересна ему сама жажда стать «готовым»!

«Мелькнула мысль нового романа. Вот она: есть романтики реализма (Онегин — не пушкинский, а приятель Рольстона). Они тоскуют о реальном и стремятся к нему, как прежние романтики к идеалу»,— так записал Тургенев замысел «Нови» (29 июля 1870 г.).— Они несчастные, исковерканные и мучатся самой этой исковерканностью, как вещью, совсем к их делу не подходящей...».

Тоска по реальному — и вдруг предельно реальное, грязный кабак! Жажда облагодетельствовать народ, прекрасная как мечта, как дальность — и вдруг в руках недавнего книжника динамитный снаряд, вдруг взрывы, кровь! И чаще всего не самого тирана, а десятков солдат, тех же крестьян в солдатских шинелях! Многие не выдерживали этих контрастов...

Едва ли предполагали даже те, кто был предназначен П. Л. Лавровым на роль мучеников, на роль «людей-легенд», какие разочарования их ждали. В. Н. Фигнер, тоже одна из читательниц П. Л. Лаврова и поэта немедленных восстаний П. Н. Ткачева, с изумлением вспоминала позднее о судьбе своих подруг по женскому ферейну (союзу) в Цюрихе: они, горячо спорившие обо всем, в том числе и о проблеме самоубийства, не предполагали тогда, в 1872 году, что между спорящими было пять будущих самоубийц — Бардина, Хоржевская, Каминская, Завадская и сестра Д. И. Писарева Гребницкая.

Эта «неготовность», своеобразный гамлетизм в душе и одновременно тоска по реальному создали для студента Алексея Нежданова множество неловких положений, сделали его странной фигурой во всей народнической группе.

Незаконный сын богача князя, идеалист по натуре, тайно

пишущий стихи, он, в сущности, не понимает, в какую грозную рать попал. Когда аристократ и камергер Сипягин, «прогрессивный» консерватор, затевает с ним, с представителем молодого, оппозиционного поколения, беседу в театре, Нежданов недоумевает: «Зачем этот человек словно заискивает во мне? Этот аристократ — и я?! Как мы сошлись? И что его привело ко мне?»

Нельзя, бесспорно, приписывать Сипягину излишнюю прозорливость, дар предвидения того, какой страшной силой станет, скажем, для царских сановников исполком «Народной воли». Однако многие царские администраторы это очень скоро почувствовали. Обыватель продолжал по привычке смеяться над нигилистами, режущими лягушек, заводящими нетрадиционные семьи, «косматыми» существами, а наиболее прозорливые сановники, скоро узнавшие их на допросах, в залах суда, чиновники, жандармские полковники, судейкины, увидевшие всю систему конспирации, дисциплины, зябко поеживались в своих дорогих шубах, в сильно натопленных кабинетах.

Но Нежданов слабо ощущает, в какую могучую организацию он попал, хотя исповедует новую веру предельно истово.

И все же он случаен в сообществе Машуриной, Остродумова и таинственного повелителя душ Василия Николаевича (Нечаева), который рассылает письма, приказывает кого-то в организации сместить, «а не то и вовсе устранить...».

* * *

Кто такой Отто (он же Александр Федорович) Онегин, прототип Нежданова?

Пестра, часто мелка, антиэстетична была толпа пришельцев из России, что захлестывала порой парижское жилище Тургенева... Полина Виардо смотрела на эту толпу косо, с появлением многих, чаще всего просителей, уходила к себе. Иные просили денег или помощи в продвижении блеклых рукописей не сразу, а затеяв сердобольный разговор о новых способах леченья... подагры... Например, электричеством!.. Другие начинали нервно курить и где-то в перерыве между двумя затяжками почти выкрикивали:

— Тургенев, дайте денег!

Таких сконфуженный Иван Сергеевич, одарив некоей суммой, любезно провожал до дверей и, вздыхая, объяснял свою доброту:

— Это очень застенчивые и робкие люди, они лишь напускают на себя ухарство, чтобы выйти из тяжелого положения...

На возражения, что иной проситель не прав, что он, вообще излишне груб, Тургенев отвечал:

— Жрать ему нечего, вот поэтому он и *прав*!

Приходили люди, обнажавшие перед Тургеневым в своих просьбах или упреках какие-то новые реальности, острейшие вопросы безумной русской действительности.

Среди этой пестрой публики не затерялся, а запомнился человек весьма странного характера, безусловной одаренности и в то же время явный «никудышник» — Отто Онегин...

Легендами овеяна уже тайна (или несчастье) его рождения. Он, сын неизвестного отца, чуть ли не великого князя, сделал своей фамилию пушкинского героя, уехал из России в 24 года и вскоре стал создателем коллекции Пушкинского музея, в основу которой была положена коллекция его друга и ровесника П. В. Жуковского, сына поэта.

Тоска по реальности, по России удовлетворялась таким собирательством. Но этой реальности все же маловато. А. Ф. Онегин дружен с Н. Н. Верещагиным, мелькает и на концертах П. Виардо, он помогает Тургеневу при покупке картин. Здесь и начались его самобичевания, парения и «закисания» души.

В декабре 1869 года, вскоре после знакомства, Тургенев «досочиняя» образ Онегина — Нежданова, неимоверно возвышает его: «Ваше душевное состояние меня не удовлетворяет. Не потому, что оно мрачно и раздражительно — это ничего; но бодрости в Вас мало. Своею наружностью и некоторыми чертами характера Вы мне напоминаете Белинского; но тот был молодец, пока болезнь его не сломила. Самолюбив он был так же, как Вы; но он не истреблял самого себя — а главное: он никогда не беспокоился о том, что о нем подумают, так ли его поймут и т. д. Он шел полным махом вперед, радостно и резко высказывал все, что думал, а кто его не понимал или понимал ложно — ну, наплевать! Вот этой-то *безоглядочности* я желал бы Вам побольше...»

В этом же письме — в сущности эскизе к характеру Нежданова! — дается характеристика и друга Онегина П. В. Жуковского, натуры полухудожественной, мягкой... В Жуковском много трепета и биения грусти, но это все не болезненно, а грусть «придает особый *переливчатый* колорит эстетическим наслаждениям». «За него я не боюсь — и ничего от него не ожидаю», — заканчивал это интереснейшее письмо Тургенев.

Вложив в Нежданова, в романтика реализма, как некогда в Базарова, столько качеств рефлексирующего героя, человека 40-х годов, в конце концов себя самого, Тургенев, бесспорно, не мог угодить ни деятелям «Земли и Воли, ни тем более народовольцам. *Здесь* знали и сильные личности, скажем, того же П. Г. Заичневского, автора прокламации «Молодая Россия», который в Орле с 1873 года «был магнитом, который при-

влекал учащуюся молодежь». Тургенев лишь намекнул, что есть какой-то чрезвычайно крепкий «бредень», «сеть» подпольной организации. Он, бредень, скреплен волей, энергией и авторитетом несгибаемых вожаков. Но в центре романа Нежданов — одна из «рыбешек», попавших в него. Сильные личности остались за кулисами.

...Самодовольный сановник Сипягин, приглашая Нежданова в наставники сына, увозя его в свое имение из петербургской каморки, не предполагал, что в одном отношении Нежданов все же резко отличается от былых нигилистов. И прежде всего от ставшего уже нарицательным Базарова.

Да, он, Нежданов, мучится в новой среде. Ему постыден собственный идеализм, страстность, робость и... писание стихов! Выбить все это крайним фразерством, криком не удается. На протяжении романа он дважды «внезапно зазвеневшим голосом» выкрикивает набатные призывы. Когда Марианна говорит ему, что «мы будем полезны, что наша жизнь не пропадет даром, мы пойдем в народ», он не просто соглашается с ней...

«На край света!— воскликнул Нежданов и голос его внезапно зазвенел от волнения и какой-то порывистой благодарности».

В методах пропаганды — особенно в кабаке — он всегда идет до конца: с головокружительным отчаянием он пьет даже сивуху, выкрикивает призывы. Лишь бы раз и навсегда выйти из тени Гамлета!.. Лишь бы гадалка Фимушка не сказала о нем, мягком и совестливом, свое словечко: «жалкий»...

Собственно, для него искал — и нашел!— Тургенев и то слово, которое должно было стать столь же популярным, как нигилист. Он услышал это слово — о народниках, переодетых в крестьянское платье,— на деревенской свадьбе. Молодая баба вспомнила о них: «А, говорит, знаю! Это те, что... И сказала она такое слово,— у меня даже холод по спине пробежал: — Вот оно, думаю, слово то, настоящее. Она употребила глагол, я из него сделал прилагательное. Оно, собственно, означает человека, который совсем желает сделаться простолюдином»,— рассказывал Тургенев об этой находке Н. А. Островской.

— Какое же это слово может быть? «Опростонародиться»?

— Нет. Опростонародиться — все-таки заключает в себе нечто вроде осуждения, а она просто определила... Да нет, не спрашивайте!

В романе для этого слова была создана акустически-выгодная среда, оно было приподнято, выделено. Когда простая рус-

ская женщина Татьяна приносит Нежданову и Марианне крестьянскую одежду, она говорит:

«— А, вот что! Ну, теперь знаю. Вы, стало, из них, что опроститься хотят. Их теперь довольно бывает.

— Как вы сказали, Татьяна? Опроститься?

— Да... такое у нас теперь слово пошло. С простым народом, значит, заодно быть. Опроститься. Что ж? Это дело хорошее — народ поучить уму-разуму. Только трудное это дело! Ой, тру-уд-ное! Дай бог час!

— Опроститься! — повторяла Марианна. — Слышишь, Алеша, мы с тобой теперь опростелые!

Нежданов засмеялся и тоже повторил:

— Опроститься! опростелые!»

Вкус слова Тургенев ощущал, кажется, всем своим существом.

И все же, повторяем, в одном отношении «опростелый» Гамлет — Нежданов уже принципиально иной. Совсем не рефлектирующий, совсем не расплывчатый.

Таков он в неприязни, даже в ненависти к бюрократии, к сановному чиновничеству, жаждущему личного благоденствия. Сарказм Тургенева не знает предела, едва он обращается к этому чиновничьему «ордену», к его воспевателям и борцам за престиж власти, за тот престиж, которым она сама... не дорожит! Имена М. Н. Каткова и его клеврета Б. М. Маркевича (он упоминается как модный писатель «Ладислас» реакционером Калломейцевым) попадают в особый контекст.

Отчего так бездарно чиновничество на Руси?

Чиновничество оттого бесталанно и тормозит все, что это своеобразный труд по найму, труд людей, чаще всего занумерованных и посаженных в ячейки целой иерархии подчинений и послушаний. Никогда это застылое чиновничество не вровень с явлениями жизни. Безнадежно отставая в управлении умами, новыми нарождающимися явлениями, оно все время стремится снизить даже стандарт потребностей человека, особенно духовных. Оно всегда хотело «собрать все книги бы да сжечь». Ведь тогда, как писал автор безымянного письма в газете «Наш век», будет спокойнее!.. «В русском человеке разные социальные невзгоды довели потребности до такого минимума, что, во-первых, нужно слишком большую нужду, чтобы он протестовал, во-вторых, слишком немного уступок нужно, чтобы заставить его замолчать и уступать...»

* * *

...Марианна, племянница Сипягина и одновременно бесплатная гувернантка в его доме, — образ в чем-то холоднова-

тый, рационалистичный, отчужденный от русского читателя. Уже имя героини — символическое имя Франции — Марианны, имя дочери Полины Виардо — отчуждало ее, как экзотический цветок, от тех русских берез, среди которых она назначила свиданье Нежданову перед бегством из усадьбы.

Кое-что потускнело, конечно, в искусстве Тургенева в последнем романе под воздействием усталости, болезней, разлуки с Родиной. В этой Марианне есть строгость, есть решительность, есть присяга в душе, но нет, к сожалению, спутанной, загадочной силы страстей. Ее и в любви не несет волшебная сила случая, тайны, не подвластной ни ей, ни избраннику. Есть логика, есть расчет, но где страстная и просветляющая темнота благородного заблуждения, где муки высвобождения себя самой из-под гнета обыденности?

Не зажегся какой-то внутренний свет в героине и позднее, когда она наблюдала разлад в Нежданове, видела рост его безверия. Не поняла она душой и вещим инстинктом его исповеди перед самоубийством и... как-то рационально, по уму — и по расчету автора! — стала сподвижницей Соломина.

Тургеневские девушки вовсе не были бесчувственными резонерками, им невыносима роль быть объектом изучения, объектом бессильной и «бесстрашной любви», предметом поклонения, чистого товарищества. Для Аси («Ася») или даже Татьяны («Дым»), не говоря уже о девушках-демонах вроде Зинаиды («Первая любовь») или Ирины («Дым»),— такое «не целуй» было бы даже возмутительно: бесполое отношение к женщине есть бессердечное отношение! Это пренебрежение к ее чувствам, к ее полу, к ее воле! Тургенев, возможно, знал, как бурно и презрительно ответила М. Л. Огарева своему праздному, томному поклоннику, вялому барону И. П. Галахову, добивавшемуся ее внимания три года, а затем застывшему в полной нерешительности: «Страсть сама в себе носит свое право. И почему смотреть на обладание женщиной с суеверным страхом и обставлять его тысячью условий как некое священнодействие?.. Вы же и впредь останетесь мне дороги, но только как книга...»

Марианна с самого начала как будто «читает» и Нежданова, и Соломина, как две книги наставлений к полезной деятельности. И не оскорбляется бесполым, «безглазым» отношением к себе.

А впрочем, оба героя, да и сама героиня в известной мере, и были «книгами». Одна, дочитанная, исчерпанная, закрытая на финальной главе истории русского Гамлета, который умоляет великую тень: «О Гамлет, Гамлет, датский принц, как

выйти из твоей тени?» Другой Соломин — прозаичный, нарочито «дегероизированный» антиромантик — это книга, развернутая на первых страницах...

Управляющий фабрикой купца, сноровистый практик, презирающий всякое вспышкопускательство, Соломин был задуман как образ-утешение, образ-надежда: «Натура грубая, тяжелая на слово, без всякого эстетического начала — но сильная и мужественная. У него своя религия — торжество *низшего класса*, в котором он хочет участвовать. Русский революционер».

Он присутствует на беседах — и в нищей усадьбе Маркелова, и у купца — новых друзей народа, замечая «невольное отсутствие этого самого народа, без которого ничего ты не поделаешь» и которого долго готовить надо — «да и не так и не тому, как те». Он не хитрец и не виляка, он единственная зрячая голова среди возбужденных, вдохновенных слепцов. Нежданов ему симпатичен, но почему, спрашивает Соломин, так много среди двинувшихся в народ, как в темный лес, недоучек? Соломину смешны доводы: учеба, мол, нечто *примиряющее с* пошлостью жизни, с государством... Учишься-учишься — глядишь, и увлечешься, забудешь о том, что пора идти в народ! А то и вовсе — пойдешь на службу к «тиранам», к купцам, к железнодорожным магнатам... Какая слепая недооценка знаний! И это в стране, еще неграмотной, не имеющей навыков современного хозяйствования!

Соломин не уважает и купцов. Они и своим-то добром владеют как хищники. Все деловые отношения в России лишены правильности, многое решается по-бандитски «эмоционально», грабительски: «Тебя грабят... и ты грабишь».

Соломин всматривается в Нежданова, во многих идеалистов-бунтарей с глубоким сожалением. Да как же его занесло в эти трактиры с пучком прокламаций, которыми он наивно хочет мир невежества и темноты перевернуть? Кто спросил его и кому он сказал «да»? Ужаснее всего, что самые важные решения принимались молодыми подвижниками в состоянии дурного опьянения, среди хаоса чувств без мысли. До эшафота доходили, ни разу всерьез не обдумав своего пути! В. Н. Фигнер не случайно вспомнила о многих случаях самоубийств среди первых пилигримов революции, пошедших в народ... Все узнается многими уже в походе, «внутри движения». А до этого? Одно туманное желание подвига, самопожертвования... Может быть, и Нежданов, как героиня «Порога», не знал всего, что ожидало его? Может быть, при торопливости, спешке, суетливо-дружеских объятиях — «ты наш, пошлость тебе презренна, ты светлая личность, ты титан!» —

никто и не дал ему всерьез обдумать свое решение... Когда думать, когда решать — если... Если сразу нужно что-то сочинять, кого-то укрывать, для чего-то доставать деньги, заграничные паспорта, типографские шрифты. Если некий Кисляков уже пишет такие зажигательные письма! Маркелов, пламенный и готовый бунтарь, говорит об этом неведомом вспышкопускателе: «Вы удивитесь! просто — огонь! И какая деятельность! Раз пять или шесть всю Россию вдоль и поперек проскакал... и с каждой станции письмо в десять — двенадцать страниц!»

Соломин не верит во внезапные стремительные исцеления от бед и болезней. Рухнет господство сипягиных, и ты все равно очутишься лицом к лицу с той же народной Россией, еще не образованной, не понимающей своих же выгод. Ему смешны надежды на что-то «готовое» — на ту же общину, как ячейку социализма,— эти надежды рождены ленью байбаков, не умеющих терпеливо трудиться. Да ведь общинное владение землей — без естественного противовеса в виде единоличной собственности — ведет к появлению «мироедов», вся энергия которых направлена на поедание, завуалированное закабаление своих же однообщинников! Разрушать старое — так разрушать до конца, не делая «пауз» в виде общины...

«...Настоящая, исконная наша дорога — там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины»,— говорит в финале романа все тот же Паклин. Он как будто заглянул в «книгу», каковой и кажется весь характер русского бизнесмена, чуть дальше остальных. В это хотелось верить прежде всего автору... Но революционная молодежь, потерпевшая крушение в хождениях в народ, не хотела этой серой простоты. Тень Гамлета рассыпалась, улетучилась при первых же взрывах бомб террористов. На стенах, раздираемых силой динамита, не держатся призраки былых времен! Террор... Единственная возможность для малочисленной армии при консерватизме крестьянских масс противопоставить силе силу. Не штурмовать твердыни царизма, защищенные армией, бюрократией, неосознанным консерватизмом патриархальных масс, а обойти их с тыла, поразить тиранов позади этих твердынь, оставив безучастной и армию, и весь аппарат подавления... Но это новое превращение, новую метаморфозу в облике молодой России Тургенев будет только созерцать, как чуткий, встревоженный зритель... Письменный стол его для этих тем был, «хрупок»...

НЕДОЛГИЕ ОЧАРОВАНИЯ

Русская женщина все разом отдает, коль полюбит — и мгновенье, и судьбу, и настоящее, и будущее: экономничать не умеют, про запас не прячут, и красота их быстро уходит в того, кого любят.

Ф. М. Достоевский. Подросток (1875)

Я не принадлежу к той школе, которая полагает, что надо стараться утаить шило в мешке; напротив, пусть оно выйдет наружу: значит, в этом месте мешок гнил. И вот почему я, постепеновец, не обинуясь, готов помочь появлению произведения, написанного революционером.

И. С. Тургенев. (Из письма М. О. Ашкинази 29 января 1880 г.)

...Бенефис актрисы даже Императорского Александринского театра — счастливый миг самоуважения, возможность блеснуть.

Бенефиса ждут долго, добиваются нередко с помощью поклонников. Годами играет актриса, с тревогой считая дни молодости, в мелодрамах... В таких «впечатляющих» мелодрамах, что собаки провинциальных городов нередко заливаются лаем, уставившись на театральные афиши, с которых как будто каплет кровь и исходит крик зловещего брюнета, что «рвет страсть в клочья». Возможность выбрать пьесу для бенефиса — с человеческими интонациями, с обилием скрытого и тонкого драматизма, с чудесным русским Словом — порой редкий подарок судьбы, «пауза» в житейской суете.

К бенефису, особенно в провинции, готовятся и художники, и гримеры, предвкушая последующий пир, и работники сцены, замечающие вдруг, что на задних кулисах, нередко старых, гнилых, и «облака истерзаны в клочья», и «река просвечивает», и вал для поднятия занавеса — со сломанными зубьями...

Мария Гавриловна Савина случайно отыскала пьесу Тургенева «Месяц в деревне». В 1879 году ей, получившей право на бенефис, было 25 лет, и она, актриса Александринского театра, прекрасно знала репертуар и столичных, и провинциальных театров. На старости лет человек разговорчив, и она охотно припоминала много лет спустя старый театр: «Все играли, что дают... И драму, и водевиль, и комедию, и оперетку... И пели, и, когда нужно, плясали, и в дивертисментах стихи читали... Я сколько раз в малороссийских пьесах участ-

вовала, и гопака танцевала, и «пісни співала»... А как театр боготворили! Когда мне дали первую роль с ниточкой,— так, «роль с ниточкой» называлась короткая роль, сшитые две-три странички — я на седьмом небе витала, как светлому празднику ей рада была. И под подушку-то на ночь клала, и перед зеркалом-то с ней по целым часам вертелась... Забывала, что жалованье — всего 25 рублей в месяц, и платьишко-то в сезон раз пять перевернешь да перешьешь. И в этом-то платьишке кочуешь из Калуги в Смоленск, из Орла в Казань... Молодость — завей горе веревочкой!»

М. Г. Савина (Подраменцова) родилась в Каменец-Подольске в 1854 году, в Александринке часто играла наивных простушек, которых безуспешно соблазняли «дежурные брюнеты», традиционные франты в белых брюках, с тростью, с серебряными портсигарами и самоварного золота цепочками.

К моменту знакомства с Тургеневым добродушно-плутоватая Мария Гавриловна уже побывала замужем за П. Н. Савиным, некогда офицером флота, плававшим к берегам Южной Америки, героем кутежей, растрат. На его глазах она готовилать ко второму замужеству с Никитой Всеволожским, человеком, близким к придворным кругам, владельцем имения под Пермью. Третий ее брак — с А. Е. Молчановым, богатым дельцом и меценатом,— состоялся в 1910 году.

Впрочем, сколько бы ни менялись ее житейские обстоятельства (она дожила до 1915 года), для Тургенева она всегда оставалась самой идеальной, чистым человеком театра, Савиной...

М. Г. Савиной суждено было не только чудесно сыграть роль Верочки в почти забытой комедии «Месяц в деревне», а затем, после смерти Тургенева, и Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде». Она вызвала в писателе много забытых или впервые испытанных, неведомых для него чувств. Это была та последняя любовь, перед лицом которой Тургенев мог бы умолять судьбу:

Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Тоска по реальному — а Мария Гавриловна, человек совершенно народный (совсем не эфемерная тень вроде Е. Е. Ламберт),— как будто превратила и Тургенева в романтика реализма. И странная спутанность поступков, полуромантичных, робких и отчаянно смелых, окрасила вечерний час его жизни!

Целых двенадцать прелестных писем в течение шести недель напишет ей Тургенев в 1880 году,— взволнованных,

грустных, тоскливых, мечтательных. Вместе с Тургеневым будет Савина читать сцену из «Провинциалки», в которой хитренькая и ловкая провинциалка Дарья Ивановна очаровывает стареющего столичного льва графа Любина. Так совпали игра и жизнь. Сцена эта начиналась с реплики провинциалки: «Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?»

И все последующее — в давней пьесе и в жизни, в поведении графа Любина и Тургенева, очарованного молодостью и красотой Савиной,— совпало.

Ф. М. Достоевский, слушавший чтение «Провинциалки», не преминул добавить свою ядовитую реплику и «снизить» всю игру. Подойдя к М. Г. Савиной и молчаливо косясь на шестидесятилетнего Тургенева, он сказал:

— У вас каждое слово отточено как из слоновой кости... А старичок-то пришепетывает...

Недобрая наблюдательность... Но Тургенев давно был перед духовным взором Достоевского как разжатая ладонь перед взором гадалки — со всеми линиями судьбы и несчастья. Он глядел на него из другого «космоса»... И о «науке страсти нежной» оба имели различные представления.

«Почтовые» романы Тургенева, его «художественные» письма для Достоевского, человека совсем другой страсти, иной одержимости,— это тоже «пришепетывание» в духе Манилова. Истинная страсть не знает порядка, разумности, она творит свою мучительную гармонию, не изъясняется напевно, по законам поэтической метрики. Вот уж когда действительно «мысль изреченная есть ложь»! Не пытаясь делать нескромных догадок, обратившись лишь к некоторым страницам писем Достоевского, скажем, тех же 1879—1880 годов, писем к жене Анне Григорьевне Достоевской, заметим только, что весь склад чувствований великого писателя был и более земной, и, одновременно, молитвенно-пламенный:

«Себя же, как зеницу ока, береги, *для меня* береги, слышишь, Анька, для меня и для *одного* меня. Так вы кутите и ходите на балы, сударыня? С какой же целью? (Зачеркнуто $^1/_2$ строки). Анька, голубчик, здоровей, милая, не простудись, сохрани себя — ты нужна и мне, и деткам».

«Молюсь об вас. А рядом с молитвой и всякие *странные* думы. Не могу удержать, а нервы расстраиваются. Уже и теперь накопилось кое-что секретное, что обыкновенно мы рассказываем друг другу, в первый день по возвращении моем из долгого отсутствия, сейчас после обеда, в роде того, как, бывало, запираемся деньги считать. Анька, как хочется мне поскорее обнять тебя, не в одном этом смысле, но и в этом

смысле, до пожару... Целую тебя в губки, потом ручки, потом ножки, потом всю» (Эмс, 30 июля 1879 г.).

Вероятно, такие письма не подлежат вообще огласке — их музыка, сумбурная, хаотичная, понятна и хороша лишь для двоих, эти двое слышат в ней наиболее отчетливо и чистоту, и замутненность чувств, и молитвенный экстаз, и чувственную привязанность. Удивительно в этих письмах одно: Достоевский не господствует над своими чувствами, его непрерывно пленяет восторг внезапный, восторг расточительный, безмерный, спутанный.

Непостижимое в движениях чувств, лишь изредка открывающееся человеку в хаосе неизвестного, темного, окружающего нас. Об этом не раз говорил и Тургенев (но лишь говорил, вовсе не сливаясь с той мучительной жутью, что охватывает, например, Валерию в «Песне торжествующей любви»), господствуя над всеми порывами,— оно же, это таинственное начало, приближается именно к Достоевскому. Он сам жил в стихии, а не вне стихии торжествующей любви.

* * *

Но были исключения... И один раз в мае 1880 года, когда М. Г. Савина проезжала на гастроли в Одессу через Мценск и Орел, Тургенев с юношеской решительностью выехал из Спасского, вошел в Мценске в поезд, провел вместе с Савиной и ее подругой один час в пути до Орла и едва не утратил господства над своими чувствами, помыслами, едва не перестал художествовать... Он был близок к тому, чтобы *опомниться от благоразумия:* «Меня подмывала уж только *отчаянная* мысль... схватить Вас и унести в вокзал... Третий звонок раздался бы, вслед за ним крик Раисы Александровны — может быть, и Ваш — но было бы уже поздно... Но благоразумие — к сожалению — восторжествовало...» (Из письма 17 мая 1880 г.).

Радости это благоразумие не принесло, мысль о том, что «только раз бывают в жизни встречи» — и для жизни, а не для литературы,— не оставляла Тургенева. И через два дня он опять пишет — уже только пишет! — с редкой страстностью замечательнейшее письмо Савиной из Спасского: «Вот уже третий день, как стоит погода божественная, я с утра до вечера гуляю по парку или сижу на террасе, стараясь думать — да и думаю — о разных предметах — а там, где-то на дне души, все звучит одна и та же нота. Я воображаю, я размышляю о Пушкинском празднике (о торжествах в связи с открытием памятника А. С. Пушкину в Москве.— *В. Ч.*),— и вдруг заме-

чаю, что мои губы шепчут: «Какую бы ночь мы провели... А что было бы потом? А господь ведает!» И к этому немедленно прибавляется сознание, что этого никогда не будет и я так и отправлюсь в тот «неведомый край», не унеся воспоминания чего-то, мною никогда не испытанного... Вам это с полугоря... вся Ваша жизнь впереди — моя позади, и этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство Вы мне внушили. Влюблен ли я в Вас — не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию — и к отданию самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне... Я, вероятно, вздор говорю — но я был бы несказанно счастлив, если бы... если бы... А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом... Жаль для меня — и осмелюсь прибавить — и для Вас, потому что уверен, что и Вы бы не забыли того счастья, которое дали бы мне»[1].

Прекрасное, пушкинское по чистоте души письмо — в нем последние силы Тургенева уходят на разрушение своего благоразумия, своих привычек округлять, гармонизировать мир.

Как относилась сама Мария Гавриловна, тогда 25-летняя «инженю», к этой встрече, неожиданно свалившемуся на нее успеху, столь непохожему на закулисные интриги, на игру страстей в мире талантов и поклонников? Может быть, ее поразило и трогательное снисхождение Тургенева к ее замужествам? До Тургенева, видимо, доходило и явное неравнодушие М. Г. Савиной к герою русско-турецкой войны 1877—1878 годов М. Д. Скобелеву. Он вместе с ней грустит о его безвременной и едва ли естественной смерти, он возмущен жестокостью надругательства: «Судьба не щадит великих русских людей — но в этом случае она уже слишком жестоко надругалась над нами, заставив этого героя умереть ...в доме терпимости!!! — Великое и тяжкое горе для всех Русских!» (Из письма 27 июля 1882 г.). Может быть, она испугалась резкой разницы уровней

---

[1] А. Ф. Кони, которому М. Г. Савина показала это письмо уже в XX веке, письмо, тогда еще не напечатанное, написал ей: «Сколько в нем «дерзостной чистоты» помыслов, какой язык и какая реальная поэзия. Он весь тут — этот гигант, этот Монблан русской литературы, с ребячески чистым сердцем и воспламененным ко всему прекрасному сердцем. Но Вы, Мария Гавриловна, вы выходите из этого письма, как античная статуя из рук ваятеля... Это письмо — ваше право на гордость, на сознание своего превосходства над многими» (Тургенев и Савина. Пг., 1918, с. 71).

культуры? Но одновременно была польщена таким удивительным поклонением, удивлена яркостью, нередкой пылкостью писем и усложненностью «полуотеческих», полу... других чувств необыкновенного поклонника.

...Но и бурное расставание на орловском вокзале, и появление Савиной в роли Лизы в «Дворянском гнезде» («вынесла все муки ада, стараясь олицетворить этот чудный образ достойно памяти Ивана Сергеевича»), и тем более ее воспоминания о друге и великой рекламе ее имени — все это было позднее.

В 1879 году все было проще и деловитей.

Без особой радости, равнодушно ответил Тургенев на просьбу Савиной о сокращениях, «урезах и вырезах» в пьесе «Месяц в деревне». С недоумением говорил он одному из внелитературных друзей, придворному дантисту Алексею Васильевичу Топорову:

— Не понимаю я, с какой стати ей пришла в голову мысль взять эту невозможную в театральном смысле пиэсу!

...Игру Савиной 15 марта 1879 года в роли Верочки Тургенев — «такой симпатичный, элегантный «дедушка», по весьма эмоциональной оценке актрисы, — наблюдал из директорской ложи. Верочка (Савина) выбегала на сцену в коротком платьице, с фартучком. Сверкающие счастьем молодости глаза, милая непоследовательность расшалившейся девочки, готовой бежать за бумажным змеем учителя Беляева... И вдруг — какие быстрые переходы! — первая оглядка на себя, свою девичью красоту, на свои одновременно и страшные, и такие сладкие ожидания любви. А вскоре и первые муки ревности!.. С каким достоинством этот вчерашний ребенок, в первом акте неизвестный самому себе, говорит опытной сопернице, хозяйке дома Наталье Петровне, «победившей» в соперничестве и все-таки несчастной, о своем прозрении:

«Поверьте мне... не хитрите больше. Эти хитрости теперь уж ни к чему не служат... Я их насквозь вижу теперь. Поверьте. Я, Наталья Петровна, для вас не воспитанница, за которой вы наблюдаете (*с иронией*), как старшая сестра... (*Пододвигается к ней*). Я для вас соперница...»

Впоследствии — в 90-е годы и даже в начале XX века — замечательная актриса играла и Наталью Петровну...

Сейчас же Тургенев изумился не игре только, а чуду театра,— глядя, как его слово, его воображаемый силуэт наполнялся страстями, горестями, стал человеческой судьбой. Он растерянно говорил после окончания спектакля:

— Верочка... Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на нее внимания, когда писал... Все дело в Наталье Петровне...

* * *

Успех почти забытой пьесы 1850 года, провалившейся в 1872 году, более чем дружеское отношение Савиной к элегантному «дедушке», были, конечно, драгоценным для Тургенева лучиком признания, «кусочком» в мозаике событий зимы и весны 1879 года. Кончалась полоса насильственного и злобного отчуждения его, полоса непрерывного и совсем не безобидного высмеивания в журналистике всего «тургеневского».

Оказалось, что множество молодых душ нуждалось как раз в «тургеневском»: в чудесном богатстве эмоций, в «веществе души», избавленном от цинизма, жестокости, овеянном поэтической дымкой, мечтательностью. Как будто с легкой руки Верочки — Савиной! — целая кампания признаний стала сопровождать Тургенева в Петербурге и Москве.

15 февраля 1879 года группа молодых профессоров Московского университета во главе с будущим кумиром кадетских «Русских ведомостей», депутатом Первой и Второй дум М. М. Ковалевским устроила обед в честь Тургенева как «гражданского и эстетического воспитателя поколений».

Через два дня на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете Тургенева как автора «Записок охотника» приветствовал от имени студентов П. В. Викторов.

Новый обед — 6 марта 1879 года — в московской гостинице «Эрмитаж» с группой профессоров и литераторов.

В Петербурге банкетная кампания набрала новую высоту — 12 марта состоялся литературный обед в модном ресторане Бореля, где Тургенева приветствовали известный юрист В. Д. Спасович, Д. В. Григорович и один из столпов профессорской культуры К. Д. Кавелин.

* * *

Встреча с Савиной и начавшаяся полоса чествований и либерального бума — его оборвет новое покушение на царя в апреле 1879 года, выстрел А. Соловьева — не изгладили из памяти Тургенева другой прекрасный образ, увековеченный незадолго до этого в одном из лучших «Стихотворений в прозе».

«Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже

слез»,— писал Тургенев в стихотворении «Памяти Ю. П. Вревской».

...Одно из первых упоминаний о баронессе Юлии Петровне Вревской относится еще к 1874 году. Неудержимая потребность в женском внимании, в особом любовном напитке, не «пьянящем», а волнующем и тревожном, заставила его искать встреч, переписки, бесед с ней. Это один из тех романов, который освещен солнцем осени, тем солнцем, что «стоит, не грея, на лазури» (Некрасов).

В письме Ю. П. Вревской 9 сентября 1874 года Тургенев позволяет себе чуть кокетливые озорства мысли: «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными,— а главное — свободными людьми...

Докончите фразу сами. Зачем Вы мне не прислали то большое письмо, которое Вы начали?»

Никакого мятежного жара, губительной силы чувства в этом романе нет. Если и есть поединок душ, то отнюдь не роковой, а скорее жеманный, и не поединок, а турнир утонченных слов, изысканных намеков. Привычка властвовать собой, опыт ума холодных наблюдений еще «защищал» Тургенева от ударов, от неожиданностей. Нет, не сгорит сей феникс, не расплавит крылья сей Икар! И погубитель он относительный: в его чувстве нет буйной слепоты страстей, но есть отеческая забота. Он,кажется, соломки везде настелил на случай падения, разочарования.

Ю. П. Вревская (урожденная Варпаховская) в шестнадцать лет вышла замуж за известного на Кавказе генерал-лейтенанта И. А. Вревского, учившегося вместе с М. Ю. Лермонтовым в школе юнкеров, но очень скоро овдовела (в 1858 году). В момент встречи с Тургеневым в 1874 году ей было 33 года. Она, вероятно, пылко и с известной надеждой отнеслась,— не зная, конечно, привычек Тургенева к чисто «почтовым» романам,— к его письмам, приглашениям в Спасское. Женщина не очень уважает бескрылую дружбу, не хочет — хотя бы в начале отношений! — видеть предел, который «не прейдеши»...

Он пишет ей, разъясняя многое в ней самой: она, дескать, излишне долго живет в полутаинственной глуши и свыклась с ней. Ю. П. Вревская, видимо, вначале пугала его привязанностью к Кавказу, вообще к диким местам, своей способностью жить в глуши.

До нас дошло лишь восемь писем Ю. П. Вревской и пятьдесят писем Тургенева. Исследователи, и прежде всего Л. Назарова, автор статьи «И. С. Тургенев и Ю. П. Вревская» (Русская литература, 1958, № 3), подробно осветили чисто литерату-

роведческий аспект их переписки. Да, важно отметить, что Вревская советовала Тургеневу примириться с Н. А. Некрасовым,— это примирение и произошло на квартире умирающего Н. А. Некрасова в 1877 году, и Тургенев воссоздаст его в стихотворении в прозе «Последнее свидание»,— ей же он писал о романе «Новь», о русско-турецкой войне 1877—1878 годов...

А другой аспект?

Уже в 1875 году Тургенев «дегустирует» одно из приятнейших своих состояний: «Вы пишете, что очень ко мне привязались — но и я Вас очень люблю — и, много ли, мало ли между нами общего, это, в сущности, неважно...»

Он желает ей снега, холода, вьюги, всех прелестей русской зимы, но и напоминает: «...замораживать себя не стоит. На свете действительно есть нечто получше «предсмертной икоты», и хотя уже нельзя ожидать, что радость польется полной чашей — но она может еще окропить последние жизненные цветы» (25 декабря 1875 г.).

Легко давался Тургеневу этот «стиль», но кто разглядит, что тут не один «стиль», что тут «жизнь заговорила вновь»? Талант жить и талант творчества взаимопроникали, расценивались Тургеневым одинаково. Все ступени любовного чувства — от мимолетного увлечения до торжествующей любви «после смерти» — преодолелись и в письмах, и в произведениях, вся жизнь Тургенева превращалась в непрерывный диалог с тем или иным воплощением божества любви, «красоты-идеи», «красоты-силы».

Все приступы к реальному строительству гнезда, семьи и раньше были на этом фоне какие-то неловкие, досадные самому строителю. И сейчас... «Вы хотите уверить меня, что Вы не питали «никаких задних мыслей»; увы! я, к сожалению, слишком был в том уверен. Вы пишете, что Ваш *женский* век прошел; когда мой *мужской* пройдет — и ждать мне весьма недолго — тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья — потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне все еще пока становится тепло и несколько жутко при мысли: ну что если бы она меня прижала бы к своему сердцу *не по-братски?*» (26 января 1877 г.).

Литература питалась жизнью, она не оставляла ничего для личного счастья, забирала волю, энергию, давая взамен только стиль, лучистое строение фраз, образов, которое равно завораживало и тех, чей женский век проходил, и тех, у кого только начинался. Являлось в этих письмах и нечто близкое — как будто близкое! — к «пожару» Достоевского, к его грубоватым припискам в письмах, после всех сердечных слов о любви: «О любви писать не хочу, ибо любовь не на словах, а на деле.

Когда-то доберусь до дела? Давно пора» (А. Г. Достоевской, 5 июня 1880 г.). У Тургенева такого пресыщения словом, «стилем» не наступало, потому что вечно разъединены были стихии «красивого страдания» и те реальные крепостные Фетиски, белошвейка Авдотья Ивановна, некая полька, принимавшая в подарок хрусталь, мельничиха, просившая душистого мыла... Мечта о любви и была мила как дальность... Он искренне объяснял Ю. П. Вревской, что соединить эти две стихии в одной женщине, в ней (а чуть позднее в Савиной!),— для него неслыханное дело, подвиг. Поклонение и обладание для него несовместимы, одно убивает другое. Лишь раз — на орловском вокзале, с М. Г. Савиной — он готов был перешагнуть границу между тем и другим...

Письмо Тургенева Ю. П. Вревской, написанное 26 января 1877 года, проливает свет на подлинную сумятицу чувств, порывов, смуту в его душе, отречение, даже самоотречение во имя поклонения: «С тех пор как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески — и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько необузданно (да уж и немолод я был), чтобы попросить Вашей руки — к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют une passade (мимолетное увлечение)... вот Вам и объяснение моего поведения».

Отъезд Ю. П. Вревской в Болгарию — это ее форма «хождения в народ» — испугал Тургенева. Он в ужасе — эти призрачные, несложные идеи панславизма, этот Молох балканской политики пожирает такие души, такие жизни!

19 июня 1877 года Ю. П. Вревская вместе с другими сестрами Свято-Троицкой общины приехала в Яссы для работы в 45-м военно-временном госпитале. Отсюда она продолжает писать Тургеневу. Через несколько месяцев, в ноябре 1877 года, она сообщает Тургеневу уже из Болгарии: «Родной и дорогой мой Иван Сергеевич. Наконец-то, кажется, буйная моя головушка нашла себе пристанище, я в Болгарии, в передовом отряде сестер... Тут уже лишения, труд и война настоящая, щи и скверный кусок мяса, редко вымытое белье и транспорты с ранеными на телегах. Мое сердце екнуло, и вспомнилось мне мое детство и былой Кавказ...»

Вревская описывает бомбардировки, опасности, перевязочные пункты, но одно чувство — радости за свою жизнь и невысказанный упрек Тургеневу — преобладает в письме: «Тут чувствуется живая струя жизни и опасности. Я часто не сплю ночи напролет, прислушиваясь к шуму на улице, и поджидаю турок. Я живу в доме турецкого муллы, возле разо-

реянсой мечети. Иду ужинать, прощайте, дорогой Иван Сергеевич,— и как Вы можете прожить всю жизнь все на одном месте? Во всяком случае дай бог Вам спокойствия и счастья. Преданная Ваша сестра Юлия. Целую».

Эпидемии и болезни — неизбежные спутники войн, всяческих людских скоплений. И Ю. П. Вревская, работавшая на перевязочных пунктах, научившаяся умываться снегом, жалевшая героев-солдат, выносящих лишения без ропота, стала жертвой эпидемии сыпного тифа. Она скончалась в болгарском городке Бяла 24 января 1878 года. Могилу ей выкопали солдаты, за которыми она ухаживала. Они же несли ее гроб.

На смерть этой русской женщины откликнулся, помимо Я. П. Полонского, В. Гюго (она для него «русская роза на болгарской земле»). Но только Тургенев, понимавший все свершившееся гораздо глубже, возложил на ее далекую могилу изумительный венок. Да, она получила тот мученический венец, к которому стремилась ее душа, жаждавшая жертвы... Но не слишком ли дорогой ценой дается таким душам утоление их жгучей жажды? Какой опасный возник отток лучшей душевной энергии русского народа — куда-то в сторону, в монастырь, в нелепый поиск вымышленной обетованной страны — общины, в раскольничьи странствия... Призраки увлекают, уносят куда-то молодые души... Но хорош один Дон-Кихот, а если их тысячи, если множество зрячих голов вдруг начнет видеть в медных тазах рыцарские шлемы? Какой хаос воцарится и как темна станет вода «во облацех»!.. Милые, родные и нелепые русские Дон-Кихоты — вы не лучше Гамлетов, если... Если вас много!

Тургенев писал в стихотворении «Памяти Ю. П. Вревской»:

«Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся — в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним».

ПОСЛЕДНЯЯ ЖАТВА

В Пушкине только *мы в нашу меру впервые* любим, *впервые* верим, *впервые* сознаем себя: это море своим разливом определяет границы нашей суши...

А. А. Григорьев — А. Н. Майкову (9 января 1858 г.)

...В часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, — помнишь? — у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы.

И. С. Тургенев. Из Стихотворений в прозе (1878)

...В марте 1880 года скульптор Александр Михайлович Опекушин, чей памятник А. С. Пушкину в Москве предполагалось установить в дни Пушкинских торжеств, известил Тургенева о своем намерении подарить писателю бронзовую копию, как он писал, «Пушкинской статуи». На Тургенева же Общество любителей российской словесности возложило и труднейшую обязанность — уговорить Л. Н. Толстого участвовать в этих торжествах. Открытие памятника было намечено на 26 мая 1880 года — день рождения поэта,— но затем в связи с кончиной императрицы Марии Александровны было перенесено на на 6 июня.

Тургенев приехал в Россию в феврале 1880 года. И вновь, как и в 1879 году, его прежде всего поразила организованность и реальная, резко возросшая сила русских революционеров. Только что в Париже был арестован Лев Гартман, организатор подкопа под полотно железной дороги на окраине Москвы с целью взорвать царский поезд. После бурной кампании в защиту Л. Гартмана с участием В. Гюго бунтарь не был выдан беззубой царской администрации. И в феврале же новый взрыв потряс Зимний дворец (в его организации участвовал С. Халтурин).

Тургенев боялся и волны террора, и волны репрессий. До Пушкина ли сейчас? И Л. Н. Толстой, а также, по своим причинам, М. Е. Салтыков-Щедрин не случайно отказались участвовать в Пушкинских торжествах. Слишком лихорадочной, «неслиянной» в общем интересе жизнью жила Россия

в эти месяцы[1]. Отрадно, с одной стороны, что началось понимание Пушкина (после 60-х годов, после резких ударов писаревского молота по живому мрамору царскосельских и усадебных нимф и Диан), но сколько лихорадочного, грубо-тенденциозного было и в этом новом «понимании» великого поэта!

Отрадное чувство, впрочем, преобладало в Тургеневе в эти весенние месяцы 1880 года. Лишь бы «вся литература единодушно сгруппировалась», лишь бы на этом торжестве никаких дисгармоний a la Катков»!

* * *

Пушкинские торжества в Москве 1880 года имели многих летописцев. И тех, для кого

> событье свершилось, но разум
> его не освоил еще,
> оно еще пылким рассказом
> не хлынуло с уст горячо...

И тех, кто сразу же понял внутреннюю пружину бесполемичных как будто речей...

Но был один, чрезвычайно поглощенный своей темой, но одновременно и чрезвычайно зоркий наблюдатель, который как будто ни на миг не упускал из поля зрения именно Тургенева. Этот наблюдатель — Федор Михайлович Достоевский. Он приехал в Москву с замечательной речью, которую приготовил в строгом уединении в Старой Руссе (о ней многие знали, и С. А. Юрьев, один из организаторов Пушкинских торжеств, просил ее дать для напечатания в журнале «Русская мысль»). Живя в Москве в гостинице «Лоскутной» на Тверской — самой «комфортной» в тогдашней Москве, Достоевский почти ежедневно сообщал жене о развитии торжеств, об «интригах» устроителей, реальных и отчасти надуманных, о Тургеневе. Он многих подозревает в закулисных сговорах, глухая обида всей жизни на баловней, «ленивых богатин», презрение к спланированным триумфам — звучат в этих письмах. Наряду, конечно, с прозорливыми догадками.

«Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротивший-

---

[1] В 1908 году Толстой объяснит в письме в редакцию «Русских ведомостей» свои сомнения тех лет: «Милый Тургенев заехал ко мне, прося меня ехать с ним на этот праздник. Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался... потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным — и не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям».

ся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел. Приехал и Анненков, то-то будет наша встреча» (25 мая 1880 г.).

«3-его дня вечером было совещание у Тургенева почти всех участвующих (я исключен), что именно читать, как будет устроен праздник и проч. Мне говорят, что у Тургенева будто бы сошлись нечаянно. Это мне Григорович говорил как бы в утешение» (2 июня 1880 г.).

«...Прямо с обеда, поехали в общее заседание «Любителей...» Тургенев со мною был довольно мил, а Ковалевский (большая толстая туша и враг нашему направлению) все пристально смотрел на меня» (3—4 июня 1880 г.).

«Подходил ко мне Островский — здешний Юпитер. Любезно подбежал Тургенев» (5 июня 1880 г.).

Конечно, возбужденное и утомленное уже многими невзгодами, ударами несправедливости, жаждавшее доверительных и добрых отношений воображение Достоевского многое воспринимало нереально. Он видел грозу там, где и туч не было. Тургенев для него — в центре подозрительных групп, в клубке интриг, он баловень либералов во главе с М. М. Ковалевским, профессором Московского университета (после революции 1905 года М. М. Ковалевский — один из лидеров кадетов в Думе). Характерно, что свою речь, успех ее, Достоевский сопоставляет только с достоинствами речи Тургенева, не описывая ни открытия памятника, ни впечатлений от речей других писателей.

...Речь Тургенева о Пушкине полна изящества, благородного, сдержанного блеска, скрытой публицистичности, обращенной к молодому поколению.

«Пушкин — это наше все... Через Пушкина умнеет все на Руси, что способно поумнеть...» Эти мысли, вернее, жизнеощущения А. А. Григорьева и А. Н. Островского — исходный момент и *для* Тургенева. Но *куда*, в *каком* направлении умнеть через Пушкина и благодаря Пушкину в лихорадочное время сшибки теплых и холодных ветров, в тревожное время, способное и продвинуть Россию вперед, и, одновременно, если Россия впадет в полосу террора и репрессий, отбросить ее назад?

Тургенев говорил о странностях русской истории, истории народа, позднее других вступившего «в круг европейской семьи». В силу этого запоздания — тут Тургенев всецело во власти своей схемы — две черты русской души — «начало восприимчивости» и «начало самодеятельности», женское и мужское,— получили причудливое развитие.

Какое же именно? Самодеятельность у опоздавшего, от-

ставшего, вечно догоняющего народ получила якобы «неравномерную, порывистую, иногда зато гениальную силу: ей приходится бороться и с чужим усложнением, и с собственными противоречиями». При такой спешке порой лишь в конце работы узнавали, с чего надо было начать ее, чтобы не сломать многого, сделанного раньше. Весь XVIII век, начатый «царем-плотником» Петром I и законченный, императрицей-писательницей» (Екатерина II),— выражение бурной самодеятельности, гениальной, порывистой силы народа. А восприимчивость к чужому? Она тоже достигла тогда и достигала позднее безмерной силы, доходила до крайностей... До появления на Руси чуть ли не «людей-обезьян», копирующих все западное и, шире,— «заморское»...

Пушкин дал меру и границу всему: «Независимый гений Пушкина скоро... освободился и от подражания европейским образцам и от соблазна подделки под народный тон...» Как и Белинский, Пушкин — центральная фигура, центральный художник эпохи, все свойства его поэзии совпадают с сущностью народа. Он был для Тургенева человеком, близко стоявшим «к самому средоточию русской жизни».

Тонко, умело играя на оттенках слов, звучанье пушкинских строк, Тургенев рисовал общественную жизнь России 40—60-х годов, «смуту» вкусов, картину забвения Пушкина... Борьба с крепостничеством сделала русскую поэзию «дисгармоничной», односторонней. Мимо поэзии Пушкина и не к ее целям побежали «сильные, хотя и мутные волны той новой жизни... Явились вопросы, на которые нельзя было не дать ответа...» Создалась опасная иллюзия, что этот ответ можно было дать... без Пушкина, без его гениального дара примирять враждебнейшие и родственные все же стихии русской души, начала Пугачева и Белкина! Вдохновенно рисовал Тургенев этот сдвиг художественных интересов — к Некрасову и Писареву: «Из беломраморного храма, где поэт являлся жрецом, где, правда, горел огонь... но на алтаре — и сожигал... один фимиам,— люди пошли на шумные торжища, где именно нужна метла... и метла нашлась».

Завершалась речь Тургенева откровенным обращением к одержимой идеей террора, крайним видом нигилизма молодежи. Он призывал осознать возвращение к Пушкину как мир, как новое согласие в русской душе, победу ее над крайностями. Наконец, как свидетельство того,— что... «некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволительным, но и обязательным приносить все не идущее к делу в жертву, сжимать всю жизнь в одно русло,— что эти некоторые цели признаются достигнутыми...»

Это было наивностью, либеральной иллюзией Тургенева в глазах многих. Люди, «сжавшие всю свою жизнь в одно русло», и прежде всего деятели «подпольной России», как назовет свою книгу С. Степняк-Кравчинский, деятели «Народной воли» не считали даже узкие цели достигнутыми. Речь Тургенева была для них «пресной», не возбуждающей в них ни особой радости, ни ненависти. Иных речей требовала юбилейная толпа в час прилива для «Народной воли». Не кружевных звуков «в чудных фразах музыкальных», не скромного плача гобоев «в излияньях пасторальных», а совсем иного:

Дай ей резких полутонов,
Тактом такт перешибая,
И она зарукоплещет,
Ублажась и понимая.

(К. К. Случевский)

Эти «резкие полутоны» и прозвучали в речи Ф. М. Достоевского и они-то ошеломили. Почти непрерывно упрекая молодое поколение всех направлений, эта блестящая речь преподнесла вдруг в преображенном виде столько хорошо забытого со времен А. Хомякова и К. Аксакова старого, льстящего самолюбию, тщеславию беспочвенных искателей истины, что вдруг усладила алчущие сердца! Она стала точкой притяжения многих невыбродивших мечтаний, надежд, лучом света среди мутной лихорадки страстей и исканий.

Кто не знал Алеко из пушкинских «Цыган» с его сатанинской, а проще говоря, байронической гордостью? Алеко, Земфира, старый цыган с медведем... Казалось, все осталось в детской... И вдруг с этой фигуры, придав ей черты вечного русского скитальца, Достоевский и начал свой упрек.

Достоевский, безусловно, приспособил фигуру Алеко, индивидуалиста на западный манер, попавшего в цыганский табор, «в народ», к современной идейно-нравственной ситуации. Множество молодых идеалистов по-прежнему скитались в темном лесу теорий. Вовсю работала, как казалось автору «Бесов», пугавшая его машина террора «Народной воли». *Атакуемые,* те же сипягины, и *атакующие,* бюрократия и подпольная Россия, все более ожесточенней и безнравственней, с точки зрения Достоевского, уничтожали друг друга, торопились вырвать друг у друга монополию на власть. Либералы следили за серией взрывов и покушений, за судебными процессами, ужасаясь, что в России заваривается «каша крутенька».

Как остановить это, ненавистное Достоевскому ожесточение?

Еще в 1873 году Достоевский задумывался об исполинской задаче примирения: «Мы всегда веровали, что наша молодежь слишком способна отнестись к делу науки серьезнее. Но пока еще кругом нас такой туман фальшивых идей, столько миражей и предрассудков окружает еще и нас, и молодежь нашу, а вся общественная жизнь наша, отцов и матерей, принимает все более и более такой странный вид, что поневоле приискиваешь иногда всевозможные средства, чтобы выйти из недоумения. Одно из таких средств — самим поменее быть бессердечными». Так писал Достоевский в статье «Одна из современных фальшей» (Гражданин, 1873, № 50).

Идеал крестьянской общины как «ячейки социализма», к тому же воздвигнутой, (или сбереженной вдали от «шума истории») без кровопролитий, к 1880 году оказался для Достоевского слишком социологичным, узким. Он отыскал более грандиозное и абстрактное поприще для возвеличения и утешения алчущего подвигов Алеко.

Достоевский сделал в своем воображении прыжок к вымышленному «всечеловеку», к абстрактной всеотзывчивой русской душе, перед которой все прочие души ограниченны, бедны, как паства перед Христом. Контуры этого всечеловека и его задачи обрисовывались с помощью старого цыгана, ставшего, совершенно произвольно, эхом русской души, выразителем ее совести («Оставь нас, гордый человек... Ты для себя лишь ищешь воли»), и Татьяны Лариной, с ее величественной укоризной, обращенной к скитальцу Онегину... Этот «домысел» действительно гениален, в нем много правды, которую Тургенев, создатель «Дворянского гнезда» и характера Лизы Калитиной, не мог не почувствовать. «Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня целовать»,— писал Достоевский жене 8 июня 1880 года. Со стороны Тургенева это был искренний порыв. Настолько же, насколько искренней и справедливой была и высокая оценка характера Лизы в речи Достоевского.

Но едва это возбуждение прошло, едва Тургенев, как, в известной мере, и Г. И. Успенский, дважды излагавший впечатление от речи Ф. М. Достоевского, стал спокойно изучать эту историческую речь, как все встало на свои места.

«Это очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь,— писал Тургенев М. М. Стасюлевичу 13 июня 1880 года,— всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия. Алеко Пушкина чисто байроновская фигура — а вовсе не тип современного русского скитальца; характеристика Татьяны очень тонка — но неужели же одни *русские* жены пребывают верны своим старым

мужьям? А главное: «Мы скажем последние слова Европе, мы ее ей же подарим — потому что Пушкин гениально воссоздал Шекспира, Гете и др.»? Но ведь он же их *воссоздал*, а не создал.— И мы точно так же не создадим новую Европу — как он не создал Шекспира и др. И к чему этот *всечеловек*, которому так неистово хлопала публика? Да быть им вовсе и не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком. Опять все та же гордыня под личиной смирения... Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была замечательная по красивости и такту».

Много знаний — много печали... И полная невозможность сказать страстное вещание, очароваться им и очаровать других хотя бы на миг и умереть с сознанием, что сейчас-то действительно «ныне отпущаеши раба твоего, владыко!».

Вся страстная надежда Достоевского вернуть тысячи молодых русских скитальцев, блуждающих среди отвлеченных идей, к народной ниве для Тургенева была очередным видом дальтонизма. Блажен и нелеп для него тот, кто так слепо и пламенно верует. Сам этой браги Тургенев вкусить не хотел.

В последующих письмах, говоря о встречах на европейских улицах, в гостиницах с русскими путешественниками, бездельными баричами, Тургенев чаще всего иронически будет вспоминать мечту Достоевского: «Видался с разными «Алеками», говоря a la Dostoiefsky»,— пишет он П. В. Анненкову (1 октября 1880 г.). «Алеками», суетливо хватающими европейские газеты, чтобы из них узнавать хоть что-то о России...

* * *

Вершины всегда одиноки... И старение — процесс многолетний — усиливает одиночество и высоту. К моменту создания «Стихотворений в прозе» Тургенев порой чувствовал глубокое утомление и от прфессорского либерализма, этой медленно действующей силы пошлости, и от внешне стремительного анархизма бунтарей, рвущих в клочья любой порядок, любое терпение — даже терпение деловитости и труда, постепенных умных преобразований, распространения, скажем, грамотности. Сколько даров посылалось России, сколько возникало отрадных возможностей, но как бездарно вела себя, в глазах Тургенева, большая часть просвещенных людей! Он разочаровывается окончательно в способности правительства проводить реформы сверху, опираясь на прогрессивные силы русского общества. Безотраден и путь, которым шла, при всем его сочувствии, революционная молодежь, шла лишь обост-

ряя, по мнению Тургенева, без того трудную историческую ситуацию.

Откуда эти тревоги? Боязнь обратимости перемен?

Помня ужасы крепостничества, Тургенев в конце 70-х годов искренне тревожился, что такое прошлое вдруг проломит себе путь в будущее, победит все пореформенные свободы. После выстрела А. Соловьева в царя в 1879 году Тургенев тревожится: «Опять, опять все должно уйти под землю» (П. В. Анненкову 12 апреля 1879 г.). После 1 марта 1881 года Тургенев с еще большей тревогой пишет П. В. Анненкову о бездне, в которую свалится Россия: «В нынешних журналах уже говорится о смертельных приговорах Лорис-Меликову и даже Победоносцеву (приговорах подпольного исполкома «Народной воли».— *В. Ч.*). Дуй, значит, в хвост и в голову! А свалится ли при этом Россия в бездну и сломит себе шею — им-то что, нашим «вспышечникам!» (7 марта 1881 г.). Совсем не случайно Тургенев читал перед публикой все еще актуального «Бурмистра» (1847) или другие рассказы из «Записок охотника». Весь букет крепостничества «не увял», еще «благоухает» в самой действительности всеми оттенками!

С. М. Петров справедливо увидел в этом противоречии тургеневской мысли отражение общественных условий времени: «разночински-демократический период освободительного движения уже завершался, не принеся победы, а пролетарский только намечался» (Петров С. М. И. С. Тургенев. М., 1979, с. 525).

Отражение, конечно, было не прямое. И больше того — в «Стихотворениях в прозе», как и в «таинственных повестях», Тургенев как будто отворачивается от современности: «...во мне *больше* прошлого, чем настоящего, оставьте меня среди моих снов о жизни!» К. К. Случевский к этому времени исчез из поля зрения Тургенева, но его давние строки как будто предвосхитили пафос последних коротких песен Тургенева.

И не в столбцах повествованья
Больших романов, повестей
Желал бы я существованья
Птенцам фантазии моей...
Песнь — ткань чудесная мгновенья —
Всегда ответит на призыв;
Она — сердечного движенья
Увековеченный порыв.

(Из цикла «Прежде и теперь»)

К концу 70-х годов взаимоотношения Тургенева со своим прошлым, с величайшим опытом надежд и сомнений, очаро-

ваний и отчаяния нередко крайне усложнялись. Порой он словно боится горечи этого опыта, боится разворачивать длинный свиток воспоминаний: столько в нем несбывшегося, неудовлетворенных желаний, убедительных знаков, что он отчасти «прошутил» жизнь.

И все же это прошлое неудержимо влекло к себе.

* * *

Есть, видимо, очень странные виды душевного непокоя, возникающие и в целых эпохах, и в отдельных поколениях, и в исключительных личностях. Современный философ А. Ф. Лосев в книге «Эстетика Возрождения» отметил любопытнейшее состояние, возникшее в недрах средневековья: мучительно сладостная тоска по античной Греции и Риму необычайно обострилась в гуманистах Возрождения от сознания полной, бесповоротной утраты античного мира, «отрезанности» его от новых времен! «Ренессанс понял,— читаем мы в книге А. Ф. Лосева,— что Пан умер — что мир Древней Греции и Рима утерян... и может быть вновь обретен лишь в духе. Впервые в истории классическое прошлое стали рассматривать как полностью отрезанное от настоящего и, следовательно, как идеал, о котором можно тосковать, а не реальность, которую можно использовать и бояться. Средние века оставили античность не захороненной, время от времени гальванизируя и заклинаниями возвращая к жизни ее труп. Ренессанс стоял в слезах на ее могиле и пытался воскресить ее душу. В один фатально благоприятный момент это удалось».

Невероятна, но так убедительна такая тоска: страшно необходим, «реален» становится тот «рай», который... «утрачен»!

Тургенев бывал предельно искренен, когда боялся распечатывать этот закупоренный сосуд своего прошлого, оживлять память об ушедших людях, жизненных ситуациях, когда он искренне хотел «память до конца убить» (А. Ахматова). Нельзя жить среди теней, нельзя играть в спектакле, где ты остался единственным живым актером. Он скажет в стихотворении в прозе с характерным названием «Мне жаль...» (1878): «Как мне освободиться от этой жалости? Она мне жить не дает... Она — да вот еще скука.

О скука, скука, растворенная жалостью! Ниже спуститься человеку нельзя.

Уж лучше бы я завидовал... право!

Да я завидую — камням».

Камень — это стихия полной безгласности, беспамятства, цельности. С покоем камня сходен и наивный, внешне деятель-

ный восторг поющего черного дрозда, не знающего сомнений, бурь памяти мятежной, не выделившегося из мира природы. Дрозду нечего страшиться небытия, заглядывать в прошлое: «...в его песни не было ничего *своего*, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, потрясенной его пением» («Дрозд»).

Как же не бояться этой силы памяти, если она громко твердит об одном — чем оригинальнее, самобытнее, неповторимее существо — тем невероятнее надежда повторить себя, обрести бессмертие бессмысленного дрозда?

С другой стороны, вопреки этой зависти к камням, к самоуверенности дрозда, в котором живет голос самой природы, бессознательный голос, никогда не начинавшийся и никогда не кончающийся, в Тургеневе жила огромная потребность «досказать» себя, запечатлеть те искры мысли и чувства, что высекались в душе ударами друг о друга незримых глыб — прошлого и настоящего. Зигзаги молний рождает огромное пространство, а не клочок неба. И «Стихотворения в прозе» — это именно молнии, излетающие из всего духовно-нравственного пространства жизни Тургенева. Он, человек с чрезвычайно текучим, изменчивым самочувствием, поистине «мыслящий тростник», колеблемый всеми бурями, умел сделать космос прошлого чрезвычайно важным компонентом своего настоящего.

К моменту создания «Стихотворений...» Тургенев ощутил то, о чем в XX веке сказал П. Валери: «В будущее мы входим пятясь...» Прошлое стало для Тургенева, как некогда античность для гуманистов Ренессанса, безвозвратно отделившимся, замкнутым в себе, завершенным миром. В нем нельзя ничего переделать. Этот «космос прошлого» обрел перед современностью «преимущество бессмертия и всеприсутствия» (А. Ф. Лосев). Плоть этого прошлого — физически неосязаема, но зато и нетленна. Все линии в нем прочерчены не слабой человеческой рукой, а Временем, куда более великим геометром. Вокруг человеческого «я», даже собственного, не бушеванье непознанных стихий, а до конца, до эпилога «досказавшие» себя, свой главный смысл фигуры, события, идеи. В этом завершенном мире, в «герметичном» пространстве, нет смещения пропорций, и здесь не побивают одним временным кумиром другого.

Для «Стихотворений в прозе» Тургенев вновь искал и соз-

давал особый нравственно-акустический фон. По существу, он, правда очень непоследовательно, пробовал еще более полно «загерметизировать» их от шума современности.

Как отметил выдающийся исследователь творчества Тургенева академик М. П. Алексеев, тетрадка 1877—1879 годов с черновыми записями будущих «Стихотворений в прозе» имела заглавие «Posthuma» («Посмертные» — *лат.*), «говорящее о том, что эти произведения не предназначались к печати при жизни автора». «Это заглавие,— отметил М. П. Алексеев,— возникло уже после записи стихотворений в тетради, так как в самих черновиках оно нигде не встречается; есть лишь определение этого нового жанра: «Стихотворения без рифмы, размера»,— отмеченное на полях перед стихотворением «Сон 1-й». В дальнейшем писатель словно забыл свое вето: «посмертные». Не предназначавшиеся к печати при жизни автора эти стихотворения не только тщательно отделывались, переписывались в определенном порядке, помещались в разделы «Сны» или «Пейзажи»... Тургенев явно переполнен заботами о том, «как будет выглядеть цикл этих стихотворений в печати...». Три стихотворения 1882 года «Житейское правило», «У-а-у-а!», «Мои деревья», написанные уже после обещания М. М. Стасюлевичу дать в «Вестник Европы» весь цикл, отработаны с той тщательностью, которая всегда сопутствовала работе Тургенева при подготовке произведений к печати...

Заглавие «посмертные» усиливало особые обязательства автора; оно как бы укрепляло желание смотреть на все с точки зрения вечности, зашифровывать, как несколько «суетные», конкретные причины излишне пылкой любви или сарказма. В целом это и соблюдено, хотя с частыми нарушениями «правила игры»... Прошлого в едином духовно-нравственном пространстве не только больше, чем настоящего, но оно и резко отделено от настоящего. Как и в двух маленьких повестях Тургенева «Старые портреты» (1881) и «Отчаянный» (1882), в которых писатель тоже целиком переносится то в век Екатерины II, то в среду старозаветного барства 30-х годов XIX века. Сколько стихотворений даже начинается с полного, бесповоротного переноса своего «я» в то пространство, где нет даже догадок о событиях 80-х годов, о войнах XIX века, о терроре!

«Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи» («Христос»).

«О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья! я видел тебя... во сне» («Лазурное царство»).

«Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме» («Конец света. Сон»).

И все же Тургенев не до конца смог заворожить себя «снами», роскошными видениями: после непродолжительных колебаний и поисков, откинув названия «Зигзаги», «Posthuma», он решился опубликовать эти «листки, наброски, зигзаги, силуэты», по определению М. М. Стасюлевича, под двойным названием «Стихотворения в прозе» (Senilia).

...Безусловно, можно возразить: а почему же так боялся Тургенев шума, зрелищности, громкогласности для своих «Стихотворений...»? Он боялся, что они не будут расслышаны. Об этих сомнениях при публикации «Стихотворений...» Тургенев говорил не единожды: «Эти «Стихотворения» вовсе не пригодны для *публичного* чтения. Они могут иметь некоторый успех только в интимном кругу» (Д. В. Григоровичу 13 ноября 1882 г.); «Стихотворения в прозе» преимущественно назначены для интимного чтения. Как бы эта громогласность не повредила им!» (М. М. Стасюлевичу 7 ноября 1882 г.).

Эти сомнения, бесспорно, тоже искренни. Собеседовать о великих вопросах хотелось с предельно чутким и духовно-великим собеседником... А найдется ли он сразу, поймет ли на бегу то, что надо понимать в тишине?

Тургенев постоянно напоминает читателю, что эти стихотворения — зрелище идей, окрашенных трагизмом заката, самоотрицания, предчувствием конца и светлой верой в Россию,— сотканы не из идей, не из звучащей материи, а из слов. Высшая мудрость в них говорит на языке музыки. Он просит извинить свою привычку говорить красиво, предпочитать гармонию диссонансу, нежное — резкому. В стихотворении «Кубок» Тургенев излагает эту просьбу с трогательной доверчивостью: «Непритворна моя грусть, мне действительно тяжело жить, горестны и безотрадны мои чувства. И между тем я стараюсь придать им блеск и красивость, я ищу образов и сравнений; *я округляю мою речь, тешусь звоном и созвучием слов»* (подч. мной.— *В. Ч.*).

Простите эту привычку, люди промышленного века, увлеченные триумфом сухих формул или деловых бумаг! Или сухие моралисты, для которых писать стихи — то же самое, что плясать, шагая за плугом... Вам смешна эта страсть говорить красиво, плакать по нотам, ибо вы не обладаете уже необходимой дозой мудрой наивности, веры в музыкальную природу жизни. Но он без этих созвучий, без интуитивно-творимого синтеза мысли и ритма, впечатления и настроения не мог выразить себя. Вы еще с благодарностью вспомните эту чудесную привычку, этого Орфея слова, одурев когда-нибудь от глухих словесных сочетаний, от тусклых красок в прозе, от репортерской бойкости фельетонов или от того дешевого псевдо-

эмоционального лиризма, который есть всего лишь... приложение к частоколу восклицательных знаков... Единственный цвет этих псевдоискусств — бесцветность...

Тургенев, безусловно, понимал, что растущий максимализм дерзаний, душевный экстремизм, изгоняющий оттенки, нюансы, рефлексию, а с другой стороны, измельчающий буржуазный практицизм делали смешной воспетую Гете фигуру певца Орфея, вносившего когда-то свой порядок в хаос вещей и явлений. Такова извечная природа музыки: она «строит» мир, накладывая на него власть своих интонаций. Гете писал об этой власти музыки: «Пусть представят себе Орфея, который, когда ему указали на огромный, предназначенный для застройки пустырь, мудро выбрал себе наиболее удобное место, сел и оживляющими звуками своей лиры создал вокруг себя пространную базарную площадь. Захваченные могуче-повелительными, ласково-манящими звуками, скалы, вырванные из своего массивного единства, вдохновенно двинулись вперед, подчинились искусству и ремеслам, чтобы затем целесообразно выстроиться в ритмические пласты и стены. Звуки отмирают, но гармония остается. Обитатели подобного города живут и движутся среди вечных мелодий, их деятельность не впадает в дремоту, и дух не оскудевает» («Максимы и рефлексии»).

Последняя поэма Тургенева — так определял «Стихотворения в прозе» Л. Гроссман — это тоже, в известной мере, город, созданный Орфеем. Обитатели его живут среди вечных мелодий, а сами «зданья» застыли, как будто завороженные ритмом. Вся плоть такого художественного мира — стоит обратиться к характерной для Тургенева миниатюре «Как хороши, как свежи были розы» — стала поистине звучащей, певучей. Это стихотворение, в сущности маленький музыкальный вариант многих романов и повестей Тургенева — усадьба, летний вечер, музицирование и задумчивая девичья головка в окне, головка Параши или Лизы Калитиной, олицетворенная «возможность страсти горестной и знойной». Одновременно это стихотворение — своеобразный пролог к теме Родины — главнейшей в «Стихотворениях в прозе».

«И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. *Летний* вечер *тихо тает* и переходит в ночь, в *теплом* воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на *выпрямленную руку* и склонив *голову* к *плечу*, сидит *девушка* — и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как *простодушно-вдохновенны* задумчивые глаза, как *трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы*, как *ровно* дышит еще не вполне *расцветшая*,

еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею — но как она мне дорога, как бьется мое сердце!» (Подч. мною.— *В. Ч.*).

Ремесленник, с трудом добившись половины подобного музыкального звучания, приносит вместе с результатом и запах пота, следы неимоверного усердия. Зарисовка Тургенева легка, воздушна, почти невесома. Все оттенки звука, капризные переливы, рокоты, шелесты, взлеты и падения словесной музыки выявляются естественно. Он умел почти непроизвольно «смешивать звуки», знал секрет, как отметил его современник поляк И. Крашевский, «покрытия тенью некоторых частей творения, с тем, чтобы остальные предстали тем в большем блеске...».

Не одно биение, пульсация внутреннего ритма завораживает в данном отрывке знаменитого стихотворения. Тургенев всматривается с болью и тоской в почти ушедшую... тургеневскую же Русь! Он страстен, глубок, интонации вздоха сердечного ощущаются постоянно, но как расчетлив он, мастер дивный, в искусстве группировать звуки, смешивать краски! Почти холоден. *«Летний... тихо тает»*, *«теплом»*... «Притыкание», остановка, глухость в этих «т», звук этот говорит о паузе, о разлитом в природе покое. Он короток, не тягуч этот звук «т», он тормозит, стушевывает бег жизни. Но вот уже сближается, совмещается эта покоящаяся природа и робкая, лишь полная надежд человеческая душа. Ничего «ухающего» у Тургенева нет даже в повторении этого «у» («рука», «голову», «плечу»). И вскоре являются рокочущие звуки, как будто ожили эти покоящиеся в душе девушки надежды, мечты: *рокочущие* слоги говорят о трепете и пробуждении жизни, о неизбежном вызове человека той же природе, среди которой он пока так спокоен, простодушен. Эти «про», «ро» («*тро*гательно», «*р*овно»), чередуясь с нейтральными и холодными двойными «нн» («вдохновенны», «невинны»), вносят в идиллию привкус драматизма. Как и восклицание: «Как она мне дорога, как бьется мое сердце».

Этот «рокот» вдруг глохнет к концу, Тургенев произносит целую фразу, где нет ни единого «р», где сплошная плавность: «Как чист и нежен облик юного лица!»

Не исчезает ли порой само перо писателя, и не кажется ли, что мы следим за скольжением рук по клавишам? Но именно так, незаметно, читатель и входит в круг мучительной тургеневской мысли. Эта мысль почти не извлекаема из плоти музыки. И горькое сознание мимолетности жизни, и ужас перед беспощадным величием стихий, обступающих человеческое

«я», — все выражено в этом отрывке. Но не только это. Как сближены (потому и «бьется сердце») расцвет и смерть, красота и призраки разрушения ее! Наивен или самоуверен в таком случае всякий входящий в мир? Ведь перед лицом Неведомого, перед бесконечностью неба и времени эта девушка, птенец тургеневской фантазии и любви, как всякое существо единого дня, так слаба, так беззащитна! «Я не дерзаю заговорить с нею...» А вдруг *моя* жалость, мой горький опыт омрачит ее юность! Ее жизнь — миг, вся гамма ее надежд, до которых нет дела равнодушной природе, сияющей вечной красой, слышна лишь узкому кругу ближних.

Все это так... Но такое очарование излучает это цветение человеческой жизни, возникшее в холодном космосе, что забываешь о чересчур хрупком стебельке, на котором этот цветок держится перед лицом бесконечности. Пусть он создан на мгновенье, этот вечер с музыкой вальса, с воркотней патриархального самовара, но в стихийной силе красоты, в хрупком очаровании девушки — оправдание и равнодушной природы, и всего мира с его холодным дыханием старости, с призрачностью надежд. Даже с самой смертью, поглощающей поколение за поколением.

Концовка стихотворения невыразимо печальна. Особенно для автора, для того, кто создал множество таких «тургеневских» вечеров: «Мне холодно... Я зябну... И все они умерли... умерли...»

Вопреки прямому, дословному смыслу весь строй стихотворения исключительно «теплый», лишенный холода. Да, этот вечер «мимолетен». Но теплота гнезда, звуки вальса, воркотня самовара словно отталкивают холодные ветерки, «струйки» космического холода, идущие с горних высот вечности. Сам рефрен, вслушайтесь в него,— только ли о неумолимой работе смерти, о печальном «были» — говорит он?

«Как хороши, как свежи были розы...»

Яркость, упорно, властно созидаемая словами «как хороши», «как свежи», безусловно, перевешивает, подавляет печальное, краткое «были»... Остающийся в памяти напев, высокий и напряженный порыв сожаления, не дает возможности смириться с этим «были». Эти розы не видишь увядшими. И как удивительно оживил Тургенев — словно волшебник, отворяющий путь роднику, запертому в скале,— чисто музыкальное обаяние самой строки забытого поэта И. Мятлева, сделав ее рефреном, золотой нитью между внешним описанием и глубоким настроением. Созерцание взволнованной души и звучание музыки, обилие вариаций одной мелодии и незримое движение потока невысказанных чувств оставляют впечатле-

ние недосягаемого совершенства и прелести. Что-то неуловимое, недоступное многим в красоте России передал Тургенев в этой миниатюре.

* * *

Центральный образ всей поэмы — образ России, образ предельно живописный и музыкальный, складывается именно в борьбе с диктатом случая, факта. Тут чередуются и взгляды «с полуверстовой (или полувековой?) дистанции» («Деревня»), и портрет Ю. П. Вревской, картина прощания с умирающим Н. А. Некрасовым и притча о мужицкой доброте («Два богача»). Есть и эпизод возведения того же русского загадочного мужика до фигуры сфинкса («Сфинкс»). Штрихами, и очень яркими, к образу России являются и «Порог», и «Христос», и, конечно же, «Русский язык». В сущности, вся даль памяти Тургенева — это даль России и глубина русской души.

Вместе с тем Тургенев удерживает себя от безоглядочной, в сущности легковесной патетики по поводу «русской темы». Нет, все еще остается сфинксом, безмолвным гигантом, не заявившим о себе этот «Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичок, соотчич мой, русская косточка». Может быть, его и можно понять, пойдя, как Нежданов, в кабак, на проезжую дорогу, в острог. Но не *там* ищет встречи с народом Тургенев, не *туда*, ряженным в славянофильскую мурмолку и догму или в иной псевдонародный костюм, хотел бы он идти! Встретить мужика с балалайкой, с нехитрой байкой на устах, в рыночной толпе или кулачной потехе на масленицу — дело отрадное, но не для Тургенева. Он был бы рад, вероятно, только одной встрече с ним: в том царстве великой культуры, к которой принадлежал сам...

И такая встреча, начавшаяся для Тургенева в детстве и длившаяся всю его жизнь, состоялась. Это встреча с русским языком. И классические шесть строк стихотворения «Русский язык» созданы с великим чувством благодарности народу, с поразительной силой убежденности в его великом будущем. Душа, жаждущая верить, ищущая незыблемой опоры, отвергнувшая множество фальшивых построений, душа, познавшая полынную горечь сомнений и тревог, исторгла из недр своих это признание и призыв:

«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Знаток многих языков, Тургенев убедился, что, владея рус-

ским языком, пользуясь лишь его средствами, без всякой чужеземной помощи, можно быть на вершинах духовного развития.

Слишком много вложено в этот язык огня, опыта мужества и страданий, многообразия трений, силы и грандиозности. «Температура» русского слова еще так высока в народной среде, оно так трудно еще «перемалывается» в безликую муку, что и доныне русские слова обжигают, позволяют создавать созвучия неожиданной яркости. Даже чем-то обогащающий этот язык художник только открывает всякий раз забытое, выработанное в нем же!

* * *

Грусть, как сконцентрированный осадок многих слепых ударов судьбы — утрат, болезней, страхов,— никогда не покидала Тургенева. Казалось бы, он, как никто иной, должен быть готовым к старости, к грозному явлению смерти: столь часто думать о смерти — значит, постепенно добиться бесчувственности к ней, «анестезии» души. Но нет! Более «неготового» к реальной смерти мыслителя, жаждущего найти хоть зерно вечности в уходящей жизни, хоть малое звено, соединяющее ее с чем-то неразрушимым, трудно даже представить! Любопытно, что размышления Тургенева в «Стихотворениях...», всегда несколько усталые, утомленные, размышления как бы «нехотя», вынужденно («я боюсь, я избегаю фразы; но страх фразы — тоже претензия») — вдруг обретают скорость, энергию, едва он касается темы грядущего небытия, хрупкости человеческой жизни, едва... Едва появится за спиной лирического героя смерть — то маленькая сгорбленная старушка, закутанная в лохмотья, направляющая его от одной ямы к другой («Старуха»), то высокая, тихая, белая женщина с глазами, которые никуда не смотрят («Последнее свидание»). Возникает резкое сгущение темного цвета. Тускнеет сам мир, словно приближается мрак тех «вечных сводов», куда все люди обречены «сойти». Тема памяти оказывается сущностно связанной с темой смерти.

И если бы царство небытия было только там, где смыкаются эти пушкинские «вечны своды»! Если бы смерть только извне, в образе старухи подкрадывалась к человеку, грозя скосить косой или испепелить чумой,— это было не столь драматично. С такой смертью ничего не поделаешь. Тут человек не властен ни над чем, остается лишь ждать: «...и чей-нибудь уж близок час». Да пожалуй, еще надеяться на бессмертие души, даруемое высшим существом.

Собственно говоря, великий современник Тургенева Л. Н. Толстой таким путем и победил, изжил страх смерти. Если страшно умирать ему, живущему в роскоши, защищенному от тысяч случайностей, способных порвать нить его жизни, как легкую паутинку, то как изгоняют этот страх, называя саму смерть «божьим прощением» (Платон Каратаев), тысячи бедняков, совсем беззащитных перед голодом, болезнями, мором, слепыми ударами судьбы? В «Исповеди», которая показалась Тургеневу построенной на фальшивых, то есть ненаучных основаниях, Толстой прежде всего обратился с этим вопросом к безмолвному крестьянскому большинству, оценил и отверг все ответы со стороны разума, множества наук и официальной церкви. Неученые мужики, страждущие куда больше, чем ученые, от несовершенств жизни, как убедил себя Толстой, меньше всего боятся смерти: они имеют веру, которой нет у ученых, дающую смысл и цель всему их бытию. Толстой благословлял это свое открытие: «Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь».

«Вечны своды» таким образом «исчезли» для души, смерти достается лишь бренное тело — жалкая добыча...

В «Стихотворениях в прозе» много жалоб на зыбкость, беззащитность человека в холодном космосе бытия, ограниченность его успехов во всем.

«Как? Это уже смерть? Так скоро? Невозможно! Ведь я еще ничего не успел сделать... Я только собирался делать!»

(«Что я буду думать?..»)

«Когда я лежу в постели и мрак облегает меня со всех сторон — мне постоянно чудится этот слабый и непрерывный шелест утекающей жизни».

(«Песочные часы»)

«Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминания,— и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет...»

(«Старик»).

Человек должен устоять от посягательств на него всех враждебных стихий жизни. И не упроститься, не отказаться от личности, от всего своеобразия, даваемого ей культурой, не смириться на двух-трех формулах из Евангелия. Устоять со всем богатством музыки человеческой души, со всем светом, созданным великой культурой. Возникает жалость к себе,

к тому «огню», который смерть способна задуть, та жалость, о которой сказал А. Фет:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Для Тургенева вся жизнь человека — это колеблемое, мучительное равновесие между бытием и небытием. Ночь наступает на этот огонь, сужает его сияние, ночи куда «больше», и она сильнее. Смерть, в сущности, непрерывно, как шелест струйки песка в песочных часах, штурмует в человеке какие-то устои, гасит порывы, приближает торжество слабостей. Смерть — утрата прошлого и настоящего, натиск забвения. Но многократно звучит, в «Стихотворениях...» все углубляясь, обретая высокий смысл, тема борения и победы человеческой личности с механизмом забвения, космическим холодом, в конечном счете со смертью. Личность, то духовное и психологическое ядро, что есть в человеке, его талант творца, его мысль упорно сопротивляются всем натиском небытия. Многие философские идеи, усвоенные писателем в юности, составляют внутреннюю основу этих поединков личности с безликой силой разрушения, беспамятства, равнодушия природы. Не может угаснуть свет заложенного в каждого человека творческого огня. Каждый должен, как заметил М. О. Гершензон, исследуя заветную идею Тургенева, «высвобождать в себе самом божественную часть мировой идеи от всего случайного, нечистого и ложного...»

Тема торжества личности развита с поразительной силой в стихотворении «Стой!». Конечно, это последний поклон Полине Виардо. Почти сорок лет прошло, как он услышал ее... Давно умолк последний вдохновенный звук, сорвавшийся с губ певицы, она стоит перед зачарованным слушателем молча. Глаза ее уже меркнут, отяжеленные счастьем, блаженным сознанием той божественной красоты, которую ей удалось выразить. И что ей за дело, если за этим мгновением последуют другие, более будничные, последует пыль серых бесцветных секунд.

«Вот она — открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бессмертие! Другого бессмертия нет — и не надо. В это мгновение ты бессмертна.

Оно пройдет — и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело! В это мгновенье — ты стала выше, ты стала выше всего преходящего, временного. Это *твое* мгновение не кончится никогда».

* * *

«Стихотворения в прозе» — вспышки света, блеск отстоявшейся мудрости, остановки мгновений, показавшихся художнику бессмертными,— не скрижаль разума, а действительно поэма, полная пластического и музыкального совершенства. «Сны», «фантазии», «притчи» как будто вне времени и пространства, но при этом — такая поразительная энергия мысли и чувства человека, посвященного в сложнейшие искания и мечты всего XIX века.

Колосья с великой, почти убранной нивы, и, одновременно, семена грядущих урожаев русской прозы...

«Не пробегай этих стихотворений сподряд»,— обращался сам автор к читателю, ощущая, что слишком многое сгустилось в них, «отяжелело» от постоянного присутствия мятежной мысли.

Насыщая особое, гулкое и емкое, фантастическое пространство памяти, Тургенев создал в «Стихотворениях...» удивительную форму времени. «Магический реализм» — условное понятие,— который связывают часто с уникальным синтезом рас и контрастов в Карибском море (Г. Маркес), с мощной энергией мифа, языческого чуда, вторгающегося в художественный мир,— такой реализм, инструмент художественного освоения изменчивого мира, родился гораздо раньше. В тургеневских шедеврах незримо существуют уже — в предчувствии или в зародыше — многие чеховские, блоковские темы, жизнеощущения И. А. Бунина. И даже трагический испуг перед роковыми силами человеческой природы Л. Н. Андреева.

* * *

...В последний раз Тургенев приехал в Россию в мае 1881 года, ровно через два месяца после убийства народовольцами Александра II, и остановился в меблированных комнатах Квернера на Невском проспекте.

Мрачные предчувствия, ощущение какой-то неловкости, своей ненужности не покидали его. Все это не укрылось от проницательного взгляда вдохновителя реакционной политики Александра III К. П. Победоносцева. Он, не обращаясь прямо к писателю, через Я. П. Полонского, посоветовал Тургеневу поскорее убраться из Петербурга в Спасское: «Вижу по газетам, что Тургенев здесь. Некстати он появился. Вы дружны с ним: что бы по дружбе посоветовать ему не оставаться долго ни здесь, ни в Москве, а ехать скорее в деревню. Здесь он попадает в компанию «Порядка» (газета М. М. Стасюлеви-

ча.— *В. Ч.*), ему закружат голову — и бог знает, до чего он доведет себя. Я применил бы к нему теперь, от лица всех простых и честных людей, слова цыган к Алеко: «Оставь нас, гордый человек».

Ответ Я. П. Полонского, простака в вопросах политики, наивно убежденного, что «реакция» и «либерализм» суть непримиримые полярные точки, любопытен косвенной характеристикой поведения Тургенева:

«Тургенев пробудет здесь с небольшим неделю, на один день остановится в Москве, и затем поедет в свою деревню, куда приглашает семью мою, жену и детей, отроду еще не видавших русской деревни. И без моего совета, он никого, кроме старых приятелей, не желает видеть, и всем прикажет отказывать. Да и кто теперь пойдет к нему? — Время оваций прошло, и слава его — старая слава.

Вы спасаетесь, что Стасюлевич или кружок «Порядка» может его взбаламутить или на него повлиять... Тургенев в сто раз его умнее и проницательнее. И что значит «Порядок» перед массой газет и журналов, читанных Тургеневым во Франции, в Англии и в Германии?.. Чего-чего не читал я в качестве цензора, но, слава богу, не сделался ни атеистом, ни социалистом, ни изменником» (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М.— Пг., 1923, т. 1, с. 172—173).

Но «гордый человек» оставил Петербург лишь 24 мая 1881 года. В самый разгар среднерусской весны Тургенев в последний раз прибыл в Спасское.

* * *

...Спасская усадьба уже с весны 1880 года основательно ремонтировалась, отчасти перестраивалась. Полы были выкрашены, печи отремонтированы, стены оклеены новыми обоями. К библиотеке весьма естественно присоединилась еще одна пристройка в четыре комнаты. Центральная веранда тоже подверглась переделке, а на мезонине был сооружен балкон. Много изящной, даже кокетливой резьбы по дереву, словно последней «правки» в рукопись, внесено было в образ усадьбы именно к этому приезду Тургенева. Никто не предполагал, что летнее гостевание 1881 года окажется прощальным...

Яков Полонский, старый друг, не очень уютно чувствовал себя в сложной литературной среде 70—80-х годов и потому охотно принял приглашение Тургенева пожить в Спасском с семей: женой Жозефиной Антоновной и тремя детьми. Хрупкий, передвигавшийся на костылях, чаще всего с этюдником, он написал тринадцать этюдов — то в парке, то перед домом —

и стал частью эстетизированной усадебной среды. Как, впрочем, и Ж. А. Полонская, первая в России скульптор-женщина, она в это лето работала над бюстом своего сына Бориса. После смерти Тургенева, уже в 1885 году, Ж. А. Полонская создала бюст писателя, установленный на его могиле в Петербурге.

Стихи писались Полонским редко, этюды были все же побочным делом, зато дневник... Ему-то, этому дневнику Полонского, мы и обязаны сейчас наиболее достоверными, пусть и дробными, описаниями последнего лета Тургенева на родине.

Он запомнил, как хозяин Спасского, проснувшись раньше всех, неспешно, замедляя шаг в знакомых аллеях, уходил в парк, на плотину, в урочище Варнавицы. Часто Тургенев брал кружку, чтобы было чем набрать воду из заветного колодца в урочище. А порой седовласый великан, потирая колено (подагра, как собака, «в мое колено вцепилась зубами»), подолгу сидел у строившихся конюшен.

...Русский простор, перед бесконечностью которого робеет, стушевывается само Время, утрачивая грозное величие, открывался в Спасском и с дороги, и с плотины у пруда. О нем говорили почти невнятные мелодии в пышном навесе лесов, шум теплого ветра в полях, несущего причудливый настой летних трав, утренних рос. «Ты наш, ты наш»,— говорили Тургеневу и дубок в дедовском парке, посаженный этим великаном еще в детстве, и сросшиеся тесным кольцом липы в том же парке, образовавшие беседку. Когда-то, «жизнь тому назад», здесь писался «Рудин».

«Ты наш»,— говорили и Спасская церковь, где в 1816 году свершилось венчание отца и матери, и гравированные портреты В. Г. Белинского и М. С. Щепкина в кабинете-спальне, и громадные английские часы с надписью «бьют-молчат» — обломок XVIII века, внешне жеманного, полного хрупкого артистизма и одновременно кипевшего страстной, дикой силой лутовиновской старины.

Афанасий Фет еще в 1858 году от имени этой природы, Родины, которая никогда в Тургеневе не забывала друга и в нем заждалась «обнять певца», писал с укоризной в адрес баловня «италийских красот»:

Ты наш. Чужда и молчалива
Перед тобой стоит олива
Иль зонтик пинны молодой;
Но вечно радужные грезы
Тебя несут под тень березы,
К ручьям земли твоей родной.

Там все тебя встречает другом:
Черней бразда бежит за плугом,
Там бархат степи зеленей,
И верно чуя, что просторней,—
Смелей, и слаще, и задорней
Весенний свищет соловей.

«Ты наш...» Тургенев летом 1881 года ощущал, что он действительно «свой» среди роковой стихии русской истории, в океане русского языка, среди полевых просторов России. Но он столь же «свой» и в мире Гете и Флобера, и в тех «увлекающих течениях», которые начинаются в кружках русской эмигрантской молодежи, и в артельном журнале «Русское богатство» в Петербурге. Вернуться, как в детстве, под сень березы, на черную бразду пашни, все иное забыв, осудив, прийти к мысли, что «все нужное несложно, а сложное — ненужно», чем утешал себя великий сосед в Ясной Поляне, Тургенев, к муке своей, не мог.

Марина Цветаева однажды назвала весь быт истинного художника «бытовым подстрочником к стихам»: «Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших отсевков, за которыми ползает вроде бы как на коленках, биограф тщится воссоздать бывшее» («История одного посвящения»).

Многие писатели на склоне лет, обозревая сделанное, действительно делают печальное открытие в духе М. Цветаевой: где-то в начале пути, в «дотворческом периоде», существовало естественное, не знающее сомнений доверие к природе, был мир родных — матери, отца, братьев и сестер, простодушных, как дети с Бежина луга, друзей... А потом — все отняла литература, «неестественная», в известном смысле, стихия, область выдуманных, срисованных, преувеличенных чувств, картин, жестов. «Не я пишу стихи, они как повесть пишут меня...» Они сочиняют твою жизнь, перерождают эмоции, приближают и отдаляют людей. Где-то вне этой «неподлинной» жизни, как обсевки, остались — или превратились в литературные фигуры!— даже самые близкие. Все, что не становилось «литературой», постепенно выпадало, ослабевало в своем значении, умалялось в объеме и звучании.

По-прежнему стоял в малой гостиной усадьбы широкий диван-«самосон», но он давно уже жил своей жизнью в «Накануне», как извечное прибежище Увара Ивановича. Как и могила неведомого француза Этьена у часовни — она «перенеслась» в новеллу «Льгов» и отчасти в элегическую концовку «Отцов и детей», где возникло небольшое сельское «кладбище в одном из отдаленных уголков России».

В последнее «спасское» лето Тургенев ходил как будто сре-

ди реального мира и одновременно среди декораций, среди вымышленного, ставшего вечным и нетленным царства своих книг. Литература «перемолола» для своих нужд этот дорогой быт и придала новый образ вещам. Она сделала само чувство Спасского, чувство Родины «наряднее», художественнее, но чуть бесплотнее.

Кстати говоря, и собственная юность стала, в известном смысле, литературой, отделилась от реальной биографии: в мае 1880 года Тургенев прочитал в «Вестнике Европы» знаменитое «Замечательное десятилетие» П. В. Анненкова — он был вписан как персонаж вместе с молодым Бакуниным в великую эпоху философских исканий 1838—1848 годов. Было тонко «вычислено» его место, он стал закономерностью, даже позерствуя, эпикурействуя, дела исполинского себе ища. «Меня он (Анненков.— *В. Ч.*) вывернул как перчатку, показав мне самому все мое сокровенное»,— писал Тургенев М. М. Стасюлевичу 8 мая 1880 года.

А настоящее Спасское — было, по существу, совершенно иным, далеким от идиллий детства. Еще на две десятины убавилось строевого леса: он был подарен Тургеневым спасским мужикам в 1880 году на поправку изб. Но избы не были ничуть исправлены: лес вырубили, продали и... тут же пропили выручку. Школа в Спасском порой угасала, и Тургенев должен был взывать к крестьянам: «Помните, что в наше время безграмотный человек то же, что слепой или безрукий...» Злополучные нереформенные кабаки в Спасском были изжиты после просьб и запретов Тургенева, но некий пронырливый унтер-офицер на клочке земли, арендованной у соседствующих крестьян князя Меньшикова, на клочке, подходящем к самому Спасскому, все-таки выстроил свой кабак, причал тупого беспесенного пьянства. Пришлось его, как черта ладоном, изгонять хитрым, суетным способом: в память покойного императора Александра II спешно строится часовня, и злополучный кабак, оказавшийся вдруг недопустимо близко к святыне, был закрыт... Надолго ли?

* * *

...Приезд Льва Николаевича Толстого в Спасское среди ночи 9 июля 1881 года на целых два дня нарушил размеренный и эстетизированный спасский быт.

Яков Полонский, работавший в эту ночь со свечой в своей комнате, первым услышал какой-то свист во дворе, лай собаки. Затем чьи-то шаги на террасе, неясный разговор. Он поспешил навстречу нежданному ночному гостю. Полонский

вспоминал: «Иду в потемках через весь дом и отворяю двери в ту комнату, откуда идет дверь на террасу, а направо дверь в кабинет Ивана Сергеевича. Вижу — горит свеча и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос: «Это вы Полонский?» Тут только я признал в нем графа Л. Н. Толстого.

Мы горячо обнялись и поцеловались... Тургенев тоже еще не ложился спать и писал. Удивление и радость его — видеть графа у себя — была самая искренняя. В столовой появился самовар и закуска... Беседа наша продолжалась до 3-х часов полуночи».

Полонский, с трудом отличивший одного простого мужика (видимо, возницу) от другого, нарочито опрощенного, создателя «Войны и мира» и «Исповеди», не знал, вероятно, многого о переменах в жизни нежданного гостя. Не одной одеждой он старался походить на обычных мужиков. Толстой, как вспоминал его сын, С. Л. Толстой, именно в это время, даже в Москве, начал сам «пилить и колоть дрова, качать воду из колодца, бывшего во дворе дома, и подвозить к дому эту воду в большой кадке... Он научился сапожному ремеслу у сапожника и стал шить обувь в своей маленькой комнате перед кабинетом...».

Это делалось вдали от земли... «Летом в Ясной Поляне,— пояснял С. Л. Толстой,— отец... делал всю тяжелую работу, которая производится на крестьянском наделе» («Очерки былого»). В семье Толстого уже появились первые «темные» (толстовцы), зазвучали диссонирующие с отлаженным бытом, ужасающие С. А. Толстую самоупреки, обличения: «Наивысшая похвала в народе это — «кормилец», самый обидный упрек — «дармоед». Мы — дармоеды...»

В ответ на приглашение Тургенева от 21 июня 1881 года посетить Спасское Толстой в письме рассказал о своем недавнем паломничестве: «Паломничество мое (в Оптину пустынь.— *В. Ч.*) удалось прекрасно. Я наберу из своей жизни годов пять, которые отдал за эти десять дней...» Паломничество это — от Ясной Поляны через города Крапивну, Белев, Козельск, через села — было совершено пешком... Софья Андреевна Толстая простодушно писала в апреле 1881 года Т. А. Кузьминской о тягостных для семьи последствиях перелома в Толстом: «...часто бывают маленькие стычки в нынешнем году, я даже хотела уехать из дому. Верно, это потому, что христиански жить стали. Прежде без христианства этого много лучше было».

«Без христианства этого...» Тургенев, безусловно, почувст-

вовал, что новый кризис в мировоззрении Толстого превосходил по глубине и масштабу все предшествующие. Помимо борьбы народовольцев с правительством, приливов и отливов интеллигентской революционности, она была понятна автору «Порога», имела аналогии в политической жизни конституционного Запада — в России возникал страстный, бурный протест темной и пассивной, несвободной от рабской морали и религиозных иллюзий крестьянской массы. Этот протест не загонишь в колею, скажем, борьбы за парламентские свободы, конституцию... И самое, может быть, удивительное, возможное только в России, и кто же становится выразителем этого слепого, полного ненависти и жалоб, жестокости и смирения бунта? Не его ли великий друг, гениальный художник?

Эти догадки, может быть, были очень приблизительными. Должно было пройти еще двадцать пять лет, когда после революции 1905 года историческое место «толстовщины» ясно определилось, нужен был гений В. И. Ленина, чтобы объяснить эти кричащие противоречия «глыбы» — Толстого, художника, рядом с которым в Европе некого поставить. Но Тургенев, несомненно, чувствовал — он прочитал «Исповедь»,— как оскорбляло, мучило Толстого все в тогдашней России. И контраст имущественного неравенства, и позорная роль полицейского государства с его судом и армией. «Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют»,— запишет Толстой в дневнике 5 октября 1881 года. И обезумевшая в своей самоуверенности бюрократия, и попы, «медное» войско» вокруг опошленного имени Христа. Огорчала его и интеллигенция... и все нелепые хилые «плоды просвещения» в нервичных людях культуры... К 1881 году он завершил уже значительную часть огромного труда религиозно-нравственного плана из четырех частей: 1) Введение («Исповедь»), 2) «Критика догматического богословия»; 3) «Исследование Евангелия» и 4) «Изложение веры»...

Но кто мог быть достойным собеседником Толстого по всем этим вопросам? Кто поймет этот внутренний жар, нестерпимое нравственное пекло, возникшее в гениальной творческой душе?

* * *

Двухдневный диалог... Невозможно, к сожалению, восстановить ход их затянувшейся ночной беседы, разговоров во время завтрака, прогулок в парке. После примиряющего письма Толстого в 1878 году, в котором тот извещал Тургенева, что никакой вражды в нем нет («к удивлению своему»), что «в наши годы есть одно только благо — любовные отношения меж-

ду людьми»,— Тургенев побывал в Ясной Поляне, и очевидцы неизменно подчеркивают его редкую деликатность, «картинные», явно отвлекающие в сторону рассказы о Париже, о французах... Он «занимал» людей, говорил о чем угодно, говорил о тех предметах, «на которых не могло произойти между ними разногласия» (Т. Сухотина). Толстой в 1878 году тоже «держал себя слегка почтительно и очень любезно, не переходя никакие границы» (С. А. Толстая).

Но от очевидцев укрылась, конечно, особая, полная восхищения и тревоги, внимания и сожаления, любовь Тургенева к Толстому.

Он уже не иронизировал, когда Толстой, видимо отыскивая пути к будущим формулам, говорил о том, что, «как огонь не тушит огня, так зло не может потушить зла», или когда он же припоминал стихи из Евангелия от Луки: «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад...» Какая подкупающая и истинно русская, не вливающаяся в трафаретные формы борьбы за новые нравственные ценности, утопическая, конечно, но дерзновенная борьба, какое страстное искательство, все время отменяющее даже найденные, узкие формулы! Весь Толстой соткан из противоречий и весь — сплошная искренность...

Тургенев, всматриваясь в Толстого, «гнувшего» все обстоятельства истории, все «уставы» под свою систему, звавшего весь мир, лежащий во грехах, «одуматься»,— как «одумался» он сам в отношении государства, науки, религии,— только сейчас до конца понял и главный смысл того примиряющего, зовущего к взаимной любви письма Толстого 1878 года.

Что было в этом призыве к дружбе и любви? Смирение, кротость, жажда справедливости? Да, и это — своеобразное «непротивление» былому злу... Но ко всему примешивалась и гордыня, сверхличное, неосознанное чувство нового пророка, основоположника неслыханной веры... Разве может быть зол на кого бы то ни было мужицкий Христос? Ему ли, с высот его проповедей о любви, о непротивлении злу, сердиться на детей ничтожных мира, живущих во зле и соблазнах, по велению «уставов»? И даже на самых даровитых из этих детей, высокообразованных, как Тургенев, но погрязших в увлечении лживой культурой?

Отголоском этой снисходительности пророка была и запись в дневнике Толстого о пребывании в Спасском: «9 и 10-го июля у Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, не осуждающий и бедный — спокойный. Тургенев боится имени бога, а признает его. Он тоже наивно-спокойный. В роскоши и праздности жизни».

* * *

...Минул «роковой» 1881 год. Тургенев почему-то боялся совпадения суммы цифр его и 1818-го, года своего рождения, предрекая себе смерть в октябре 1881 года. Но «телега жизни», порядком расстроенная, счастливо провезла его дальше. «Каждый год после шестидесяти дан изработавшемуся человеку как бы... на чаек»,— грустно шутил Тургенев.

Франция, куда он вернулся, страна без Г. Флобера, Ж. Занд, а главное, без великой политической жизни,— все больше тускнела в его глазах. «Где бы Вы предпочли жить?» — спрашивал его один из французских журналов и в 1869 и в 1880 годах. В первом случае он ответил серьезно: «Там, где я свободен идти, куда хочу...» А сейчас, одиннадцать лет спустя? «Там, где никогда не бывает холодно...» На вопрос о любимых прозаиках в первом случае последовал ответ: «Сервантес», а сейчас — как продолжение комедии — «Я не читаю более...»

По-прежнему дороги были ему былые друзья, французские писатели: после смерти Флобера Тургенев предложил русской публике составить подписку на памятник покойному, вызвав поток негодующих писем в свой адрес... Организуя художественные выставки русских мастеров в Париже, Тургенев призывал даже И. Н. Крамского учесть высокий уровень живописи французов: щеголяние самобытностью, большей частью сопряженное с слабостью техники, здесь недопустимо.

И все же... Так очевидны стали Тургеневу недостатки Франции, ее тщетные, трепетные, но чаще всего откровенно жалкие усилия подняться над... развалинами!.. Развалинами векового величия, всего, что когда-то в ее жизнь, в судьбы Европы внесли Великая французская революция, наполеоновские войны, революции XIX века. Нет, сейчас Франция уже не полагает, что косный, окрестный мир живет по указке мирового города на Сене, что для всякого «теста» берется неизменно парижская «закваска». Однако новое состояние, необходимость жить без позы, без фрондерства давались трудно. Понимают ли французы, думал порой Тургенев, что не могла остаться безнаказанной самодовольная привычка пренебрегать всем «нефранцузским», слишком вялый «обмен» идеями, жизнеощущениями, открытиями со всем миром, с его Россией? И вот новые силы, новые характеры, новые центры возникли: в лице бисмарковской Германии, в России, за океаном... Французы проглядели все, что их превосходило, что не отвечало их меркам. А что такое рядом с Толстым Виктор Гюго? «Толстой гениален, а Гюго только напыщенный ритор... За Толстым буду-

щее, и его гениальная простота делает его первым в мире художником»,— говорил Тургенев.

Мысль об этом, видимо, не давала покоя писателю вплоть до апреля 1882 года, когда жесточайшая болезнь — подагрическая невралгия сердца — перечеркнула многое. Она перечеркнула и замысел исключительно интересного романа, в котором сопоставлялись Россия и Франция, восход и закат, в лице их революционеров. Сопоставлялась русской девушкой, родной сестрой и Елены Стаховой, и героини «Порога»! Эта героиня, не видящая, как и Стахова, пророка в отечестве своем, должна была искренне увлечься героем-иноземцем, на этот раз не болгарином, а французом. Самых радикальных — естественно, по французским меркам!— убеждений. И кем же он, отнюдь не негодяй, не трус, оказался, когда героиня, выйдя за него замуж, рассмотрела его под французским небом, рассмотрела рядом с другим революционером, русским? Может быть, уцелевшим деятелем «Народной воли» или представителем еще более крайнего течения? Французский Инсаров оказался в сущности тусклым бухгалтером прогресса, экономистом счастья, бескрылым позитивистом! Поставленный рядом с русским социалистом-мистиком, ищущим разрешения социально-нравственных вопросов не в парламентской программе, а в новой религии, он вызвал горькое разочарование в новой Елене Стаховой.

«Хочется написать роман,— говорил Тургенев,— в котором выразилась бы коренная разница духовных основ русского человека и француза; показать в этом романе глубину психических причин и мотивов у русского протестанта и отщепенца рядом с формализмом и традиционной шаблонностью французского революционера, который никогда не выходит из раз установившихся рамок, идет по утоптанному руслу, верит в себя и в свои формулы, тогда как русский вечно копается в своей душе, вечно занят разрешением нравственных вопросов и исканьем правды... Не знаю только, удастся ли мне довести дело до конца и справиться с сюжетом. Стар я, умру скоро...»

Печальная тень Федора Достоевского как будто встает из-за этих строк: сам замысел романа, скорее всего, в духе автора «Братьев Карамазовых»... Но возник он всецело тургеневским путем. Центр будущей революции перемещался для него из Западной Европы в Россию.

* * *

...В апреле 1882 года Тургенев написал Ж. Полонской: «Со мною сделалась болезнь, известная под названием angine po-

itrine — грудная жаба. Собственно, это — подагрическая невралгия сердца. Опасности она не представляет, но заставляет лежать или сидеть смирно...» Попытки отшутиться «от болезни» скоро угасли. «Я весь поглощен болезнью — и нервы мои порядком расстроены»,— сообщает Тургенев той же Ж. Полонской чуть позже.

Болезнь Тургенева — рак спинного мозга — перед зловещей, разрушительной работой которой были бессильны тогдашние (как и нынешние) врачеватели, периодически причиняла ему ужасные страдания. Но о них узнали лишь после его смерти. И удивлялись долго сохранившейся способности русского великана так умело скрывать их, вести переписку, принимать гостей оставаться душой общества.

Лишь немногим он, прикованный к постели с конца 1882 года, признавался в заветном желании: «Пять минут постоять и не чувствовать боли».

Он становится для всех, посещавших его, вспоминавших об этих визитах, «опрокинутым колоссальным дубом»... Еще странным образом свежи и зелены ветви, еще не увяли ни мысль, ни чувство (в сентябре 1882 года была завершена «Клара Милич»)... Но анализ своих страданий, на беду для великого страдальца очень ясный,— «в мучениях боли его посещали самые удивительные фантазии и образы» (Г. Джеймс),— порой темнит, омрачает общий спектр душевных красок.

Особую печаль всех русских людей, видевших это медленное умирание (В. Васнецова, М. Г. Савиной, А. Г. Олсуфьевой, Н. Белоголового, А. Ф. Онегина), вызывало то обстоятельство, что этот человек, страстно мечтавший о России, просивший — «поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу»,— подолгу не видел вокруг себя русских лиц, не слышал русского языка! В бессильном негодовании на возню и скопление вокруг Тургенева модных врачей, а порой попросту шарлатанов, ищущих лишь рекламы своему «искусству», А. Онегин писал П. В. Анненкову: «Знаменитый Шарко, друг, но... убийца Бруадель и полнейшее невежество — незнание — убийца жид Гиртц, доведшн до галлюцинаций, подписали сегодня на консультации, не ими самими написанный совет (намек на сговор с П. Виардо.— *В. Ч.*), не принимать никого в продолжении нескольких дней (??) — а в эти несколько дней, продолжая впрыскиванье, может быть, убьют окончательно».

Американский писатель Г. Джеймс с непринужденностью молодости сетовал еще в 1875 году: «Как мне показалось, общий дом с супругами Виардо делает его (Тургенева. —

В. Ч.) малодоступным для других. Виардо желают иметь его для себя — ироды! Но я постараюсь отвоевать его... Тургенев стоит их всех вместе взятых; и он же терпит их, да так, что я только диву даюсь» (И. С. Тургенев в письмах Г. Джеймса.— «Русская литература», 1983, № 2).

Отвоевать его не удалось уже никому, кроме... смерти!

Кому мог верить или не верить умирающий художник? Поль Камилл Ипполит Бруадель — профессор Парижской медицинской академии. Эдгар Гиртц — известный парижский врач?! С трудом, видимо, приняв решение, Тургенев сообщает М. Г. Савиной: «...по боку Гиртца... его физиономии больше не увидите...» Но легче ли от этого? Ощущается, что и пишется Тургеневым многое в эти дни, чтобы лишь продлить мгновения душевных свиданий с русскими людьми. «Ваше письмо из Сивы упало на мою серую жизнь, как лепесток розы на поверхность мутного ручья...» — по-прежнему изысканно-рыцарски отвечает он Савиной.

Да и двум молодым друзьям, П. В. Жуковскому и А. Ф. Онегину, можно ли верить? Им противно видеть слабость в нем, большом человеке. Но это их опыт минуты, это мудрость одного дня! И после смерти Тургенева для А. Ф. Онегина и П. В. Жуковского (судя по их переписке) важно лишь вырвать из рук Полины Виардо кольцо, «талисман» А. С. Пушкина, переданный П. В. Жуковским Тургеневу в 1875 году, с условием возврата после его смерти, позлословить о финансовых притязаниях и праве все той же «цыганки»: «Великая певица, но еще величее цыганка» (из письма А. Ф. Онегина П. В. Жуковскому 11 сентября 1883 г.— В сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 169).

Лепестки роз (тургеневские письма) падали на почву, полную ожесточения, земной суеты, игры самолюбий. Это было так странно! И печально — ведь своего простодушного, затерянного в просторах России Астапова Тургеневу судьба не послала; нет полустанка с простой комнатой начальника, с нестройным гомоном русских голосов за стеной, с шумом русских берез... Каждый умирает так, как он жил.

В мае 1883 года умер Луи Виардо, воплощение утомляющей добродетели, «эгоист». Он остался верен себе и в последний час. Увозимый в больницу из дома, зная, как тяжело болен Тургенев, он не отказал себе в шутке. Он махнул рукой Тургеневу — другу дома, члену семьи?! — и воскликнул:

— Обреченные на смерть приветствуют друг друга!

Сама Полина Виардо — в нее, со словами: «А вот леди Макбет!» — Тургенев в состоянии бессознательного, вероятно, самого искреннего гнева бросил раз тяжелый медный шар

колокольчика! — вела себя как всегда умно, терпеливо, собранно, даже деловито. Она проживет еще почти добрых сорок лет! Хозяйка Буживаля терпеливо ухаживала за умирающим, следила за его состоянием, дозировала количество гостей. И все же... Трудно судить, каким образом, но в ее руках оказались два завещания на ее имя, оказалось затем почти целиком Спасское, и наследникам Тургенева пришлось выплатить ей 30 тысяч рублей. Из-за сумм за изданные и издаваемые в Петербурге произведения Тургенева возник длительный судебный процесс между Г. Брюэром, мужем Полины Тургеневой, и «вдовой Виардо» (чьей?), закончившийся в 1885 году в пользу вдовы Виардо. Как отметила А. Г. Олсуфьева, знакомая семьи Толстого, даже русский посол в Париже князь Н. А. Орлов, друг Тургенева, столкнулся с неожиданной, непривычной для русской среды малоприятной ситуацией: то его не пускали к Тургеневу, то вдруг известие: «M-me Viardot хочет непременно объявить его сумасшедшим... чтобы заручить себе его завещание».

Может быть, в свидетельствах А. Ф. Онегина, А. Г. Олсуфьевой превалирует общее нерасположение русской публики к П. Виардо и ее семейству, но очень многое в поведении ее и некоторых ее дочерей говорило о весьма слабом чувстве благодарности к памяти Тургенева.

...В момент недолгого просветления, 29 июня 1883 года, вырываясь из кошмара невыносимых страданий, из навязчивых забот чужих людей, все так же ища опоры в далекой Родине, Тургенев и написал последнее письмо Л. Н. Толстому. Он услышал об очередном, удивляющем мир, но не его, Тургенева, решении Толстого — оставить литературу... Как никто другой, Тургенев знал серьезность такого упрямства великого яснополянского соседа. Он, Толстой, тоже «отчаянный», тоже озорник и юродивый, «драчун» и примиритель.

Писалось письмо человеком, у которого обычный желтоватый колорит кожи стал еще гуще, перешел в синевато-темный, глаза глубоко ввалились — это было так заметно при снежной белизне волос и бороды... Человеком, в котором росла жажда смерти, художником, для воображения которого так тесна была и комната в чужом краю, и больничная койка, и круг лиц, окружавших его. Письмо Тургенева поражает страстной силой любви умирающего к человеку, вознесшему русскую художественную мысль на недосягаемую никем в мире высоту: «Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, и чтобы выразить Вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литера-

турной деятельности! Ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя на Вас так подействует!! Я же человек конченный,— доктора даже не знают, как назвать мой недуг... Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой! великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе!»[1]

* * *

...Смерть — всегда мучительная работа подсознания, неожиданное «освещение» всех уголков памяти. Тело — временное жилище живого духа, искры небесного огня, летающей, крылатой души, как отмечал А. Н. Афанасьев,— превращалось в некую дверь в безвестную страну, куда увлекала смерть человека. Но дверь эта не приоткрывалась. Умирающий Тургенев все время пытался нащупать в своем подсознании что-то неуловимо ускользающее, таинственное. Как это ни странно, но он как будто примерял к себе процесс чужих умираний. Он «дирижировал» своим умиранием, поглядывая, как на образец, на нечто, виденное или вымышленное.

Художник — он жил, умирая, в каком-то образе, может быть, так и не вылепленном в слове. Он говорил по-русски, искал русских лиц, русского страдания. Прорывались и простонародные выражения, непонятные космополитической семье в лице Луизон Виардо, мосье Шамро, зятя Полины, самой хозяйки. Он беспомощно навязывал этим людям какой-то неведомый им обряд прощания. Но ни от кого не мог он, к сожалению, услышать душевные, пусть велеречивые и невероятные утешения на родном языке. Вроде тех, что по иному поводу слышал чеховский дядя Ваня в финале замечательной пьесы. Такие утешения нужны и при жизни: но еще больше при прощании с ней: «Но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнем... Мы отдохнем!

Мы, дядя Ваня, будем жить... И бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя Ваня, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно... Мы отдохнем!»

---

[1] Получив известие о смерти Тургенева, Толстой написал Н. Н. Страхову и С. А. Толстой: «Смерть Тургенева я ожидал, а все-таки очень часто думаю о нем теперь». «О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу... Непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем».

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Андреевич Чалмаев
ИВАН ТУРГЕНЕВ

Редактор Н. Листикова
Художественный редактор А. Никулин
Технический редактор В. Котова
Корректор Т. Воротникова

Сдано в набор 12.08.85. Подписано к печати 06.12.85. А13239. Формат 60×84/16. Гарнитура школьная. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 24,18. Усл. кр.-отт. 24,41. Уч.-изд. л. 24,97. Тираж 50 000 экз. Заказ 314. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.